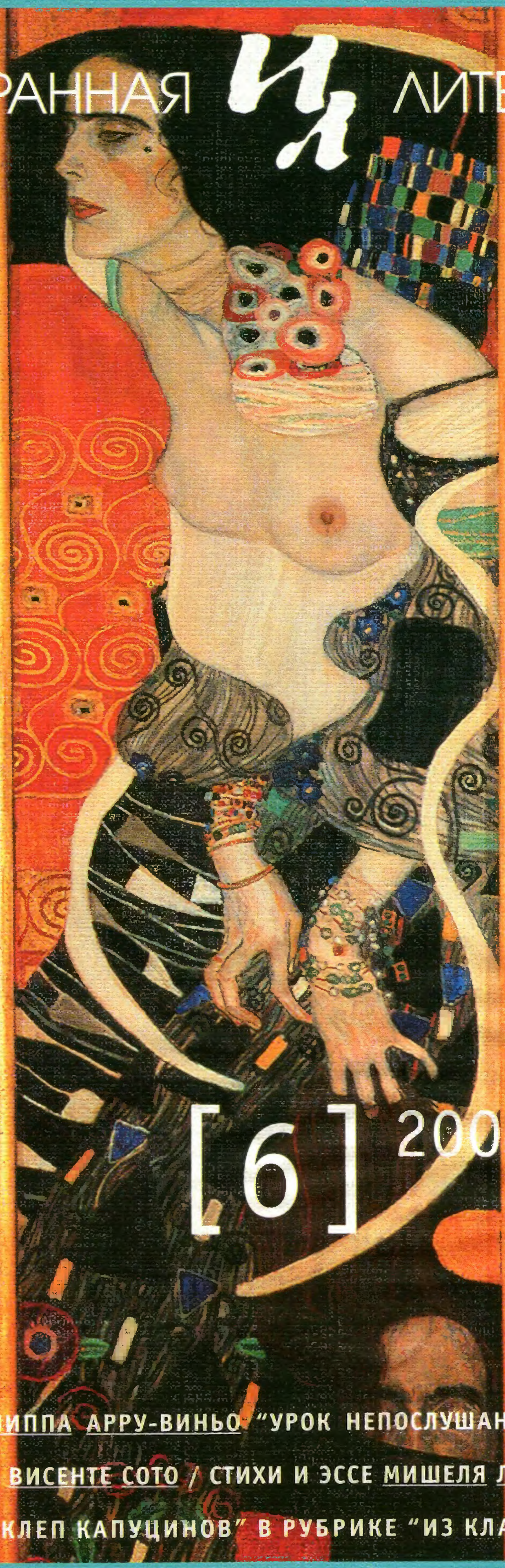
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[6] 2002

РОМАН ЖАН-ФИЛИППА АРРУ-ВИНЬО "УРОК НЕПОСЛУШАНИЯ" / РАССКАЗЫ ДИНО БУЦЦАТИ И ВИСЕНТЕ СОТО / СТИХИ И ЭССЕ МИШЕЛЯ ЛЕЙРИСА / РОМАН ЙОЗЕФА РОТА "СКЛЕП КАПУЦИНОВ" В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА"

Основан в 1891 году

[6]
2002

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Жан-Филипп Арру-Виньо. *Урок непослушания.* Роман. Перевод с французского Нины Кулиш

81 Висенте Сото. *Рассказы.* Перевод с испанского и вступление Н. Матяш

92 Мишель Лейрис. *Стихи и эссе.* Переводы с французского. Вступление С. Зенкина

106 Дино Буццати. *Семь этажей.* Страшный рассказ. Перевод с итальянского Геннадия Киселева

Из классики XX века

117 Йозеф Рот. *Склеп капуцинов.* Роман. Перевод с немецкого С. Шлапоберской

Литературное наследие

203 Циприан Норвид. *Стихи.* Перевод с польского и вступление А. Гелескула

"ИЛ": истоки и история

215 *Вестник иностранной литературы, 1891–1894*

Статьи, эссе

251 Антонио Мачадо. *Хуан де Майрена. Изречения, шутки, замечания и воспоминания апокрифического профессора.* Перевод с испанского Валерия Столбова. Вступление Бориса Дубина

Беседы

265 *"Правда искусства – в страдании, которое таится в нем".* Беседа Фрица Раддаца с Джоном Апдайком. Перевод с немецкого А. Егоршева

272 *Новая встреча с читателями* Обзор ответов на читательскую анкету

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2002

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

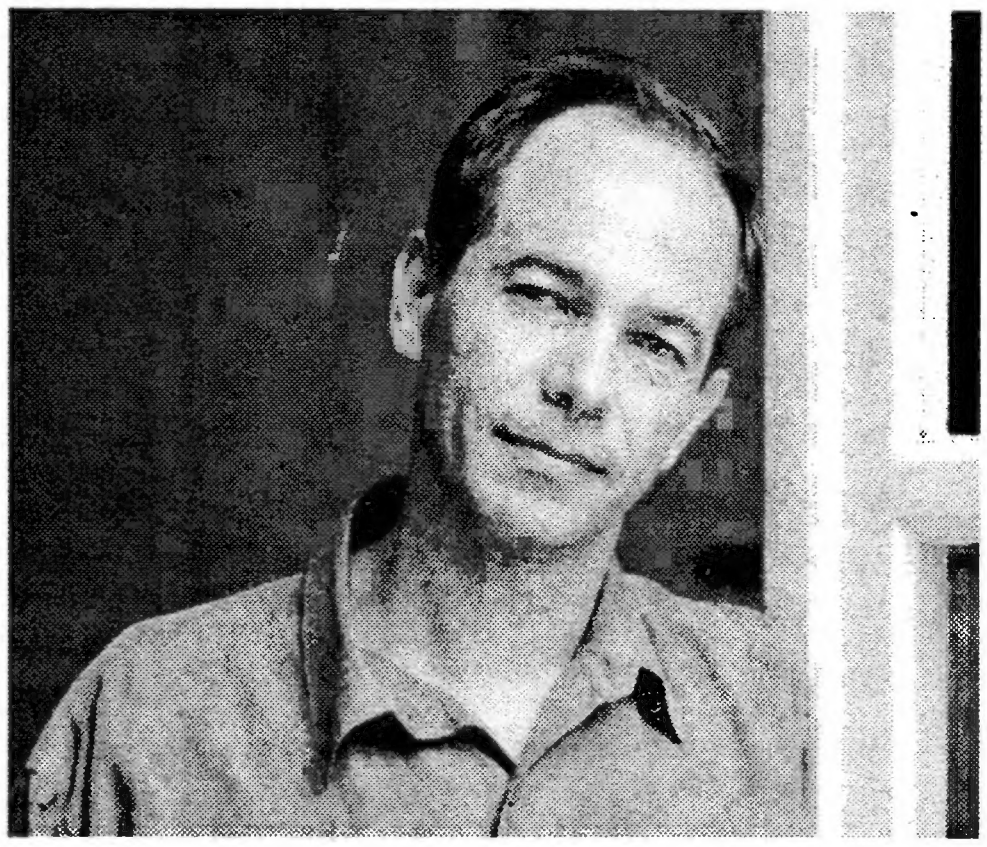
Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
А. Н. Власова
С. М. Гандлевский
Т. А. Ильинская
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Жан-Филипп Арру-Виньо



Урок непослушания

Роман

Перевод с французского Нины Кулиш

Посвящается Патриции,
Бернару С.
и Катрин Г.

Стрелец:
Работа: вы совершите небольшую психологическую ошибку, которая не будет иметь серьезных последствий. Наоборот, это даст вам возможность выяснить отношения с одной из ваших коллег.

Макси. *Звезды и вы*

8 часов
Начало занятий

БЫЛО темно.

В слабо освещенном дворе стояли нестройные ряды учеников, не обращая внимания на дождь, вихрившийся вокруг фонаря. На этажах одно за другим зажигались окна, высвечивая контуры массивного здания из темного кирпича, где-то внутри дребезжал звонок, возвещавший начало занятий.

© Éditions Gallimard, 1995
© Н. Кулиш. Перевод, 2002

Божэ́ шагал по коридору, распахивая скрипучие двери. Справа и слева виднелись лестницы, открывались еще коридоры, навстречу друг другу шли группы учеников во главе с учителями. Божэ привел свое собственное войско в класс и почти не удивился, заметив, что дверь не заперта. Выключатель — справа: над доской, мигая и позвякивая, зажглась лампа дневного света и, словно взмахнув желтыми крыльями, осветила парты, составленные попарно стулья и покрытый тончайшим меловым налетом учительский стол, на который он бросил свой портфель.

Твердо стоя на широко расставленных ногах, он рассадил учеников, потом принял у старосты класса толстую темно-синюю папку с домашними заданиями и список присутствующих. Затем взял ручку и громко, чтобы было слышно среди разговоров и грохота передвигаемых стульев, начал перекличку.

— Арман... Азедин... Бижо... Колен...

В этот момент произошло что-то странное. Что это было: шорох, первые приглушенные смешки, пихание друг друга локтями? И вдруг он с ужасом увидел, что на нем, при твидовом пиджаке, пижамные брюки, старые полосатые брюки, в которых он сегодня спал, вздувшиеся на коленях, с раскрытой ширинкой, а из уличных туфель выглядывают голые щиколотки...

Все дальнейшее потонуло в буре хохота и свиста, и тут он очнулся — сидя на кровати, взъерошенный, взмокший от пота, а тиканье маленького будильника со светящимся циферблатом словно передразнивало лихорадочное биение его сердца.

Этот сон всегда снился ему после каникул. Кошмар школьника продолжал мучить его и в зрелом возрасте, вновь пробуждая давно забытые страхи. Запоздалая вспышка детской болезни.

А взрослеют ли люди вообще? Можно ли с точностью определить момент, когда ты стал взрослым? Низкое свинцовое небо, мелкий леденящий дождик в это декабрьское утро были словно продолжением сна: пустое пространство, без перспективы и без ориентиров, по которому он размашисто шагал, подняв воротник пальто и выпуская изо рта крошечные белые облачка пара.

Надо было надеть перчатки, подумал он.

Он всегда терпеть не мог торопливых сборов. После бритья он побрызгался лосьоном из маленького пробного флакончика, который попался ему на полке в ванной, и агрессивно-мужественный запах собственной кожи вызвал у него неприятное ощущение, будто он влез в слишком просторный пиджак с чужого плеча. Светло-бежевое пальто, удобные вельветовые брюки, уже слегка вытянувшиеся на коленях, туфли с кожаными кисточками на шнурках, — чей он, этот добротный гардероб провинциала средних лет, одевающегося у "Тьерри и Сиграна"? Правильные черты лица и коротко подстриженные, чуть поредевшие надо лбом волосы, отражавшиеся на миг в зеркальной витрине, принадлежали кому-то другому, какому-то сорокалетнему незнакомцу с манерами благовоспитанного юноши, так и не перешедшему из одного возраста в другой, постаревшему подростку, на котором вполне смотрелся бы золотисто-желтый галстук элитарного учебного заведения, завязанный небрежно, по-студенчески.

Часть его души навсегда осталась в том времени. Лучшем времени его жизни. Учился он блестяще, после престижного лицея без всякого

труда, и притом с отличием, закончил Эколь нормаль. Да, лучшие годы, часто говорил он себе, глядя на верхние полки стеллажа, где пылились свидетели этих славных лет, будто священные книги исчезнувшей древней религии. То была эпоха трудночитаемых трактатов, структурализма, постгегельянского модернизма, эпоха Барта, Бланшо, Батая и дешевых обедов в греческих ресторанах Латинского квартала... За экзаменами, прошедшими в пьянящей обстановке спортивного азарта, последовало первое назначение — преподавателем в коллеж[1] одного из парижских пригородов. Это было падение с огромной высоты — словно после тренировки в перспективной, прекрасно подготовленной команде вдруг очутиться в клубе третьей лиги.

В том же году он женился на Катрин — они познакомились на лекциях по средневековой стилистике. Ей было двадцать два года. У нее был выпуклый гладкий лоб, вишневые туфельки без каблука, целомудренная девичья манера пожимать руку при встрече. Он дождался окончания весенней сессии, когда после проливных дождей небо наконец прояснилось и ранним вечером проблески солнца расцветили тускло-золотым узором индийское покрывало на кровати. Они укрылись от ливня у него в комнате, он раздел ее и совсем потерял голову, обнаружив под толстым свитером прохладную нежную кожу, гладкую и шелковистую, словно мука́... Медовый месяц в однокомнатной квартирке, где было тесно от горшков с цветами, шелковых подушек и вазочек с душистыми смесями, рождение Матильды, а вскоре — быть может, слишком скоро — и Люси, переезд в более просторную квартиру, в которой, усилиями Катрин, тоже сразу стало тесно от старинной мебели, горшков с цветами и шелковых подушек, — все это произошло очень быстро. Катрин сразу захотела детей, его затянуло в какой-то одурманивающий круговорот, и проблемы карьеры отошли на задний план.

А теперь, когда его спрашивали, кем он работает, он пользовался жаргонным и слегка пренебрежительным определением из лексикона собственных учеников: “пре́под”. Не доктор наук, не профессор, даже не лектор в каком-нибудь затхлом провинциальном университете — просто “препод”. И каждый раз это вызывало у собеседника удивление, смешанное с жалостью, легкое замешательство, какое люди испытывают, узнав, что у мальчика из хорошей семьи незаконченное среднее образование.

Как, например, вчера, на традиционном воскресном обеде у родителей Катрин в Фонтенбло.

Боб (брат Катрин, жуя сигару, точно батончик лакрицы):

— “Препод”? Потрясающая профессия! Всегда в контакте с молодежью, в гуще жизни!

Божэ (искоса поглядывая на декольте Катрин, слегка заплетающимся от бордо языком):

— Детские болезни, мозоли на подошвах, самоубийства среди подростков...

— Знаешь, иногда я тебе завидую: у тебя же уйма свободного времени, огромный отпуск... Сколько месяцев в году? Пять? Шесть? Да, вот это жизнь. А у меня каких-то жалких три недели. Знаешь, что бы я сделал, если бы у меня было свободное лето? Написал бы книгу.

1. Учебное заведение во Франции, дающее неполное среднее образование, которое затем завершается в лицее. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Да такие книги продаются на вес!

— Правда, долго бы я не выдержал: меня бы скука заела. Такой уж у меня характер: не могу сидеть на месте. Мне надо двигаться, работать засучив рукава. Я человек действия. Нет, серьезно, Филипп: знаешь, чего не хватает вам, преподавателям?

— Новенького "сафрана". С кожаной отделкой салона.

— Чувства реальности, Филипп. *Чувства реальности.* Да, конечно, вы воспитываете подрастающее поколение. Но что вы знаете о деловой жизни, о рынке труда, о макроэкономике? А мы — мы живем в конкретном мире. Мы живем реальностью. Борьба за рынки, за рабочие места, экономическое противостояние. Нам, старик, некогда вникать в разные премудрости или зачитываться Ронсаром! Японцы дышат нам в спину, стоит расслабиться — и они нас слопают.

— А, так значит, твоя новая машина будет марки "суши"?

(И так далее.)

Сквозь ветви каштанов над головой проглядывало пасмурное небо — словно разбитое окно с торчащими из рамы осколками стекла, а за ними — свернувшиеся и затвердевшие от мороза листья, похожие на спящих летучих мышей. Он пожал плечами, ощущая какое-то беспричинное раздражение. Корпоративный дух всегда был ему чужд. Однако в таких ситуациях он почти гордился своей принадлежностью к паразитическому классу мечтателей, на который Боб и ему подобные смотрели с бесконечной жалостью, ибо этот класс еще считал деньги в старых франках и не сознавал японской угрозы.

То, что Боб называл реальностью, нисколько его не привлекало. Иногда ему снились кошмарные сны: он превращается в героя американского телесериала или обречен до скончания века блуждать по выставочному павильону в Сен-Маклу. Это и есть мир Боба, мир его собственных учеников, призрачный мир, в котором ему нет места.

Он, Божэ, унаследовал от родителей презрение к коммерции, к погоне за деньгами и за прибылью. *Служение* — вот цель жизни, о какой он мечтал в юности. Стать священником, врачом, адвокатом или солдатом. Защищать вдов и сирот. Просветлять души, исцелять страждущие тела. Он не изменил себе, он все еще верил в правильность избранного пути, только чувствовал, что его убеждения стали слегка отдавать горечью, как будто не он их, а они его предали.

Мог ли он обижаться на своих учеников за то, что они не нуждались в нем? Мог ли стремиться в мир Боба, если ради них бесповоротно отказался от мечты о престижной и выгодной работе?

"Кто чересчур старается преуспеть в жизни, перестает жить", — мысленно произнес он, втягивая голову в плечи, чтобы уберечь уши от ледяного ветра, метущего улицу. — Прокомментируйте это высказывание, пользуясь примерами из книг и из ваших собственных знаний об окружающем мире".

И зачем он дал им такую дурацкую тему... Это была его мелкая месть классу, так замечательно успевавшему по математике. Он не строил иллюзий: всем им не терпелось вступить в ряды тех, кто принимает решения, от кого всё зависит, кто уже сейчас, ранним утром, торчит в уличных пробках и даже в супружеской постели остается на связи с офисом при помощи пейджера и мобильника. Все уже уверовали в силу денег и материального благополучия. Так пусть хоть час своей юной жизни по-

тратят на раздумья о бессмысленности погони за наживой — по крайней мере станет очевидно, как ничтожны их знания о шедеврах литературы и о современном мире.

Опять они надуются, когда он скажет, что не успел проверить их домашние задания, не успел — это для них важнее всего — выставить отметки, кому отличные, а кому просто утешительные... Он уже давно не чувствовал вины за такую медлительность — да и что он мог сказать в свое оправдание? Стоит ли признаваться в собственном поражении, в профессиональной неудовлетворенности, в утомлении от семейной жизни, год за годом охватывавшем его перед Рождеством, — только ради того, чтобы извиниться за непроверенные тетрадки? Объяснять, что он оказался в тупике: столь почитаемая им профессия (во всяком случае, он почитал идеальное и устаревшее представление о ней) стала ему в тягость, а иные, более заманчивые (как у Боба) занятия он глубоко презирал, и потому надежда на перемены в жизни с каждым днем становилась все несбыточнее?

— Ну и холод, а? Не удивлюсь, если еще до темноты пойдет снег.

Теплый халат, лиловый плащ, тапочки с помпонами на босу ногу: как всегда по утрам, соседка вышла погулять с собакой. Он хотел было произнести несколько любезных фраз о погоде, но оказалось, что застывшие челюсти пропускают лишь невнятное бормотание, — а собака тем временем подозрительно обнюхивала его брюки.

Иногда он завидовал подобной раскованности: выйти на улицу в халате и тапочках, прогуливать пуделя в вязаной курточке, не боясь поймать на себе насмешливый взгляд кого-нибудь из учеников. А он не может себе этого позволить — что ж, такова плата за возможность жить в том же городе, где преподаешь, подумал он, отстранив ногой собаку и размашисто зашагав дальше. Поначалу его тяготило, что он постоянно попадается им на глаза: нельзя привыкнуть к тому, что весь коллеж знает, где он покупает туалетную бумагу — в самом дешевом магазине, со скидкой... Но после долгих лет работы в дальних парижских пригородах назначение в городок В. показалось ему манной небесной, а ежедневное хождение пешком по широкому, запруженному машинами проспекту — немыслимой роскошью. Весной воздух наполнялся ароматом цветущих лип. Вдоль проспекта тянулись чудесные маленькие сады, перед домиками с высокими фронтонами били фонтаны, рассеивая водяную пыль. На проезжей части утреннее скопление машин достигало апогея, а на тротуаре пешеход мог чувствовать себя избранным, почти свободным и счастливым.

Он выходил из дому рано, с большим запасом времени, как если бы шел прогуляться, останавливался купить сигареты и газету, которую до вечера не успевал прочесть, но все же покупал, чтобы доказать самому себе: он не спешит, он не совсем еще утратил интерес к культурной жизни, вступив на ниву народного просвещения.

И все же с недавних пор что-то разладилось: началась бессонница, кошмары, горечь во рту при пробуждении. Не только в зимние холода он ощущал лицом режущий ветер, видел над головой свинцовое небо. Может быть, он просто постарел? Иногда ему казалось, что на него надвигается своего рода ледниковый период, бескрайняя гнетущая пустыня, которой обернется для него созревание дочерей и в ожидании которой Матильда уже сгорала от нетерпения. Это было как неотвратимая

болезнь, подстерегавшая его и жену, роковое испытание, уготованное им в будущем и приближавшееся с каждым днем.

Сколько бы он ни жал на тормоза, ничто на свете не помешает его дочерям в скором времени достигнуть возраста его учеников, а ему с Катрин превратиться в пару озабоченных и бестолковых родителей, каких он обычно принимал в конце четверти. Они входили, готовые услышать самое ужасное, в сопровождении прыщавого гуманоида, который когда-то был их розовым белокурым малышом и на которого они теперь смотрели с недоумением и растерянностью, словно им в родильном доме вместо ангелоподобного младенца подсунули верзилу в кроссовках и бейсбольной кепке.

Как трогательный детеныш с розовой кожей мог развиться в такое существо? Когда именно случилась эта ужасная метаморфоза? Матильда уже рвется на свободу. Она только через год пойдет в шестой класс. Но первые признаки бунта уже налицо. Эта страшная, эта непобедимая акселерация! — подумал он, впервые обнаружив на ее пенале с Микки-Маусом сплетенные инициалы модного рок-певца. Ей еще нет десяти, а она на полном серьезе заявляет, что ей нужен отдельный телефонный номер, пора одной ходить в гости в субботу вечером: у подружки Бетти давно уже в комнате телевизор, собственный телефонный номер, и никто не напоминает ей, который час, когда она звонит подружкам после душа.

И вот что самое трудное: бороться приходится не только с Матильдой, но и с Бетти, с целым классом, со всеми родителями на свете, такими чуткими и, в отличие от него, такими современными! Бороться с телевидением, с глянцевыми журналами, которые она покупает, и даже с Катрин.

— Зачем ей читать эту макулатуру? — кипятился он. — Зачем забивать голову гороскопами, скандальными интервью с кинозвездами, советами косметологов — чтобы она стала вроде этих размалеванных девиц на подтанцовках в рок-группах?

— Не будь таким занудой, — заступалась за дочку Катрин. — Она растет, она меняется. Все это видят, только ты ничего не замечаешь.

— Занудой? — он едва не задохнулся от бешенства, схватил журнал, прочел первые попавшиеся заголовки: — "Он хочет идти до конца, ты — нет: как удержать его?", "Жоселин Б. из Перигё: я не переношу тампоны!" Господи, Катрин! Летом она еще читала "Медвежонка Пецци"!

— Не может же она всю жизнь читать "Медвежонка Пецци", — спокойно возражала Катрин. — Не знаю, заметил ли ты, но тело у нее уже меняется, она превращается в девушку...

Именно это и ужасало его, а тут еще заступничество Катрин: женщины всегда проявляют солидарность, когда речь идет об их теле...

Он утешался, глядя на Люси. Но сколько еще на это отпущено? Детство неудержимо покидало его дом. Какая она была гордая, когда принесла из школы первые каракули, первые страницы, исписанные буквой "а"! Каждый вечер он смотрел, как она, высунув язык от усердия, выводит слова, читает по слогам учебник, напечатанный очень крупным, точно для слабовидящих, шрифтом, — и не знал, от чего у него сжимается сердце: от счастья или от сожаления о времени, которое близится к концу.

Новая семья Люси называлась Никола́, Каролин, черепаха Лола, кот Пушок. Урок за уроком она переживала вместе с ними захватывающие

приключения. “Никола заболел”, “Переезд на новую квартиру”, “Куда пропал Пушок?”, “Лола ест салат”. У них в квартире появился мини-дом, где Люси будет расти, мало-помалу заменяя кукол героями принесенных из школы книжек: эти крохотные нарисованные существа расскажут ей, как называются дни недели, как называются разные деревья и цветы, почему нельзя сосать палец.

“Невходить”, — написала она на двери своей комнаты, рассадив по стульям всех своих Барби — в туфлях на высоком каблуке, с накрашенными губами, в коротеньких, как у секретарш, юбках. Она давала им урок, топала ногой, грозила линейкой их резиновым головкам с химической завивкой. Когда он входил, она замолкала на полуслове.

— Во что ты играешь?

— Ни во что.

Он помешал. В этом мире крохотных старлеток, которых она не переставая причесывала, ему уже не было места. Никола, Каролин, папочка — все эти книжные герои стали для нее просто напоминаниями о только что завершившемся раннем детстве. По вечерам она иногда еще прижималась к нему, сунув в рот большой палец, глядя в пустоту, если приступ необъяснимой тоски не давал ей уснуть. В такие минуты он снова чувствовал рядом свою малышку, не понимая только, куда девался запах теплого молока, прежде витавший над ее кроваткой. Он не выпускал ее из объятий дольше, чем нужно, как будто им предстояла долгая, бесконечная разлука...

Время пролетело слишком быстро. Он плыл по течению, машинально предоставляя Катрин организовывать их жизнь, назначать даты важных событий: рождения детей, покупки в кредит первого кожаного дивана, замены “форда” новым автомобилем... И она отлично справлялась с этим, действовала четко и энергично, с тем же безошибочным чутьем, которое позволяло ей сразу выбрать лучшее место для комода или вазу для гостиной под цвет штор. Вот и сейчас у нее уже были заготовлены рождественские подарки, а постельное белье для дома в Карнаке аккуратными стопками лежало на отдельной полке в шкафу. Скоро каникулы — на что ему жаловаться?

Перед входом в “Привал охотников” затянутые льдом лужи были похожи на лохани мыльной воды с пеной по краям. Он похлопал себя по карманам — полная пачка сигарет, его дневное довольствие, — и пробрался сквозь вереницу машин, затормозивших у светофора. У некоторых на ветровом стекле еще остались куски затвердевшего снега: знак, что они приехали из поселков так называемого “большого кольца”. Эти поселки возникали вокруг столицы один за другим, все дальше и дальше, скопления неотличимых друг от друга белых домиков на безлесных, похожих на пустыри участках с длинными псевдодеревенскими названиями — сюрреалистические видения, открывавшиеся, словно кратеры, прямо посреди полей.

Этого, по крайней мере, ему удалось избежать: сборных домиков, в каких жили друзья Боба. Газона, который по субботам покупается в ближайшем торговом центре, чахлых тисовых изгородей, гипсовых гномов, замороженных булочек на завтрак — потому что ближайшая булочная в двадцати пяти километрах... Он снимает удобную квартиру в двух шагах от школы, у него красивая жена, две очаровательные дочки, успевающие в школе, профессия у него скромная, но он достойно выполня-

ет свои обязанности, и у него еще остается свободное время, кроме того — он работает в респектабельном месте, где у него уже сложилась прочная репутация...

Так на что же жаловаться? — подумал он опять, нажимая на кнопку звонка у массивной двустворчатой двери. А впрочем, разве он жалуется? Просто он немного устал... Плохо спал ночью, а тут еще этот холод, от которого цепенеет все тело.

И еще перспектива очередной недели в обществе Мари-Поль. Опять следить за каждым словом, за малейшим движением... А сомнения, угрызения совести приберегать для бессоных ночей... Все стало другим после того, как появилась Мари-Поль.

8.40
Педсовет

Серо-синий бобрик на полу, столы, покрытые бежевым лаком. Папки, выстроенные на полках в алфавитном порядке. На потолке — большие лампы дневного света с мутным, полным дохлых мух стеклом. Ободранные кресла — их подарил бывший директор, когда выезжал из служебной квартиры на четвертом этаже. Въевшийся запах табака. И другой, более тонкий запах старой копировальной машины; ею перестали пользоваться, когда появился ксерокс, но она еще стояла в углу, как пережиток доисторической эпохи, которая все же была им дорога.

Без двадцати девять. В учительской — никого. Божэ любил приходить заранее, растягивая время, отделявшее его от начала рабочего дня. Здесь он был в укрытии, в тихом уголке, куда почти не проникал гомон из коридоров.

На краю раковины в электрической кофеварке клокотал остаток коричневой жидкости. Он сразу, еще не сняв пальто, выключил кофеварку, вылил остатки кофе и старательно выполоскал кофейник, прежде чем наполнить фильтр почти до краев. Когда в десять часов, на перемене, коллеги спустятся сюда, они будут приятно удивлены, найдя в кофейнике свежий кофе.

Учительская была его тыловой базой. Убежищем, где можно задержаться перед выступлением на передовую, притворившись, будто не слышишь звонка, закурить сигарету, поискать ключи от класса, выиграть драгоценные секунды под предлогом срочного изготовления каких-нибудь ксерокопий. Сегодня времени достаточно, подумал Божэ, снимая пальто. По понедельникам первый урок у него начинался только в девять, и этот ничем не заполненный промежуток времени делал сегодняшний день особенным днем, был маленькой победой над строгим распорядком, над неизбежной повторяемостью каждого утра. Возникало сладостное ощущение, что он прогуливает, тайком продлевает себе выходные.

В его ячейке в шкафу лежала гора всяких рекламных проспектов и листовок, как всегда в начале недели. Он сложил их в кучку и порвал не читая. Реклама подписных изданий по сниженным ценам, каталоги учебной литературы, профсоюзные журналы, циркуляры из министерства: они и так заполонили все, висели на шкафах, облепили стены, словно короста при неизлечимой кожной болезни. На столах ва-

лялись рекламные буклеты театров, энциклопедий, сокращенных изданий классиков, книг по искусству. "Слово ректора", "Профсоюзы в школе", "Литературная хроника", "Школа успеха", "Что их ждет после аттестата?"

Вот наш вклад в загрязнение окружающей среды, мрачно подумал Божэ. Тысячи деревьев уничтожаются каждый день ради того, чтобы поддерживать в нас иллюзию, будто мы еще читаем, ходим в театр и напряженно следим за новейшими достижениями в педагогике. А что еще, если вдуматься, делаем мы, преподаватели, кроме как вываливаем на учеников массу всякой писанины, учебных пособий, исправленных тетрадок, слишком бледных ксерокопий, которые потом попадут в мусорную корзину?

"Вся система основана на иллюзии, — часто повторяет Марло. — Знание безостановочно движется по кругу, никому не принося пользы. Мы только перекидываем его, как младенца, с рук на руки, отводим от себя и направляем на других все нарастающий поток различных сведений и цифр. Мы не учим, Филипп: мы просто пытаемся сбыть кому-то наши культурные излишки. Это вроде просроченных лекарств, которые посылают в Африку, или старого барахла, которое родители приносят нам на благотворительную распродажу, а мы тут же навязываем им обратно за лотерейный билет".

В общем-то он не преувеличивает. Действительно, сердце школы, ее плодоносное чрево находятся здесь, в этом жужжащем механизме, заправленном бумагой и порошком и способном выдавать до двухсот копий в минуту. Стоит ксероксу сломаться (а это бывает часто, так часто, что они даже стали подозревать администрацию в саботаже) — и они как без рук, жизнь останавливается, что делать — непонятно.

— Скорее! Ужасно хочется пи́сать. Мне обязательно надо размножить это до девяти!

Он вздрогнул от неожиданности. В учительскую влетела Мари-Поль, в черных лыжных брюках, потертой кожаной куртке и свитере с зигзагами, взбивая волосы, слежавшиеся под вязаной шапочкой. Не дав Божэ опомниться, она сбросила куртку, вытащила что-то из сумки и сунула ему в руки.

— Двадцать восемь экземпляров. Пожалуйста!

И исчезла, унеслась как вихрь, хлопая по дороге дверьми. Слишком рано. Божэ еще не был готов к встрече. Ноги сделались ватными, вдруг стало холодно, очень жарко и одновременно очень холодно, как в детстве, когда он болел и его среди ночи, чтобы сбить температуру, сажали в ванну, которая казалась ему ледяной.

— Уф! — выдохнула она, вернувшись в учительскую. — Думала, лопну по дороге. Как ты провел выходные?

Она бросилась в кресло и стала подбирать все, что выпало из ее сумки: яблоко, связку ключей, пакетики с бумажными носовыми платками, розовые и желтые, как леденцы, потрепанную книгу в глянцевой обложке и еще кучу каких-то не поддающихся опознанию предметов, распихивая их как попало.

— Очень хорошо, спасибо, — отчеканил он, пытаясь сосредоточиться на работе ксерокса. — А ты?

У него не было никакого желания подробно описывать ей свои тоскливые выходные: утренняя прогулка по лесу, велосипеды девочек, которые надо тащить по каменистым дорожкам, падения, ушибы и слезы,

нескончаемый обед, стояние в пробках по пути домой. Она томно потянулась.

— А я спала.

Он дважды набрал свой код на ксероксе, прежде чем заметил, что набирает первые цифры телефона Мари-Поль. Потребность в сне у этой девушки была колоссальная. Она проводила в летаргии целые дни, приходя в сознание на считанные минуты, чтобы подкрепиться сухариками, ломтиками огурца или баночкой цацики, даже не вылезая для этого из постели.

— А тебе-то самому ничего копировать не надо? — поинтересовалась она, подходя к ксероксу.

Он весь напрягся, когда она задела его бедром. Отзвуки прошлого. После Венеции они относились друг к другу как коллеги — и только. Безупречное поведение. Самое трудное было уже позади. Впрочем, все оказалось гораздо легче, чем он ожидал. За это он должен благодарить Мари-Поль: она вела себя образцово. И потом, у них был совсем разный распорядок дня, и увидеться с ней наедине было очень сложно: это тоже сыграло свою роль, помогло разрядить обстановку. Нельзя сейчас давать слабину. Даже если от нее веет запахом теплой постели и волоски у него на щеке топорщатся от каждого прикосновения ее длинных, густых и шелковистых темных ресниц, а ее грудь прижимается к его спине, когда она наклоняется над ним, якобы разглядывая ксерокопии...

— Правда, красиво?

— Пожалуй. А что это?

Она рассмеялась:

— Не узнаешь?

На первый взгляд это напоминало натюрморт в духе Арчимбольдо: две стилизованные композиции, роскошные фрукты в вазе, которые при ближайшем рассмотрении оказались не чем иным, как органами размножения двуногих млекопитающих обоего пола.

— И ты собираешься раздать это в шестом классе?

— А почему бы и нет? Это входит в программу... Воспроизводство позвоночных животных. Урок четвертый.

— Эти апельсины, бананы... ты не находишь, что они чересчур... реалистичны? Я имею в виду, для детей такого возраста.

Она пожала плечами.

— Это другое поколение! По-моему, они знают гораздо больше, чем ты.

В голове Божэ всплыло неприятное воспоминание. Несколько недель назад он увидел в кабинете английского языка вырезанную на столе надпись: “Божэ + Брюнель = секс”. Он безуспешно попытался затереть это лаконичное сообщение, а она расхохоталась.

— “Божэ + Брюнель = секс”... А ведь это забавно! Похоже на афишу рок-группы.

Его тогда покоробила развязность Мари-Поль. Она, конечно, свободна, но он-то женат, занимает определенное положение и должен беречь репутацию. А теперь она еще раздает в классе эту картинку, открывая любопытным взглядам учеников самое сокровенное, что у них есть, превращая союз их тел в учебный материал, словно для того, чтобы подтвердить эту унизительную формулу: “Божэ + Брюнель = секс”.

— Знаешь, — сказала она, внезапно меняя тему, — я еще и в кино ходила. Смотрела русский фильм, довольно-таки нудный.

— А я уже сто лет не был в кино, — с горечью заметил он, пока она укладывала в сумку малоприличные ксерокопии. — Между прочим, я не знал, что у тебя по понедельникам есть урок в девять. Это с каких пор?

— С недавних, — зевая, ответила она. — Еле проснулась сегодня.

Она тронула полные губы указательным пальцем, придирчиво осмотрела себя в зеркале.

— Мог бы сказать, что у меня жуткий вид. Прямо бульдог какой-то.

Он отогнал вспыхнувшее воспоминание о том, какая она бывает, когда просыпается. Как может человек так регулярно и безнаказанно опаздывать? Она достала из сумки карманное зеркальце и вся ушла в созерцание своего отражения: тонкие ноздри, большой пухлогубый рот, матовая кожа брюнетки — прямо реклама минеральной воды, — живой взгляд, украдкой следящий за ним, словно в зеркале заднего вида. Что делало ее такой соблазнительной, такой неотразимо желанной?

— А, Женевьева! — воскликнул он с облегчением. (Зеркальце, звучно щелкнув, закрылось.) — Как провела выходные?

Не отвечая, вошедшая устало опустилась на диван и стала шарить в сумке в поисках сигареты. Высокая сухощавая женщина, ширококостная и угловатая, с мужеподобными, непривлекательными чертами лица. Шерстяной костюм в красную и черную клетку, пиджак, наброшенный на плечи, словно накидка, туфли с квадратными каблуками, уродливые, как ортопедическая обувь, бесформенное серое пальто, в которое она куталась, точно в одеяло.

— Хорошенькие выходные — с такими болями в пояснице! Тебя бы на мое место. Глаз не сомкнула прошлой ночью. Но пусть бы только это. Ладно, опять превозмогаю себя, совершаю неимоверное усилие, прихожу на работу. И что я здесь обнаруживаю? Собачий холод, остывшие батареи, в третьем классе у детей руки так мерзнут, что им приходится писать в варежках...

Она поднесла сигарету ко рту, рука ее демонстративно подрагивала: казалось, она жадно вдыхает целительный кислород, — а стоячий воротник блузки воинственно вздыбился вокруг шеи.

— Честное слово, у них пар изо рта идет. Похоже, класс вообще не отапливается.

— Боюсь, у нас тут не лучше, — заметил Божэ, ощупывая трубы. — Батареи просто ледяные.

Он с радостью подхватил эту тему. Ему совсем не светило оставаться наедине с Мари-Поль.

— Имей в виду, я не для того дослужилась до одиннадцатой категории, чтобы сейчас так мучиться. Возьму и уйду в долгосрочный отпуск, но работать в таких условиях не буду!

— А ты пробовала спать на доске? — некстати вмешалась Мари-Поль.

— Неужели нет? Я все перепробовала: доску, иглоукалывание, лечебный пояс, массажные матрацы, физиотерапию, уколы. Даже совсем новые методы, которые страховка не оплачивает.

Она с гримасой боли откинулась на спинку дивана, подобрав костлявые ноги. Она права, холод жуткий, подумал Божэ, тщетно подыскивая утешительные слова. Женевьева — человек сильный. Ее страдания не вызывают сочувствия — скорее раздражение. Если ее и стоило пожалеть, то не за болезнь, а за присущую ей манеру жить, какую-то особую желчную энергию, которая спасала ее от депрессии. Ее спина была лишь осью напряженности, проходившей через многочисленные болевые

точки. "Коллеж", "ксерокопии", "дирекция" — вот на самом деле позвоночный столб ее существования, и никакой доктор Лим, никакие иглы не могут его вылечить.

— А я как раз им рассказывала про северо-восток Бразилии. Такой важный материал! Так я никогда не дойду с ними до конца программы.

— Угадайте, что я видел! У Пиротона сопля примерзла к носу!

Жерар Вюрц вошел, потирая широкие, с короткими пальцами ладони, поросшие на тыльной стороне рыжими волосками. Это был маленький человечек с пушистой, как мох, бородкой, прилизанными на лбу волосами и двумя прозрачными шариками вместо глаз.

— Наверху все выстужено, — добавил он хихикая, словно сам себе рассказывал анекдот. — Хоть дрова завози.

Он преподавал технологию, предмет второстепенный, и относился ко всему с ироническим безразличием, с добродушной веселостью пригородного строителя, привыкшего возводить ненадежные стены и класть полые балки. Мари-Поль раздраженно взглянула на него. Эта бурная активность действовала ей на нервы.

— Ну, так что мы будем делать?

— Делайте что хотите, — заявила Женевьева. — Я не собираюсь работать при температуре ниже минимальной нормы, установленной профсоюзом.

— Есть такая норма? — ошеломленно спросила Мари-Поль.

Жерар тряхнул головой.

— Плюс тринадцать, цыпочка. Наш абсолютный ноль.

Мари-Поль с недовольным видом опять забралась в уютное тепло своей толстой куртки, вызвав в памяти Божэ будоражащее видение бледной, покрытой мурашками кожи.

— Час от часу не легче, — вздохнула она. — Ненавижу понедельник.

Дверь со стуком распахнулась, и в учительскую ворвался Марло, ноздри у него побелели, голос дрожал от сдерживаемой ярости.

— Могу я узнать, чья это дикая орда бесчинствует в коридорах?

— Моя, — спокойно ответила Женевьева. — Третий класс[1]. Не знаю, заметил ты или нет, но у нас не работает отопление.

— Мне некогда щупать батареи. Хотя мы даем всего-навсего "среднее" образование, некоторые тут еще заняты работой.

Грозно нахмурясь, он схватил кофейник и уставился на Божэ, словно тот был единственным достойным внимания собеседником.

— Нет, серьезно, Филипп, что у вас тут происходит? Сеанс коллективного самолечения?

— Женевьева тут ни при чем, Марло. У нас не включили отопление.

Марло пожал плечами и вытер запачканные мелом пальцы, прежде чем вытащить из жестяной коробки кофейную ложечку. Женевьева и Марло преподавали один и тот же предмет — историческую географию — и терпеть не могли друг друга. Оба были очень высокого роста и, подобно боксерам одной весовой категории, вели поединок над головами остальных. Марло вообще был опасный противник. Его голова, которая колыхалась над длинным туловищем, словно аэростат наблюдения, вдруг резко поворачивалась к собеседнику, наводясь на цель, ноздри трепетали, левая бровь поднималась. Какое-то мгновение его глаза на-

1. Во Франции счет классов ведется в обратном порядке (самый старший класс — первый).

выкате глядели на вас — и убийственная остро́та пригвождала жертву к полу, точно насекомое.

"Преподавателей много, учителей — единицы", — часто повторял он, подразумевая, что сам относится ко второй разновидности.

Узкоплечий, с громким голосом и впалой грудью, он безраздельно царил над своими учениками и больше всего любил долгие импровизации, после которых, совершенно выдохшийся и мертвенно бледный, переходил к очередному пункту в программе урока, выстроенной как оркестровая партитура.

— Ну конечно, — сказала Женевьева. — Всем известно, что ты один тут работаешь. Остальные просто развлекаются. У меня спина как у старухи, на мне четвертые классы с технологическим уклоном, сплошь трудновоспитуемые, — а я просто развлекаюсь!

Марло оставил этот выпад без внимания. Никто не равнял себя с ним. У одних он вызывал ненависть, у других восхищение. Ученики относились к нему с благоговейным обожанием, даже после окончания коллежа, обзаведясь семьями, они оставались в неформальном клубе его почитателей, присылали открытки на Новый год и фотографии упитанных розовых младенцев. Он аккуратно отвечал им, не без тщеславия называя это "гарантийным обслуживанием" и тщетно пытаясь найти в располневших, благодушных молодых мамашах со стайками детей у двери новенького коттеджа что-то общее с хрупкими подростками былых лет — моих невозвратных лет, говорил он Божэ с внезапно увлажнявшимися глазами, как будто один лишь Божэ способен был понять столь несвойственный ему прилив чувствительности.

Божэ украдкой глянул на Мари-Поль. С приходом Марло напряжение усилилось еще больше. Мари-Поль сидела, уставившись на носки своих сапожек, как-то по-детски сдвинув колени, подперев голову кулаками. "Неужели вы настоящие? — словно спрашивали ее расширенные зрачки. — Неужели вы настоящие?"

Женевьева взорвалась:

— Можешь важничать сколько угодно! Знаешь, что происходит, Жак? Сказать тебе, что происходит? Так вот: мне осточертело гробить тут здоровье, осточертел твой снисходительный тон, осточертело сражаться с ветряными мельницами! Где дирекция? Почему нас тут бросили одних? У меня третий приступ за два дня, Жак, у меня не спина, а сплошная рана. Еще год такой жизни — и в доме престарелых меня не возьмут в керамическую мастерскую!

Она выпалила это и умолкла, словно удивившись собственной ярости, а Марло глядел на нее, как сидящая на ветке птица глядит на захлебывающуюся лаем собаку.

— Ладно, — решительно сказал Жерар. — Женевьева права. Надо брать ситуацию в свои руки. Я иду в лабораторию за термометрами.

— За термометрами? — задумчиво переспросила Мари-Поль.

Он протянул к ней крепкую, точно у дантиста ладонь, взял ключ, который она протягивала ему, и положил в карман. Он прямо загорелся, пришел в страшное возбуждение от того, что может проявить активность, а Божэ с отвращением вспомнил, как этот приземистый человечек в белоснежном костюме носился по теннисному корту и с немыслимым проворством сказочного кобольда брал *все* мячи. И позднее, в раздевалке, — его взмокшее лицо в красных пятнах, окаймленное бородой, которая словно прикрывала оголенное мясо...

— Я пойду с тобой, — внезапно воспряла Женевьева. — Ты с нами, Филипп?

Колени сидевшей напротив Мари-Поль были точно два резиновых мяча. От нее исходили какие-то флюиды, он ощущал это физически, как тепло печки, и не мог от этого оторваться. Он с трудом встал и вопросительно взглянул на нее.

— Не пойду. Я бы лучше поспала.

Она зевнула, показав розовый купол языка, а Марло опустился на жесткий диван рядом с ней, и между краем брюк и носками стала видна полоска неестественно белой кожи.

— Можете идти, — негромко сказал он. — Я с ней посижу.

9 *часов*
Методика

Выбирать не приходилось, говорил себе Божэ впоследствии.

События решали за него, выстраиваясь в совершенно абсурдную цепочку. Казалось, что он сегодня не просыпался: это было продолжением его сна, ставшего еще более странным оттого, что теперь все происходило наяву.

Как во сне, некоторые подробности отсутствовали. Другие, напротив, приобретали необычайную выпуклость.

Сначала — сюрреалистическая сцена в залитых желтоватым светом коридорах, где два преподавателя средних лет вышагивали за третьим, торжественно несущим пластиковую банку из-под диабетического мороженого, в которой звякали термометры.

— Какой идиот оставил в лаборатории открытые окна? — возмущался Жерар, отчаянно сражаясь с непослушной дверцей шкафа. — Это повлияет на показания термометра!

На полках, в тесноте и беспорядке, покрытые застарелой грязью, громоздились всевозможные приборы: неисправные хронометры, грушевидные резиновые насосы, обломанные стеклянные трубки, пробирки и колбы, расставленные в деревянном штативе, как баночки с пряностями на кухне. Пришлось все это вынуть, чтобы добраться до банки с термометрами (эту свалку устроила Мари-Поль, подумал Божэ, с удовольствием прислушиваясь к пыхтению Жерара, который по плечи влез в пыльные недра шкафа, словно для того, чтобы подчеркнуть комизм происходящего).

Выйдя в коридор, они нос к носу столкнулись с Маденом, заведующим учебной частью, симпатичным, несколько рыхлым господином с мешками под слезящимися глазами: он явно не справлялся с ситуацией. Жерар едва кивнул ему и прижал к груди свой драгоценный груз, как будто это были священные символы Французской Республики, а завуч покушался остановить поступь самой Истории.

И, опять-таки как во сне, вместо Божэ двигался и действовал кто-то другой. Этот "кто-то" был он сам, Божэ даже узнавал себя, наблюдая за "кем-то" со стороны со все возрастающим чувством отчужденности.

Они останавливались перед каждой дверью, стучали, входили, не дожидаясь ответа, и вручали термометр с налепленным на него кусочком пластыря с номером.

— Извини, старик, — говорил Жерар коллеге, который расхаживал по аудитории в ботинках на меху и, пытаясь сохранить остатки педагогического достоинства, кутался в старую лыжную куртку. Затем, подняв термометр к свету, изрекал:

— Аудитория двадцать три, температура одиннадцать градусов. Идите, ребята, урок окончен.

Другие коллеги — спартанцы, как сказал бы Марло, — пытались расшевелить учеников, прильнувших к безжизненным батареям. Прервать урок? Да, работать в таких условиях практически невозможно. Но как же программа? — тихо и встревоженно спрашивали они. — Как же программа?

Понадобился целый час, чтобы обойти все коридоры, с точностью установить, где и насколько температура ниже нормы, и выпроводить во двор учеников. Началась перемена. Переполненная учительская гудела от непривычного оживления.

— Иногда, — говорила Мартина Бонамур, обутая в шнурованные ботинки на непомерно высокой платформе, — меня угнетает сознание нашей ненужности. Если бы мы работали в проблемном районе, нас бы хоть утешала мысль, что мы вырываем *их* из ужасной среды. А в нашем коллеже можно страдать разве что от долгой разлуки с телевизором, верно?

Рядом с ней Мод Лабарт (латынь и древнегреческий) соскребала с кончика ногтя остатки лака. Среди возмущавшихся были также мадам Бенедикт (математика); мадемуазель Борн (английский) в негнущемся плаще, с портфелем в руке: она разглядывала поехавшую петлю на чулке, очевидно соображая, прилично ли в таком виде идти домой; Сара Циммерман (физическая культура и спорт) в лиловом облегающем свитере и с накрашенным лицом; были еще и другие, Божэ притворялся, что не видит их, спрятавшись за дымовой завесой сигареты.

— Подведем итоги, — сказал Жерар. — По моим данным, средняя температура в здании близка к десяти градусам. Если точно — к девяти и восьми десятым. Это явно ниже нормы, установленной профсоюзом.

— А что сказано в уставе? — осторожно поинтересовался Раймон. Казначей профсоюзной ячейки, член административного совета, он за двадцать лет приобрел небезобидный опыт в урезании школьного бюджета.

— Устав? — вскинулась Женевьева. — Нам не нужен устав, чтобы понять, что мы замерзаем! Предлагаю немедленно объявить бессрочную забастовку.

Послышался одобрительный гул. Чаша терпения переполнилась, а вся ответственность пусть ляжет на дирекцию.

— Потрогай, Филипп, — сказала Мод. — Чувствуешь, у меня гусиная кожа?

Раймон шумно вздохнул и погладил шкиперскую бородку, которая придавала его лицу солидность, подобающую профсоюзному деятелю.

— Только не надо решать сгоряча, а то потом пожалеем. Повторяю, существует устав. Забастовка и временная приостановка работы — это не совсем одно и то же.

— Верно, — согласился Жерар. — Без предупреждения наша акция будет незаконной.

— Предупреждение? А что еще вы предложите? Скажите уж прямо, что ваш профсоюз пора распускать. Кстати, это будет не в первый раз...

— По-моему, людям из "Форс увриер"[1] не стоит поучать других. Что-то вы в последнее время редко боретесь за наши общие права.

— Неужели нельзя хоть на минуту подняться над политическими разногласиями? — вмешалась Мод.

— Вот так всегда! Если профсоюзная верхушка упертая и непримиримая — правые наглеют!

— Это я-то правая? — возмутилась Мод. — Просто у меня натура широкая!

— А если поставить на голосование?

— Замечательно, — сказала Женевьева, поежившись от удовольствия. — Мы словно вернулись в эпоху Венсенна и мая шестьдесят восьмого.

Динозавры, думал Божэ, пока шли выборы инициативного комитета. Динозавры, вот они кто. Скоро они вымрут, и никто не сможет объяснить, какой природный катаклизм стер их с лица земли. Было даже грустно смотреть, как они суетятся, вспоминают какие-то допотопные слова: бессрочная забастовка, резолюции, фракционные споры... Это время давно ушло. Всех их течением жизни постепенно отнесло к той самой буржуазии, против которой они боролись в юности: они брали дополнительные часы, охотились за льготными кредитами и скидками, жили в стандартных коттеджах, а летом уезжали в отпуск в Центральный массив за рулем взятого напрокат трейлера...

Впрочем, надо отдать им справедливость: они за все заплатили сполна. Все они искренне верили в свое призвание. Долгие годы делали черную работу, с миссионерским пылом шли преподавать во вспомогательные, подготовительные, вечерние классы, верили в миф о равенстве возможностей, в необходимость выработки какой-то новой педагогики, в общем, с примерным усердием подпиливали сук, на котором им теперь так неудобно сидеть.

А Божэ видел май шестьдесят восьмого через матовое стекло, из лицея в провинции, где тогда приступил к изучению древних языков. Запомнилось только, как из-за отключения электричества приходилось подниматься пешком на девятый этаж, а демонстранты ежедневно митинговали на площадке, где он обычно катался на роликах. Он стыдился этих воспоминаний, как если бы во время войны оказался слишком молод для фронта... Динозавров, по крайней мере, объединяла общая история. Они составляли поколение, малоудачное, быть может, но все же поколение. А он принадлежал к какой-то промежуточной возрастной категории, не имевшей других отличительных признаков, кроме одного: он упустил самые важные события эпохи и теперь смотрел на старших со смешанным ощущением вины и недоверия.

Он не чувствовал себя чужим среди них, нет. Только далеким, и в этом заключалась его вина — он был от них далек. Он поискал глазами Мари-Поль — и она тоже держалась поодаль, сидела, уткнувшись в журнал по дельтапланеризму, в прокуренном углу, где он увидел ее тогда, после каникул, слегка обалдевшую от первого дня занятий. Он подошел к ней, воспользовавшись положением старшего коллеги, чтобы познакомиться.

— Добрый день. Ты новый преподаватель естествознания? У тебя нет проблем с третьим "В"?

1. Одно из французских профсоюзных объединений.

Она удивленно посмотрела на него, вытирая яблоко о футболку.

— Нет, а что? Должны быть?

Он тут же выругал себя за глупость: кому он нужен со своим профессионализмом.

— Я в этом классе преподаю французский, — поспешил он объяснить, смущенно хихикнув.

— А-а! — сказала она. — Очень приятно.

И впилась зубами в глянцевое яблоко, вытерла пальцем уголки рта, а потом, видно заметив его разочарование, добавила:

— Правда, некий Максим Пиротон в коридоре пытался схватить меня за задницу. А вообще они слегка занудливые, верно?

Он пустился в долгие объяснения насчет Максима Пиротона, который был головной болью всего коллежа. Она вежливо слушала, не переставая жевать яблоко, и смотрела на него, как смотрят на занятного представителя какой-то неизвестной породы. И когда прозвенел звонок и она встала, одернув короткую летнюю юбку, он подумал, что из всех безобразий, сотворенных Пиротоном, его последний грех заслуживает наибольшего снисхождения.

— Как тебе эта черненькая? — спросил потом Марло, как будто речь шла о новой мебели в учительской. — Недурна, а?

Тогда он вынужден был признаться себе, что не запомнил ничего, кроме крутого изгиба бедер; так бывает, когда по телевизору показывают мелькающие фигуры пловчих в шапочках, а на пьедестале почета, в одежде, их потом невозможно узнать...

Вот уж кто живет реальностью, думал он, не решаясь снова заговорить с ней. Ни иллюзий, ни чувства вины. Ее поколение твердо усвоило по крайней мере один урок кризиса: не выкладываться на работе. Они относились к преподаванию как к мелкой сезонной работе — торговле купальниками на пляже или пончиками на улице, нанимались, не имея ни диплома, ни призвания, куда возьмут; они сами так недавно закончили школу, что не питали никаких иллюзий насчет системы образования и своей роли в ней. Да, они просто наемники. Но, по крайней мере, они не мучаются.

— Потеха, — сказал Марло. — Просто потеха. — До этого он молчал, хмуро наблюдая за происходящим. — Посмотри, как после этого взрыва протеста все мы выстроились в очередь за кофе... Нет, я вовсе не собираюсь предавать завоевания, так дорого доставшиеся нашим отцам. Но пока мы наслаждаемся вновь обретенным воздухом свободы, наши ученики болтаются во дворе, где температура значительно ниже профсоюзного минимума.

— Женевьева сказала бы на это, что мы не отвечаем за нехватку школьных помещений и надзирателей, — ответил Божэ, пожав плечами.

Их связывало взаимное уважение. Вначале они долго присматривались друг к другу, не решаясь сблизиться, симпатия боролась со смутным недоверием. В Марло была какая-то озадачивающая двойственность, что-то старомодное и в то же время напористое: непримиримость, жесткость, черный зонтик и высокомерие англиканского пастора, но при этом — мягкие твидовые пиджаки, проеденные молью джемпера, снисходительное эпикурейство сельского врача, рано облысевшего от близкого знакомства с человеческими страданиями...

— Божэ? Филипп Божэ? — переспросил он в первый день знакомства. — Мне попадалась эта фамилия в "Монд". Вы написали роман.

— Грех молодости, — поспешил сказать Божэ в свое оправдание. Это был его первый и единственный роман, напечатанный несколькими годами раньше. Имя издателя и тираж не были обозначены. Результат оказался незавидным. Вместо того чтобы выделить его среди коллег, книга публично доказала: он такой же, как все, рядовой учитель, который вообразил себя писателем, ему хватило упрямства закончить свой опус и хватило наглости его напечатать, выставив себя напоказ в жалком виде, как маленький мальчик, надевший костюм старшего брата.

— Ну зачем же так! — запротестовал Марло. — Если мне не изменяет память, критик вас похвалил. — И протянул ему свою большую руку: — Марло, историческая география. Мы с вами ведем один и тот же класс.

Упоминание о "Монд" сломало лед между ними. Словно тайный знак, оно давало понять, что они двое еще что-то читают, принадлежат к общей подпольной ячейке Сопротивления в безвоздушном пространстве учительской.

— Не реформы убивают образование, Филипп, — продолжал Марло, указывая на группу возбужденных коллег. — Это делают *они*. Их "критические дни", перепады настроения, истерики... Пусть мне не рассказывают о кризисе образования. То, чем мы все тут занимаемся, — профессия для брошенных жен.

— Это примитивное женоненавистничество, Марло. Если тебе здесь надоело, переведись куда-нибудь. Почему бы тебе не устроиться в лицей?

— Я там уже побывал. Слишком поздно. Я слишком старый. Я столько раз пугал учеников трудностями лицея, что теперь и сам его боюсь. И в конце концов привык к роли вечного второгодника.

Он поднес ко рту свернутый трубочкой лист бумаги и издал мрачный рев, а потом с отвращением отбросил бумагу.

— И вообще, — продолжал он, уныло засунув руки в карманы, — раньше у меня еще были моральные принципы... Эта блондиночка из выпускного класса обхаживала меня вовсю, но я не поддавался, пока не кончились экзамены, — помнишь, я тебе рассказывал... Сегодня я бы не выдержал, мне бы не хватило героизма. Я вел бы себя как волк в овечьем стаде.

Глядя на недоверчивое лицо Божэ, он разгорячился:

— Им по двадцать лет, Филипп, у них уже есть водительские права! После звонка они осаждают твой кабинет и, посасывая ручку, просят рассказать им о рисовых плантациях в дельте Ганга! Тут даже святой не устоял бы... Ты только представь себе: целый класс таких, как Мари-Поль!

Как это было бы просто, подумал Божэ. Уступить искушению, пользоваться каждым удобным случаем... Вот Марло не ведал сомнений. Когда перед ним открывалась пропасть, он сразу бросался туда, от одного приключения переходил к другому в каком-то гибельном опьянении, которое вызывало ужас у Божэ. История личной жизни Марло походила на головоломный ребус: дикие страсти, слежка друг за другом, измены, — и в результате несколько лет назад его брак распался.

Это никого не удивило: как некоторым на роду написано остаться старыми холостяками, так Марло был обречен развестись. Неутомимый соблазнитель, разменявший пятый десяток и близкий к гипертонии, — Катрин возненавидела его с первого взгляда. С безошибочной женской интуицией она угадала за его обаянием крах семейной жизни, обману-

тую женщину, чью сторону она тут же приняла, и не одобрила этой дружбы, которую, по странной женской логике, воспринимала как своего рода измену ей самой.

— Мне и одной-то Мари-Поль много, — не без горечи заметил Божэ.

Он не завидовал донжуанским подвигам Марло, где уж там! Он был слишком подчинен условностям. Все, чего он хотел, — это избавиться от мучительного чувства вины, связанного с Мари-Поль.

— Если бы я вдруг решил засесть за диссертацию по социологии, — ни с того ни с сего сказал Марло, — знаешь, какую бы я взял тему? Роль кофе в педагогическом коллективе... Не смотри на меня так. Тут правда есть о чем написать. Например, о том, как мы злоупотребляем кофе, хотя нервы у всех никуда не годятся... О том, какой был гвалт, когда дирекция предложила вместо нашей старой трескучей кофеварки поставить здесь автомат с напитками...

— Согласись, что это бы нарушило нашу уютную атмосферу.

Марло покачал головой.

— Я давно понял, что наша уютная атмосфера — просто всеобщая жалость друг к другу... А вот и снег пошел. Но почему стало тихо? Народ самовыразился до конца?

— Мы бастуем, Марло, — серьезно сказал Жерар.

Но его никто не слушал. Все повернулись к окнам и глядели на небо, откуда начали падать первые снежные хлопья, на белую беззвучную тьму, которая вдруг распахнулась над ними.

10.30
Разбор текста

— Смотри, — прошептала Мод. — Прямо как в стеклянных шариках, которыми мы играли в детстве. Странно, но первый снег всегда настраивает меня на грустный лад. Сама не знаю почему.

Она широко раскрыла глаза и крепче прижалась к Божэ.

— Когда я была маленькая и жила в Лионе, то ходила в грубых ботинках с металлическими подковками и шерстяных носках, скатанных руликом вокруг щиколотки. Я обожала ловить ртом снежинки, и они таяли у меня на языке... Конечно, это было запрещено. Нельзя же допустить, чтобы девочки принимали причастие от самого неба! Я ведь говорила тебе, что училась в монастырском пансионе?

Он обнял ее за плечи и нежно привлек к себе.

— Неужели ты думаешь, что хоть какая-нибудь подробность твоей драгоценной биографии осталась мне неизвестна?

В ответ она прильнула к нему своим хрупким, почти невесомым телом. Узкие бедра, девичья грудь, облик вечного подростка. Мод Лабарт было под пятьдесят, но ее чудесно сохранившееся тело, хотя энергия юности уже уступила место нервной взвинченности, бросало вызов времени. От легкого движения ее серьги в виде медных шариков тихо зазвенели.

— Ты же знаешь, кроме тебя, мне не с кем поговорить по душам. Здесь кругом одни хамы... Только Жак и ты. Мои придворные кавалеры.

Она отстранилась и, сморщив нос, состроила милую гримасу.

— От тебя хорошо пахнет. Сменил туалетную воду? Запах резковатый, но очень мужественный. Подожди, сейчас я угадаю... Это ведь Живанши, да? У меня безошибочный нюх на дорогие духи. Наверно, в прошлой жизни я была парфюмером.

Он не мог удержаться от улыбки. Мод так легкомысленна, так очаровательна в своем закоренелом снобизме! У нее изысканная манера одеваться — продуманное сочетание буржуазной элегантности и простоты. Дешевые вышитые блузки с длинными просторными юбками, пуловеры из шелковой пряжи и бренчащие браслеты. Часто она интересовалась его мнением: как ему нравится ее новая стрижка "каре"? К лицу ли ей новые очки? Не старит ли ее эта синяя оправа? Знаешь, милый, они от Таккини... Цена астрономическая, полное безумие с моей стороны, но что поделаешь, сейчас только итальянцы еще умеют делать очки... Серж, конечно, выбрал бы другие. Но ей нужен совет человека со вкусом. Филипп, милый, ты-то сразу все видишь. Только скажи правду... Это так ужасно: мне скоро стукнет пятьдесят! У тебя могло возникнуть впечатление, что я — доступная женщина. Но не думай, что я готова довериться кому угодно: на самом деле я очень скрытная, очень стеснительная. Так мне всегда говорил коллега моего мужа, с которым у меня был роман. Он был старше меня, но такой мягкий, такой утонченный! "Мод, — говорил он, — больше всего мне в вас нравится ваша прелестная стыдливость..." Вообще-то меня всегда привлекали зрелые мужчины... Помимо Сержа, конечно. Ты не думаешь, что, сойдясь с Сержем, я бессознательно пыталась вытеснить образ моего отца?.. Ты многого еще обо мне не знаешь. Сад моей души закрыт для всех.

Сад его души, подумал он, похож на садик при доме кюре: аккуратный, ухоженный квадратный газончик, ровные капустные грядки. А у Мод это джунгли, волшебный лес, полный фавнов и эльфов.

— Мне душно здесь, Филипп. Меня всегда пугает, когда люди сбиваются в стаю. Ты знаешь, какое у меня обостренное чувство справедливости, но почему это обязательно должно выливаться в коллективный бунт? Иногда я всерьез думаю, что хорошо бы бросить все и уехать куда-нибудь, где можно найти покой и уединение. В какой-нибудь монастырь, на гору Афон например, суровое такое место, куда люди поднимаются в корзине на тросах, чтобы размышлять и писать.

— Ты бы очень скоро спустилась обратно — за покупками.

— Ты так думаешь? — Она напряженно размышляла. — Ты бы посоветовал мне, что почитать. Сколько дивных книг я еще не прочла! Дай сигарету, пожалуйста. Как ты, при твоих семейных заботах, еще выкраиваешь время для чтения? Я иногда чувствую себя такой дурой, такой невеждой! Когда Серж смотрит кетч по телевизору, я пытаюсь читать Рене Шара. Но эти полуголые мужчины на экране, хватающие друг друга за разные места, ужасно отвлекают...

— Матильде скоро будет десять, Люси — шесть. Они уже очень самостоятельные, — возразил он, не умея выразить свою мысль точнее.

Секунду Мод смотрела на него, придвинувшись так близко, что он чувствовал, как пахнет орехами у нее изо рта.

— Что случилось, Филипп? — спросила она вдруг. — Объясни мне, что происходит. Я знаю, ты сейчас очень грустный и очень усталый.

Он вымученно улыбнулся.

— Наверно, злоупотребил сексом и тяжелыми наркотиками.

— Перестань, ты же понимаешь, что не можешь ничего от меня скрыть. Я тебя знаю как свои пять пальцев. Я, дорогой мой, читала твою книгу, а читатель я, как тебе известно, внимательный. У тебя, Филипп, в каждой строчке сквозят боль и отчаяние.

Он весь сжался. Какое она имеет право использовать книгу, чтобы лезть к нему в душу? Он вложил туда много личного, во всяком случае, достаточно, чтобы стало ясно: он не писатель. Прочтя книгу, Мод тут же пожелала составить его гороскоп, и он малодушно согласился: с тех пор он чувствовал себя нагим и беззащитным под ее острым взглядом, бесцеремонно шарившим в самых затаенных глубинах.

— Это просто поза, — объяснил он. — Кстати, сейчас я работаю над новой книгой. Увидишь, это будет вещь совсем в другом роде.

Он поглубже уселся на диване, тут же пожалев об этом признании, вызвавшем у него неприятные ассоциации. Карнак, дом с зеленой крышей, маленькая пищущая машинка, гордо стоящая на столе в саду... Рядом, растянувшись в шезлонге, прикрыв лицо большой шляпой, Катрин намазывает свою чувствительную кожу защитным кремом, жирным и плотным, как творог. Девочки, уже успевшие загореть, устраивают себе в лавровых кустах шалаш. Чудесная погода. Иногда поверх стены сада среди сосен виден проплывающий парусник с наклоненными мачтами. Даже его энергичный тесть не включает пилу в своей маленькой мастерской, ждет, пока солнце скроется за крышей дома.

Но он не написал ничего. Ни одной строчки, ни одного сколько-нибудь стóящего слова за все эти долгие часы — он вылавливал кончиком пальца букашку, залетевшую в стакан с пивом, смахивал отшелушившуюся кожу с плеча, тайком перелистывал "Мари-Клер", когда Катрин уходила на кухню... Он слышал, как она напевает, видел, как она накрывает стол под сосной, расставляет старый фамильный фаянсовый сервиз, выщербленный по краям...

— Ты скоро закончишь? — спрашивала она. — Нет-нет, не торопись. Мы подождем тебя с обедом.

Он хотел схватить ее, но она увернулась и убежала, она казалась такой юной в туфельках цвета лаванды и просторной длинной майке, развевавшейся вокруг голых ног.

— Мне надо кинуть в воду крабов, — говорила она на бегу. — Можешь пока работать. Кажется, папа собирался куда-то пойти.

Ему не хотелось писать. Ему мешала, его сковывала девичья прелесть Катрин, которая возвращалась к ней в родительском доме и делала ее такой волнующей, такой желанной, такой недосягаемой. Как сказать ей, что он хочет ее? Что ему не хватает чувственного упоения их первых лет? Он сидел перед чистым листом бумаги и с каждым днем все больше увязал в чем-то липком и прозрачном, в какой-то тягучей дреме, куда он погружался, слушая, как напевает наверху мать его детей, как девочки бегают по шуршащему гравию, — в этом мертвом штиле, в который вошла его жизнь и из которого ничто, даже эта ненаписанная книга, не сможет его вывести.

Но разве можно было так откровенничать с Мод? Дать ей такую власть над собой?

Это ужасно, Мод, сказал бы он ей. Мне скоро сорок. Сколько я еще проживу? У меня чудесная жена, две дочки с ангельскими личиками, которым, возможно, придется надевать уродливые шины для исправления зубов и которые тайком красят ногти на ногах. Долгое время я думал,

что эта обычная судьба, выпавшая мне на долю, и есть счастье. Что же со мной происходит? Я будто смотрю на самого себя сквозь стекло, как на почте, я безумно устал... Может быть, это и есть боль, о которой ты говоришь?

— Все художники несчастны по определению, Филипп, ты ведь и сам это знаешь. Несчастны и неудачно женаты. Вспомни Бодлера, Верлена... Ты бы не писал, если бы был счастлив.

— Я не художник, Мод, и в этом твоя ошибка. Я просто учитель, как ты, как Марло.

— Но ты создан для большего, дорогой мой. Дело вот в чем: ты не осмеливаешься рассказать о том, что ты чувствуешь. Я тоже через это прошла: от нашего иудео-христианского воспитания никуда не денешься. Я знаю, о чем говорю, ведь я росла среди монахинь. Всякий раз, как я изменяла Лабарту, я была влюблена в него больше, чем когда-либо. Если Катрин любит тебя, она все поймет: поймет, что тебе нужна свобода, без которой ты не можешь творить, и что потом ты вернешься к ней духовно обогащенным и окрепшим.

Она называла бывшего мужа по фамилии, словно отрекаясь от их совместного прошлого. Божэ покачал головой.

— У Катрин замечательное чувство юмора, но только не тогда, когда речь идет о нас с ней, — пояснил он, в то время как в поле его зрения бесшумно вплыли длинные ноги Мари-Поль.

Мод покачала головой.

— Она боится тебя потерять, дружище. Все женщины знают, что нельзя удержать мужчину против его воли. Я сразу поняла это, когда жила с Лабартом. Я страдала, конечно, — и Катрин будет страдать, — но я давала ему свободу.

Она машинально тронула едва заметный след, оставленный на ее пальце обручальным кольцом, и выпустила облачко табачного дыма.

— А кстати, я тебе рассказала или нет, что было у нас с Сержем позавчера вечером? Это забавно! Он смотрел кетч по телевизору. Ну, и кончилось все как обычно... И в тот самый момент, когда он уже должен был меня осчастливить, я вдруг вижу: Констанс, моя ангорская кошка, сидит и смотрит на нас в упор! Хочешь верь, хочешь нет, но я не смогла... Увы. Во мне как будто повернули выключатель. Представь, какая была драма. Бедный Серж! Он ведь смотрит кетч только для того, чтобы убедиться в собственной мужественности.

Именно такой она ему нравилась: с частой сменой настроений, легкомысленная, стремительно переходящая от темы к теме, словно ватный шарик, который перекатывается даже от легкого дуновения.

Она взяла его за руку:

— Видишь, что делается? Мне пришлось показаться тебе нагишом, чтобы заставить тебя улыбнуться. Ну ничего. Ты смеешься, это главное.

А снег за окном все падал и падал, голубой и нереальный. Он потрогал свой лоб: горячий, а ноги — ледяные. Может быть, у него просто поднялась температура... Все вокруг точно заволоклось туманом, затихло и странным образом потеряло смысл. От слов Мод перед ним опять выросла стеклянная стена.

Среди близких он чувствовал себя растерянным, отупевшим, неприкаянным, как посетитель музея, попавший в группу японских туристов. Во время работы он еще держался. У него еще хватало сил развести пары, и механизм привычно делал свое дело, марионетка сама дергала за

ниточки. Правда, он уходил из коллежа с ощущением пустоты, в том полусонном состоянии, какое бывает после целого дня, прожитого на автопилоте. Ни топот в коридорах после уроков, ни уличный шум не могли его пробудить до конца: он возвращался домой, снова видел Катрин и детей, свой домашний мирок, все такой же неизменный и застывший и в то же время неузнаваемый, существующий где-то рядом, но помимо него, как сон.

Иногда он просыпался бодрым и энергичным, в ладу с самим собой. Кризис был позади. Но назавтра незаметно подкрадывался снова, и снова приходилось барахтаться в паутине призрачного существования, среди правил грамматики, уклончивых местоимений, бесплотных фигур, совершающих бесцельные кульбиты в виртуальном и невесомом мире синтаксиса. На сей раз была виновата Мод. Она наседала на него, лезла в душу. А он оказывался безоружным перед ее наскоками.

— Не вникай в наши мелкие дрязги, — часто говорила она. — Ты на голову выше всего этого, пожалей свое время.

Она поддерживала в нем иллюзию, будто он не такой, как остальные, и оказался в учительской не по своей воле, а по ошибке судьбы. Она понимала его тоску по другой жизни и избавляла от укоров совести, поощряя склонность жалеть себя и винить окружающих (Катрин и детей) в том, что его супружеская, его личная жизнь въехала в глубокую колею, из которой уже нельзя выбраться.

Но существовала Мари-Поль. И Мари-Поль не была иллюзией. Возможно, она была не причиной, а лишь симптомом его душевного разлада. Но симптомом из плоти и крови, крупным фрагментом реальности, который не мог развеяться, подобно сну или астрологическим наваждениям Мод.

Неужели они оба всерьез поверили, что смогут соблюсти уговор? Смогут держаться на расстоянии друг от друга, как было решено после Венеции? Она вела себя героически. Ни шантажа, ни угроз. Никаких сцен. Она приняла его условия, слишком легко подчинилась строгим правилам, какие отныне должны были регулировать их отношения: встречаться только в коллеже, в рамках расписания, в присутствии коллег, которые будут разделять их, как меч, лежавший между Джиневрой и Ланселотом; при встречах выказывать полное безразличие, остерегаясь учеников с их любопытными взглядами. Она на все согласилась и до сих пор старательно (чересчур старательно, как ему теперь казалось) все выполняла. Женское чутье подсказывало ей, что ее старания сводят на нет эти дурацкие предосторожности, что каждая преграда между ними только еще больше разжигает желание, которое он стремится затушить.

Ну-ну, брось, сказал он себе, пытаясь взбодриться. После Венеции он потратил столько сил. И решил, что выздоровел, хотя на самом деле лишь успокоился. А теперь достаточно было аварии с отоплением, чтобы у него внутри тоже что-то сломалось и он почувствовал себя бессильным и беззащитным.

— Здесь как в холодильнике, — сказала Мари-Поль, скользнув к нему. — Мне скучно. Пойду приберусь в кабинете естествознания. Если только ты не поведешь меня сейчас же куда-нибудь выпить кофе.

Он испуганно огляделся, и она, заметив это, сменила угол прицела:

— Ну ладно, как хочешь. Тогда пообедаем вместе. В "Привале", в двенадцать.

Это было не приглашение, а приказ, выражавший деспотическое желание, которому немыслимо было воспротивиться. Не дожидаясь ответа, она развернулась на каблуках и удалилась прочь скучающей походкой балерины.

Дополнения к программе: Культурные мероприятия

ЗАЯВКА НА ШКОЛЬНУЮ ЭКСКУРСИЮ

Место назначения: Венеция (Италия)
Время поездки: 8–16 ноября
Руководитель: Марло Жак, преподаватель исторической географии
Класс(ы): четвертый "А" – четвертый "Е"
Тема экскурсии: изучение итальянского Ренессанса, осмотр исторических и культурных памятников города.

– Давай поровну, – предложил Марло, когда они заполняли графу "Сопровождающие". – Двое мужчин и две женщины. Я бы взял туда Сару Циммерман. Нам нужна мамочка, а дети ее обожают. Она будет лечить им болячки и утешать их в любовных страданиях.

Они ее взяли – и не пожалели. Сара оказалась на высоте, особенно когда в поезде, в два часа ночи, у Сабины Журдан начались первые в жизни месячные. Впрочем, серьезных осложнений в дороге не было: несколько раз пришлось применить силу в купе для мальчиков, у кого-то случился приступ тоски, а еще маленькую Магали Леген укачало, и пришлось срочно подставить ей чей-то пластиковый пакет.

И все это время Мари-Поль крепко спала, свернувшись калачиком на верхней полке и уткнувшись носом в сгиб локтя. Ни беготня по вагону, ни явление швейцарских таможенников в Домодоссоле, когда Марло в одних носках повсюду искал чей-то неведомо куда девшийся паспорт, не могли нарушить этот безмятежный сон.

И на следующую ночь, когда Божэ и Марло мерили шагами потертый ковер в холле отеля "Карпаччо", дешевого заведения, окнами выходившего на шумную террасу пиццерии, Мари-Поль опять сладко спала, возложив на них двоих выполнение полицейских функций.

– Да что они, эти девчонки, взбесились, что ли? Последний раз еду с ними! – ярился Марло, заняв сторожевой пост на стратегически важной площадке четвертого этажа.

В свете голых лампочек его лицо поражало восковой бледностью, щеки ввалились после двух бессонных ночей.

– Кажется, они утихомирились, – заметил Божэ. – Может, спать пойдем?

Марло пробурчал что-то о проценте беременных учениц в каждом учебном заведении и о вредном влиянии южного климата на молодых учительниц. К черту! Пускай сами за себя отвечают: он им не нянька, в конце концов.

В номере он аккуратно сложил брюки, затем, позевывая, намазал пальцы ног кремом-дезодорантом.

— Что за блестящая мысль взять сюда Мари-Поль, — сказал он. — Ей, наверно, доктор снотворное прописал?

Божэ осторожно влез под слишком короткое для него одеяло, а потом напомнил Марло, что тот сам предложил кандидатуру Мари-Поль, утверждая, будто вид этой брюнетки окажет освежающее воздействие после бесконечных мадонн и белокурых красавиц Кватроченто. Марло вообще рассматривал молодых преподавательниц как дичь в своих охотничьих угодьях, словно их присылали в коллеж специально для него.

За ночь его раздражение улеглось. Марло был прирожденный лидер: если уж он затеял эту поездку, то никому не уступит своего места.

На следующий день, зоркий и решительный, он повел свои войска форсированным маршем по лабиринтам Венеции, прижимая к груди путеводитель, уверенно указывая зонтом нужное направление, похожий на пастора, бодрым шагом пересекающего свой приход.

Божэ оказался на вторых ролях, он подгонял отстающих и, отыскивая заблудившихся, сам терялся в закоулках.

— Мы никогда не найдем нашу гостиницу, месье Божэ, — хныкала маленькая Журдан. Он изображал полное спокойствие и нервно перелистывал разлохмаченный план. Неужели могло показаться, что он заблудился? Ведь они находятся примерно здесь, гостиница должна быть совсем недалеко.

Но тут толпа туристов увлекла их за собой, и они оказались на маленькой площади, где Марло, стоя на закраине мраморного колодца, отчитывал своих подопечных, выстроившихся на фоне обветшалого, изъеденного сыростью палаццо.

— Неужели вы не можете держать себя в руках, Ледантек? Не для того ваши родители потратились на эту экскурсию, чтобы вы тут валялись в голубином помете! Выспались бы прошлой ночью — не клевали бы сейчас носом.

— Может быть, не стоит водить их в музей Академии? — предложил Божэ на третий день, когда его изрядно потрепанное и обессилевшее воинство собралось на церковной паперти.

Его ученики и в самом деле все больше и больше походили на разбитую и отступающую армию. Вдалеке, героически продолжая экскурсионную программу, ученики Марло и Сары взяли штурмом вапоретто[1] и теперь исчезали в ослепительных бликах на глади Большого канала.

— Ты главный — ты и решай, — кисло заметила Мари-Поль.

Состояние его ног, натертых ремешками сандалий, подсказало единственно верное решение: все свободны. Группа школьников разлетелась, точно стая воробьев, и они уселись вдвоем на террасе кафе, под открытым небом. Благодаря этому акту малодушия для них словно настали каникулы, Марло был далеко, и Божэ, в начале знакомства с Мари-Поль показавший себя сухарем, теперь мог исправить это впечатление.

Назавтра, в Мурано, они опять решили расслабиться и посидеть на солнышке возле пристани, пока их ученики совершают набег на мастерские стеклодувов.

"Мурано: знакомство с древним народным промыслом" — так обозначил Марло программу этого дня в заявке.

1. Рейсовый катер в Венеции.

— Тошнит меня от этого острова, — сказала Мари-Поль. — Он мне напоминает родительскую квартиру. На телевизоре лежали салфетки, вязанные крючком, на них стояли базальтовые пепельницы, а еще маленькие стеклянные лошадки и дельфин. У нас там даже была испанская танцовщица в газовой юбочке с оборками и ракушками вместо кастаньет. Помню, мама давала мне монетку за то, что я вытирала с них пыль.

— У мальчиков вкус лучше, — заметил Божэ. — Ты видела? Они все купили себе выкидные ножики. Иногда мне кажется, что мы сильно преувеличиваем образовательную значимость школьных экскурсий.

Мягкий воздух, солнце, нагревавшее столики, сделали его легким и раскованным. С тех пор как накануне они замотали первый пункт программы Марло, у школьной экскурсии появился новый смысл: Мари-Поль и ее зеркальные очки, висящие на шее на пестром шнурке. Мари-Поль и ее эластичная майка с высоким воротом, открывающая плечи и обтягивающая бюст. Мари-Поль и ее крепкое, упругое тело, ее короткие и круглые, как у девочки, ногти, ее звучный смех.

Каждая из этих деталей в отдельности не позволяла считать ее красивой. Но вместе они складывались в некий неизвестный ему ранее тип, новую породу, которую он не мог определить и на которую смотрел с удивлением и любопытством. Исходя из своего небогатого опыта общения с женщинами, он давал ей не вполне корректное определение — *студентка,* то есть существо, занимающее промежуточное положение между Катрин и его старшими ученицами. Со школьницами ее сближали экстравагантная манера одеваться, резковатые манеры и беззаботный аморализм. С Катрин — принадлежность к миру взрослых, рост чуть выше среднего и тело, вполне развитое тело женщины, а не девочки переходного возраста. Однако между ними не было ни малейшего внешнего сходства. Катрин была красива — настоящей, классической красотой. Она относилась к своему телу так же, как к своей квартире: казалось, она его арендует, настороженно присматривается к соседям, заботливо и умело ухаживает за ним, словно однажды ей придется возвратить его в наилучшем состоянии. Легкая косметика, никаких сигарет, минимум сахара, восемь часов сна, долгие воскресные прогулки на свежем воздухе, чтобы проветрить засоренные за неделю легкие. Такими же были и все ее подруги: молодые, но уже с детьми, энергичные, элегантные, у каждой свой счет в банке и собственная машина — маленькая, быстрая, с закругленным забавным силуэтом и детскими креслицами. Они вместе ходили по магазинам во время весенней распродажи, приглашали на детские дни рождения целую толпу ребятни, раз в год сдавали мазок и говорили о сексе только после визита к гинекологу.

Глядя на Мари-Поль, Божэ чувствовал себя как мальчик, от которого до совершеннолетия скрывали существование не вписавшейся в семью кузины, непосредственной, лишенной комплексов, одевавшейся у старьевщиков с Центрального рынка и вместо сумки носившей матросский вещмешок с кучей прокладок и бумажных носовых платков. Мари-Поль с ее невинным взглядом, длинными пушистыми ресницами, изящным и благородным носом, изумительным цветом лица, какой не может дать косметика, в мире Божэ сошла бы за обольстительную гостиничную воровку в обтягивающем трико, которая карабкается по водосточным трубам и которую всякая порядочная супруга боится в один прекрасный день обнаружить в своей спальне. Ее манера покусывать губы, словно проверяя спелость плода, отбрасывать непокорные пряди волос, выги-

бать затекшую спину, вставая со стула в кафе, была слишком явно, слишком откровенно сексуальна. Цветущие формы, матовая кожа, способность невозмутимо выдерживать пристальный взгляд — все выдавало в ней страстную, жадную до наслаждений натуру, отсутствие тормозов, необузданную чувственность. Это не могло не настораживать Божэ, поскольку шло вразрез с его несколько консервативными и слащавыми представлениями о женственности.

Было забавно слоняться по городу с такой девушкой, как Мари-Поль.Она напоминала муз его юности из Эколь нормаль с их развевающимися волосами, индийскими шарфами и длинными тонкими ногами, амазонок в черных кожаных куртках, тощих, как уличные кошки, выходивших по утрам от студентов, которые готовились к экзамену по философии, немыслимых подружек его друзей, — все это было задолго до эры стерилизаторов для бутылочек и растяжек на коже после родов. Ему льстило, что он еще мог вызвать интерес у такой девушки: это был сговор против природы, приятное напоминание о прошлом — под расслабляющим воздействием южного климата, сказал бы Марло, — и каникулы, которые он устроил себе на островке с темно-желтыми и розовыми домами, пока его ученики флиртовали у каналов и скупали в лавках стеклянные свистульки — массовую продукцию древнего народного промысла.

Но кто она, в сущности? Она мало говорила о себе, будучи слишком независимой, чтобы ощущать связь с какой-либо историей, даже со своей собственной. Она просто жила — и все. Она всегда была сама по себе, одиночка. Ее детство прошло в горах, родители держали магазин для горнолыжников. Потом была школа в Гренобле, год учебы на медицинском факультете в Париже, потом — экзамен на преподавателя естествознания. Париж — единственный город на свете, где можно жить. Пять миллионов возможностей в секунду. В провинциальной тиши она задыхалась. Ей хорошо только в муравейнике. Она теряет почву под ногами, если вблизи не пахнет катастрофой: периодически эта воительница впадала в длительную спячку, и тогда для нее больше ничего не существовало, она создавала вокруг себя вакуум, отключалась, воздвигала непроницаемую перегородку между миром и собой. Она страдала, если чувствовала чье-то присутствие ближе чем в километре от себя. Уроки превращались в пытку. Даже книги оказывались в роли непрошеных гостей. В сущности, Божэ повезло: она только что вышла из такого кризисного периода, сама еще толком не зная, кончился он или нет.

— Я видел у тебя книгу Стефана Цвейга, — заметил он.

— Ну да. Я много читаю. Витгенштейна, японскую поэзию, романы Филиппа Соллерса, Фернандо Пессоа, Пинчона, Джона Фанте, Табукки. Все, что под руку попадется. Странно, правда? Ведь считается, что грудастые девушки — все идиотки. Ну как, я выдержала экзамен?

— Я просто так спросил, из любопытства.

— Когда я только приехала в Париж, я жила с одним типом вроде тебя, студентом-филологом: придя ко мне в первый раз, он стал изучать мои книги, как будто хотел выяснить, стоит ему оставаться или нет.

— И что, остался?

— Да, но ненадолго: знаешь, это как с книгами — не выношу, когда мне скучно... А ты? Нет-нет, молчи, сейчас я угадаю. Тебе больше подходит Витгенштейн, чем японская поэзия. Ты любитель интеллектуальной литературы. Так или нет?

— "Весеннее утро", "Вечерний ветерок", — произнес он нараспев. — Вообще-то я давно подозревал, что вся эта поэзия — скрытая реклама дезодорантов.

Потом все плыли обратно, Марло гордо воздвигся на палубе и стал рассуждать о геоморфологической эволюции венецианской лагуны, а они вдвоем ушли на корму. Ветер дул в затылок Мари-Поль, заставляя ее поминутно отбрасывать волосы назад.

— Я ни с кем не могла долго ужиться. Я люблю напряженные моменты, короткие и яркие приключения. Проходит первая неделя — и я уже умираю от скуки. Как будто жую потерявшую вкус резинку.

Он качал головой, глядя, как она неторопливо отстраняет пряди волос, упавшие на солнечные очки. В стеклах очков отражалось его лицо, оно двоилось и вытягивалось, словно в кривом зеркале комнаты смеха.

— У моего приятеля есть теория на этот счет, — продолжала она. — Он говорит, что когда два человека живут вместе, они пожирают друг друга и в конце концов взаимоуничтожаются. Он называет это любовным каннибализмом.

— Я читал одну книжку про пассажиров самолета, упавшего в Гималаях. Они съели друг друга. Может быть, там были супружеские пары?

— Этот мой приятель, массажист, — поклонник теории трансактного анализа[1]. У каждого из нас есть три модели поведения. И в зависимости от обстоятельств мы выбираем одну из них. На самом деле все это гораздо сложнее. Я излагаю в общих чертах.

— Знаю, знаю. Взрослый, Ребенок, Отец, — отозвался он, пытаясь понять, какую из трех ролей играет в эти дни.

Может быть, говоря о постоянных партнерах, пожирающих друг друга, Мари-Поль намекала на него? В его союзе с Катрин роль Взрослого играла она, такая рассудительная, уравновешенная. Может быть, за пятнадцать лет они истощили, обескровили друг друга в гималайской пустыне супружества?

Он попытался отогнать от себя неприятное воспоминание о том, как он в первый вечер в купе показал коллегам фотографию Катрин с детьми. Сара, конечно, с жадностью накинулась на нее. А Мари-Поль передала ее дальше, без единого слова, едва удостоив взглядом, и это молчание низвело Божэ до статуса потерявшей вкус жевательной резинки: он тут же пожалел, что выставил на всеобщее обозрение это доказательство супружеской верности.

Что за муха укусила его тогда? Между ним и Мари-Поль не было никаких особых отношений. От чего он хотел оградить себя?

Внезапно он почувствовал, как на него навалилась накопившаяся за день усталость. Они замолкли и до самой пристани не произнесли ни слова. В сумерках, опустившихся над лагуной, он увидел в очках Мари-Поль свое удручающее отражение: немолодой уже мужчина с лысеющим лбом, образцовый муж с рекламы лосьона для волос, какую он видел в детстве в парикмахерских — вот в кого он превратился, сам того не заметив.

Когда он вернулся к себе в номер, там уже был Марло. От морского воздуха его лицо посвежело, волоски в ноздрях завились и стали похожи на два клыка: он придержал ногой дверь, чтобы не дать Божэ войти.

1. Метод психотерапии, разработанный американским психологом Э. Берном (1910–1970), в котором отношения людей друг с другом сводятся к нескольким определенным схемам.

— В двадцать первом номере не работает душ, — объяснил он, — и я предложил Мари-Поль воспользоваться нашим. Кстати, ты уже купил подарок Катрин?

И Божэ ушел, с трудом волоча ноги. От наступившей темноты, усталости, безлюдных улочек возникала мысль о ссылке. Он слонялся вокруг гостиницы, все больше раздражаясь и завистливо поглядывая на освещенные окна. Конечно, Марло его друг, но ведь обидно, когда тебя так бесцеремонно выпроваживают из собственного номера. Марло может делать с Мари-Поль что угодно: оба они свободные люди, без привязанностей, без семьи. Но там, на острове, между нею и Божэ возникла доверительная близость, а теперь ее расположением воспользовался другой. Марло уронил себя в его глазах. Как-никак это организатор и руководитель экскурсии, их гид и наставник. Ему бы следовало помнить о своей моральной ответственности. Вокруг дети, чистые, впечатлительные юные души. Они взяли на себя священную миссию. Что ни говори, а школьная экскурсия — неподходящее место для сексуальных упражнений.

Он облокотился о перила моста Риальто, наблюдая, как блики света играют на волнах канала. Прошел вапоретто, такой нагруженный, что вода почти доставала до палубы.

И тут он заметил Марло. Вернее, силуэт, напоминающий Марло, — зажатую в толпе пассажиров худую, долговязую фигуру, которая в то же мгновение исчезла под аркой моста, держа зонт на плече, словно ружье.

Он ничего не понимал. Бегом вернувшись в гостиницу, он обнаружил на доске ключ от номера, сломя голову взбежал по лестнице — в номере никого не было. Тогда он спустился в двадцать первый, приложил ухо к двери и услышал ровное гудение фена для волос. Сердце бешено колотилось, пот заливал глаза. Положительно, он был смешон.

Вечером они с Марло и ребятами долго гуляли, дошли до Арсенала. Отражение луны в лагуне напоминало оперную декорацию. Возвращались кружным путем, по темным улочкам, несколько раз останавливались, чтобы купить мороженое. Марло добился своего: устав от многочасового марша, дети безропотно улеглись спать.

— Первый спокойный вечер, — вздохнул он, тяжело опускаясь в полотняное кресло в баре. — До утра нас не потревожат. Может быть, воспользуемся этим и пропустим по стаканчику? Филипп, сходи за Мари-Поль. Скажи, что Сара нас приглашает.

Все произошло очень быстро. Нет смысла искать виноватых: это было простое стечение обстоятельств. Божэ ничего не хотел, ничего не планировал. Это случилось, вот и все. Одно из тех недоразумений, какие нельзя исключить заранее, неверный шаг, какой совершает человек под влиянием непривычной обстановки. Ему не в чем себя упрекнуть.

Он тихо постучал в дверь двадцать первого номера. Ему открыла Мари-Поль, без чулок, в длинной полосатой мужской рубашке до колен.

— Входи, — сказала она, неправильно истолковав его замешательство. — Входи, не будь идиотом.

Она обхватила рукой его шею, зацепила его язык своим и, едва не задушив, потащила его к кровати. Он опрокинулся на спину, она стиснула его ляжками и так крепко прижалась ртом к его губам, что он был не в состоянии поднять голову, не в состоянии сопротивляться этому бешеному напору, не мог даже высвободить руку, чтобы отстранить ее. Изголовье кровати трещало, на миг ему показалось, что она сейчас поднимет

ноги к потолку, словно цирковой акробат, делающий стойку на голове партнера.

Несмотря на неудобную позу, он и ахнуть не успел, как оказался голым, и они сплелись в бурном объятии, которое из-за их нетерпения завершилось слишком быстро.

Он высвободился, подскочил к двери и повернул ключ в замке.

— Дети, — пояснил он.

Его одежда валялась на полу. Она смотрела на него, лежа в кровати, и было непонятно, что вызвало у нее усмешку: эта его запоздалая предосторожность или белизна незагорелого тела. Он судорожными прыжками добрался до кровати, пытаясь сохранить достоинство, насколько это позволяла жалкая штуковина, болтавшаяся между ног.

Она сорвала простыню, которой он пытался прикрыться.

— Чего ты стесняешься?

— В кино в такие моменты тушат свет, — ответил он с напускной развязностью, потянувшись к выключателю.

— Но мы же не в кино. Ты настоящий, я настоящая. Разве вот это не настоящее?

Ее манера заниматься любовью вызывала у Божэ почти панику, в нем пробуждалась жизненная сила, какой он не чувствовал уже давно. Любопытная вещь: ему показалось, что впервые в жизни он занимается любовью *с кем-то*, лежит в постели с другим человеческим существом. Катрин отдавалась ему, покорялась его желаниям словно бы с удивлением, и потому их близость была похожа на постоянно повторяющееся насилие. После объятий она любила поговорить, секс был лишь краткой минутой греховного опьянения, от которого следовало очнуться как можно скорее, смыв его остатки потоком слов. Когда волнение проходило, она снова окутывалась пушистым покровом любви и уютно устраивалась, выбросив из головы свои недавние слова и движения. В сущности, ведь ничего не случилось. Какая-то — не самая лучшая — часть ее натуры уступила настояниям мужа, всего лишь выразив таким способом всю силу чувств, которые испытывала к нему другая, более благородная часть. Хотя это действовововало возбуждающе (словно лихие гусары на конях врываются в русскую избу, полную белотелых девиц), у Божэ потом оставалось смутное ощущение обиды, как если бы Катрин на вершине страсти вдруг встала и пошла варить кофе, подсунув ему вместо себя теплую куклу.

Может быть, все дело было в недостатке опыта. После пятнадцати лет незапятнанной супружеской верности снова превращаешься в девственника. На стенах с пожелтевшими обоями отражалась его странная возня с представительницей другого пола, существом, которое еще несколько часов назад было ему совсем чужим, незнакомкой, чьей руки он ни разу не успел коснуться и которая теперь прижималась животом к его животу так властно, как будто хотела нагнать упущенное время.

Она занималась любовью с какой-то грубой, животной энергией, направляла его движения, требовала в ответ такого же неистовства. Чувств это не затрагивало. Они схватились врукопашную, словно соревнуясь, кто доставит другому больше удовольствия. Неужели это та молодая женщина, которая на катере, закрывая глаза, подставляла лицо вечернему солнцу? Она стащила с себя рубашку и бросила за спину, без всяких ужимок, без притворной скромности избавляясь от лишней

одежды, как пловчиха на краю бассейна. Она не отдавалась: раздевшись, она оказывалась в боевых доспехах, спрятанных до поры под маскарадной ветошью. Теперь посмотрим, кто кого, словно говорила белизна ее кожи в ярком свете лампы. Посмотрим, на что мы способны.

Божэ пошел в атаку во второй раз, поражаясь новым качествам, какие открывала в нем Мари-Поль: казалось, все это делает не он, а другой мужчина, порожденный ее желанием. Что-то магнетическое исходило от нее, от треугольника волос между бедрами, необычайно черного, курчавого, шелковистого на ощупь, от ее плоского живота, округлых ягодиц. Все это странно контрастировало с ее общим обликом: как будто на гармонично развитом, отточенном аэробикой теле современной женщины сохранились атавистические признаки. Кончики ее грудей были похожи на жженую резину — казалось, это не женская плоть, а воинственные эмблемы: вся суровая, агрессивная женственность сосредоточилась в этих знаках принадлежности к роду Евы.

Потом он лежал на животе, распластав руки, обремененный лишь тяжестью собственного тела. Он начинал верить в теорию о любовном каннибализме. Провести час с Мари-Поль значило превратиться в выжатый лимон. А жизнь с ней, вероятно, напоминает опыты выживания в экстремальных условиях, которые показывают по телевизору: истощенные, обросшие щетиной люди прячутся от снежной бури в полиэстровых палатках.

— Тебе было хорошо? — с трудом выговорил он.

Она потянулась.

— Угадай. Вариантов два: аплодисменты или смех.

— Странно...

— Что странно?

— Что я здесь. Что это я. То есть я думал, что Марло и ты... Глупо с моей стороны.

Она расхохоталась.

— Марло? Это невозможно. Мы с ним слишком похожи. Мы бы сожрали друг друга.

— А я? Почему я?

— Потому, что ты не такой, как он. Я всегда обожала мужчин, которые сажают пятна на галстук и проливают на меня вино.

— Очень лестно слышать, — заметил он, усаживаясь на кровати. — Значит, вот как ты меня воспринимаешь?

— Ты забавный. Ничего не могу с собой поделать: люблю мужчин, которые меня смешат. Если ты захочешь заплатить в кафе, у тебя обязательно не окажется мелочи, если ты заденешь рукой мою грудь, беря у меня чемодан, ты обязательно покраснеешь, — мне это нравится. Когда я хочу мужчину, он должен стать моим, особенно если он ждет три дня, прежде чем решиться.

В ванной он посмотрел на себя в зеркало. Волосы взлохмачены, грудь впалая, тоненькая полоска темных волос спускается до лобка. Неужели это о нем она говорила? И с самого отъезда из Парижа ждала, когда он ляжет к ней в постель?

— Не знаю, как к этому отнестись, — сказал он, взяв стаканчик для чистки зубов, прислонился к дверной притолоке и стал разглядывать ее.

Удивительно. Как она могла желать его, именно его, и как он мог этого не заметить? И почему она? Это был совсем не его тип женщины. Слишком яркая, слишком вызывающая. Ему нравилась более традици-

онная красота, обаятельное сочетание мягкости и утонченности. Как, например, у Катрин. Мари-Поль была совсем другая. Поэтому он и не заметил опасности.

Она одобрительно кивнула.

— Очень элегантно.

— Что?

— Твои бордовые носки.

Он взглянул на ноги. Сгоряча он не заметил, что остался в носках. Старых изношенных носках, из которых торчал большой палец, окрасившийся черным от замшевых туфель. Он испуганно схватил брюки и заслонился ими. Впервые в жизни он очутился голым перед коллегой, а ведь он даже ногти на ногах не остриг.

— Я думал, у тебя в номере воды нет, — удивился он, глядя на мутноватое содержимое стаканчика.

— Ты что, не понял? Нет, ты правда какой-то особенный...

Он залпом осушил стакан, словно желая уничтожить компрометирующую улику. А что он должен был понять?

— Теперь уходи. Я еще не настолько очухалась, чтобы оставить кого-то у себя в постели.

Он наспех оделся, запихнув трусы в карман.

— Ты ведь не рассердился, правда?

Он покачал головой. Хорошо, что она его выставляет. Несмотря на то что произошло между ними, спать с ней в одной постели казалось ему чем-то слишком интимным, почти неприличным. Он убегал от нее, как вор, и, перед тем как выйти, потушил ужасную лампу на тумбочке, чей уныло поникший абажур напоминал его собственное состояние.

Он повернулся к темному пятну на постели, с трудом подыскивая слова.

— Ладно. Тогда до завтра.

— До завтра.

Она произнесла это едва слышным шепотом. Широко раскрыв глаза, подобрав под себя колени, прижимая к животу подушку, она ждала, когда он уйдет. Ее тело, сжавшееся в комок, вновь становилось только ее телом, она понемногу возвращалась к себе, погружалась в темные глубины, где никогда не будет места ни ему, ни кому-либо другому.

Он открыл дверь, выглянул в безлюдный коридор: надо было убедиться, что путь свободен. Тусклые лампы окрашивали стены синеватым больничным светом. Марло спал, безмятежно похрапывая. Он ощупью добрался ло кровати, не раздеваясь юркнул под прохладное одеяло. У него ныли суставы. Как будто его несколько часов перекатывали по камням волны прибоя. Последней волной его унесло, и он камнем пошел на дно.

Утром Марло устроил ему сцену. Накануне он весь вечер проскучал в обществе Сары Циммерман, которая рассуждала о китайской астрологии и биоэнергетике. Божэ бессовестно бросил его.

— Надеюсь, дело по крайней мере того стоило, — сухо заметил он, заливая мюсли теплым молоком.

Мари-Поль спустилась к завтраку последней.

— Только не втягивайте меня в разговор, — предупредила она. — Я сейчас могу убить.

— Очень страшно, — учтиво сказал Марло, подвинувшись, чтобы дать ей сесть.

Губы у нее были сухие и припухшие, глаза превратились в две узенькие щелочки. Божэ сосредоточенно склонился над обезжиренным йогуртом.

— Я спала ужасно, — простонала Сара. — Жак заставил меня слишком много выпить. Такое впечатление, будто всю ночь над головой шла потасовка. Я сказала что-то смешное? — добавила она, увидев, что Марло чуть не подавился от смеха.

Она повернулась к Божэ:

— Филипп, я правда сказала что-то смешное?

— Нет-нет, дорогая, — возразил Марло, похлопывая ее по руке. — Просто я вспомнил наш вчерашний разговор. Что ты улавливаешь биоволны, исходящие от людей. Это очень ценное свойство. Вот, например, было бы интересно узнать, какая сегодня аура у Мари-Поль?

— Марло, ну пожалуйста, — вмешался Божэ.

Сара сощурилась.

— Трудно сказать. Я ничего не вижу. Только какой-то размытый ореол молочно-белого цвета.

— Должно быть, это граппа на тебя действует: ты в неважной форме. Сара объясняла мне, что аура у нас у всех — разного цвета, что-то вроде окрашенного бутана, который окружает нас, словно нимб у святых. Сара утверждает, что может угадать характер человека по цвету этого газа.

— Это никакой не газ. Это сочетание позитивных или негативных волн.

— Да, потому что мы общаемся с помощью невидимых флюидов, — весело продолжал Марло. — Поправь меня, Сара, если я ошибаюсь. У каждого из нас есть своя частота, как у радиолюбителей. А у Сары есть особый дар, что-то вроде антенны.

— Вообще-то, — уточнила Сара, бросая в чашку две таблетки заменителя сахара, — этот дар есть у любого человека. Нужна только привычка, желание. Флюиды есть повсюду. Просто мы с нашим картезианским воспитанием перестали их распознавать.

— А вот Сара доверяет своей интуиции. Она не испорчена рационализмом. Ну разве это не подвиг — после того как она так долго училась на преподавателя физкультуры?

Насыщенная программа дня не позволила ему снова остаться наедине с Мари-Поль. Казалось, в их отношениях ничего не изменилось. Она даже была с ним чуть холоднее обычного, и это его обрадовало: не надо было искать слов, которые соответствовали бы новой ситуации. События прошлой ночи просто мелкий эпизод. И он и она выполняли профессиональный долг, а это помогает восстановить душевное равновесие. В сущности, подумал он, с нежностью наблюдая, как его ученики штурмуют сувенирные лавочки, в этой работе есть нечто целебное: в присутствии детей, экспансивной, требовательной публики, становишься лучше, дурные побуждения исчезают сами собой.

— По-моему, ребята очень довольны экскурсией, — заметил он, когда программа была исчерпана и они освободились. — Ведь они ждут от нас именно этого: чтобы мы проявили себя как взрослые, ответственные люди, цельные личности, которые могут уверенно вести их вперед.

— Ага, — ответила она, втаскивая его в какую-то подворотню. — Говори, говори, — а в это время ее колено грубо втиснулось ему между ног, ее язык скользнул ему в рот. — Говори, я слушаю.

Терраса кафе "Флориан", чуть погодя. Оркестр играет вальсы. В предзакатном свете глаза Мари-Поль стали янтарно-желтыми, как у кошки.

— Мари-Поль, нам надо поговорить.

Она молча уставилась на него. Затем принялась крошить остаток булочки голубям, разгуливавшим под столом.

— Не знаю, что с нами случилось, Мари-Поль. Мы ведь не дети.

Он тщательно подыскивал слова, но все они разбивались о молчание Мари-Поль. Почему она не хочет ему помочь?

— Я женат, — сказал он жалобно. — И люблю свою жену.

На миг в его памяти всплыла та фотография: вот оно, неопровержимое доказательство.

— Ну и что? — спросила Мари-Поль, заслонившись от него своими зеркальными очками. — Ты женат, у тебя двое детей, ты платишь налоги... А мне какое дело до этого?

— Я не свободен, — простонал он, но мощные аккорды вальса заглушили его голос.

— Знаю, знаю. Мне от тебя ничего не надо. Хотя нет: дай сигарету.

Он протянул ей пачку, радуясь, что может сменить тему разговора. Прикрывая ладонью от ветра огонек зажигалки, она коснулась его руки, и он вздрогнул: вновь и некстати проснулось желание.

— Я думал, ты не куришь, — усмехнулся он.

Она глубоко затянулась, смахнула табачную крошку, приставшую к языку.

— Ты слишком много думаешь. Вот в чем твоя проблема.

— Послушай, Мари-Поль. Я вовлек тебя, вовлек *нас* в совершенно неприемлемую ситуацию. То, что произошло между нами, было чудесно, но сегодня вечером мы снова сядем в поезд. Я женатый человек. На какое будущее мы можем рассчитывать?

Она глядела на него с таким изумлением, словно он, уловив на расстоянии флюиды Сары Циммерман, вдруг заговорил по-тибетски или завис в воздухе над столом.

— Я тебя слушаю. Продолжай.

— Ну... Собственно, это все. Я знаю, что делаю тебе больно, но постарайся меня понять.

С едва заметной улыбкой она потушила сигарету.

— Потрясающе! Ты, наверно, самый старомодный тип, какого я встречала. Неужели ты веришь хоть в одно слово из того, что сейчас наговорил?

— Не надо, Мари-Поль. И так все достаточно сложно.

— А ну-ка сделай опять такое лицо, как минуту назад: лицо маленького мальчика, который сотворил жуткую глупость. Обожаю это. Я очень нестандартная, и меня всегда привлекали самые что ни на есть странные типы.

— Я просто пытаюсь быть честным, — возразил он, уязвленный ее насмешливым тоном.

— Знаешь, я большая девочка, и мне уже давно не нужны взрослые ответственные люди, которые бы объяснили, что я имею право делать, а что — нет. Я хочу тебя, и мы занимаемся любовью: это ведь тоже чест-

но, разве нет? А теперь я тебя честно предупреждаю: если ты еще раз заговоришь о твоей жене, я здесь, прилюдно, опрокину тебя на стол и влеплю такой поцелуй, что ты надолго запомнишь. Как ты знаешь, я на это способна.

— Ты не желаешь ничего принимать всерьез, — возмутился он, не сомневаясь, что она действительно на это способна.

— Ладно. Давай всерьез. Что я, по-твоему, должна тебе сказать? Что ты несвободен? И теперь тебе надо бежать к жене каяться? Вот чего ты хочешь — чтобы я успокоила твою совесть, покраснела и призналась: да, мы согрешили, я против твоей воли увлекла тебя в гибельную бездну. Не жди от меня этого, Филипп.

Он пожал плечами.

— Я не извращенец.

— А кто ты? Вместо того чтобы насладиться неизведанным счастьем, ты изо всех сил цепляешься за свое мелкое привычное несчастье, такое уютное, такое удобное.

— Ошибаешься! В том-то и дело, что я не несчастен. Иначе все было бы гораздо проще.

— А по-моему, ты свободен, Филипп. И по отношению к твоей жене, и по отношению ко мне. Я ничего от тебя не требовала. Тебе не надо ни извиняться за то, что ты меня куда-то там втянул, ни ставить себя на мое место во имя какой-то там дурацкой морали. Я ни в чем не раскаиваюсь и ни о чем не жалею. Я не могу быть твоей совестью, Филипп, не могу решать за тебя. Ты свободен — и точка. Отсюда и все твои мучения, признай это.

— А мы? — прошептал он. — Что теперь будет с нами?

— С нами? Понятия не имею. Знаю только, что *я* буду делать: сяду в поезд до Парижа, доставлю домой наших милых малюток, а потом просплю трое суток подряд. В данный момент мне ничего другого не хочется.

Он взглянул на часы. Они опоздали на общий сбор. Марло будет в бешенстве. Кроме того, он не успел купить старинную гравюру в подарок Катрин.

— В учительской нам придется делать вид, будто ничего не произошло, — жалобно сказал он, ища в карманах мелочь.

— Не волнуйся, я не собираюсь устраивать тебе сцены и звонить твоей жене — если ты об этом беспокоишься. А в остальном — будет видно. В отличие от тебя я принимаю вещи такими, как есть. Я все еще хочу тебя. Ну и что? Поступай, как сочтешь нужным. Я уже научилась быть одна. Я это переживу, не волнуйся.

По сути, она очень славная девушка. Божэ стало легче на душе, и он снова ощутил опасный прилив желания. Конечно, она тысячу раз права. Надо принимать вещи такими, как есть. Катрин ничего не узнает об этом происшествии. Потому что это было именно досадное происшествие, а вовсе не вселенская катастрофа, как он вообразил. Он, слава богу, не первый, кто изменил жене. Семья от этого не развалится. На его счастье, ему попалась такая девушка, как Мари-Поль, готовая в нужный момент исчезнуть со сцены.

И только благодаря этой успокоительной уверенности у него хватило духу поручить охрану коридоров Марло, а самому, договорившись с проводником, проскользнуть в свободное купе, где его ждала Мари-Поль.

11 *часов*
Методика (продолжение)

Они прошли через небольшой дворик, потом вошли в другой, похожий на темный колодец, посреди которого стояла чахлая елка, украшенная к предстоящему Рождеству разноцветными лампочками. В конце длинного прохода виднелся главный двор, где висели баскетбольные корзины и светились окна дежурных помещений.

Шествие возглавлял Марло, носки его английских туфель, подбитые железом, звонко цокали по плиточному полу. За ним, переговариваясь вполголоса, шли Божэ, Жерар и Раймон, а последней, с гримасой боли на лице, шагала Женевьева. Она отважно шла в бой, запахнувшись в широкое, расходящееся книзу пальто с накладными плечами, которое придавало ей сходство с фигурой на египетском барельефе.

Сейчас, когда ушли дети, в школьном здании царила почти неестественная, давящая тишина. Ну вот, подумал Божэ, теперь это опять наш дом... Так тихо и спокойно в школе бывало только перед началом учебного года. А еще так было в школе его детства, старой начальной школе, где тишина пахла вымытыми полами, мастикой и свежим хлебом, перед входом росли четыре каштана, над дверью висели круглые часы, а двор ограждала узорчатая решетка, — в той школе былых времен, которая помогла им найти свое призвание (тогда это слово имело для них значение) и о которой все они до сих пор вспоминали с нежностью.

"Как нам было бы здесь хорошо без них", — словно говорили эти люди своим задумчивым видом. Делегация разгневанных учителей? Нет, в лучшем случае — обиженная группка бывших отличников, которые оказались по ту сторону учительского стола и так и не смогли смириться с тем, что их выдавило из собственного детства поколение юных, но отнюдь не невинных созданий, вверенных теперь их попечению... Впрочем, вправе ли они винить детей за то, что сами оказались столь наивны?

Неосвещенный отрезок коридора, куда выходят несколько дверей. Словно по молчаливому согласию они замедлили шаг.

— Ну вот, — сказал Марло. — Кто будет говорить первым?

Они вступали на территорию противника. Легкие металлические стулья, растения с плотными блестящими листьями, на стене — репродукция картины Ван Гога, вырезанная из конфетной коробки. В этом скромном интерьере располагалась дирекция. Марло инстинктивно поправил платочек в нагрудном кармане и приосанился, когда они один за другим вошли в кабинет директрисы.

Мадам Котре была невысокая остроносая дама с расплывчатыми, невыразительными чертами лица; говорят, она начинала как преподаватель английского. С осторожностью, присущей истинным руководителям, она избегала распространяться на эту тему, равно как и о своей научной степени: споры, возникавшие по этому поводу в учительской, придавали ее власти некий таинственный ореол, а тот, кто высказывал наиболее лестные предположения, впоследствии бывал отмечен. Ее пылкие речи и частая перемена мнений заставляли самых слабых опасаться ее: они принимали это за глубину мысли. Другие, такие как Марло или Божэ, считали, что подобная изменчивость взглядов — признак поверхностного, легко возбудимого ума. Мадам Котре была женщина с

характером, и притом со скверным характером, как выразился однажды Марло. За ее лихорадочной и совершенно бесполезной активностью скрывалось полнейшее равнодушие к повседневным делам — к тому, что у начальства называется "текучкой". Ее вдохновляли только новые, смелые проекты и эксперименты. Причем, надо отдать ей справедливость, она приходила в восторг от любого сколько-нибудь новаторского предложения, даже самого нелепого и странного. На этом ее поддержка заканчивалась, но идею она всегда приписывала себе — с наивным, обезоруживающим нахальством.

— Да-да, инспектор, очень хорошо... Я так и сделаю, спасибо... Всего доброго, инспектор.

Она взглянула на них, давая понять, что у нее и так дел невпроворот, и энергично повесила трубку.

— Извините, дорогие коллеги, что заставила вас ждать. Присаживайтесь, пожалуйста! Поближе, месье Вюрц, вы же не в гостях. Как ваша спина, мадам Бра? Напомните, чтобы я дала вам потом адрес моего мануального терапевта. Мне очень жаль, что я смогла принять вас только сейчас, но поверьте, с утра у меня не было ни одной свободной минуты. Закройте дверь, месье Маден, и попросите, чтобы нас не беспокоили.

Маден повиновался. Затем, втянув голову в плечи и сложив руки ниже живота, словно он хотел защититься от штрафного удара, уселся у двери и стал посасывать незажженную трубку с видом философического отчаяния.

Наступило напряженное молчание. Кто начнет? Жерар сидел, наклонившись вперед, зажав руки между колен, с видом отличника, который дает высказаться другим. Раймон, полузакрыв глаза, мял свою бороду, пристально глядя куда-то в пространство. А Женевьева, обычно такая воинственная, снимала ниточку, приставшую к платью... Они так и не стали взрослыми. Они робели перед начальством, как дети перед строгой учительницей. А поза Марло, который развалился в кресле, закинув руку за спинку, напоминала о развязных манерах вундеркинда, уверенного в своей безнаказанности. Да и могло ли быть иначе? Они ведь так и не вышли из школы: встав из-за парты, сразу заняли место за учительским столом и все еще до смерти боялись инспектора, как когда-то боялись контрольной или устного экзамена. Только не я, подумал Божэ, не стоит высовываться. Кто-нибудь поручал ему выступать? Никто. Он пошел с ними только из солидарности. При необходимости он может высказать точку зрения литератора, привыкшего анализировать тексты и вести дискуссии об этике. А в остальном пусть на него не рассчитывают.

Марло вздохнул, поняв, что ему снова придется выступить в роли вожака.

— Мы пришли от имени всего преподавательского коллектива, — начал он. Однако такое вступление показалось ему чересчур высокопарным. — Мадам, нас направили сюда наши товарищи. Месье Маден, вероятно, сообщил вам о создавшейся ситуации.

Мадам Котре молча покачала головой. Завитки у нее на макушке казались затвердевшими, как белки, взбитые в слишком густую пену.

— Ну так вот... Мы не сказали ни слова, когда вы в середине года перевели от нас куда-то молодую, начинающую преподавательницу математики... Мы стерпели, когда ученики вымазали краской машины преподавателей на стоянке и бросили в одного из нас гранату со слезоточивым газом... Мы не сморгнули, когда нам навязали бессмыс-

ленные реформы, не поморщились, когда у нас сократили две штатные единицы, урезали дополнительные выплаты... Мы спокойно смотрели, как у нас организуются то факультативные занятия гольфом, то школа скалолазов, то семинар "Бридж и педагогика", и наш коллеж постепенно превращается в развлекательный центр... Мы молчали. Но сегодня произошло нечто из ряда вон выходящее: речь идет о профсоюзном минимуме температуры, мадам. О защите наших социальных завоеваний. Короче, мы пришли сказать вам, что сегодня с девяти утра мы с коллегами объявляем бессрочную забастовку протеста.

— Однобокое изложение фактов, — вмешалась Женевьева, бросая на него уничтожающий взгляд. — Как обычно, коллега Марло искажает факты!

— Разве я что-то упустил? Ах да, верно! Постоянное и невыносимое ухудшение условий труда...

— Средняя температура в помещениях — девять и восемь десятых градуса, — сказал Жерар, протягивая через стол свои записи. — Могу дать график.

— Месье Марло пытается превратить в посмешище движение, которое он представляет, — не унималась Женевьева. — Мы единогласно постановили начать забастовку. Не надо высказывать тут свое личное мнение.

— Я не высказываю мнение, я излагаю факты.

Они обменялись саркастическими взглядами. Несмотря на всю свою симпатию к Марло, Божэ ощутил легкое замешательство, как будто его друг при всех снял штаны. А язвительные реплики Женевьевы только усугубляли нелепость ситуации. Возможно, эта выспренная речь была для Марло некоей формой самоиронии. Женевьева же была слишком цельным человеком, чтобы это понять.

— Мы пришли сказать вам, — начала она в свою очередь, — что преподаватели устали расплачиваться за упущения администрации. Если бы здание содержалось в порядке, мы бы сегодня не дрожали от холода. В отличие от вас мы не пользуемся известными привилегиями, — добавила она, указывая на маленький обогреватель, перед которым в застывшей позе сидел Маден и от которого в кабинете разливалось мягкое, приятное тепло.

— Мадам, — сухо и надменно ответила начальница, — служебная квартира, в которой я живу, находится в этом же здании. Поверьте, несмотря на мои *привилегии,* я стала первой жертвой этой досадной аварии. Но в обязанности руководителя не входит надевать комбинезон и проводить выходные за починкой неисправного оборудования.

— Авария? А я слышал, что у нас в бойлерной новый котел.

— Да, месье Марло. Ультрасовременный, с электронной системой регулирования. В этом-то и проблема.

— У новых моделей системой контроля управляет компьютер, — объяснил Жерар. — Все звенья переключаются автоматически. Красота!

— Во всяком случае, — заметила Женевьева, — старая система была надежнее.

Все закивали, страшно довольные, что их атавистический страх перед техникой оправдался. Покупка такой суперсложной аппаратуры лишний раз доказывает: дирекция страдает прогрессирующей мегаломанией. Взять хотя бы историю с новыми компьютерами, которые так и стоят без дела — для них, оказывается, нужно было оборудовать специ-

альное помещение, — или идею вести компьютерный учет посещаемости, которая натолкнулась на угрюмое пассивное сопротивление всего учительского состава.

— Наверно, такая дорогостоящая система продается с гарантией, — сказал Раймон. — Почему бы не обратиться к поставщику?

— Я все выходные висела на телефоне. Контора по ремонту месяц назад обанкротилась.

— Какая прелесть, — произнес Марло.

— Все, к кому я обращалась по поводу ремонта, отказались: слишком сложная модель. Завтра жду мастера из технической службы мэрии. На данный момент это все, что я могу сделать.

— Я сам налаживал котел в нашем корпусе, — сказал Жерар. — Хотите, пойду взгляну?

— Извини, Жерар, но тебе там делать нечего. Мы не обязаны исправлять упущения дирекции.

На сей раз Женевьева была права: усердие Жерара смахивало на желание выслужиться перед начальством.

— Хочу напомнить, что за установку новой системы отопления проголосовал административный совет, в который входите и вы, — мадам Котре перешла в наступление.

— Давайте не будем! — взорвался Марло. — Вам лучше меня известно, откуда у нас этот новый котел: очень хотелось угодить отцу одного из учеников, влиятельному господину, у которого дружеские связи с изготовителем, поэтому другие, более серьезные предложения даже не стали рассматривать!

— Держите себя в рамках, месье Марло. Должна признаться, я абсолютно ничего не смыслю в этих котлах. В таких случаях обращаются к специалисту, разве нет?

— Ну разумеется, особенно если этого специалиста выбрал родительский комитет. Все знают, что вы превратили заседания нашего административного совета в простую формальность.

Божэ покачал головой. Долгие годы он сидел в актовом зале и слушал бесконечные финансовые отчеты, в которых, судя по скучающему виду мадам Пиротон, покачивавшей под столом стройной ногой, ни родители, ни учителя не понимали ни слова. Вместе с горсткой отважных — Марло, Женевьевой и Раймоном — он отважно боролся за запрет жевательной резинки и газированных напитков в классе, за набор новых надзирателей и разрыв контракта с поставщиком некондиционных замороженных продуктов. Жалкий итог, и кисловатая пенистая жидкость, которую им подавали в пластиковых стаканчиках после заседания, не могла его скрасить.

"Что от нас требуется? Чтобы мы подольше держали детей за партой, поскольку от этого снижается процент безработицы. Вот и все. Не понимаю, почему я должна напрягать мозги на этих дурацких заседаниях. Я могу провести время получше", — сказала бы Мари-Поль.

Он украдкой взглянул на часы. Половина двенадцатого. Почему он не с ней? Сколько сил все они тратят, играя во взрослых, аккуратно расставляя игрушечные домики...

— Вернемся к делу, — продолжала начальница. — Ваша инициатива, возникшая под влиянием настроения, — не могу определить ее иначе... Мы с вами знаем, что сказано в уставе. Вы, позвольте заметить, сгоряча приняли решение, которое следовало бы серьезно обдумать.

— Да, следовало бы, — согласился Марло, уткнувшись носом в сложенные руки. — Никогда еще отсутствие начальства в утренние часы не ощущалось так болезненно, как сегодня.

— А вы знаете, во сколько я ухожу отсюда по вечерам, месье Марло? Не ждите, что я буду отпирать коллеж по утрам. Для этого у нас есть привратник. Ни один руководитель фирмы не обязан являться на работу раньше своих уборщиц.

— Спасибо за сравнение. Но несмотря на то, что у нас все чаще отдается предпочтение интересам частных лиц, здесь пока еще *государственное* учебное заведение, а не фирма.

— Вот тут вы ошибаетесь, месье Марло: любым государственным учреждением управляют точно так же, как частной фирмой. Чтобы оно могло существовать, нужны деньги. Городской совет по спортивной подготовке требовал, чтобы мы организовали для детей занятия гольфом. Но разве мы смогли бы сделать это на жалкие гроши, которые получаем от государства? Я верю в помощь меценатов, месье Марло, верю, что нам необходим постоянный контакт с предпринимателями и фирмами нашего региона.

— Вы путаете меценатство с непотизмом, — сухо возразил Марло. — Лично я как педагог не вижу необходимости раздавать детям талоны на скидку в сети американских закусочных.

— Прошу вас, не валите все в одну кучу. Подумайте о том, как пагубно скажется ваша акция на репутациии коллежа. Родители...

— К родителям здесь всегда прислушивались больше, чем к учителям, — с горечью сказала Женевьева. — Стоит взглянуть на состав каждого класса, и сразу поймешь, что республиканский миф о равенстве отжил свое.

— Это беспочвенные инсинуации, мадам Бра. Я всегда следила за тем, чтобы состав класса был смешанным.

— Оставьте, пожалуйста! Вот Пиротон — характерный пример царящего у нас лицемерия: в третьем "Д" он, безусловно, чужеродный элемент. Единственный лентяй среди сильных учеников, хулиган, которого давно надо было исключить! Но дирекция проявляет к нему какую-то невероятную, непостижимую терпимость. Надо ли добавлять, что его мамаша — член нашего административного совета?

— Думаю, бедняга Пиротон не имеет никакого отношения к нашему неисправному котлу, — заметил Марло, которому стало неловко.

Начальница в негодовании подняла бровь.

— Послушайте, мадам Бра, я устала от ваших инсинуаций. В профсоюзе, к которому принадлежу я, моральные требования нисколько не ниже, чем в вашем... А что касается Пиротона, то вам, наверно, приятно будет узнать, что я, посоветовавшись с месье Маденом, решила: больше терпеть нельзя. Этот вопрос будет обсуждаться на дисциплинарном совете. И поверьте, я буду вести обсуждение со всей беспристрастностью!

— Пиротон? — переспросил Марло. — На дисциплинарном совете?

— В борьбе со вседозволенностью, месье Марло, я всегда принимаю сторону учителей. Выходки этого... как вы сказали?.. Пиротона истощили мое терпение. Надо наказать его в назидание остальным.

Старый прием, подумал Божэ: чтобы отвести народный гнев от себя, она отдает на съедение этого Пиротона.

— Что же касается сегодняшней акции, — продолжала она, развивая свое психологическое преимущество, — то я предлагаю следующее. Вы,

месье Маден, распорядитесь, чтобы детям записали в дневник: из-за технической неполадки, которую мы не можем устранить своими силами, занятия на сегодня отменяются... А я доведу эту формулировку до сведения начальства. Вы меня поняли, месье Маден? Слово "забастовка" звучать не должно. Ответственность за это небольшое искажение фактов я беру на себя. Дамы и господа, оповестите ваших коллег: в связи с чрезвычайной ситуацией занятий сегодня не будет.

Жерар уже заносил это историческое решение в блокнот. Мадам Котре с серьезностью телеведущей поправила стопку бумаг у себя на столе. В тусклом свете снежного утра ее завитая шевелюра казалась земным шаром, который всей тяжестью давил на ее хрупкие плечи. Пусть им грозят противоречивые инструкции сверху, потери в заработной плате — она одна со всем справится. Она выдержит эту ношу. Чего бы это ни стоило, она защитит своих учителей.

— Вопросы есть? Нет? Очень хорошо. Извините, больше я вас не задерживаю. У нас с месье Маденом много работы... я только попрошу вас не уходить из коллежа до того времени, когда у вас обычно заканчиваются занятия: на всякий случай, чтобы нам не подставиться. А насчет ремонта котла я, разумеется, буду держать вас в курсе. Это все.

— Ну что? — торжествующе сказал Жерар, когда они вышли в коридор. Вид у него был слегка ошалелый, уши горели. — Мы молодцы, верно?

Да, действительно. Они выстояли. Ни уступок, ни проявлений слабости. Они высказали ей все, что хотели, а она, совершенно неожиданно для них, завершила разговор так, что они могли быть довольны и ею, и самими собой.

— Ну вот, опять победила демагогия, — кипятилась Женевьева, надевая пальто и яростно поводя плечами.

— Я тебя не понимаю.

— Она права, — признал Марло. — Нас провели.

— Это напоминает худшие патерналистские приемы эксплуататоров прошлого века: шахтеры приходят требовать хлеба, а им дают леденцов, и они уходят, благодаря и кланяясь. А если я хотела бастовать, готова была поступиться зарплатой за сегодняшний день?

— Да ладно! — сказал Божэ, с наслаждением затягиваясь сигаретой. — Мы ведь все равно добились чего хотели, верно?

Снегопад прекратился. С елки во дворе беззвучно осыпáлись рыхлые комочки снега, ветки вздрагивали, а лампочки на них тихо звенели.

Ну все, он уделил этому достаточно времени. Пускай продолжают без него. Не дожидаясь остальных, он осторожно пошел через скользкий двор, и только ступив на коврик у двери, помахал им рукой из-за плеча, что означало: до свидания.

12 *часов*
Б*ольшая перемена*

Когда-то "Привал охотников" был уютным ресторанчиком на лесной опушке. Сейчас, переделанный новыми хозяевами в их собственном небезупречном вкусе, он утратил былой стиль и смысл. Искусственный

мрамор, кабинки, отделанные красным деревом, банкетки, обтянутые кожзаменителем, маленькие золотистые бра на стенах, которые тщетно пытались в холодном сумраке зимнего утра притвориться блистающей зарей.

За стойкой бара открывался вход во второй зал. Красные скатерти, бутафорские деревья и обои с темно-зеленым узором. Под низким потолком с черными балками в полдень собирались на обед банковские служащие; их не отталкивали ни грубость официантов, ни посредственная кухня, им казалось, что они попали в свою мечту — деревенский трактир в окрестностях Парижа, по-провинциальному простой и трогательный, с комнатами на втором этаже, где можно спокойно переварить обед или по-быстрому закруглить любовную интрижку.

Там, сидя за столом перед кучей скомканных носовых платков, его ждала Мари-Поль.

— Я тебя не целую, — сказала она, вытаскивая из пачки очередной платок. — На меня, наверно, смотреть страшно.

Да нет, не так уж страшно. Нос покраснел, веки распухли, но глаза с их лихорадочным, влажным блеском даже притягивали.

— Это от пыли, — объяснила она. — Не надо было мне разбирать шкафы в лаборатории. А виноват, между прочим, ты. Бросил меня и ушел.

Они чихнула, глаза опять наполнились слезами.

— Мы ходили к директору.

— А, вон что, — сказала она, погружаясь в изучение меню. — Вообще-то мне наплевать на всю эту историю. Хочу съесть что-нибудь горячее, чтоб было много жирной жареной картошки и майонеза.

Подошел официант, и они замолчали.

— Это не насморк, — сказала она, когда они вновь остались вдвоем. — У меня аллергия на клещей.

— На что?

— На клещей. Это такие маленькие, микроскопические паучки, которые питаются отгрызенными заусенцами, перхотью, отмершими частицами кожи. Они живут в пыли.

— Какая гадость!

— Не говори так. Это очень полезные существа. Если бы не они, все это разлагалось бы, человек стал бы источником страшной заразы.

Он вздрогнул.

— Отвратительно.

— Вовсе нет. Кстати, в воздухе, которым мы дышим, их тоже полно. Я их издалека чую. Попадется какой-нибудь старый ковер, невытряхнутое одеяло — и у меня уже щиплет в носу, жжет в горле, на теле выступают красные пятна. Если хочешь, я как-нибудь покажу их тебе под микроскопом.

— Очень мило с твоей стороны, но я не жажду знакомства с этими волшебными созданиями.

Она расхохоталась.

— Ну и глупо. Если бы я рассказала, кто копошится в твоем бифштексе по-татарски, ты бы сразу стал вегетарианцем.

— Пощади меня, я сдаюсь. Позови официанта.

— Я только пытаюсь приобщить тебя к чудесным тайнам невидимого мира. Подожди, я, кажется, сейчас чихну.

— Возьми, вот сухой платок. Ты хоть приняла какое-нибудь лекар-

— Я принимаю антигистаминные препараты, чтобы успокоить слизистую. Надо просто подождать, и все пройдет. Но это ерунда по сравнению с тем, что у меня было в детстве. Родители водили меня к врачу, который лечит от аллергии. Тебе делают кучу уколов в руку, и место укола обводят фломастерами разного цвета. Я реагировала на все: на яичный желток, на кошачью шерсть, овощи сырые, овощи вареные, цветочную пыльцу... Просто ужас. Рука у меня была один сплошной нарыв.

Она вздрогнула. Голос, словно подернутый дымкой, глаза, полные слез, делали ее трогательной: казалось, помимо ее воли открылось ее настоящее, спрятанное от людей лицо.

— Это психосоматика, — заявил он тоном знатока. — Любая аллергия в той или иной мере имеет психосоматическое происхождение. Наверно, твое подсознание восстало против чего-нибудь.

Она села поудобней, облокотилась на стол, оперлась подбородком на руки и с интересом взглянула на него.

— Значит, психосоматика... Ну-ка объясни подробнее. Не терпится узнать, что может взволновать меня до такой степени.

— Во всяком случае, такая теория есть, верно? — смутился он. — Это ведь ты у нас специалист по естественным наукам, а не я.

Зачем он позволил разговору принять опасное направление? После минутного замешательства (это была их первая встреча наедине после Венеции) они быстро нашли верный тон, беседовали непринужденно и без всякого подтекста, весело, по-товарищески, как и положено при встрече двух друзей. Без примеси секса, без тени обиды. Просто тактичность и взаимная доброжелательность бывших любовников, чуть окрашенная сожалениями о прошлом.

— Если ты имел в виду, что я, обедая с тобой, ощущаю волнение, то ты прав, — сказала она, посасывая дольку лимона и глядя ему прямо в глаза. — Я *ощущаю* волнение. Но не там, где ты думаешь.

Он сделал вид, что не понял.

— Я тоже волнуюсь. Пытаюсь это скрыть, но, по-моему, ничего не получается... А вообще-то мне скверно, Мари-Поль. Я здорово запутался.

Она громко чихнула, вытерла нос платком.

— Это нормально, — заметила она насмешливым тоном. — Ты думал, что идешь обедать с Белоснежкой, а оказался с богиней Ачум[1]. Вот, погляди, — она сунула ему под нос креветку, украшавшую ее салат, — гигантский психосоматический клещ!

— Я говорю серьезно, — упрямо сказал он. — Я плохо сплю, все делаю через силу, меня ничто не радует. Я хотел бы очутиться где-то далеко, стать кем-то другим. Никак не могу усвоить, что между нами все кончено. Думаю только об этом, днем и ночью, прямо наваждение какое-то...

— Даже когда лежишь в постели с ней?

— Не надо, прошу тебя. Не приплетай сюда Катрин.

Она опустила глаза.

— Извини. Захотелось пошутить. А с заложенным носом это не так-то легко.

Он взял ее за руку и удивился: рука была не просто горячая — наэлектризованная.

— Видеть тебя каждый день, говорить с тобой — и не иметь права дотронуться... Я так не могу, Мари-Поль. Придется попросить о переводе

1. Жестокая богиня любви и сладострастия в пантеоне вуду.

в провинцию или в Аддис-Абебу, куда угодно, потому что долго я не продержусь.

— Зачем ты мне это говоришь? Ты сам поставил такие условия, ты, а не я. Ты с самого начала не знал, чего хочешь.

— А, та чертова фотография... Не знаю, что на меня нашло тогда. Может, это было предчувствие: я хотел заранее защититься от того, что должно было произойти.

— По-моему, ты себе льстишь. У тебя интуиции не больше, чем у этой бедняги Сары. Знаешь, она поймала меня позавчера и целый час внушала, что ты ужасно робкий и зажатый и я не должна обижаться, если ты в Венеции держался со мной слишком холодно.

Они расхохотались.

— На самом деле ты сразу мне понравилась. Хотя нет, "понравилась" — не то слово. Я чувствовал, что ты притягиваешь меня, и не знал почему. Не смейся, но я еще никогда не встречал таких девушек, как ты. Поэтому и не остерегся.

Ее лицо было совсем рядом: в ярком свете бра алел заложенный нос, выделялись припухлости вокруг глаз. Но ей не надо было быть красивой, чтобы он желал ее.

— Представь себе, ты тоже не в моем вкусе. Но у меня прямо патология какая-то: мужчине достаточно надушиться скверной туалетной водой — и я уже хочу его.

— Неужели так сильно пахнет? — смутился он и понюхал свои руки. — Вообще-то это не моя туалетная вода, я побрызгался из пробного флакончика.

— Вот так у меня всю жизнь: сплю с мужчинами, которые брызгаются из пробного флакончика.

— Ни о чем не жалей, — сказал он с усилием. — Тебе бы скоро надоело. Однажды ты проснулась бы рядом с мужчиной не первой молодости, занудой и домоседом, к тому же весьма посредственным любовником, который перед тем как лечь, нюхает свои носки. Дольше трех дней ты бы не выдержала.

— Может быть, — согласилась она. — Может быть. Но прежде я показала бы, на что меня вдохновляет эта картина: как ты сидишь нагишом и суешь нос в фильдекосовые носки. А ты знаешь, какое у меня богатое воображение.

Уйти. Бросить ее сию же минуту. Не поддаваться этим опасным играм, которые имеют над ним такую власть.

Но куда он пойдет? В коллеж? Там все напоминает о Мари-Поль. А домой сейчас нельзя. Вернуться туда в таком состоянии — все равно что принести заразу под родной кров. Где его благие намерения, стоическая решимость, которую он должен был проявить? Он ведь пришел, чтобы поставить точку, положить конец двусмысленной ситуации, длившейся слишком долго. По крайней мере, так он думал. Но она никогда не будет ему добрым товарищем. Он покорно шел в расставленные сети, даже не пытаясь сопротивляться ее чарам, как будто за этим и явился сюда, как будто *на самом деле* вовсе не собирался покончить с этой историей, а напротив, хотел, чтобы этот обед стал платоническим продолжением связи, от которой он не мог отказаться.

Божэ инстинктивно отодвинулся от нее и развернул на коленях салфетку, чтобы скрыть эффект, произведенный ее словами.

— Это у меня в первый раз, — пробормотал он. — От неожиданности.

Она похлопала его по руке.

— Бедный Филипп!

Почему она не хотела помочь ему? Он бы вынес что угодно, только не эту снисходительную иронию, с которой она смотрела на его мучения. Хотя все было по-честному: не мог же он требовать, чтобы она помогла ему найти выход из его собственного душевного тупика. Чем бы дело ни кончилось, тоскливо подумал он, никто не разрешит этот кризис, кроме него самого.

— Чего ты боишься? Ты же все спланировал, все организовал, даже пробные флакончики припас на всякий случай. А я никогда ничего не планирую. Когда мне чего-нибудь хочется, я это беру, а потом — будь что будет. Так гораздо проще, ты не находишь?

— Ты — другое дело, — возразил он. — Тебе двадцать пять лет, ты не замужем, ничем не связана.

— Я сама выбрала такую жизнь, и я плачу за это, не сомневайся. Я никогда не понимала, как это можно: вступить в брак и дать кому-то клятву верности. Разве такое зависит от человека? Это все равно что дать обещание никогда не попадать под автобус. А ты хочешь иметь все и ничем не поступаться. Послушай, — она отодвинула вазочку с шоколадным муссом, который безжалостно искромсала ложкой, — давай уйдем отсюда. Это заведение действует на меня угнетающе. Проведем день вместе. В такую погоду лучше всего посмотреть какой-нибудь длинный-длинный японский фильм.

Она наклонилась к нему, она была так близко, что можно было впиться в ее губы, в ее лицо — осунувшееся лицо больного ребенка с широко раскрытыми глазами, — и то, что она предлагала, вдруг показалось таким волнующим, таким желанным. Под толстым шерстяным пуловером угадывалась соблазнительная кожа, ее горячее дыхание окружало их обоих, словно ореол, словно мощная радиация.

— Не могу, — отбивался он, сознавая всю ничтожность своих аргументов. — Я должен вернуться в коллеж. Мы обещали директрисе, что просидим там до конца рабочего дня.

Она глядела на него, гипнотизируя своими влажными глазами. Потом, словно отключив магнитное поле, отвела взгляд и стала собирать разбросанные на столе мелочи.

— Жаль. Что ж, может быть, в другой раз, когда ты ничего не пообещаешь мамочке.

— Извини, но это невозможно. По крайней мере, сегодня.

Она изогнулась, надевая куртку, засунула в карман оставшиеся носовые платки и надела на плечо сумку.

— Ладно, тогда я к вашим услугам! — сказала она, вставая. — Как там говорит Лорен Баколл[1]: If you want me, just whistle[2], да?

Она обошла вокруг стола, не спеша намотала на шею длинный шарф.

— Желаю хорошо повеселиться. Содержание фильма я тебе потом расскажу.

И она ушла, увернувшись от его протянутой руки, и не оставила ему в утешение ничего; ее высокая фигура в облегающих черных брюках,

1. Лорен Баколл (р. 1924, наст. имя Бетти Джоан Перске) — американская актриса.
2. Если захочешь — только свистни (*англ.*).

шнурованных ботинках и шерстяных носках рассекала толпу в кафе со скучающей грацией лыжницы на тренировке.

14.30
Анализ текста (продолжение)

— Смотри-ка, — сказал Марло. — Вернулся из увольнительной.

Божэ медленно снял пальто. В учительской под высоким потолком горели лампы дневного света, царила тихая деловая атмосфера, и у него возникло неприятное ощущение, что он опоздал. Учителя беседовали вполголоса, под жужжание ксерокса и прерывистое клокотание кофеварки.

— ... Биологический инсектицид, — объяснял Жерар. — Абсолютно безвредный.

— Личинки божьей коровки?

— Вот именно. Развиваясь, они поедают тлю.

— ... Иногда, — прошептала Мод, — мне кажется, что быть мужчиной — тяжелое испытание. Носить в штанах этого бешеного слона...

Рассевшись вокруг стола, учителя математики обсуждали вопросы к будущему экзамену. Праведный гнев, обуревавший всех с утра, улетучился. Каждый как будто был удивлен, что оказался здесь: так в советских романах описывается ощущение героев, застигнутых непогодой в аэропорту или застрявших в какой-нибудь конторе, — они тоскливо коротают время, дожидаясь, когда кончится снегопад или когда им выдадут необходимые документы.

— Сообщаю новости с фронта, — сказал Марло, протягивая Божэ свою ложку. — Интернатских отправили по домам. Заглядывала директриса: рабочие из мэрии приступили к делу, и она надеется, что к завтрашнему утру все будет в порядке.

— Замечательно, — без энтузиазма сказал Божэ.

— Как ты, наверно, заметил, здесь стало немного теплее: этим мы обязаны Жерару. Он принес из дому электрический обогреватель. Что еще? Женевьева удалилась лечить поясницу, обед в столовой был отвратительный. Ну а ты? Пообедал с Мари-Поль? — Он понизил голос: — Если ты думал, что никто не узнает, то ты просчитался, старик. Мод заказывает в "Привале охотников" диетические сандвичи без холестерина. Ты же знаешь Мод: на данный момент все, наверно, уже в курсе дела. Готовься к объяснениям.

Божэ пожал плечами. Да пусть себе думают, что хотят, в конце концов. Он устал, ему все было безразлично. В этой комнате находилось только его тело, массивный футляр, в котором приходилось жить. Даже дружеское участие Марло раздражало его.

— Что случилось? — встревожился Марло. — Хм, похоже, я повел себя бестактно. Это было так плохо?

— Наоборот, — усмехнулся Божэ. — Кажется, я ее здорово зацепил.

— Черт возьми!

— Проблема в том, что и она меня здорово зацепила.

— Черт возьми, — повторил Марло. — Черт, черт! Только этого не хватало.

Они замолкли на полуслове: между ними возник чей-то хрупкий темный силуэт.

— Извините, если помешала. Сахар еще есть?

Милое, подвижное, как у обезьянки, личико, нежный детский голосок, вид испуганный, как у легкого облачка, оказавшегося между двумя слоями холодного воздуха. В учительской появилась Мартина Бонамур.

Она вздрогнула и заморгала, прежде чем отважилась протянуть руку к коробке, которую подал ей Божэ.

— Только один кусочек, спасибо... Вы оба такие серьезные. Я вам правда не помешаю?

— Конечно нет, — сказал Божэ, подвинувшись, чтобы дать ей место.

Мартина появилась как нельзя кстати. У нее был нежный цвет лица, непослушные пряди волос, выбившиеся из "конского хвоста", мечтательный взгляд: ее хотелось защитить, словно стеклянную статуэтку, которая может разбиться от легчайшего дуновения. Она приезжала утром на велосипеде, в брюках, заколотых на щиколотках булавками, в черной накидке, развевавшейся у нее за спиной, как крыло; питалась она в основном минеральной водой, поскольку вечно сидела на диете, стремясь привести себя в соответствие со своим идеалом — хрупкими, воздушными героинями романтической поэзии, и постепенно, сама того не заметив, действительно стала почти бесплотной.

— Мне так не хватает человеческого тепла, — прошептала она.

Верхняя губа у нее задрожала. Она попыталась совладать с собой, но глаза вдруг наполнились слезами, она закрыла лицо руками и затряслась от рыданий. Божэ, растерявшись, обнял ее и вопросительно взглянул на Марло.

— Ну что ты, лапочка... Неужели у тебя беда случилась?

— Эти ребята в четвертом "В"... — пролепетала она. — Их как подменили. Раньше с ними было так хорошо!

Марло понимающе кивнул. Такой душевный надлом случался у Мартины каждую неделю: она приходила с урока в полном отчаянии, бросалась в объятия к Мод, Божэ, Марло и проливала на них такие потоки слез, словно была сказочной Ундиной, лишь на время принявшей человеческий облик.

Затем приступ проходил — так же внезапно, как начался; слезы высыхали, Мартина вставала и с видом лунатика просила минеральной воды, как будто ей надо было срочно восстановить жизненные ресурсы, которые она по неосторожности истратила.

— Я нашла чудесные стихи, — продолжала она, — такой изысканный сонет Луизы Лабе. А они хрюкали, как свиньи, соревновались, кто громче пукнет или издаст другие ужасные звуки!

— Знаешь, дорогая, отчасти ты сама виновата. Сколько раз я тебе говорил: пытаться привить этим ребятам вкус к поэзии равносильно самоубийству. У них интеллектуальный коэффициент как у телячьей головы под пряным соусом!

Раздалось какое-то невнятное бульканье: это она рассмеялась сквозь слезы.

— Они же дети...

— Они подростки, Мартина, им четырнадцать лет. Каждый из них скорее согласится умереть, чем выглядеть слабаком перед товарищами. Но в глубине души они наверняка были растроганы.

— Ты думаешь? — спросила она, шмыгнув носом.

— Ну конечно, — убежденно ответил он. — Конечно.

А что еще можно было сказать Мартине? Что все, во что она верила, — поэзия, театр, придававшие смысл ее жизни, сегодня превратились в мертвый мир, отживший анахронизм?

Он понимал ее отчаяние. Подобно Мартине, подобно Мод, он стал преподавателем из любви к литературе. Как и они, он всегда испытывал трепет перед шедеврами, поклонялся писателям и драматическому искусству. И, как они, проснулся однажды в незнакомом мире коллежа, где витал дух Жюля Ферри, Жана Масэ, Пьера Семара, Сент-Экзюпери и Гастона Рамона[1]: этот несуразный пантеон, состоявший из пионеров авиации и министров Третьей республики, заменил лучезарных богов его юности.

Впрочем, Мартина так и не проснулась. Каждый день она с ошеломляющей наивностью жертвовала на алтарь народного образования самое дорогое. Не отдавай им ничего, что любишь, твердил ей Божэ. Береги тайный сад, полный цветов и птичьего пения, которому ты принадлежишь больше, чем этому миру. Поступай так, как поступают Женевьева или Раймон. Эти люди не любят свой предмет, они любят профессию преподавателя. История или математика для них лишь оружие в борьбе, которую они ведут, — борьбе за равенство возможностей, за право взимать с общества налог во имя Знания. И чем была вся их жизнь, если не осуществлением этих республиканских идеалов? Медленно, шаг за шагом поднимались они из социальных низов к привилегиям и удобствам, какие давала преподавательская карьера. Они просто перешли из одной семьи в другую, призванную обеспечить им поддержку и защиту до самой смерти — льготное кредитование и страховку, мебель по оптовым ценам, а под конец — место в доме ветеранов. Вся их жизнь проходила под сенью организаций с загадочными для непосвященных наименованиями — МГЕН, САСДЕН, САМИФ, СГЕН, МАИФ, — а в результате от этой жизни останутся только две буквы против фамилии в списке госслужащих — "*ум.*".

— Ты, конечно, прав, — тихо сказала Мартина. — Но иногда я смотрю на их волосы ежиком, на их прыщавые физиономии, кожаные куртки и думаю: неужели это наши дети, Филипп? Я не узнаю их, мне кажется, что я вижу компанию загулявших спортсменов или пришельцев с другой планеты. А ведь они — наше порождение. В чем мы допустили ошибку, Филипп?

— По-твоему, это наше порождение? — пожав плечами, спросил Марло. — Ты представить себе не можешь, сколько пар занимается любовью при включенном телевизоре. Нет, это побочные дети тех, кто ведет развлекательные программы во вторник вечером.

Мартина покачала головой.

— Нет-нет. Не надо цинизма. В конце концов, кто мы такие, чтобы их судить? Мы только и делаем, что навязываем им разные нормы и правила. Знаешь, между собой они говорят не "учитель", а "мучитель", слов-

1. Жюль Ферри (1832—1893) — французский политический деятель, министр просвещения и глава кабинета. Провел либеральную реформу государственного образования. Жан Масэ (1815—1894) — французский педагог и публицист, основатель Французской лиги преподавателей. Пьер Семар (1887—1942) — один из основателей Французской коммунистической партии, деятель профсоюзного движения, расстрелян фашистами. Гастон Леон Рамон (1886—1963) — французский ученый-бактериолог. Его исследования легли в основу разработки противодифтеритной и противостолбнячной вакцин.

но мы задались целью их мучить. Но, честное слово, я прихожу в восторг, когда в изложении вместо "сумел спасти бесценный челн" читаю: "сумел спасти бесценный член". Ведь это своего рода поэзия, все равно как очаровательные словесные находки детей, разве нет? К чему тупо вдалбливать им правила орфографии? Подавлять их творческий дух двойками и переэкзаменовками?

— В самом деле, к чему? — согласился Марло. — Когда корабль тонет, нет смысла спасать чайные ложечки.

А в это время, подумал Божэ, отодвигаясь, Мари-Поль входит в кинотеатр и отряхивает шапочку от снега. Почему он сейчас не с ней? Мы тут шумим, чтобы не страшно было сидеть в пустом доме, подвел он горький итог. Не надо больше оставлять нас одних в этом промерзлом помещении. Мы тычемся носом в стены, хватаемся друг за друга, точно слепые. Верните нам учеников. Пусть они помогут забыть об этой наводящей ужас пустоте, в которой мы блуждаем.

Шум перерос в нестерпимый гвалт. Но все казалось каким-то нереальным. Они играли в жизнь, суетились, чтобы ощутить свое присутствие на этом свете. Только слезы Мартины, этот всплеск неподдельного страдания, заслуживали доверия. Он слушал их голоса, смотрел на шевелящиеся губы. Что они говорили? Иллюзия жизни, которую они создавали с помощью этих разговоров, уже не обманывала его.

— Хочешь записаться вместе с нами на курсы повышения квалификации? В этом году там будет масса интересного.

Мадемуазель Бенедикт смотрела на него своими выпученными глазами и с видом деловой озабоченности посасывала кончик карандаша.

— Я тебе прочту список тем, а ты останови меня, когда выберешь что-нибудь, ладно? Так, что у меня тут... Ага, вот. "Критерии нормативности", "Тенденция к созданию гипертекстов". Не знаю, что это значит, но звучит впечатляюще... "Пиктография как новый путь в педагогике", "Познавательная способность и ее развитие у детей". Сложновато, пожалуй... Ага, вот это тебе понравится: "Дидактические аспекты документального исследования".

Жерар, сидевший за другим столом, призывно махал ему рукой:

— Филипп, ты нам нужен. Мы узнали, сколько часов нам дадут на будущий год. Теперь надо распределить их по предметам.

— Филипп, — звал Раймон, — Филипп, мы выяснили, у кого в классах сколько телевизоров. Не знаю, в курсе ли ты, но на одну только историческую географию приходится целых четыре. Непонятно, за что такая привилегия.

— Хочешь прикол, Филипп? Вызываю я тут одного папу, а он знаешь что говорит сыну? "Смотри, малыш, будешь бездельничать в школе — станешь учителем английского!"

Его обложили со всех сторон, взяли в кольцо. В этой комнате с грязно-белыми стенами собрались взрослые люди, тридцать человек. Утренняя забастовка постепенно выдохлась, превратившись в затянувшуюся перемену. Просвещение, педагогика, новые методы. Целый рой бесполезных слов жужжал в прокуренной атмосфере учительской. Сбившись в небольшие группки, без сцены и без публики, они разглагольствовали, пререкались, облизывали пересохшие губы, обдавали друг друга несвежим дыханием. *Пересмотреть установки. Найти возможности. Научить учиться.* Другие молча проверяли тетради, составляли графики успеваемости. Никогда и ничего здесь не изменится. Малень-

кие мальчики и девочки с тяжеленными ранцами через четыре года неизбежно превратятся в долговязых подростков, их лица будут изуродованы угрями и пробивающимся пушком, они будут являться на урок без учебников и без пенала. Коллеж — просто лаборатория, где происходит эта метаморфоза, этот загадочный процесс мутации, которым не в состоянии управлять учителя. Неужели они до сих пор не поняли, что их профессия исчерпала себя? Постоянные депрессии, курсы психотерапии, хроническая потеря голоса, узелки на связках — все эти профессиональные заболевания, известные с незапамятных времен... В домах ветеранов выжившие из ума преподаватели философии непрерывно хлопали в ладоши, выстраивая в шеренгу воображаемых учеников. Убеленные сединами педагоги участвовали в отборочных турах радиовикторин, чемпионате Франции по орфографии, конкурсах кроссвордов. Для чего? Знания, критический подход, свобода — все эти ценности прошлого давно уже выброшены на помойку. Марло прав: новое поколение, наоборот, жаждет еще более прочных цепей, ему подавай побольше рекламы, побольше игр, лотерей и конкурсов. Они *не хотят* изменять этот мир. Они с ним заодно, они послушно копируют его образцы, стараясь лишь добиться как можно большего сходства, чтобы их убогое "я" растаяло в зеркале рекламных слоганов. От этого общества, даровавшего им право на прибыль и на потребление, они требуют одного: права стать самыми беззащитными, самыми простодушными жертвами торговцев в Храме. И в соответствии с этим ведут себя в школе как хулиганы в супермаркете.

Но что ему, Божэ, делать здесь? Связь с Мари-Поль еще больше отдаляла его от остальных. Пока в курсе дела был один лишь Марло. Он чувствовал себя только что внедренным в учительскую двойным агентом, который для прикрытия ведет такую же размеренную, респектабельную жизнь, как его коллеги, и одновременно живет другой, тайной жизнью, богатой событиями и впечатлениями, бесконечно далекой от будничных забот, замыкавших их горизонт. Воспоминание об отношениях с Мари-Поль, о близости с нею освобождало его от власти законов, коим подчинялись все прочие. И не важно, что коллеги ничего не знают. Он тихо радовался, словно у него появилась особенность, скрытая от других (как, например, третий сосок у Скараманги[1]), невидимое, но завидное физическое свойство, само наличие которого подчеркивало его принадлежность к избранным, словно тайные "академические пальмы"[2].

Нарушив верность Катрин, он в каком-то смысле нарушил верность своему окружению, даже своей профессии; он изменил незыблемым принципам педагога, конформизму супружества, короче — если по правде, — всему рутинному и обыденному в своей жизни. Однако, освободившись, он впал в еще большую зависимость, испытывая постоянную душевную муку, которую подпитывало в нем регулярное общение с Мари-Поль. Так чувствует себя человек, бросивший курить, но вынужденный ради куска хлеба работать на сигарной фабрике.

Как это было глупо с его стороны — думать, будто любовную связь можно оборвать простым усилием воли! Хоть он и не смог пойти на мелочные уловки адюльтера (зашифрованные телефонные разговоры,

1. Персонаж фильма о Джеймсе Бонде "Человек с золотым пистолетом" (1974 г.).
2. Знак отличия за заслуги в области литературы или искусства.

ужины с неожиданно объявившимися друзьями детства и другие, столь же пошлые водевильные ситуации), он с каждым днем все острее чувствовал, насколько тщетны его усилия забыть о случившемся, прикидываться равнодушным, демонстрировать безупречное самообладание настоящего мужчины. И винить он мог только себя. Ведь это он разработал правила, выдвинул условия. А Мари-Поль охотно подчинилась ему, со спортивным азартом согласившись держаться с ним по-товарищески. Теперь он понял, что с его стороны это было попыткой уйти от решения, оставить их связь в состоянии неопределенности, при котором любой пустяк — вроде стихийной забастовки или обеда вдвоем — мог вызвать катастрофу.

Именно это сейчас и произошло.

— Филипп, ты в курсе, что Пиротона вызывают на дисциплинарный совет?

— Пиротона? — повторил он.

Его взяли за руку и усадили в кресло: он был в таком отупении, что не мог сопротивляться.

— Не понимаю, за что все так взъелись на него. Между нами говоря, если Каракатица не справляется со своими учениками, то изгнание Пиротона вряд ли поможет решить эту проблему. Говорят, он при всех обозвал ее идиоткой. Но если бы ты знал, Филипп, какие духовные богатства скрыты в этом мальчике! Он только и думает, как бы порадовать меня. Его последнее сочинение — самое настоящее признание в любви.

— Извини, Мод, но, честно говоря, мне плевать на Пиротона.

Она наклонилась к нему, длинные серьги тихо зазвенели:

— С тобой все в порядке, милый? Руки у тебя как лед. Дай-ка я их согрею.

— Все нормально, Мод. Просто неохота разговаривать.

Она покачала головой.

— Это из-за той девушки, верно? Я сейчас видела тебя с ней. Слушай, я правда беспокоюсь за тебя. Ты такой бледный.

— Мод, пожалуйста, не надо...

— Подойди поближе. Ты весь напрягся, ты как натянутая струна. По себе знаю. А все из-за этого чудовищного воспитания, которое мы от них получили. Не прислушиваться к своему телу, укрощать маленький зверинец инстинктов. Расслабься, дорогуша. Дай руки, я их согрею.

Она положила его руки себе на живот, и он удивился, почувствовав, какое все еще крепкое и упругое у нее тело. Теплый, слегка выпуклый живот, на котором выделялась резинка от колготок.

— Расскажи Мод, что с тобой случилось. Ты же знаешь, мне можно говорить все. Расскажи, тебе легче станет.

— Мне нечего рассказывать, Мод.

Это возражение прозвучало вяло. А стоило ли бороться? Сцена, происшедшая утром, почти в точности повторялась сейчас: время сделало петлю и накинуло ему на шею.

— Я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Ты борешься с ложным образом твоего "я", который они тебе навязали. Я тоже прошла через это: в какой-то момент надо разрубить, с позволения сказать, эдипов узел, чтобы стать самим собой. Сорвать чужую кожу, которую они налепили на тебя.

— У меня всегда было очень мощное "сверх-я". От этого, вероятно, появляется белок в моче, — отшутился он.

Как всегда, Мод свела его проблему к медицинскому случаю, из тех, за какие охотно берутся дорогие психотерапевты. И все же в этой карикатуре были кое-какие узнаваемые черты его характера. Он чувствовал на себе гнет воспитания, сформировавшего несколько поколений чопорных моралистов, которые и помыслить не могли о супружеской неверности, которым было неведомо само слово "желание". Изменить Катрин значило изменить степенности и серьезности предков, уходящим корнями в незапамятные времена. Вероятно, у Божэ отсутствовал ген прелюбодеяния, который мог бы все значительно упростить.

— Не глупи, дорогуша. Очень немногие мужчины созданы для верности, для отцовства, для семейного очага. Ты не стал исключением из правила.

Ему захотелось написать ей на полях: "Вы отвлеклись от темы", как он обычно писал на сочинениях. По какому праву она навешивала на него заранее заготовленный ярлык? Он не был мужем-гулякой, он любил Катрин, женился на ней в результате обдуманного, взвешенного выбора и хранил ей верность пятнадцать лет, пока не появилась Мари-Поль. В их окружении семьи распадались одна за другой, а они с Катрин в глазах друзей всегда были образцом счастливого супружества.

Вот чего Мод никогда не понять: он любил Катрин, любил искренне и глубоко. И все же в этой любви оставалось место для другой женщины, до поры неизвестной. Именно здесь Мари-Поль поставила свою палатку, освоив заповедную территорию: так бывает, когда в заброшенном уголке парка разбивают лагерь туристы и вдруг обнаруживается, что там дремучие заросли, которые тянутся на километры.

Он, конечно же, скрыл свое приключение от Катрин, даже сумел ловко выкрутиться, когда она, разбирая его вещи, нашла трусы в кармане брюк. Рассказывая о поездке в Венецию, он преувеличенно восхвалял Сару Циммерман, однако ни разу не упомянул Мари-Поль: это насторожило бы кого угодно. Но Катрин как раз и не была "кем угодно". К счастью, она была слишком прямодушна. Недоверчивость, ревнивые подозрения были чужды ее возвышенным представлениям о жизни вообще и о своем браке в частности.

Каждый день он благословлял ее за эту наивность. Но безнаказанность только усиливала в нем чувство вины. И если вначале ему казалось, будто ничего страшного не произошло, то со временем он стал испытывать жгучее раскаяние. Сколько раз по вечерам, когда она опускала голову ему на плечо, он почти готов был во всем признаться! Но она так доверчиво отдавалась ему, и он умолкал на полуслове, а потом долго лежал без сна, уставившись в потолок, снова и снова перебирая постыдные, мучительные воспоминания. Она засыпала, прильнув к нему, положив руку на его член, он ощущал ее тепло, ее тяжесть. Она была его женой, и ему дорога была и эта тяжесть, и запах ее сонного тела, и все же в мыслях он стремился к другой, горько сожалея, что не сбылись его надежды на новую жизнь.

— Понимаю, ты любишь Катрин, — признала Мод. — Хоть Лабарт и расстался со мной, я знаю, что всегда буду главной в его жизни. Иногда я по ночам слышу, как кто-то бродит вокруг дома. Не сомневаюсь, что это он: ходит под окнами, боясь попасться мне на глаза.

Как могла она сравнивать его с собой? Она развелась, когда ей было уже за сорок пять, сошлась с парнем, который в сыновья ей годится, и продолжала преследовать бывшего мужа страстными письмами. "Ты писатель, — сказала она, показывая ему эти письма. — Ты один можешь понять, что` скрывается за словами". Лучше бы она помолчала, не перекраивала на свой лад историю, о которой ничего толком не знает. Но он не стал спорить: ему было приятно, что хоть кто-то говорит с ним об этом, так велико было сейчас его одиночество.

— Я видела тебя в "Привале" с этой девицей, — сказала Мод, сняв очки и скорбно уставившись на него близорукими глазами. — Я представляла себе что-то в этом роде, но только не ее, Филипп, только не ее!

— Что-что?

— Я понимаю, она славная девчонка, у нее роскошная задница. Но ты на сто голов выше какой-то тренерши по горным лыжам.

— Ты слишком далеко заходишь, Мод, — осадил он ее.

Она обиделась, схватила и с неожиданной силой сжала его запястье.

— Ты меня знаешь, Филипп: я достаточно строго отношусь к себе, чтобы иметь право так же относиться к другим. Я ненавижу все мелкое, половинчатое.

— Однако еще сегодня утром ты рассуждала о свободе.

— Не надо, Филипп, не надо! Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Тебе хочется, чтобы у тебя в постели была красивая круглая попка? А я говорю о возвышенной душе, о существе тонком и образованном, способном понять твое духовное богатство, читать те же книги, что и ты, а не о девчонке, которая проводит свою жизнь, изучая жабры мидий или каких-то там улиток.

— Ты ничего не знаешь о Мари-Поль.

— И не хочу ничего знать. Зато я знаю тебя. Не забудь, я составила твой гороскоп. Я знаю, как больно можно тебя ранить. Филипп, милый, когда же я давала тебе плохие советы? Я знаю таких девиц. Лабарт никогда не мог устоять перед красивой фигурой. Все вы одинаковы: с определенного возраста вам нужно в постели молодое, упругое тело, это вас успокаивает. Такова жизнь. Что бы там ни говорил мой милый Серж, от гимнастики толку мало. Мы стареем, кожа становится дряблой, груди отвисают...

Снег, вихрившийся за окном, бросал на ее лицо голубоватые отсветы. Впервые он заметил у нее морщинки в уголках рта, темные пятна на тыльной стороне ладони.

— Да брось ты, — нежно сказал он. — Ты сейчас привлекательнее, чем когда-либо.

Грустно улыбнувшись, она позволила взять себя за руку.

— Понимаешь, Серж такой молодой. Конечно, в сексуальном плане он ни с кем не был так счастлив, как со мной. У меня есть опыт, поэтому я еще кажусь ему желанной. Видел бы ты его после этого: он такой трогательный, прямо малыш, сосущий свой пальчик. Но я знаю, долго так продолжаться не может. Однажды, ложась в мою постель, он увидит там призрак собственной смерти.

— Прекрати, Мод. Это какая-то патология.

— Нет, просто трезвый взгляд на вещи. Я старше его на двадцать лет, понимаешь? И я могу сказать тебе, дорогуша: спи с ней, если это доставляет тебе удовольствие. Но не влюбляйся в начинающую училку по вто-

ростепенному предмету, даже если все вокруг только и мечтают подержаться за ее роскошный зад.

Что он мог на это ответить? Здесь, в окружении коллег, этот разговор казался особенно неуместным, как если бы она встала на общем собрании и доложила, что ей вставили новую спираль.

— Филипп, можно тебя на минутку? — вмешался Марло, прижимавший к груди объемистую кипу бумаг. — Мне надо посоветоваться с тобой по поводу программы третьего класса.

— Иди, иди, — сказала Мод, похлопав его по колену. — И не забудь, что я тебе сказала, дорогуша: жабры мидий. Ты на сто голов выше.

— А при чем тут мидии? — поинтересовался Марло.

— Это совсем не то, что ты подумал, — ответил Божэ, вставая и идя за ним. — Я тебе потом объясню.

15.30
Профориентация

Кабинет Марло находился на четвертом этаже, в темном конце длинного коридора.

— Месяц не могу добиться, чтобы поменяли лампочку, — пожаловался он, пытаясь вставить ключ в замок.

Божэ подошел к окну. Отсюда был виден безлюдный двор, опушенные снегом карнизы, плотный белый покров на крыше пристройки. В скудном предвечернем свете спортивные площадки с ледяными дорожками были похожи на матовое с блестящими полосками стекло. Напротив, в административном корпусе, горел свет, и в одном из окон Божэ разглядел силуэт директрисы: она что-то объясняла невидимому собеседнику.

— Давай пройдем через подсобку, — сказал Марло. — Как-нибудь я решусь и наведу тут порядок.

Они прошли через тесную комнату, заваленную глобусами, диапроекторами и удлинителями. В углу, за приоткрытой дверцей шкафа виднелись большие настенные карты, висевшие на деревянных перекладинах, словно сохнущее белье.

Марло подошел к столу и сбросил на него свою ношу, а потом включил свет над доской.

— Здесь, по крайней мере, нам никто не помешает, — заметил он, как бы рассуждая вслух.

Ровные ряды парт, аккуратно расставленные стулья, покрытые пылью книги в застекленных шкафах. Опустевший класс казался слишком просторным. Божэ стоял, засунув руки в карманы, и рассматривал плакаты на стенах; ему было не по себе, словно он остался один на мебельном складе после закрытия.

— Месопотамский календарь, — крикнул ему Марло, сидевший за столом. — А это тебе знакомо: карнавал в Венеции.

— У тебя проблемы? — поинтересовался Божэ, подходя к столу.

— Нет, никаких проблем.

Еще секунда — и он погрузился в разборку бумаг. В свете лампочки над доской его волосы казались почти белыми. Он надел очки в пласти-

ковой оправе, с маленькими полукруглыми линзами, которые держались на кончике носа. Кокетство эрудита, подумал Божэ. У Марло было орлиное зрение.

— Они мне осточертели просто, — сказал он наконец, с ловкостью фокусника засовывая очки в карман. — Усаживайся, старик, усаживайся. А надо ли вообще отдавать на съедение Минотавру положенное число дев и юношей? Иногда мне кажется, что я готовлю их просиживать штаны в разных конторах и офисах. Должно быть, это и есть "связь школы с жизнью", о которой любит говорить наша директриса.

Божэ сел в первом ряду, и колени его упёрлись в ящик парты. Как ученики ухитряются выдерживать эту пытку целыми днями?

— Думаю, дети видят в этом что-то полезное для себя, — сказал он без особой уверенности.

— Ну да: это дает им шанс считаться вменяемыми, — вздохнул Марло. — Я старею, Филипп, или просто мы все медленно сходим с ума?

— Ты забываешь о такой интересной теме, как "Бридж и педагогика", — зло усмехнулся Божэ.

— В любой другой точке земного шара на половину из нас надели бы смирительные рубашки. Но нам все сходит с рук, потому что мы имеем дело с детьми. Быть может, они нас победили? И не они здесь взрослеют, а мы от общения с ними впадаем в детство? Мне кажется, что с каждым днем я становлюсь все более иррациональным и своевольным, теряю чувство реальности. Только на уроке, среди учеников, все вновь обретает какой-то смысл. Чувствую, еще один такой день, как сегодняшний, — и я начну выделывать на столе сальто-мортале.

— Марло, — сказал Божэ, — кажется, я уйду от Катрин.

Марло отодвинулся от стола, ножки стула скрипнули по паркету.

— Все-таки они тебя достали? И тебя тоже?

— О чем ты?

— О Мод с ее истерическим бредом, о Саре с ее светящейся кармой... Я опоздал, да?

— Я говорю серьезно, Марло. Думаю, я в самом деле уйду от Катрин.

Горечь, которая слышалась в голосе Марло, сбивала его с толку. Казалось, это означало: "Ты меня разочаровал. Я-то думал, ты сделан из другого теста".

— Мод и Сара тут ни при чем, — добавил он словно бы в свое оправдание.

— О, я знаю, чего может добиться Мод, — с коротким смешком произнес Марло. — В свое время она "устроила" мои сердечные дела. Это было за год до того, как ты пришел в коллеж.

— Ты говоришь о ком-то, кого я знаю?

— Ты удивишься, когда узнаешь, о ком речь. Вот тут я замечаю, что старею. Я всегда держал за правило не смешивать постель и работу. С одними работаешь, с другими спишь. Но с возрастом теряешь осторожность. Идешь на сделку с самим собой.

— Ты только на пять лет старше меня, — заметил Боже.

— Это было в восемьдесят девятом. Я уже не помню, из-за чего мы тогда бастовали. Акция продолжалась три дня, мы не выходили из коллежа. Я так и не оправился от этого. Словно в сорок лет на меня навалились все детские болезни, которыми я не переболел в положенное время.

— Мод? — предположил Божэ.

— Мод? Ты ее плохо знаешь. Под ее раскованными манерами прячется монашеская скромность. Нет-нет, бог с тобой, конечно не она.

— А кто?

— Ты правда хочешь знать? Ну так вот, сперва это была Мартина, наша восхитительная крошка Бонамур с большими испуганными глазами, а потом несколько невинных практикантов, которых неосторожно вверили моему попечению. Не смотри на меня так, старина. Не могу сказать, чтобы я гордился этим.

— Мне бы такое никогда в голову не пришло. Ты и Мартина... — пробормотал Божэ.

Он вспомнил, как час назад Мартина вошла в учительскую, заливаясь слезами, в своей черной накидке, делавшей ее еще более хрупкой и воздушной. Почему ему стало не по себе? За все эти годы у него сложилось определенное представление об учительской: нечто вроде фотографии слишком примерного класса, в первом ряду — отличники (Раймон, Жерар, Бенедикт), в последнем — верзилы (он и Марло), все изображают бодрость и принужденно улыбаются, — и вот теперь эта картинка дала трещину. После Венеции он втайне гордился, что стал единственным черным бараном в этом стаде белоснежных овец. Разумеется, некоторые пережили развод, например Мод или Мартина. По статистике преподаватели литературы разводятся в два раза чаще, чем преподаватели естественных и точных наук. Но ведь развод, в сущности, тоже одна из форм супружеских отношений. Развод — это все-таки проявление сексуальности в рамках дозволенного, тупое исполнение общественных законов, которые он, как ему казалось, дерзко нарушил, прямо под носом у коллег вступив в запретную связь с Мари-Поль. Признание Марло сразу лишило его ощущения собственной исключительности, низвело его приключение до уровня пустяковой интрижки, какая могла случиться у кого угодно, а он бы ничего и не заметил.

— Представь себе, мне бы тоже не пришло в голову. Это получилось неожиданно. Ты знаешь Мартину. Она устраивала вечер своего поэтического клуба и была вся на нервах. В столовой расставили стулья, разослали приглашения. В общем, я пошел на этот вечер, хотя всем известно, что я терпеть не могу Превера и школьную декламацию. Она готовилась к вечеру полгода, а во время чтения стихов у нее украли сумочку с документами, кредитными карточками и ключами от квартиры. Муж был в командировке, дети — уж не знаю где. Она не хотела идти домой, боялась, что ночью к ней ворвутся грабители. Ну, я ее проводил, вот и все. Конечно, Мод устроила мне ужасающую сцену.

Он взял со стола ручку и повертел ею в воздухе, как мажоретка вертит жезлом на параде, — потом наклонился над столом к Божэ.

— Умоляю тебя, Филипп. Не будь идиотом.

Божэ молча проглотил этот призыв. Он не понимал, в чем дело. Марло знал про них с Мари-Поль и до сих пор вроде бы не осуждал их связь.

— Не будь идиотом, Филипп, — упрямо повторил Марло. — Спустись на землю. Встряхнись хорошенько и попроси начальство о переводе, иначе это бабьё тебя доконает. Однажды утром ты проснешься в постели какой-нибудь дурехи и подумаешь: а что я тут делаю, — но будет уже слишком поздно.

— Очень лестно для Мари-Поль, — сухо заметил Божэ. — Сейчас ты говоришь совсем как Мод.

— Филипп, поверь моему опыту. Бери Катрин, слетай с ней на недельку в какие-нибудь сказочные места, на Ивису или в Марокко, и прекрати валять дурака, ради всего святого.

В убежденности Марло было что-то гнетущее. Сейчас, сидя за столом, заваленным папками, в свете лампочки над доской, он был похож на психолога по семейным проблемам, выступающего на провинциальном телеканале: вертит в руках слишком дорогую перьевую ручку и старается непринужденно вести себя перед камерой.

Пуританин, подумал Божэ. Этот его английский стиль, черный зонтик, втиснутый в блестящий футляр. Да, пуританин, и притом худшей разновидности: пуританин-грешник, ревниво скрывающий от чужих глаз то, что происходит в его владениях. Кричит на него, заставляет сесть за первую парту, словно школьника, которому можно прочесть нотацию. Что он о себе воображает?

Удобно устроился Марло. Слишком удобно. Его холодность после Венеции и сегодняшняя грубость ясно показывали: в сущности, Марло снисходителен только к самому себе. Он готов проявить открытость, терпимость, — но только если никто не претендует на его ведущую роль. Он воплощенное великодушие в тех случаях, когда это позволяет выдвинуться на передний план. А в остальном?

Божэ пожал плечами. Не надо большого ума, чтобы понять: Марло перешел в другой лагерь. Но удивительное дело: это открытие не поколебало, а, наоборот, укрепило его решение. Теперь, когда Марло показал свое истинное лицо, Божэ вдруг осознал, как сильно, до смешного, боялся вызвать у него неодобрение. Он потерял союзника? Ну и что? Просто он изменил и Марло тоже, вот и все.

— В твоих устах это звучит убедительно, — иронически заметил он, стараясь говорить так же язвительно, как вчера с Бобом, когда тот, описывая экономическую ситуацию в мире, какой она виделась ему из-за прилавка магазина по продаже мобильных телефонов, умудрился стряхнуть пепел с сигары в старинный хрустальный бокал — мать Катрин очень дорожила ими. — Однако в твоем случае Ивиса, кажется, не помогла.

— Мой случай не имел ничего общего с твоим, — ответил Марло. — У меня с Беатрис не было детей. Это была другая эпоха: свободная любовь, возврат к земле и прочая чушь. Тогда мы отвергали все, что считали буржуазным, — детей, пуделей, газовые плиты. Но мы слишком поздно очнулись. Уже ничего нельзя было сделать, машина сломалась. Ремонту не подлежит.

— А если я тоже хочу все к чертям бросить и поселиться на плато Ларзак[1]? Наверстать упущенную молодость? Эта девушка для меня как наваждение, Марло. Было бы лучше, если бы я не встретил ее, но это случилось. Я не могу упустить такую возможность. Потом буду казнить себя всю оставшуюся жизнь. Я тоже имею право на безумство.

— Ларзак, говоришь? Не смеши меня. Сидеть вечерами при сальной свечке, носить грубошерстные кальсоны? Да ты и трех дней не выдержишь.

1. Плато Ларзак (Центральный массив) оказалось в центре внимания общественности в 70-е годы, когда французское правительство решило расширить находившуюся там военную базу. Это вызвало бурный протест молодежи и защитников окружающей среды.

— Ты сумел все забыть, верно? А я задыхаюсь от этой жизни, Марло. Я чахну, я съеживаюсь, как отсыхающий ноготь. Мне нужен воздух, нужна свобода.

— Нет, ты точно рехнулся, — вздохнул Марло. — Вынужден это признать, несмотря на все мои дружеские чувства. Какая такая свобода тебе нужна? Свобода получить отставку у Мари-Поль, когда ты ей наскучишь? Свобода жить в единственной пятнадцатиметровой комнате, а в Сочельник жрать разогретые полуфабрикаты? Нет уж, спасибо за такую свободу. Я это проходил. Можешь мне поверить, игра не стоит свеч.

На мгновение Божэ снова увидел фигуру Марло на катере в тот вечер, когда переспал с Мари-Поль. Дон Жуан в аду из стихотворения Бодлера.

— Избитый мотив, — заметил Божэ. — Мне кажется, что я слышу Катрин.

— Не потеряй ее, Филипп. Не упусти, как я упустил Беатрис. Вначале это было так удобно: необременительный эротический союз, каждый спит с кем захочет. Ни клятв, ни обещаний. Пользовался этим, естественно, я один. Беатрис любила меня, а я любил всех женщин. Возможно, все сложилось бы иначе, будь у нас дети. Но я оказался не способен даже на это: сделать ребенка девушке, с которой жил. К близости другого человека настолько привыкаешь... Она становится частью тебя самого, и ты ее уже не замечаешь, тебе хочется новых, сильных ощущений. А когда ее теряешь, просыпаешься калекой, осознаешь вдруг, что у тебя была правая рука. Именно это сейчас и происходит с тобой, Филипп.

— И этот человек утверждает, что отверг мелкобуржуазные ценности! — расхохотался Божэ. — Вот уж от кого не ожидал проповедей о верности и о святыне брака. Пожалуй, ты прав, Марло. Ты стареешь.

Марло хлопнул по столу ладонью, подняв облачко пыли, затем наклонился к Божэ:

— Иди к черту, Филипп. Идите к черту вы все, сколько вас есть, Сары, Мод, Божэ... Я тут сижу, вникаю в ваши проблемы с котлом, в ваши постельные истории. Но мой рабочий день давно кончился, старина, и в это время мне бы давно уже следовало быть далеко отсюда и усердно выказывать мое глубочайшее почтение мадам Пиротон.

— Мадам *Пиротон*? Мамаше Пиротона?

— Совершенно верно. И в данном случае у меня даже нет оправдания в виде украденной сумочки. Ты потрясен, да? Как видишь, я еще не вполне образумился.

— Не вижу связи, — сказал Божэ после короткой паузы.

— Не видишь? А ведь это элементарно. Такой человек, как Мод, мигом бы все понял. Ты знаешь, что я хорошо к ней отношусь, но ведь она ненормальная, Филипп, абсолютно ненормальная! Ты можешь представить себе ее хоть на минуту вне этих стен? В *реальном* мире? Она может существовать только здесь. Наша профессия выявляет в людях все их неврозы. Мод среди этого безумия — как рыба в воде, она тащит всех вас на дно... А пока вы будете распутывать в себе клубок противоречий, я буду заседать на этом чертовом дисциплинарном совете... Как классный руководитель я обязан буду высказать женщине, с которой сплю, ваши нелестные суждения о ее отпрыске, а равно и о ее распутном поведении, которое так вредно влияет на бедного ребенка. В общем, лучше бы она по вечерам помогала ему делать уроки, а не ложилась в постель со старе-

ющим педагогом. Тебе доводилось бывать на этих советах, Филипп? Ты имеешь хотя бы отдаленное представление о том, что там происходит?

Он замолчал и посмотрел на свои пальцы с утолщенными суставами.

— Вот так я и живу, Филипп. Думаю только о своем. И мне нет дела до Мод с ее невнятными душевными терзаниями... Я только пытаюсь тебя предостеречь.

— Извини.

— За что? Будь я на твоем месте, я бы не извинялся. Рано или поздно человек должен за все платить: как грешил, так и будешь наказан. И потом, этот Пиротон — сущее наказание, пусть даже мамаша у него просто конфетка.

Из коридора доносились какие-то глухие удары, грохот перекатываемой тележки. В классе была почти полная тьма, горела только лампочка над доской.

— И когда будет заседание совета?

— Не знаю. Скорее всего, на будущей неделе. А пока я могу еще несколько дней безмятежно совокупляться. Возможно, это и есть решение проблемы: быть легкомысленным, пока тебе еще это удается. Брать свое и ни о чем не думать.

Он огляделся, словно удивившись, как сюда попал.

— Черт возьми, уже совсем темно. Четыре часа. Скоро начнется балет уборщиц перед окончанием рабочего дня.

Они посмотрели друг на друга: неприятно было вспоминать о том, что они тут наговорили.

— Я погорячился, — начал Божэ. — Я не хотел тебя обидеть.

— Ты не виноват, это я был неправ. Ты, конечно же, сам знаешь, что тебе делать. Счастливо тебе, старина. Не заставляй ее ждать.

Он встал, с трудом разгибая длинные ноги. В темноте его колени хрустнули, точно раздавленные орехи.

— Холод собачий, — пробурчал он. — Не починят они отопление до утра.

Божэ тоже встал. Они разошлись в разные стороны, почти бегом, чтобы не пожимать друг другу руки. Это привычное рукопожатие было у них своего рода игрой, пародией на буржуазные условности, но сейчас оно выглядело бы чересчур торжественно.

16 *часов*
Окончание уроков

На тротуарах снег превратился в густую темную кашу, прилипавшую к подметкам. Время было не позднее, но белесый туман уже застилал улицу, размывал очертания предметов.

Божэ размашисто шагал, не оборачиваясь. Иногда с оголившихся деревьев ему на плечи бесшумно падали комочки снега. Машины, которые его обгоняли, ехали медленно, осторожно, след в след по обледеневшему, посыпанному песком асфальту. В одной из машин, как ему показалось, он узнал Мод — и отвернулся.

Он не зайдет домой за вещами: пижамой, зубной щеткой, бритвой, потертыми кожаными тапочками. Ведь он наверняка не выдержит, когда увидит два желтых непромокаемых плащика на вешалке или когда у

него под ногой пискнет резиновый Микки-Маус, пока он будет искать в темноте выключатель. И потом, если всерьез решил уйти, какой смысл брать с собой пижаму или старую растрепанную зубную щетку? Он начнет новую жизнь налегке, одетый лишь в эластичную и свежую, точно у младенца, кожу.

Я дышу, повторял он себе, я дышу. Это доказывало, что он снова начал жить. Его легкие, набравшиеся за день табачного дыма, расширялись, впивая прохладный воздух, словно только что открытый мешочек с кофе в вакуумной упаковке. Ощущение упоительное и в то же время болезненное, подумал он, так, наверно, было с ним, когда он вышел на свет из тепла материнской утробы.

Он перешел на другую сторону улицы, по которой обычно не ходил, и это изменение точки обзора уже само по себе было приключением. Стоя у светофора, он заметил соседку: она расхаживала взад-вперед у пустыря, где копошилась ее собака в ярко-красном пальтишке. Сколько же раз в день писает эта собака? — задумался Божэ и стал пробираться среди машин.

Теперь ему надо было пройти до конца длинную улицу, ведущую к вокзалу. Он видел домики с засыпанными снегом садами, живые изгороди, отвердевшие от холода и ставшие похожими на узорные чугунные решетки, плакучую иву, которая доставала ветвями до земли, точно замерзший водопад. Какой-то пенсионер в войлочной обуви возился с деревянными ко́злами у себя на крыльце. На дверях появились первые венки из омелы и остролиста, перевитые красными лентами и поздравительными надписями.

Это первое Рождество, которое он проведет без своих дочек, осознал он вдруг. Впрочем, заметят ли они его отсутствие? Родители Катрин сделают все возможное, чтобы дети не чувствовали себя преданными и покинутыми. Эти люди умели стойко сносить любые испытания. Круглый год они сидели на различных диетах, что уже само по себе можно было приравнять к хронической болезни, а в горе выказывали необычайную твердость. Предстоящее Рождество будет похоже на предыдущие: вскрытие пакетов с подарками, еловые иголки и обрывки подарочной бумаги под ногами, большая кукла на батарейках, звучно хлопающая ресницами, — вся эта сказка, которая осветила когда-то его собственное детство и которую он потом воссоздавал снова и снова. Надо вырваться из западни вечного повторения одного и того же, подумал он, ускоряя шаг. И главное, не оглядываться назад.

С виадука свисали длинные сосульки; когда под ними проезжал поезд, они тихонько звенели. Вагоны были похожи на прямоугольники голубого неба, которые кто-то вырезал, сцепил друг с другом и послал сюда из-за горизонта.

Он быстро огляделся. Потом перепрыгнул через турникет и пошел по платформе, сделав над собой усилие, чтобы не побежать. Дурацкая выходка, подумал он, усевшись в конце вагона: ему вдруг представилось, как его ловят контролеры и путь к новой жизни заканчивается самым жалким образом: наручниками и разбирательством в вокзальных катакомбах.

Поезд набирал скорость, а его вдруг охватила паника. Катрин легко было подшучивать над его нерешительностью, над почти патологической неспособностью сделать выбор, даже если речь шла о паре брюк или о часах... Но на этот раз он не выбирал. Чаша весов, на которой

ночь за ночью накапливался и рос ворох различных доводов за и против, сомнений и сожалений, вдруг пошла вниз, увлекая его за собой. Если он осмелел, то потому только, что вырвался на свободу, махнул на все рукой, как горький пьяница, — словно вдруг, неизвестно почему, с сумасшедшей скоростью понесся по пустынной дороге в машине с откидным верхом, с застывшей на лице блаженной улыбкой.

А сейчас, развалившись на сиденье, поставив портфель между колен, он внезапно очнулся и почувствовал, как у него дрожат ноги. Бесчисленные препятствия, которые он небрежно смахнул со своего пути, снова выросли перед ним, сгрудились еще теснее, показались непреодолимыми. Платформы, мосты, склады рвались в окно вагона, электрические провода поднимались и опускались с головокружительной быстротой, разрывая его отражение в стекле. Он уже не летел как пуля сквозь вечернюю мглу: волна желаний и сомнений, оставленная, как ему казалось, далеко позади, сумела догнать его и теперь обгоняла с чудовищной скоростью, а он двигался навстречу неизбежному столкновению...

Не надо было ему ехать без билета. Он только начал привыкать к свободе, и нарушение закона было для него непосильным испытанием. Просто совесть у него неспокойна, вот и все, убеждал он себя. Паралич воли, когда надо действовать. Он привык подавлять пробудившееся желание, придумывая всевозможные препоны и запреты. Теперь надо было побороть в себе моралиста. А это дается не без труда. Я еще только в пути, Мод. Почему я не взял такси?

Первая станция. Они проезжали промышленную окраину, вокруг виднелись старые, почерневшие дома, маленькие заснеженные огороды, слишком широкие проспекты, через которые были переброшены железные мосты. В Клиши, наверно, все выглядит так же. Мари-Поль жила там на седьмом этаже без лифта, в старой, запущенной квартире, выходившей окнами на оживленную улицу. А на первом этаже, подумал он, продуктовая лавочка, которую держит араб, она открыта по воскресеньям. Мари-Поль спускается туда в халате, возможно накинутом на голое тело, за банкой тунца в масле и маслинами для вечерней пирушки. Ночью в доме никто не спит, это шумный пестрый мирок студентов-психологов, они могут в любое время позвонить в дверь и разложить у вас на ковре индийских слоников, поддельные рубашки “Лакост” или возбуждающее зелье. Вот что было ему нужно: грязный многолюдный квартал, где всегда шумно и пахнет пряностями, эротическое противоядие от строгого торжественного покоя книг, в котором ему раньше было так уютно. И не важно, что этот воображаемый Клиши тоже взят из книг, позаимствован у Генри Миллера: хотелось погрузиться в него всем своим существом, раз и навсегда уничтожить стену из слов, которую он воздвиг между собой и своей жизнью.

Сколько лет потрачено впустую! Сколько времени он потерял, внушая себе и своим ученикам: литература — это и есть жизнь, сконцентрированная в таких точных пропорциях, что тот, кто не читает, до конца дней останется слепым и глухим. Мы ничего не преподаем нашим ученикам, мы лишь заражаем их нашими страхами, нашей неспособностью к действию, мы используем знание как строительный материал, чтобы создать для них маленькие бункеры, где можно будет укрыться от ветра, от любви, от страдания, от пьянства.

Он слишком долго ждал. После нескончаемых лет прозябания выдраться к свободе можно было только с мясом. Он вспомнил, как трех-

летняя Матильда топала рядом с ним по парку – и как он растрогался, увидев, что ростом она даже меньше его зонтика... Он слишком рано завел детей. Он еще не успел опомниться, а время уже стало измеряться синими карандашными отметками на дверном косяке, куда девочки прислонялись, гордо выпрямив спину, прижавшись босыми пятками к плинтусу. Это не он старел, восходя к вершинам мудрости, спокойствия, жизненного опыта, это они вырастали, неумолимо вытесняя его на обочину.

Они вырастали. Будущим летом в Карнаке Люси впервые достанет ногами до дна бассейна, подумал он вдруг с внезапным отчаянием. С такими мыслями ему предстоит теперь бороться, он это знал и заранее боялся их, они заставляли его взглянуть на самого себя в будущем: стареющий мужчина, похожий на Марло (быть может, Марло именно от этого и пытался его предостеречь?), с посеревшим от бессонницы лицом, сидящий на кухне в Клиши и наблюдающий поверх грязной тарелки с окурками крах собственной жизни.

Но зимний пейзаж, пробегающий у него перед глазами (покрытая снегом трава на футбольном поле, толпа у автобусной станции), отодвигал Карнак в туманную, призрачную даль. В его сегодняшней жизни не было места сожалениям. Осталось одно лишь непроницаемое ядро эгоизма, вокруг которого сплотились все силы его души, превратившись в твердую, сверхпрочную материю. Странное, ни с чем не сравнимое ощущение, будто у тебя в груди засела пуля крупного калибра, и ты чувствуешь тяжесть и боль, но именно это дает тебе понять, что ты жив.

Поезд нырнул под землю. И в то же мгновение за стеклом появилось лицо еще не старого мужчины, который внимательно разглядывал его широко раскрытыми глазами, – незнакомца, в чьем обществе Божэ, сам того не зная, провел долгие годы, о чьем существовании не догадывались ни Катрин, ни дети, и, быть может, одна лишь Мод (надо отдать ей справедливость) сумела разглядеть его черты.

На станции Шатле, среди безразличия толпы, турникет уже не казался символом непреодолимого препятствия. Просто металлическая штуковина, расположенная на неудобной высоте, как раз на уровне бедер. Он зашел в киоск, купил вечернюю газету, которую оставил у кассы (избавляться от старых привычек!), а затем, нагрузив карманы мелочью, направился к телефонной будке.

"Айша, вернись!" На телефоне были нацарапаны всевозможные послания, чьи-то неразборчивые номера. С беспричинно бьющимся сердцем он набрал свой номер.

"*Добрый день,* – ответил голос Катрин. – *Это телефон Филиппа и Катрин Божэ. Нас сейчас нет дома. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Мы позвоним вам, как только придем домой*".

Божэ повесил трубку. Катрин поехала к логопеду, который занимался с Матильдой, и вернется не раньше семи. Он это знал, на этом основывался его расчет. И все же ему неприятно было услышать ее голос в магнитофонной записи. Этот спокойный голос, четко выговаривающий слова, в данных обстоятельствах казался потусторонним.

"Катрин, это я, – быстро проговорил он, набрав номер во второй раз. – Я иду с Марло на дружеский ужин, который может кончиться поздно. Не жди меня, скорее всего, я останусь ночевать у Марло. Дома все в порядке? Если у Люси выпал зуб, не забудь про маленькую мышку. И поцелуй за меня девочек крепко-крепко, хорошо? Тебя я тоже целую".

Он с облегчением повесил трубку, но полного спокойствия все-таки не ощутил. Насколько правдоподобно у него получилось? Сказал бы он "крепко-крепко" в обычных обстоятельствах? А впрочем, это уже не важно, решил он. На всякий случай он подготовил себе запасной выход. Он напишет ей письмо. Он ведь человек литературный, привык изъясняться письменно. Катрин часто ставила это ему в вину, утверждая, будто он не способен изливать свои эмоции иначе как в письмах либо делает это весьма неуклюже, что еще хуже. Но на сей раз он найдет нужные слова. "Стал другим человеком". "Каждый из супругов имеет право реализовать себя". "Когда я вернусь, то буду сильнее, чище, чем раньше". "Знаю, ты поймешь, верю в твое великодушие". Он уже видел, как все это укладывается в отточенные фразы, взволнованные и по-мужски сдержанные, ведь он долгими бессонными ночами мучился, пытаясь найти себе оправдания, а теперь они сами возникли перед ним, облагороженные его высокими чувствами... На миг их величавое течение представилось ему с такой ясностью, что он ощутил, как уносится к Катрин в порыве эстетического восторга.

Теперь все казалось куда проще. Он заговорщически подмигнул парочке красноволосых панков, которые стояли на эскалаторе с бутылкой пива в руке, с цепями и заклепками на куртках, словно пародирующими выставку орденов на груди советского маршала. В ответ они смерили его взглядом, не сулившим ничего хорошего, но он не обиделся. В самом деле, откуда им было знать, что он — тоже свободен? Он только ускорил шаг, а вслед ему неслось эхо звучной отрыжки, перекатываясь под низким сводом подземного коридора. Даже толпа служащих, расталкивавших друг друга, чтобы втиснуться в переполненный вагон, вызвала у него чувство братской солидарности. Они торопились домой, бледные, с потными подмышками. И Божэ в своем коротком пальто, с тяжелым портфелем, ручка которого перепиливала пальцы, был таким же. Хотя нет: в отличие от них, он совершил непоправимое.

Какое восхитительное ощущение, подумал он. В лице Мари-Поль он познакомился с прежде неизвестной ему разновидностью человеческой породы, редкой, необычной разновидностью, представленной в единственном экземпляре и освещавшей своим блеском все человечество, которое вдруг стало ярким, многообразным, удивляя и притягивая своей пестротой. Разом исчезли нелюдимость и скептицизм, прежде неотъемлемые черты его характера, остались позади долгие годы хандры, панической боязни чужих прикосновений, микробов, общей раздевалки.

Его обдавало всевозможными скверными запахами: несвежего дыхания, пота, немытых ног, заношенной одежды, но это было очеловечивание, погружение в настоящую жизнь, и он, держась за кожаную петлю под потолком вагона, улыбался блаженной, безумной улыбкой.

19 *часов*
Вечерние занятия

У заставы Клиши шел дождь. Небо над головой было черное, с редкими просветами. На секунду Божэ задержался у выхода из метро и, сощурясь, стал осматриваться под дождем. Все вокруг было чересчур ярким, агрессивным, объемным. После длившегося целый день снегопада ему пока-

залось, что он вышел из долгого ватного забытья, в висках стучало, веки отяжелели. Словно свет маяка беспощадно разорвал сумерки его сознания, впиваясь в зрачки, как лампа офтальмолога.

Он устал. Он просто устал. Весь этот длинный, слишком длинный день он непрерывно курил, потом ехал в душных вагонах, с несколькими пересадками. Семь часов. Как-то незаметно настала полная тьма, отчего он почувствовал себя еще более неуверенно. Он быстро сориентировался по плану квартала, а затем смешался с толпой, которая растекалась по авеню Клиши, и ускорил шаг – не хотелось очутиться одному в этой незнакомой части города.

Первый поворот направо, второй поворот направо. Дождь пошел сильнее, стало трудно различать названия улиц. Он заблудился, вернулся назад. Во всем квартале прохожие попадались только на авеню Клиши. Он исследовал белое пятно на карте. Без всякой видимой связи он подумал о Женевьеве Бра. Как можно целыми днями рассказывать об Улан-Баторе, равнинах Месопотамии или о Казахстане, а самой десять лет подряд проводить лето на одной и той же ферме в Ардеше? Нет, надо согласовывать свои поступки с желаниями, подумал он; эта мысль призвана была его подбодрить. Он-то ведь хлопнул дверью раз и навсегда. Поздно давать задний ход.

Перед ним открылась узкая, продуваемая ветром улица, над ней тонкой полоской светлело закатное небо. На этой улице жила Мари-Поль. В угловом доме был английский магазин, похожий на конфетную коробку: металлические банки с чаем, вышитые салфетки, стойки для зонтов, стеганые колпаки на чайник, сервизы, фарфоровые вазочки с портретами Дианы и Чарльза, мыло в разноцветных мешочках, завязанных шнурком, – маленькая, уютная буржуазная гостиная, в этом квартале столь же неуместная, как музейная витрина с выставленными в ней сокровищами исчезнувшей древней цивилизации. Надо бы записать адрес для Катрин, подумал он и усмехнулся этой нелепой мысли. Нельзя в один вечер избавиться от привычек, которые накапливались пятнадцать лет.

Окна дома Мари-Поль выходили во двор-колодец. На первом этаже нет арабской лавки, отметил он, без толку вертя туда-сюда латунный выключатель в подъезде. Впрочем, он не ошибся адресом, если верить надписи на одном из покореженных почтовых ящиков. "Брюнель Мари-Поль, этаж 7". Он споткнулся о спрятанный под лестницей помойный бак, выругался, нащупал перила – длинную холодную змею и стал подниматься, светя себе зажигалкой, огонек которой обжигал ему палец.

На лестничных площадках слабый свет, проникавший со двора сквозь узкие оконца с матовыми стеклами, позволял разглядеть выщербленные ступеньки, плесень на стенах. Слышался треск автоматных очередей, завывание полицейских машин, телефонные звонки – характерные звонкие трели из кинофильмов семидесятых годов. Божэ показалось, что он попал в бутафорский интерьер телесериала, где звучат голоса дублеров с преувеличенно четкой дикцией, визжат тормоза и с экспрессионистской патетикой хлопают двери. За одной из дверей раздался женский крик, а свет на первом этаже зажегся и опять погас.

Божэ ощупью добрался до седьмого этажа, он запыхался, ноги подкашивались. На мгновение он представил себе, как выглядит сейчас: темное пальто, старые ботинки, прилипшая к спине рубашка – страховой агент или продавец энциклопедий, обходящий дома в вечернее время, когда все ужинают. Он пришел к любовнице с портфелем в руке,

горьким табачным вкусом во рту, неся с собой свою главную ценность: кипу непроверенных тетрадей и ручки с красными чернилами. Может, надо было купить цветов? — задумался он, чувствуя, как колотится сердце, и объясняя это крутизной лестницы и сидячим образом жизни. Надо честно признать: он оробел, растерялся, был близок к панике. Он одернул пальто, дыхнул в ладонь, проверяя, как пахнет изо рта, наконец собрал все свое мужество и нажал на кнопку старомодного звонка, круглого и желтоватого, как бронзовая женская грудь.

Тишина. Он позвонил опять, напряженно прислушался, пытаясь уловить хоть какой-нибудь шорох сквозь биение крови в собственных жилах. Надо было позвонить ей, предупредить о своем приходе. Но Мари-Поль однажды рассказывала ему, что ее телефон по каким-то неясным причинам — то ли из экономии, то ли удобства ради — спарен с телефоном кабинета лечебной гимнастики и массажа. И вместо нее Божэ попал бы к чужому человеку, его звонок нелепейшим образом затерялся бы среди просьб о записи на прием и вызовов массажиста на дом.

Он позвонил в третий раз, затем устало опустился на соломенный коврик с надписью WELCOME. Бесконечный японский фильм, сказала Мари-Поль. По вечерам она делала что хотела, ведь она была свободна как ветер. В полночь она придет из гостей чуть навеселе, увидит, что он спит, свернувшись калачиком, перед ее дверью, возможно, примет его за бродягу и не решится войти.

Да и могло ли быть иначе? До него вдруг дошла вся нелепость ситуации. Такова, значит, цена, которую он должен заплатить, с обидой подумал он. Перед этой запертой дверью на него разом нахлынули раскаяние, чувство облегчения, досада, жалость к самому себе. Какое преступное, идиотское, ничтожное решение он принял! В радужной дымке возник прекрасный образ семейного очага, который он покинул ради этой темной, холодной лестничной площадки. И он прижал к груди портфель, как будто в этом тесном вместилище были скрыты Катрин, дети и надежда на прощение...

Послышался шум, и он вскочил на ноги. Кто-то поднимался по лестнице. Мари-Поль? Нет, шаги были мужские, тяжелые и уверенные: идущий легко находил ступеньки в темноте и тихонько насвистывал сквозь зубы.

Божэ инстинктивно отпрянул от двери, сделав вид, будто что-то ищет в портфеле.

— Привет, — сказал незнакомец, появившись на площадке.

Коренастая и крепкая, как у грузчика, фигура, теплые брюки, свободная шерстяная куртка в крупную клетку. Круглое симпатичное лицо, лоб закрыт бейсболкой. Он смерил Божэ изучающим взглядом, без видимого усилия переложив из руки в руку объемистый сверток.

— Мари-Поль нет дома?

Божэ пустился в объяснения. Он только что поднялся, позвонил, не дождался ответа. Ну и ладно! Он зашел просто так, по-дружески, ничего особенного. Зайдет попозже. А сейчас ему пора.

— Сто лет ей напоминаю, чтобы починила этот чертов звонок, — вздохнул незнакомец. — Банни, — улыбнувшись, добавил он, как будто так называлась рука, которую он протягивал Божэ, мягкая и волосатая, точно плюшевая игрушка. — А вообще-то она никогда не запирает дверь.

Он повернул ручку, толкнул дверь ногой и отстранился, пропуская Божэ.

— Уж лучше ждать здесь, — сказал он.

Приятный у нее сосед, подумал Божэ. Он вошел. К его удивлению, незнакомец вошел тоже и закрыл за собой дверь.

— Не хотелось бы вас затруднять... — начал он, в то время как незнакомец, не выпуская из рук сверток, пытался локтем нашарить выключатель.

— Будьте как дома, старина. Я сейчас, только отнесу вот это.

Он исчез в кухне, а Божэ стал с любопытством оглядывать комнату. На полу, выкрашенном лиловой краской, небрежно разбросаны коврики, стены голые, с облупившейся штукатуркой. На одной стене индийские обои с загадочным рисунком: нечто вроде зодиакального круга, образованного бесчисленными руками богини с тонким носиком и обнаженной круглой грудью; казалось, богиня зависла в воздухе или сидит на невидимом табурете. Напротив на полках из некрашеного дерева стояли книги и разные экзотические безделушки: тибетский жестяной слон, крошечные чайные стаканчики, ацтекский керамический сосуд в виде уродливой головы бога, в которую был вставлен огарок синей свечки.

— Да ты садись, — сказал Банни, оставшийся в бейсболке и куртке.

Божэ послушно уселся, слишком удивленный происходящим, чтобы обратить внимание на эту фамильярность. На диване лежало шерстяное арабское покрывало с заплетенной в косички бахромой. Покрывало было шершавое и пахло псиной. Не таким он представлял себе жилище Мари-Поль. Не таким убогим, не таким запущенным. Камин с черной решеткой казался анахронизмом, неуместной уступкой буржуазным традициям. Мебель и прочее не соответствовало ни одному из известных стилей: вещи были самого разного происхождения, в их сочетании никак не проявлялся личный вкус или характер хозяйки, словно это был каталог магазина “Всё для дома”. От этого беспорядочного нагромождения становилось не по себе, казалось, будто в квартире давно уже никто не живет и всё подготовлено для переезда.

— Очень мило, — произнес он с оценивающим видом, небрежно вертя что-то теплое и невесомое, случайно попавшееся ему под руку.

— Это ты, Банни?

Открылась дверь, и на пороге появилась Мари-Поль с махровым полотенцем на голове, закрученном в виде тюрбана, — больше на ней, можно сказать, ничего не было. Увидев Божэ, она застыла на месте.

— Филипп? Ты что тут делаешь?

Он вскочил, словно подброшенный пружиной.

— Мари-Поль! Я... Ты была здесь?

— Конечно. И мне казалось, что я слышу какой-то шум. Давно ты вошел?

— Минуту назад, — промямлил Божэ и выразительно показал глазами на спину Банни, давая понять, что не может при нем говорить. — Просто визит вежливости.

— Привет, Мари, — ворчливо сказал Банни. — У тебя в холодильнике все забито. Куда положить мясо?

— Когда я под душем, я ничего не слышу, — сказала Мари-Поль, прикрывая колени купальной простыней. — А, мои трусики. Спасибо. Целый час их ищу, — добавила она, взяв у Божэ шелковистую вещицу, которую тот нервозно теребил в руках.

— А я-то думаю, куда они подевались, — продолжала она, в то время как он покраснел до ушей. — Вода так и не нагрелась. Я мечтала о горячей пенистой ванне с миллионом пузырьков. Ты не забыл купить ананас, Банни? — крикнула она.

У нее были широкие ступни с очень короткими пальцами, оставлявшие на полу маленькие и круглые мокрые следы, похожие на отпечатки ракушек на влажном песке.

— Ты, конечно, останешься ужинать? — крикнула она Божэ из кухни. — Сегодня я сделаю рулетики из телятины с ананасом. Сейчас, только найду этот чертов лифчик.

— Наверно, он в холодильнике, — пошутил Божэ. Но шутка не произвела впечатления (очевидно, Банни не был киноманом). — У тебя тут чудесно, — выпалил он.

— Правда? А я хочу весной переехать. В этом доме окна выходят на больницу. Там полно полудохлых старикашек, которые стоят разинув рот и подглядывают, как я писаю, а из горла у них торчит трубка, и в трубке что-то булькает.

— У Мари всегда было богатое воображение, — философски заметил Банни. — Можно же шторы задернуть.

— У себя дома я имею право делать что хочу.

— Как твоя аллергия? — поинтересовался Божэ.

— Улетучилась. Филипп — мой коллега, — пояснила Мари-Поль. — Кстати, я еще не представила вас друг другу. Филипп, это Банни. Банни, это Филипп.

— Мы уже познакомились, — сухо заметил коллега, которому показалось, что его ударили в печень. — Могу я чем-нибудь помочь?

— Лифчика нет, ну и ладно, — сказала Мари-Поль, проходя через комнату. — Налейте себе чего-нибудь выпить, пока я одеваюсь.

Он попытался остановить ее.

— Ты с ума сошел? — прошептала она. — Что ты тут делаешь?

— Она всегда обожала разгуливать нагишом, — сказал Банни, появляясь из кухни. — Черт возьми, Мари, да закрой же ты шторы! Она точно ухайдокает какого-нибудь старикашку, не сегодня, так завтра.

Он поднял крышку испанского кованого сундука, вытащил несколько пыльных бутылок и с подозрением их обнюхал.

— Чем тебя угостить? Если хочешь, тут есть немного текилы. У Мари плоховато с аперитивами.

— Текила? Замечательно. Только чуть-чуть.

— Эту бутылку мне привез из Перу один приятель, — сказала, входя, Мари-Поль; она надела узкое платье из эластичной ткани, облегавшее ее так плотно, что отпадала всякая необходимость в лифчике. — Точнее, приятель Банни.

Не сдержавшись, Божэ с сочувствием поглядел на беднягу Банни. Бесстыдство Мари-Поль могло потрясти не одних только больничных старикашек. Это платье не скрывало наготу, оно лишь обрисовывало фигуру с абсолютной четкостью, как в театре теней. Не следовало подвергать подобному испытанию приятеля, даже такого зануду, как этот Банни в шерстяной куртке и бейсболке, бесцеремонно перебиравший компакт-диски.

— Из Мексики, — уточнил Банни. — Жанно без ума от маракасов и "чили кон карне". Черт возьми, ты мне не говорила, что у тебя есть такой классный альбом "Платтерс"!

"Что ты тут делаешь? — говорил вопрошающий взгляд Мари-Поль. — Зачем ты пришел?" Божэ с досадой показал на Банни. Пока этот тип валяется на ковре, подпевая любимой группе, им не удастся поговорить.

Феноменально волосатые руки, с отвращением подумал Божэ. Впрочем, он не казался агрессивным, этот Банни, с физиономией героя мультиков и сползающими теплыми брюками, из-под которых виднелась резинка трусов. Такие вот назойливые, но незаменимые парни всегда могут сколотить сломанную этажерку или заменить перегоревшие пробки в квартире одинокой девушки.

— Не понимаю, как ты можешь это пить, — поморщился Банни, а себе налил второй стакан кока-колы.

— Дело привычки, — важно произнес Божэ. — А что пьет консул в "У подножия вулкана"[1] — текилу или мескаль?

— Не могу сказать. Вообще-то я редко смотрю телик. Мари, телефон звонит... Наверно, это тебя.

Мари-Поль схватила трубку и ушла с ней в кухню.

— Только спортивный канал в воскресенье вечером, а еще "Формулу 1". Все равно ведь самые интересные передачи показывают слишком поздно.

— Это роман, — сказал Божэ, допивая бутылку.

— Я мало читаю. По понедельникам заглядываю в "Экип" узнать результаты игр в субботу и воскресенье. Читаю книжки по психологии. Ты какой предмет преподаешь?

— Нет-нет, мама... Ты ни от чего меня не отрываешь, — говорила за дверью Мари-Поль. — Просто я тебя плохо слышу.

— Французский язык, — извиняющимся тоном произнес Божэ.

От спиртного он ощущал легкую эйфорию. Он обнаружил, что забыл снять пальто, и это его вдруг развеселило.

— ...Нет, мама, снега выпало совсем немного... Эти метеосводки вечно преувеличивают... И уже все растаяло...

— Хочешь верь, хочешь нет, но я постоянно перечитываю "Козочку месье Сегена". Не смейся. Честное слово, когда в конце она теряет силы и волк ее жрет, я реву, как маленький. Хочешь еще глоточек? Черт, там больше нету. Подожди, я тебе найду что-нибудь другое.

— Я знаю, мама... У меня все в порядке, уверяю тебя... Почему пол обязательно должен быть с подогревом?

— Понимаешь, друг, у меня всегда были проблемы с правописанием. Теперешняя молодежь не знает, как ей повезло. Я имею в виду реформу орфографии.

— Спасибо, спасибо! Буквально капельку. Я уже выпил достаточно. Что это?

— Кампари. Знаешь, если парень пишет "гиоргин" вместо "георгин", его всегда будут считать идиотом, и никакая реформа тут не поможет. Вот я, к примеру, массажист. Мое дело — избавлять людей от целлюлита, так зачем мне орфография?

— Массажист? — повторил Божэ с нервным смешком.

— Звонила моя мама, — мрачно сообщила Мари-Поль, волоча за собой телефонный провод.

— Садись, Мари. Мы с твоим приятелем говорим о школьных делах.

1. Роман английского писателя Малькольма Лаури (1909—1957).

— Вот как? — произнесла Мари-Поль, пристально глядя на Божэ.

— Я-то не интеллектуал, в отличие от вас обоих. Но знаешь, это не помешало мне сдать профессиональный экзамен.

— О, школа никогда не была панацеей, — отчетливо произнес Божэ. — И потом, я преподаю современную литературу, — добавил он неизвестно зачем.

Слово "панацея" в его устах было как сладкое лакомство, которому он с наслаждением давал растаять на языке.

— Банни, не надо, прошу тебя. Избавь нас от сказочки про симпатичного парня с золотыми руками, который сумел добиться в жизни всего, чего хотел.

— Что с тобой, Мари? Разговор по телефону испортил тебе настроение?

— Просто я терпеть не могу, когда ты притворяешься идиотом.

— Кто-то больше идиот, кто-то меньше, — наставительно заметил Божэ, подняв палец.

— Черт! Уже четверть девятого. Я пропускаю новости. Ничего, если я посмотрю, Мари?

— Филипп, помоги мне на кухне. Я пойду готовить.

Она сидела, скрестив свои длинные ноги. Когда она встала, эластичное платье коварно задралось. На округлом гладком колене осталась ярко-розовая полоска.

Божэ последовал за ней в кухню. Кухня была небольшая, с выложенными желтым кафелем стенами и окном из матового стекла, выходившим во двор. Фанерованные шкафчики, все в длинных царапинах, висели криво. У одного не было дверцы. Мари-Поль шумно возилась с посудой, швыряя на стол приборы и компоненты будущих блюд, словно хотела отомстить им за окружающую разруху.

— Не стой без дела, — резко сказала она. — Извини, я уже не понимаю, что делаю. Банни, ты не мог бы сделать потише? А, вот где консервный нож.

Она прильнула к Божэ бедром, которое оказалось у него между ног, открыла ящик, вытянула оттуда фартук и набросила ему на шею.

— Смотри не забрызгайся ананасовым соком, — сказала она более мягким тоном.

Неужели алкоголь подавляет сексуальные аппетиты? — удивился Божэ, взяв со стола допотопный заржавленный консервный нож. Не надо было ему пить кампари. Нож с трудом двигался по краю банки, соскальзывал, казалось, Божэ пытается поймать краба, который удирает по блестящей поверхности стола.

— Зачем ты пришел? — шепотом спросила Мари-Поль. Воспользовавшись тем, что они остались наедине, она чуть не откусила ему мочку уха.

— Послушайте, это нечто! Папа расквасил себе морду, когда сходил с самолета в Куала-Лумпуре!

— Ай! Перестань, мне больно! Мари-Поль, я ушел от Катрин.

— Что ты сказал? Банни, ты можешь приглушить звук или нет?

Он неловко попытался поймать ее губы, но она вывернулась.

— Я делаю рулетики из телятины с ананасом. Надеюсь, ты любишь сочетание соленого со сладким.

— Он что, никогда не уйдет? — простонал Божэ, указывая на дверь. — Я пришел к тебе жить, Мари-Поль.

— Нет, не так. Нож должен двигаться в другую сторону. Ты напился, Филипп. Черт, Банни, да убавь ты звук в поганом телевизоре!

— Это же реклама! Они нарочно усиливают звук до полного безобразия, я не виноват.

— А что, теперь еще и в новостях бывает реклама? Ничего не понимаю, Филипп. Мамаша сводит меня с ума своими звонками, ты сваливаешься как снег на голову, он врубает телевизор на полную громкость... Не надо, ты порежешься. Сядь и больше ничего не делай, ладно? Банни! Куда девались эскалопы?

Божэ с достоинством взобрался на покачивающийся высокий табурет и сложил руки на переднике.

— Послушай, Мари-Поль...

— На верхней полке! — крикнул Банни. — Нет, это просто гадство. Люди ужинают, а они пускают рекламу "туалетного утенка".

— Нам надо поговорить, Мари-Поль. Мы не можем уйти отсюда куда-нибудь?

Телевизор вдруг умолк, и в кухню ворвался Банни.

— Не возитесь, я сам все сделаю, — заявил он, расставив руки в знак готовности.

— Ты? — с трудом выговорил Божэ, указывая на него пальцем. — А мы тебя ни о чем не просили.

— Послушай, Банни! У меня никак не получается поговорить с Филиппом.

— Он что, окосел, что ли? Эй, друг, у тебя кровь идет. Ты что, консервным ножиком ухо порезал? Нет, серьезно, Мари, у него ухо в крови.

— Во-первых, я запрещаю тебе называть ее Мари. А во-вторых, идет у меня кровь или нет — это мое личное дело, — заорал Божэ, с трудом распрямляя спину.

На него вдруг накатила необоримая тошнота. Он попытался уцепиться за край стола, но промахнулся.

— Кажется, мне сейчас будет плохо, — прошептал он.

В тот же миг ножка табурета предательски заскользила. Божэ повернулся вокруг собственной оси, хватая руками воздух, а затем с каким-то хриплым присвистом рухнул на пол, увлекая за собой лавину кастрюль и тарелок.

— Ах ты черт подери! Наверняка расшибся, — застонал Банни.

Это были последние слова, которые расслышал Божэ. Он погрузился в густой разноцветный туман, где звуки замолкли с нежным шипением, как бывает, когда выключают проигрыватель.

— Филипп... Филипп...

Кто-то звал его, мягко и тревожно. Он попытался открыть глаза, но тут же закрыл их. Невидимая глыба давила ему на лоб. Отдохнуть несколько минут — вот все, в чем он нуждался. Заснуть под звуки этого голоса. Потом он оживет, будет бодрым и готовым к борьбе хоть на всю ночь.

— Который час? — пробормотал он.

— Почти десять. Тебе лучше?

Он пробурчал что-то невнятное. Мало-помалу он опять начинал чувствовать свое тело. Он лежал на спине, сложив на груди руки, упираясь подбородком в шершавый воротник пальто. Голова как будто существо-

вала отдельно от шеи и стала ужасно тяжелой, точно шар для игры в бильбоке, сорвавшийся с шнурка.

— Ты здорово напугал меня. Тебе правда лучше?

Он напряг мускулы шеи: голова двигалась. Он попробовал приподняться, но все вокруг поплыло, и он снова рухнул на матрац. Брачное ложе, с иронией подумал он.

— Не напрягайся. Отдыхай.

Сквозь рубашку он почувствовал, как она положила ему на грудь свою прохладную руку. Она наклонилась над ним, неожиданно хрупкая в этом чересчур коротком черном платье, ее бесконечные ресницы быстро опускались и поднимались, разделенные тонкой византийской горбинкой носа. Маленькая лампа под китайским абажуром, пропускавшим синеватые пятнышки света, обрисовывала чистую линию ее подбородка.

Он протянул к ней руку.

— Я так испугалась, — сказала она и по-кошачьи потерлась щекой о его ладонь. — Ты мог серьезно пострадать, разбить голову. То есть ты уже пострадал.

— Сейчас мне гораздо лучше, — успокоил он ее. — Извини. Не надо было мне столько пить.

Она наклонилась, ее лицо было совсем рядом, кудрявые волосы свесились и почти касались его губ. От волос пахло шампунем с добавкой целебной глины: сладковатый, чуть тошнотворный запах.

— Почему ты пришел, Филипп? И почему именно сегодня?

— Я ушел от Катрин, Мари-Поль. Я думал, ты уже поняла это. Я хочу жить с тобой.

Она слегка отодвинулась. У нее были красивые, выразительные брови, длинные, густые, четко очерченные. Заметив это, Божэ вдруг невольно вспомнил о другой части ее тела, о темных, шелковистых завитках.

— Ты рехнулся, — веско сказала она. — Совсем рехнулся.

— Я буду жить с тобой, Мари-Поль, — повторил он. — Я весь вечер пытался тебе это сказать.

— Но это же бред! Я никогда не просила тебя уходить от жены и жить со мной! Погляди на меня, Филипп: ты ведь не сделал этого? Не ушел от нее?

— Но я думал... — запинаясь, проговорил он. — Сегодня, когда мы обедали... Ты сама сказала...

— Я никогда не предлагала тебе поселиться здесь, Филипп. Никогда не говорила ничего подобного.

Он обхватил голову руками, потер ноющий лоб.

— Ты не понимаешь, Мари-Поль. Я сделал это ради тебя.

— Нет, это *ты* не понимаешь. Мне просто захотелось любовного приключения, Филипп, и ничего больше! Что ты себе навоображал? Я думала, между нами — полная ясность. У меня никогда и в мыслях не было уводить тебя от жены и детей.

У него вдруг сильно кольнуло под ложечкой. В животе как будто зияла дыра, в голове было пусто. Волосы прилипли к вспотевшим вискам и болезненно натягивали кожу на лбу.

— Потому что у тебя есть он, этот кролик из мультяшки? — сказал Божэ, с трудом поднимаясь на ноги. — Это с ним ты теперь смотришь японские фильмы?

Он кое-как привел в порядок одежду; хмель мигом улетучился.

— Банни — массажист, Филипп. Я тебе говорила о нем в Венеции.

— Ты тогда уже с ним трахалась? С человеком, который не умеет на родном языке двух слов связать?

— Здесь его дом. Я живу с ним.

— Браво, — отрезал Божэ. — Час от часу не легче. Она живет с Банни. А я-то поверил в сказку об одинокой девушке, независимой, всегда свободно распоряжающейся собой и своим временем. И вот эта амазонка спит с парнем, который массирует пожилых дам. Нет, в самом деле я последний дурак.

Он смотрел на абажур из пупырчатой бумаги, на облупившийся потолок, на мужскую одежду, сложенную стопкой на стуле. На тумбочке у кровати лежал эспандер с красными деревянными ручками, похожий на изделие из секс-шопа для японских туристов.

— С какой стати я должна перед тобой отчитываться? Это моя жизнь, Филипп, и она принадлежит мне. У тебя нет на меня никаких прав. На что ты злишься?

— Он волосатый, как шимпанзе... А я-то льстил себя надеждой, что я тебе нравлюсь. Обхохотаться можно.

— Перестань, Филипп. Перестань, прошу тебя. Откуда мне было знать, что ты выкинешь такую глупость?

Он резким движением высвободил руку.

— У меня болит голова, Мари-Поль. Этот разговор смешон. И я смешон. Пойду домой.

Она схватила его за пальто, при всем своем раздражении она была искренне взволнована; от усилия его удержать платье задралось до самых бедер.

— Не уходи так. Я хочу тебя, а Банни не имеет к этому никакого отношения. Мы можем провести ночь вместе. Я просто скажу ему, он поймет.

Божэ коротко и зло рассмеялся.

— Жизнь втроем? Меня это не устроит. У меня не такие широкие взгляды, как у него. Я, знаешь ли, сентиментален до пошлости. Такой смешной обыватель, рабски приверженный условностям. Я кое-что вбил себе в голову, теперь с этим покончено. Ситуация и так достаточно унизительная. А теперь дай мне пройти.

Она толкнула его на кровать. Гнев удваивал ее силы.

— Какого черта! Бедный мой Филипп, да ты и правда идиот. Что у тебя в голове? Что я жду не дождусь, когда ты сделаешь меня новой мадам Божэ? Как содержанка, на которой ее покровитель решил жениться? Извини, это не мой стиль! Ты сваливаешься как снег на голову и читаешь мне мораль. Черт подери! Ты хоть капельку соображаешь?

— Ты права, — согласился он, — наверно, я действительно идиот. Ты уже вторая, кто сегодня мне это говорит. Какие вы умные, когда рассуждаете обо мне! Какие проницательные! Кто следующий? Позови Банни — для полного счастья. Пускай и он тоже объяснит мне, кто я такой. Пускай притащит свои книжки по психологии, по трансактному анализу. Смех, да и только!.. Вот твой лифчик, держи, — добавил он, размахивая у нее под носом ленточкой с кружевными чашечками, узкой, словно ремешок пращи.

Она швырнула лифчик в другой угол комнаты, потом запустила пальцы в волосы и несколько раз тряхнула головой, как будто пыталась оч-

нуться от кошмара. Божэ обошел вокруг кровати и, ни слова не говоря, взялся за ручку портфеля.

— Уходишь?

— Разве мы не все сказали друг другу? — спросил он ледяным тоном. — Я не любитель семейных сцен и уж совсем не расположен устраивать их тебе. Предоставляю это шимпанзе.

— Сволочь ты, — прошептала она с обидой. — Нечего его оскорблять. Он тут ни при чем.

Саркастически улыбнувшись, он смерил ее взглядом. Ее смятение оставляло его равнодушным. В ней уже не было ничего от той соблазнительницы, чей образ неотступно преследовал его, которая играла его желанием, потешалась над его неопытностью. Не Мари-Поль стояла перед ним босиком в этой жалкой комнатушке, а маленькая девочка с рано развившимися формами, в безвкусном обтягивающем платье, которое стискивало ей руки, сплющивало чересчур круглые груди. Она даже не была трогательной, просто жалкой и вызывала у него лишь злое, мстительное чувство.

— Глупо получилось, — сказала она наконец. — Зачем говорить друг другу гадости? Останься хотя бы поужинать. Не надо расставаться вот так, Филипп.

Не отвечая, он застегнул пальто и не оглянулся, когда она собралась проводить его до двери на лестницу. Все было кончено. Надо уйти с достоинством, сказал он себе, стараясь шагать твердо и размеренно. Чтобы не подумали, будто он спасается бегством.

— Глупо получилось, Филипп, — прошептала она опять ему в спину.

Он пожал плечами и, не сказав ни слова, вышел в темноту.

На площадке третьего этажа он чуть не налетел на Банни. Но успел увернуться, а в бумажном пакете, который нес Банни, что-то звякнуло.

— Эй, друг, куда ты? Вернись! Я раздобыл выпивку!

Грохот перевернутого помойного бака, потом стук захлопнувшейся двери подъезда.

— Придурок, — сказал Банни. — Вот придурок. Чуть не разбил бутылку. И какую! Алжирского крепкого!

23·30
Отбой

— Что желаете, месье? Капусту тушеную? Дары моря? Меню для гурманов?

Дождь перестал. Перед вертящейся дверью бистро стоял зазывала, произносивший каждое слово по слогам, как на уроке иностранного языка.

Божэ гордо прошел мимо, хотя живительные запахи капусты, сосисок и мидий щекотали ему ноздри. Сквозь запотевшие окна виднелись коротенькие занавески на латунных рейках, разноцветные витражи, красные скатерти на столах, за которыми сидели вечерние посетители, а между ними сновала целая армия официантов, нагруженных аппетитно дымящимися блюдами. "Ужины после театра", прочел он на табличке и почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Ноги были ватные, в животе — ощущение пустоты, во рту — металлический вкус. От свеже-

го воздуха слегка кружилась голова, поэтому он двигался неуверенно, словно заблудившийся турист. Он подошел к стоянке такси, закурил, закашлялся и бросил сигарету на мокрый блестящий асфальт, где она зашипела и через секунду погасла.

Никогда в жизни его еще так не унижали. Все тело ломило, локти и колени словно перепиливало пилой. Но он не чувствовал душевной боли, только какое-то отупение. Его сознание покинуло мозг и целиком сосредоточилось в шишке, которая образовалась при падении. Он осторожно ощупывал этот округлый, твердый, размером с голубиное яйцо бугорок у основания затылка, как будто все его существо было заключено в магический клубок жрицы вуду, источник дергающей боли, мешавшей думать.

У него осталось только одно желание: выбраться из этих мест. Кругом было полно такси, они появлялись со всех сторон и проносились мимо: от этого коловращения кружилась голова. Он размахивал руками и портфелем, чуть не бросался под колеса, но такси не останавливались, только щедро обдавали его ботинки водой, выражая таким образом свое презрение к одинокому ночному пешеходу. Спиной он чувствовал насмешливый взгляд зазывалы. Прошла парочка: совсем юная девушка и высокий негр, они целовались и громко хохотали. Поравнявшись с Божэ, они отстранились друг от друга, а чуть подальше опять обнялись.

— Куда ехать, босс? — спросил таксист, затормозив перед ним.

Божэ назвал свой адрес и не сел, а скорее упал на заднее сиденье. "*Машина оборудована электронным счетчиком, регулярно проверяемым префектурой полиции*", гласила табличка, установленная на лобовом стекле. Теперь с ним уже ничего не случится. Можно расслабиться. Все кончено.

— Ну что, босс, погуляли как следует?

Из зеркала на него смотрели выпученные глаза шофера. На его лысом, гладком черепе переливались огни фонарей.

— И правильно сделали, скажу я вам. Вы ведь нездешний, верно? У меня особое свойство: я распознаю клиентов с первого взгляда. Робер, сказал я себе, вот симпатичный господин, который приехал издалека и повеселился здесь на полную катушку. В моей работе это важно. А то, знаете, на улице столько всякой дряни шляется...

Божэ казалось, что он медленно приходит в себя после кошмарного сна. В машине пахло потом, дешевым дезодорантом и чистящей эмульсией для пластика. Под зеркальцем тихо звякали образки, подвешенные на цепочках вперемешку с плюшевыми зверюшками — призами какой-то ярмарочной лотереи. В заднем стекле видны были удаляющиеся огни Клиши. Он был внутри кокона, в надежном убежище. Ему больше ничто не угрожало.

— Теперь быть таксистом — уже не то, что в прежние времена. Раньше я работал днем. Но потом нас стали душить разными налогами и сборами, и я решил работать ночью. Это опаснее, зато выгоднее. А в случае чего у меня есть Султан. Верно, собачка? Поздоровайся с месье.

На сиденье рядом с водителем приподнялась чья-то голова.

— Немецкая овчарка, — пояснил шофер. — Он не злой, но выглядит впечатляюще. И потом, он мне компанию составляет.

Пес украдкой глянул на Божэ своими желтыми глазами, потом снова уткнул морду между лап.

— А можно вас спросить: вы чем занимаетесь?

— Я учитель.

— Мой зять тоже по этой части. Дрессировщик собак. По воскресеньям я привожу к нему Султана. Он учит собак слушаться свистка и бросаться на людей. Но, заметьте, только в порядке самообороны! С их теперешними законами шутки плохи: сожрет ваша псина какого-нибудь араба, а вас за решетку упрячут. Как подумаешь, чудно́ становится.

А вот уже и кольцевая. Как быстро! Он не стал брать такси по дороге в Клиши (чтобы не урывать от алиментов, которые собирался платить Катрин), но теперь машина служила ему защитой — защитой от других людей. Как он мог вытерпеть толчею в метро, грязь и тесноту коридоров и запах, ужасный человеческий смрад? Сейчас он возвращался в свой нарядный городок, в удобную современную квартиру, где во всем чувствуются безупречный вкус и забота Катрин, на столах лежат белоснежные салфетки, расставлены безделушки, привезенные на память из разных стран, вокруг фамильная мебель. До какого безумия надо было дойти, чтобы решиться все это бросить!

— А мне, знаете ли, в ваши края ехать невыгодно. У меня гараж недалеко от заставы Пантен. Но что поделаешь! Вы с виду человек приятный, а пассажиров надо выручать. Обратно-то приходится порожняком возвращаться. Брать пассажиров за городом запрещается. И катишь домой за собственный счет. Но я когда вижу клиента, которому надо в Париж, беру его с радостью. А что поделаешь! Хотя это не всегда проходит гладко. Нарвешься на инспектора — и ты влип. Но в жизни надо рисковать, вот мое мнение.

С чего бы ему чувствовать себя униженным? В сущности, Мари-Поль не в его вкусе, он понял это сразу. Дурацкое обтягивающее платье, манера разгуливать нагишом. Он поддался соблазну, стал легкой добычей для безжалостной охотницы, клюнул на приманку ее цветущей, зазывной женственности. Можно ли корить себя за полное незнание мира, в котором обитают существа вроде Банни? Он интеллектуал, целиком сотканный из простодушия и идеализма, чересчур впечатлительная натура, легко поддающаяся разным влияниям. Своим женским чутьем Мари-Поль разгадала в нем эту наивность, посмеялась над ним, над его нерешительностью, неумением трезво взглянуть на вещи, наверно, ей льстило, что она обрела власть над мужчиной на пятнадцать лет старше ее. Такое случалось не с ним одним. Он просто не уберегся, вот и все.

Но главное уцелело, потому что он сумел остановиться вовремя. В конце концов, есть люди, которым активная жизнь противопоказана, вечные зрители, созданные скорее для наблюдения за себе подобными, чем для участия в житейских передрягах. Он оправится, синяки и ушибы, возможно, еще дадут о себе знать, но зато он будет доволен, что сумел пойти до конца. Он не уклонился от препятствия, а просто подошел к нему без должной подготовки, с наивным энтузиазмом новичка, который только во время прыжка осознает, как высока планка и каким безумием была его попытка.

— А теперь показывайте, куда ехать. В этих пригородах как только свернешь с магистрали, сразу начинаешь путаться. Правда, у меня есть карта. Но я знаете как говорю: пассажир — король. Если у него есть любимый маршрут, так почему бы не доставить ему удовольствие? Мы, мелкие предприниматели, людей жалеем. Мы не то что крупные корпорации. Те вас заставляют вкалывать как негра, а денежки себе забирают.

— Налево, — сказал Божэ.

Он возвращался домой. Сейчас из всех чувств у него осталось только чувство облегчения. Он все еще любит Катрин. Быть может, он никогда еще не любил ее так сильно, как в эту минуту. И подумать только, он хотел бросить ее ради Банни и девушки, которая делает телячьи рулеты с консервированными ананасами...

Их брак перенес тяжелое испытание и выйдет из него окрепшим. Катрин ничего не узнает: такие вещи с ней обсуждать нельзя. Он просто скажет, что провел вечер с Марло, что это был ужин в мужской компании, где они выпили немного лишнего. Катрин поймет. Должна понять. Не для того ведь он женился, чтобы порвать со всеми своими друзьями. Он ведь еще имеет право иногда вести себя как мальчишка, разве нет? А впрочем, она спит. Как обычно, приняла снотворное и даже не шелохнется, когда он на цыпочках будет пробираться по затихшей квартире, откроет холодильник, чтобы сделать себе бутерброд. К нему возвращается аппетит, это хороший знак. Нет, у него нет причин считать себя униженным. Крепость супружеских уз проверяется именно на таких ошибках. В порыве раскаяния зайти в спальню девочек, поцеловать их в лобик. Не забыть проверить, положила ли Катрин монетку в мышкину коробку. Он ляжет рядом с ней, взволнованный теплом ее тела, и, засыпая, будет подбирать слова для рассказа о прошедшем вечере.

— Видно, что пригород не бедняцкий, — восхищенно присвистнув, заметил шофер. — У заставы Пантен никогда такого не устраивают. Эта иллюминация вам недешево обошлась, я имею в виду местные налоги.

Приближалось Рождество. На площади перед мэрией стояла громадная, словно башня, елка с четырьмя рядами гирлянд. Через несколько дней начнутся каникулы. Они поедут в Карнак, с наслаждением погрузятся в суматоху семейного праздника. Там будут родители Катрин, Боб с женой, дети Боба, собака Боба, традиционное рождественское полено с восковыми карликами и искусственными ландышами. Пройдет всего одна ночь — и эта история станет далеким воспоминанием, забавной шуткой, над которой они с Марло украдкой посмеются (он, конечно, расскажет Марло основное), а потом снова напустят на себя серьезный вид, когда Катрин принесет и поставит на стол телячьи рулетики — она так замечательно их делает.

— Лежать, Султан. Ну вот, босс. Home, sweet home[1], как говорят англичане. Вообще-то, они здорово подгадили нам своим Общим рынком. Не знаю, чего мы ждем, давно пора как следует набить им морду. Хотя политика меня мало волнует... С вас двести франков. Выписать квитанцию?

— Будьте добры, — ответил Божэ, вынимая чековую книжку.

— Ей-богу, приятно иметь дело с таким славным человеком. Если вы не против, я предпочел бы наличные. Сколько проставить в квитанции?

— Я налоговый инспектор, — ответил Божэ самым что ни на есть серьезным тоном. — Из отдела проверки мелких предпринимателей. Вы же не хотите, чтобы я помог вам обмануть государство?

У шофера едва не упали с носа очки, и он, недоверчиво осклабившись, повернулся к Божэ:

— Правда, что ли? Вы же вроде говорили, что вы...

1. Дом, милый дом (*англ.*).

— Мы не ходим с табличкой на груди, — сказал Божэ, выхватывая у него из рук квитанцию. — Могли бы сами догадаться, раз вы такой физиономист... Хотите взглянуть на мое удостоверение?

Он вдруг повеселел, обрадованный, что может взять реванш за этот гадкий вечер. Вот в чем его сила: в словах. Слова послушны ему. Жизнь мало для него значит. Благодаря словам он всегда будет на сто голов выше разных там Банни и таксистов, он будет выше обстоятельств. Слова — его ремесло, самая суть его существования. В них скрыт источник всех правд и всех неправд. В них — иллюзия, в них утешение. Он с нарочитой медлительностью вытащил бумажник, сложил квитанцию и аккуратно засунул ее в наружное отделение, наслаждаясь этой маленькой победой, перед тем как выйти из машины.

— Спасибо за приятный разговор, — сказал он любезным тоном. — И счастливо вам вернуться домой.

— Хватит, придурок, вылезай, — пробурчал таксист и извернулся, чтобы захлопнуть за Божэ дверцу. — Лежать, Султан. Вот что бывает, когда к пассажиру по-доброму отнесешься.

Он резко рванул с места, оставив Божэ одного на скудно освещенной улице. Фонари были окружены туманным ореолом. Ночь была холодная, небо над головой — бархатисто-черное. После парижской суеты тишина здесь почти ошеломляла. Завтра будет хорошая погода, подумал он с удовлетворением.

Он хотел душевного покоя, хотел примириться с самим собой. Прошедший день, несмотря на его нелепое завершение, был одним из тех подарков, какие порой преподносит нам жизнь. Это неожиданное интермеццо едва не кончилось скверно, но в результате он стал мудрее, ощутил в себе прилив сил и могучую привязанность к той жизни, от которой порывался уйти.

Отныне, внушал он себе, будет покончено с мелкими обидами, ночными страхами, бессонницей и той беспричинной меланхолией, которая до сих пор была основой его характера. Он уступил своему влечению к Мари-Поль и теперь мог встречать ее с высоко поднятой головой: ведь он не струсил, не отказался участвовать в вечной мистерии обольщения, коей предаются мужчины и женщины. Этот опыт закалил его. Без сомнения. Попытайся он уйти в кусты, это бы ничего не дало. Но сделав шаг к Мари-Поль, он освободился от нее гораздо вернее, чем с помощью волевого усилия, после долгих мук желания. Пройдет несколько дней, время излечит боль унижения, и Мари-Поль превратится в стертое воспоминание о какой-то любовной истории — мало ли их было в его жизни. Еще одно доказательство, что он пожил на своем веку. А сейчас он возвращается к Катрин, так, словно все случившееся было просто задержкой на пути к дому, недолгой отлучкой, которая наверняка останется безнаказанной и потому уже начинает казаться нереальной.

Остановившись перед застекленной дверью подъезда, он сунул руку в карман. Лампочка в домофоне весело потрескивала. Он достал сигареты, зажигалку, использованный билет на метро и положил их обратно. Что за чушь, подумал он и присвистнул. Куда же они подевались? Он расстегнул пальто, обшарил карманы брюк, вывернул их, но не нашел ничего, кроме бумажного носового платка, который после пребывания в стиральной машине превратился в твердый шарик.

Спокойствие, только спокойствие, сказал он себе. Целенаправленная, методичная работа мысли. Он поставил портфель на соломенный

коврик перед дверью, открыл его, одно за другим опустошил все отделения, аккуратно разложив вокруг красные фломастеры, тетрадки, калькулятор, сборники упражнений по грамматике, затем перевернул портфель и вытряс его, как запыленную шляпу, — но из портфеля не выпало ничего, кроме тучи табачных крошек и огрызков мела.

Надо было смириться с очевидностью: в двенадцать часов ночи он в полном одиночестве стоит перед запертой дверью и не может попасть к себе в квартиру, не разбудив Катрин и не дав ей объяснений, которых она наверняка потребует.

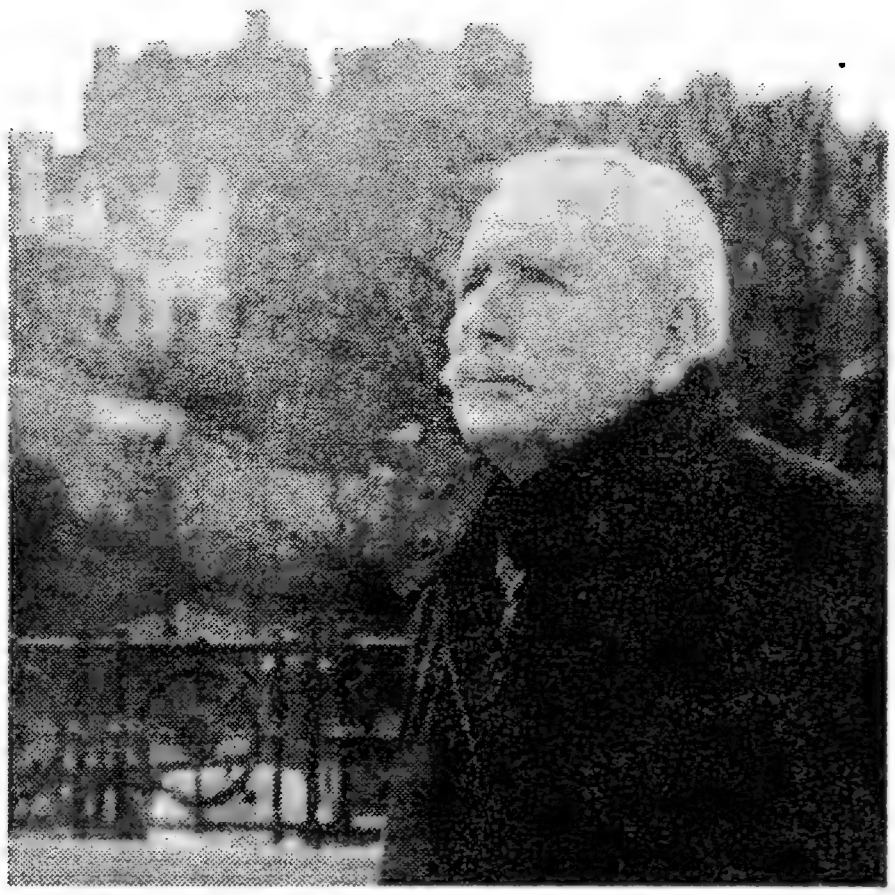
Тяжелая связка ключей, оттягивавшая ему карманы, прорывавшая подкладку пиджака и пальто (толстый латунный ключ от подъезда, замысловатый, с восемью бородками ключ от квартиры, два почти неотличимых друг от друга ключа — от гаража и от почтового ящика, крохотные ключики от двери на пожарную лестницу, от погреба и от сарая для велосипедов), все ключи от его жизни, как он вдруг осознал, ждали его в учительской, забытые на столе в опьянении начинающейся новой жизнью.

— Мари-Поль, — жалобно позвал он. — Мари-Поль...

Но Мари-Поль, живая, теплая, спала в окутанном тьмой Клиши, далеко от городка В., так далеко отсюда.

Жавеа, Париж,
июль 1993 – ноябрь 1994

Висенте Сото



Рассказы

Перевод с испанского и вступление Н. Матяш

Было бы несправедливо утверждать, что произведения Висенте Сото не известны в нашей стране: на русский язык переведены его роман "Три песеты истории", отрывки из романа "Луна растущая, луна убывающая", рассказы. И все же имя его знают, по всей видимости, лишь те, кто следит за переводами испанских авторов с особым вниманием. Ведь Висенте Сото — писатель с негромким, очень своеобразным голосом, неспешный, равнодушный к сиюминутной популярности, к модным литературным веяниям и тенденциям. Другими словами — писатель классического склада. И внимательный читатель, без сомнения, почувствует, насколько творчество Висенте Сото неотделимо от национальной литературной традиции. Разве отточенные до филигранности рассказы "Силуэт на земле" и "Беглецы" не напоминают нам философско-поэтическую прозу Хуана Рамона Хименеса? Висенте Сото действительно умеет увидеть поэзию и возвышенное в самых будничных ситуациях. Именно поэтичность, тонкий лиризм и составляют одну из главных особенностей художественного стиля В. Сото. Все его рассказы, даже написанные от третьего лица, кажутся внутренними монологами благодаря особой, подчеркнуто разговорной интонации, неторопливой, иногда почти напевной, с многочисленными повторами. Испанская критика как-то назвала один из романов В. Сото "экзистенциальным" (не экзистенциалистским!), то есть произведением, где почти нет социально-исторического фона, примет времени и где высвечено только самое главное, сущностное в человеке.

Возможно, эта особенность писательского взгляда на мир проистекает из жизненных обстоятельств самого В. Сото, который с 1954 года живет в Лондоне. Человек с республиканским прошлым, юношей отстаивавший свои идеалы с оружием в руках на мадридском фронте, он с трудом приспосабливался к франкист-

© De los textos: Vicente Soto
© Н. Матяш. Перевод, вступление, 2002

ской действительности послевоенной Испании и, в совершенстве владея английским, уехал в Лондон, где работал переводчиком в одной международной организации. Здесь и написаны — по-испански, разумеется, — почти все его произведения: роман "Прыжок" (1966), получивший одну из самых почетных литературных наград Испании, премию имени Надаля, романы "Бернард, который летал" (1972), "Черный петух" (1973), "Три песеты истории" (1983), "Песнь для безумца" (1986), "Луна растущая, луна убывающая" (1993), многочисленные сборники рассказов.

В 2001 году муниципалитет Валенсии, родного города писателя, организовал торжественное чествование Висенте Сото и выпустил к этому событию антологию рассказов, которые были отобраны самим автором. Писатель назвал этот сборник "Рассказы оттуда и отсюда", обозначив таким образом доминанту своего существования — личного и творческого, — которое протекает между Лондоном и Испанией.

Из этого сборника и взяты рассказы, предлагаемые сегодня вниманию читателей. Все они написаны в 90-е годы, все — на стыке исторической реальности и ее философско-поэтического осмысления.

И последнее, а возможно самое главное, что еще хочется сказать о творчестве Висенте Сото. Герой его — всегда маленький, незаметный человек, очень часто изгой, отверженный в мире, где принято поклоняться успеху и процветанию. И Висенте Сото любит каждого из своих героев, видит в каждом из них личность с глубоко выраженной самобытностью и чувством собственного достоинства. Потому что Висенте Сото — воспользуемся цитатой из рассказа Сомерсета Моэма — наделен "редчайшим, самым ценным и прекрасным даром, каким только может обладать человек... Если вы не догадались, что это за дар, я скажу вам: доброта, просто доброта"[1].

Безнадежный концерт

Дорогая бабушка! Я куплю себе 3311 фунтов стерлингов жвачки чтобы ты была довольна я тетя Мэри не дает мне пойти поиграть с черненькой Брендой и с Коринной и с Сьюзен которые играют у нас в садике и говорит как это такой большой как ты будет играть с такими маленькими девочками а дядя Гарольд напился и говорит мне you idiot побрейся а санитар мистер Булль меня больше не бреет и не водит гулять потому что ему очень нравится целоваться и от него пахнет табаком а тетя Мэри бреет меня так ласково и мне ужасно нравится а карлик внутри радио такой довольный играет на пианино и на флейте и на скрипках а ты должна мне объяснить почему Моцарт болен ведь карлик внутри радио сказал что он очень больной и очень бедный и умрет и я хочу дать Моцарту денег пенициллина и таблетку аспирина.

Ральф на минуту оторвался от письма. Оркестр переходил к анданте, второй части концерта, названия которого Ральф не знал. Он не знал даже, что это называется "концерт", но деревянные инструменты переходили к анданте, и Ральф, выжидая, перестал писать. Сначала мощно, но приглушенно зазвучали струнные, предваряя лейтмотив всей части. Затем вступили скрипки как пронзительное предвестие тоски и серьезности того, что будет потом.

1. С. Моэм. Сальваторе. Перев. Н. Чернявской.

Пока Ральфу было хорошо слышно. Радио стояло на столе в его комнате, а жужжанье и дребезжанье старого пылесоса, который тетя Мэри включила в гостиной, пока слышалось отдаленно, хотя дверь из комнаты Ральфа в гостиную была открыта.

Одной своей огромной рукой Ральф прижимал бумагу к столу, а в кулаке другой зажимал карандаш, водя им, как палкой, словно что-то размешивал в котле. Когда вступило фортепиано, которое каким-то образом развеяло чувства, вызванные первыми тактами, Ральф чуть подождал, вздохнул и снова принялся за письмо. Он выводил ыыыыыыыы ееееееееееееее. И писал медленно, словно с трудом размешивал что-то густое и тягучее. Буква "а" выходила у Ральфа довольно хорошо, и он расходовал ее скупо, приберегая для тех случаев, когда надо было подчеркнуть что-то очень для него важное.

ееееееееееее а ыыыыы а ееееееее И я куплю себе 3311 фунтов стерлингов жвачки чтобы ты была довольна потому что мне-то нужны твои деньги потому что когда мы тебя оставили там и положили цветы и человек с лопатой берет их и нюхает а тетя Мэри говорит что вы делаете а пианино поет как поет вода а карлику внутри радио плохо и человек с лопатой сказал я не разрешаю приносить сюда искусственные цветы это оскорбление и я их сжигаю а тетя Мэри сказала наши цветы настоящие а скрипки поют так тихо и горестно и человек с лопатой говорит что наши цветы настоящие это очень хорошие цветы и вы меня простите а я хочу купить себе 3311 фунтов стерлингов жвачки а тетя Мэри говорит что нет а я говорю что бабушка написала сеньору в шляпе котелком что я оставляю моему ненаглядному внуку Ральфу нашему сироте мои акции и дом в Суссексе и 3311 фунтов стерлингов чтобы он купил себе что захочет а тетя Мэри говорит как это Ральфу как это Ральфу а дядя Гарольд напился и хочет встать с дивана и падает а пылесос жужжит уже совсем рядом и скрипки пугаются а дядя Гарольд поднимается и падает прямо на меня и хлопает ладонью по столу и мне делается страшно а он смеется и пылесос жужжит уже совсем близко и музыка вскрикивает и захлебывается а тетя Мэри говорит дяде Гарольду трус трус а дядя Гарольд смеется и выдыхает мне в лицо сигаретный дым и говорит заткнись Мэри ты ведь тоже хотела бы чтобы он сдох а музыка так далеко ее почти не слышно и тетя Мэри уже не говорит дяде Гарольду трус трус и мне тоскливо потому что музыку почти не слышно и противно потому что дядя Гарольд выпускает мне в лицо сигаретный дым совсем как санитар и говорит ты ведь прекрасно знаешь что этот idiot видел как я толкнул старуху и тетя Мэри плачет и я не видел я не хочу видеть как дядя Гарольд тебя толкает как он тебя толкнул а тетя Мэри говорит ты что Гарольд а он шатается и прислоняется к стенке и смеется и говорит ладно что уж там ты в этом так же замешана как и я а теперь нам придется подтолкнуть и этого idiot и выпускает сигаретный дым мне в лицо и смеется и уходит в уборную а я не видел ничего и ничего не скажу ни мистеру Буллю ни черненькой Бренде и никому ничего не скажу и буду вести себя очень хорошо и никогда не подойду близко к тому окну наверху потому что я ничего не видел и пылесос потихоньку отступает и скрипки потихоньку подходят а сигаретный дым пахнет точно как мистер Булль которому так нравится целоваться и он трогал меня вот здесь и я это сказал тете Мэри а тетя Мэри сказала ему вон из нашего дома проходимец а мистер Булль сказал послушайте сеньора а тетя Мэри вытолкала его за дверь а дядя Гарольд спускает воду в уборной и кашляет и громко делает такой отвратительный звук а музыка кричит совсем как котенок а пылесос уже далеко и поет только

одно пианино карлика и я хочу видеть тебя бабушка потому что только ты мне все объясняешь и потому что ты должна объяснить дяде Гарольду что я не видел как он тебя вытолкнул из окна и потому что ты должна мне объяснить что такое возлюбленная потому что Сьюзен говорит знаете а у моего папы есть возлюбленная а черненькая Бренда у которой такие тугие косички и про которую ты говоришь что у нее не глаза а глазища спрашивает что такое возлюбленная а Сьюзен говорит ты наверное совсем глупая возлюбленная это голая женщина а Коринна говорит голая женщина это натурщица потому что ее папа художник и у него есть натурщица и это голая женщина которой ее папа дает чеки а Сьюзен говорит может это незаполненные чеки и Бренда спрашивает что такое незаполненные чеки а Сьюзен говорит она ее побьет и что возлюбленная это голая женщина которой дают незаполненные чеки и из-за которой плачут все мамы а Коринна говорит что ее мама не плачет из-за папиной натурщицы а Бренда спрашивает что такое натурщица и что такое возлюбленная и что такое незаполненные чеки и Сьюзен дает ей подзатыльник и Бренда горько заплакала и ушла а музыка уже закончилась.

— Тетя Мэри, когда я увижу бабушку?

Тетя Мэри раздраженно прикрыла глаза, выключила пылесос и спросила:

— Что?

Начиналась третья часть концерта, названия которого Ральф не знал, и он заслушался. Сначала весело вступают скрипки, и Ральф слышал, как за ними торопится фортепиано, а за фортепиано — снова скрипки. Все вдруг показалось шуткой, горсткой пустячных розыгрышей.

— Что ты сказал? — снова спросила его тетя.

Ральф уже забыл, что хотел спросить, и смущенно глядел на свою тетю; она снова включила пылесос, а он взялся за письмо:

ииииииии а ееееееееееее . И меня никогда не возят повидать тебя и стоит мне заснуть как я вижу тебя и тогда я знаю где находится небо а потом я опять не знаю.

— Тетя Мэри, когда я увижу бабушку?

Тетя Мэри выключила пылесос, обреченно подошла к Ральфу, убавила звук радио.

— Что ты сказал?

— Я ничего не видел.

— Что?

— ...Что я совсем не вижу бабушку. Когда я ее увижу?

Тетя Мэри медлила с ответом. Она молчала, опустив голову. Фортепиано разговаривало с оркестром. Потом, словно почувствовав, что все их слушают, тихо и быстро-быстро заговорили сразу все инструменты. Тете Мэри показалось, что они все поняли; каким-то образом она знала, что они ждут того, что она могла бы сказать. Тетя Мэри испугалась и быстро проговорила:

— Когда-нибудь. Когда-нибудь увидишь.

И пошла обратно в гостиную и включила жужжащий пылесос: он жужжал хрипло и замирал, когда наталкивался на старую мебель. Ральф на минуту зажал уши руками. Потом сделал погромче радио и продолжал:

а а ееееееее а а а ииии ееее где же ты где же ты а тетя Мэри сказала на небе а я смотрю и не вижу тебя на небе потому что мы тебя оставили там и человек с лопатой кидает вниз землю и я не плачу потому что не хочу чтобы ты об этом знала и тогда ты не будешь огорчаться а он все кидает и кидает вниз землю а потом кладет наши цветы которые настоящие а дядя Гарольд уже выходит из уборной и спотыкается и поднимается по лестнице и зовет меня а я не хочу подниматься и он зовет и тетя Мэри говорит Гарольд please а дядя Гарольд смеется и напевает а я боюсь окна там наверху потому что я ничего не видел а пылесос уже близко и музыки уже не слышно и мне так плохо и так страшно что ты даже не представляешь приходи скорее и я хочу купить себе 3311 фунтов стерлингов жвачки чтобы ты видела как я радуюсь деньгам про которые ты написала тому сеньору в котелке что я оставляю моему ненаглядному внуку Ральфу нашему сироте мои акции и мой дом в Суссексе и ты должна мне объяснить что такое наш сирота и я тоже умею писать очень хорошо и поэтому пишу тебе письмо а сеньор снял свой котелок и прочитал еще что я оставляю браслет и изумрудную брошку моей дочери Мэри а ожерелье и брильянтовое кольцо моей дочери Пегги в равных долях каждой а дядя Дейв и дядя Гарольд все время молчали и были такие хорошие а тетя Мэри уже рядом а пылесос такой противный и музыка надрывается внутри меня и дядя Дейв прикрывает глаза и говорит сеньору в котелке какая она была добрая и дядя Гарольд сказал какая она была добрая и дядя Дейв спрашивает сеньора который снимает котелок скажите please просто так из любопытства please а эти оставшиеся деньги и эти равные доли please please а это правда что все мамы плачут из-за возлюбленных потому что сеньор обмахивается котелком и засунул палец глубоко в ухо и почесал там и ему это очень нравится и он кашляет от удовольствия а я видел у него золотой зуб и сеньор сказал 37 фунтов стерлингов каждой дочери и дядя Дейв был такой бледный и говорит моей жене эти деньги не нужны а тетя Пегги которая мама потому что она мама Пам плачет и говорит нужны дорогой для твоей возлюбленной а дядя Гарольд тоже такой бледный говорит моей жене эти деньги не нужны а тетя Мэри плачет и сказала если бы это были 5000 фунтов тогда бы ты что и заплакала.

— Тетя Мэри.

Она выключила пылесос и остановилась.

— Ты — мама?

Ближе к концу концерта, названия которого Ральф не знал, фортепиано, оставив позади весь оркестр, неслось в одиночестве. Вверх — вниз; выясняя, расспрашивая. Это был чистый, не заглушаемый пылесосом звук фортепиано.

— Ну... — сказала тетя Мэри, повернувшись к Ральфу спиной, — можно считать, что да.

— Моя?

Тетя Мэри пожимает плечами, и Ральф спрашивает:

— А у дяди Гарольда есть возлюбленная?

— Что?

— У дяди есть возлюбленная?

Тетя Мэри боком опускается на диван. Сначала она смеется беззвучно, и руки ее пытаются ухватить пустоту. Тетя Мэри — усталая женщина с большими грустными глазами. Внутри радио подрагивают заключительные аккорды концерта, названия которого Ральф не знает, подрагивают и перекатываются, вызывая у Ральфа жалость. Вот вступил оркестр в полном составе, но после резких аккордов мелодию снова ведет

фортепиано. А Ральфа постепенно охватывает ужас: тетя Мэри по-прежнему хватается за пустоту, но теперь уже голос ее наполняется смехом; ногой она нечаянно включает пылесос и спрашивает:

— У дяди — возлюбленная?

При этом она смотрит на Ральфа, а потом хохочет, закрыв глаза и запрокинув голову с открытым ртом к потолку. И повторяет:

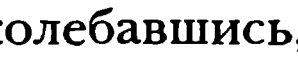
— У дяди — возлюбленная?

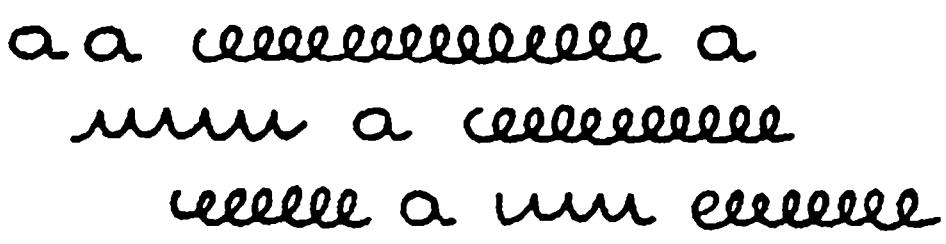
Ральф не слышит. Он целиком поглощен схваткой не на жизнь, а на смерть между музыкой и жужжаньем пылесоса; он только видит, как шевелится от смеха и неразличимых слов рот женщины — рот безглазой маски, парящей в воздухе, пронизанном ужасом схватки.

— У дяди — возлюбленная?

Ральф весь дрожит. Концерт только что умер — трижды в предсмертном хрипе зашелся весь оркестр, и воздух отравлен жужжаньем. Тетя ногой нажимает кнопку на пылесосе, и жужжанье, переходя в еле слышный звук, постепенно смолкает. Тетя успокаивается, тыльной стороной ладони вытирает последнюю выступившую от смеха слезу.

Девочки уже ушли из садика. Тетя встает и, забыв про пылесос, задумчиво выходит из комнаты. Ральф смотрит на темные каракули — свое письмо. С поразительной четкостью — до последней детали — видит он все, что вложил туда, и видит свою бабушку, но она, улыбаясь ему, тут же исчезает. И снова ненадолго появляется, все так же улыбаясь ему. На глазах у Ральфа закипают слезы. Закипают. Они не навертываются сразу. Они выступают постепенно, как роса на цветах.

Ральф моргает, и прозрачные слезы текут по его щекам. Он смотрит на свои мысли и чувствует, как в его памяти переплетаются всеобъемлющая надежда и полная безнадежность. Ральф снова берется за письмо и, поколебавшись, быстро подписывает:  . Потом он открывает ящик стола, достает конверт и надписывает:



Ральф складывает письмо, засовывает его в конверт и заклеивает. Он выходит в садик. Ральф такой огромный, что, выходя, почти задевает головой о дверную притолоку.

В садике он стоит, осторожно оглядываясь, никто его не видит — Ральф это знает. Он вытаскивает из кармана коробок спичек. Но что-то отвлекает его, и он непроизвольно смотрит на то окно наверху.

За матовым стеклом Ральф видит размытые очертания дяди Гарольда. Издалека приглушенно доносится городской шум. Ральф смотрит на окно и снова слышит шум города. Он удивляется, глядя на спички, которые держит в руке. И тут вспоминает — чиркает спичкой и поджигает письмо, глядя, как дым поднимается к небу. Едва не обжегши себе пальцы, Ральф бросает обуглившуюся бумагу. Напряженно вглядываясь в небо, он смотрит, как дым рассеивается в чистом воздухе, потом опускает глаза и видит на земле золу. Наклоняется, присыпает ее горстью земли. Ральф снова поднимает глаза на окно и снова слышит отдаленный городской шум. Он подходит к садовой решетке и дрожит, слушая городской шум. Опустив голову, Ральф поворачивается и входит в дом.

Силуэт на земле

МНОГО лет назад Молли просила Вальтера, чтобы тот повел ее к алтарю. Когда ей хотелось попросить его об этом, она напевала модную когда-то песенку:

Walter, Walter,
lead me to the altar...[1]

Ближайшие соседи — Боб, который был таксистом и кокни, чей дом находился рядом с их домом, и я, живший по другую сторону, — да и все в округе привыкли слышать их, сидя в своих садиках. Вальтер обычно отвечал, что да, он уже собирается. Или — что нет, как-нибудь потом. С неподражаемым водевильным лукавством Молли — по-прежнему продолжая напевать — обещала ему показать тогда свою татуировку.

— ...and I'll show you...[2]

— Yes, yes, yes![3] — кричал тогда Вальтер.

И слышались беготня, хлопанье дверей. А потом — оглушающая тишина.

С тех пор прошло уже двадцать семь или двадцать восемь лет. Молли и Вальтер давно поженились, им обоим за сорок, а песенка об алтаре превратилась в талисман, сияние которого снова и снова возвращало им то, что в прошлом было их будущим — нетронутость надежды.

Шло время. Ушли многие соседи — из своих домов или из жизни; пришли другие. Светлокожие, темнокожие. Расисты говорили:

— Конечно я не расист, но все-таки...

Но слова их ничего не меняли. Улица оставалась — и остается — все той же. Обычная улица на окраине Лондона. Здесь в садиках домов и вдоль тротуаров растут деревья, на которых живут птицы. Это не так уж плохо. Здесь живет сова — только одна, — которая летает и тихонько ухает только над этой улицей. Так уж ей нравится. Здесь живут коты. Отчаянные, они ловко уворачиваются от машин. Хотя что им терять: у английских котов девять жизней, а не жалкие семь. Но самое главное для меня на нашей улице, хотя и не всегда радующее, — это ее дети. Именно они каким-то загадочным образом делают улицу такой, какая она есть. Всегда ли одни и те же? А как они уедут, если каждый день должны заново возрождать ее?

Итак, как я уже сказал, прошло время. Много времени. Одни соседи уходили, приходили другие. Все реже радостно щебетали птички — и точно так же все реже звучал напевный призыв Молли (я понимал это, только услышав его снова: он отдавался забытым эхом), а потом и совсем угас. Такая штука жизнь. К тому же Вальтер начал прихрамывать, и почти сразу на обе ноги. А потом его организм начал отказывать и слабеть (я бы сказал, совсем разладился), и все внутри у него болело — просто все! — (мы знали это от Молли). Но Вальтер не жаловался, он улыбался, и ложился в больницу, и возвращался из больницы. А однажды он вернулся, ковыляя на костылях, а потом настал день, когда Вальтер вернулся в кресле на колесиках. И Молли, толкая кресло перед собой, стала каждый день гулять с ним взад и вперед по улице. А потом Вальтеру на-

1. Вальтер, Вальтер, поведи меня к алтарю... (*англ.*)
2. ...я покажу тебе тогда...(*англ.*)
3. Да, да, да! (*англ.*)

до было ездить в больницу, где ему делали уколы и облучали волшебными лучами, и Молли отвозила и привозила его на стареньком, но еще крепком фордике, а иногда его отвозил Боб на своем такси; и настал день, когда Вальтер не мог ехать даже сидя, и тогда стала приезжать "скорая". И на ее крыше вертелись яркие огни. Это производило ошеломляющее впечатление. А потом, поскольку "скорой" приходилось увозить Вальтера все чаще и ей негде было припарковаться из-за стоящих вдоль улицы машин, из мэрии, или из больницы, или откуда-то еще, прислали нескольких человек со специальным красящим аппаратом, или как там называется это приспособление, и они в один миг жирной линией обвели на земле большой прямоугольник, а внутри его нарисовали — очень красиво — кресло на колесиках и сидящего в нем инвалида.

С тех пор прошло почти три месяца. Началась весна. Вальтер говорил, что изображение похоже на него. Он был доволен.

И именно тогда — надо же, как устроена жизнь, — он умер.

А на земле остался нарисованный силуэт. Белый, похожий на обведенный мелом силуэт покойника — такие иногда рисуют полицейские в кино. И никто уже не ставил машину в этом месте. "Скорая" — потому что уже стало незачем; те, кто был не с этой улицы, — потому что думали, вдруг приедет "скорая"; а свои — потому что хотели выразить сочувствие Молли, не лишая ее зиявшего одиночеством пространства (по крайней мере, столько времени, сколько ей будет нужно).

Проходя по тротуару мимо, я говорил Вальтеру "прощай". Этот прямоугольник был для меня все равно что могила, знак безмолвной утраты. Я никогда не осмеливался ступать на него. Другие соседи — нет, они спокойно перешагивали через это напоминание, если им было нужно. Словно это вполне естественно. "Вполне естественно" у меня вырвалось. Я не больше других переживал смерть Вальтера (я не хочу даже вспоминать незамысловатую эпитафию, которую кокни Боб, сам того не понимая, посвятил Вальтеру, когда мы впервые заговорили с ним об этом). Просто я переживал эту смерть на испанский лад. Для англичан смерть — нечто вполне естественное. Она здесь, рядом. Для нас смерть — в вечности. Где-то там.

Другими словами, *смерть, всегда живущая в жизни,* а точнее, *жизнь, постепенно умирающая вместе со смертью.*

А посередине, где просторно, как в небе, умещается все остальное — от черного юмора до мистики.

Прощай, Вальтер, по-прежнему повторял я ему, проходя мимо. Днем и вечером. Когда светило солнце и когда шел дождь. Хотя, когда светило солнце, это звучало грустнее, чем когда шел дождь. И я привык смотреть на его силуэт из своей комнаты, сидя у окна. Иногда он серебрился в лунном свете. Глядя на него, я успокаивался. Но вот что случилось ровно два дня назад. Позавчера поздно вечером.

Я смотрел на силуэт, сидя у окна в своей комнате. Было так покойно смотреть на него в полутьме. А кроме того, этот покой — почему бы не признаться — навевал сон. К "могиле" подошел маленький мальчик. Я вздрогнул от звука его голоса.

— Yes, yes, yes! — сказал он.

В возбуждении он почти выкрикнул это, обращаясь к другому мальчику, который стоял посреди улицы, положив руки на руль велосипеда; ногами — расставив их по обе стороны велосипеда — он едва доставал до земли. И чуть погодя этот второй мальчик сказал:

— Well[1].

Только одно слово — "well". И, поставив ноги на педали, он уехал. Растаял как тень.

И тогда первый мальчик подошел к начерченному на земле прямоугольнику и медленно ступил в его пространство. Он внимательно разглядывал силуэт. Под мышкой у мальчика была коробка, похожая на коробку из-под обуви. Он уселся на землю и, открыв коробку, вытащил оттуда мелки. Разноцветные. И начал рисовать, раскрашивая и прорисовывая лицо. Вальтер говорил, что изображение похоже на него, и я всегда знал (внутренне вздрагивая), что он говорит правду. Мальчик делал эту правду более очевидной. Он подкрасил тут, подправил там... Вальтер улыбался. На кого он смотрел? Не знаю, но я улыбался ему в ответ. А потом мальчик начал приподнимать кресло (тень инвалида помогала ему, тоже постепенно приподнимаясь), пока оно не встало на колесики. Подталкивая, мальчик выкатил кресло из очерченного на земле прямоугольника и повез Вальтера, теряясь в дали улицы. Быстро, еще быстрее, почти бегом. Мне кажется (кажется), что Вальтер заливался смехом.

Беглецы

— Мы японцы, — сказал Вин, а Сон сказал:

— Потому что мой папа так говорит.

Маи молчала. Я не спрашивал, кто они — я вообще ничего не спрашивал.

Маи четыре годика. Ее браться постарше: Вину лет семь, а Сону около пяти. Все на нашей улице знают, а вернее, думают, будто знают, что они вьетнамцы. А точнее, boat people[2], *беженцы, приплывшие морем* — как их когда-то окрестили (если вольно перевести с английского слова, сказанные о первых вьетнамцах, подобранных спасательной лодкой, Île de Lumière[3]), а уже потом так стали называть бесчисленных скитальцев, тех, кто бежал морем — а именно так они тут и очутились, — покинув свою землю и связав все надежды с другой землей.

На нашей улице Вин, Сон и Маи появились месяцев семь-восемь назад. Прямо со своей родины? Не знаю. Но они были тут. Они вписались в многоцветную людскую мозаику Лондона, а садик позади их дома пестрел не цветами, а зеленью шпината, капусты, брюссельской капусты, картофеля, салата. Лучше уж так, думаю я. Мы были в моем маленьком гараже, когда Вин и Сон сказали мне это. Я открывал дверь, чтобы вывести машину, и они протиснулись внутрь. Я знаю, как их зовут, потому что Вин как-то написал мне их имена. Глаза у них раскосые (естественно), а черные челки на лбу подрагивают, как бахрома старинного абажура.

— Японцы, — сказал я. — Ну конечно.

Захваченные водоворотом изгнания, а это в наши времена все равно что живым быть втянутым в воронку смерти, они знают, что "японец" сегодня на Западе звучит лучше (более "по-западному"), чем "вьетнамец".

— Ну конечно, я всегда так и думал. Японцы.

Мне показалось, что Вин едва заметно мне улыбнулся.

1. Хорошо (*англ*).
2. Люди из лодки (*англ.*).
3. Остров света (*франц.*).

Тут они попросили, чтобы я разрешил им помыть машину. За деньги, конечно. Ведь однажды я уже разрешал...

— Завтра, сегодня я тороплюсь.

Мы вышли в небольшой проулочек, огибавший садики позади домов. Они не уходили. С дерева, растущего около гаража, взлетел дикий голубь и уселся на соседний забор. Взмахи его крыльев звучали, как аплодисменты.

— А тебе нравятся птицы? — спросила Маи.

Голосочек у нее, как у птички. Такой же у ее мамы, когда та мелодично созывает их, словно разыскивая своих птенцов, затерявшихся в воздухе. Маи еще раз спросила, нравятся ли мне птицы, и я почему-то, словно не понял, переспросил:

— Птицы? Какие птицы?

С дерева вспорхнули восемь-десять птиц, и, опустив глаза, еле слышно, но резко Вин сказал:

— Замолчи, Маи.

А Маи спросила меня:

— Ты тоже ловишь птиц?

Я смотрел на небо и видел там время, которое бежало вспять.

Еще полно звезд. Сегодня папа взял меня с собой, потому что я уже почти большой и не устану. Мы вышли затемно и шли долго: впереди папа, за ним я, а позади дядя Винсент с большой клеткой; мой папа — самый высокий среди всех отдыхающих, а дядя Винсент — самый высокий среди всех мужчин Кастел-де-Кастелс, но все равно он не выше папы, и потом, он худой и у него бельмо на одном глазу, а я совсем низенький. И в стоявших на дне оврага лужах отражались звезды, когда мы раскидывали сетку, прикрепленную к тростниковым прутьям, на которых она держалась; а если дернуть за веревку, сеть затягивается. Но нам надо было спрятаться, и мы пошли к большому ореховому дереву и сели под ним, поставив клетку на землю. И мой отец и дядя Винсент закурили, и в темноте тлеющие кончики их сигар вспыхивали буквами O и S. Но уже светает, потому что начинают петь птицы, и, не переставая петь, слетаются к воде, и, обдавая себя брызгами, запутываются в голубых и красных тростинках — зеленые, черные, желтые, — и рука дяди Винсента, в которой он держит веревку, дрожит, но я тоже хочу потянуть, и я хватаю его за руку, ведь мне сказали, что мы не будем ловить тех птиц, что поют, а они все пронзительно кричат, когда рука дяди Винсента дергает за веревку, и я впиваюсь в нее ногтями...

...и глядя на самого старшего из них, на Вина, который смотрит на меня — то ли сам завороженный, то ли завораживая меня, — я вижу его в садике позади их дома: он хочет побежать, потому что знает — в западне уже бьются птицы, но отец удерживает его, подожди чуть-чуть, еще немного, и вся семья, столпившись в дверях кухни, зачарованно вглядывается в предрассветный сумрак. Наверное, в глубине своего садика, там, где растут картофель и капуста, они устроили какое-нибудь хитрое китайское приспособление из сетки и ветвей дрока. И, подбадривая, отец говорит:

— Вы же знаете, певчих птиц мы выпустим, а съедобных оставим себе.

И Маи говорит:

— Но они все поют.

А ее отец отвечает:
— Ну, некоторые поют чуть меньше.

Голубь оглушительно захлопал крыльями, и я очнулся. Он исступленно аплодировал.

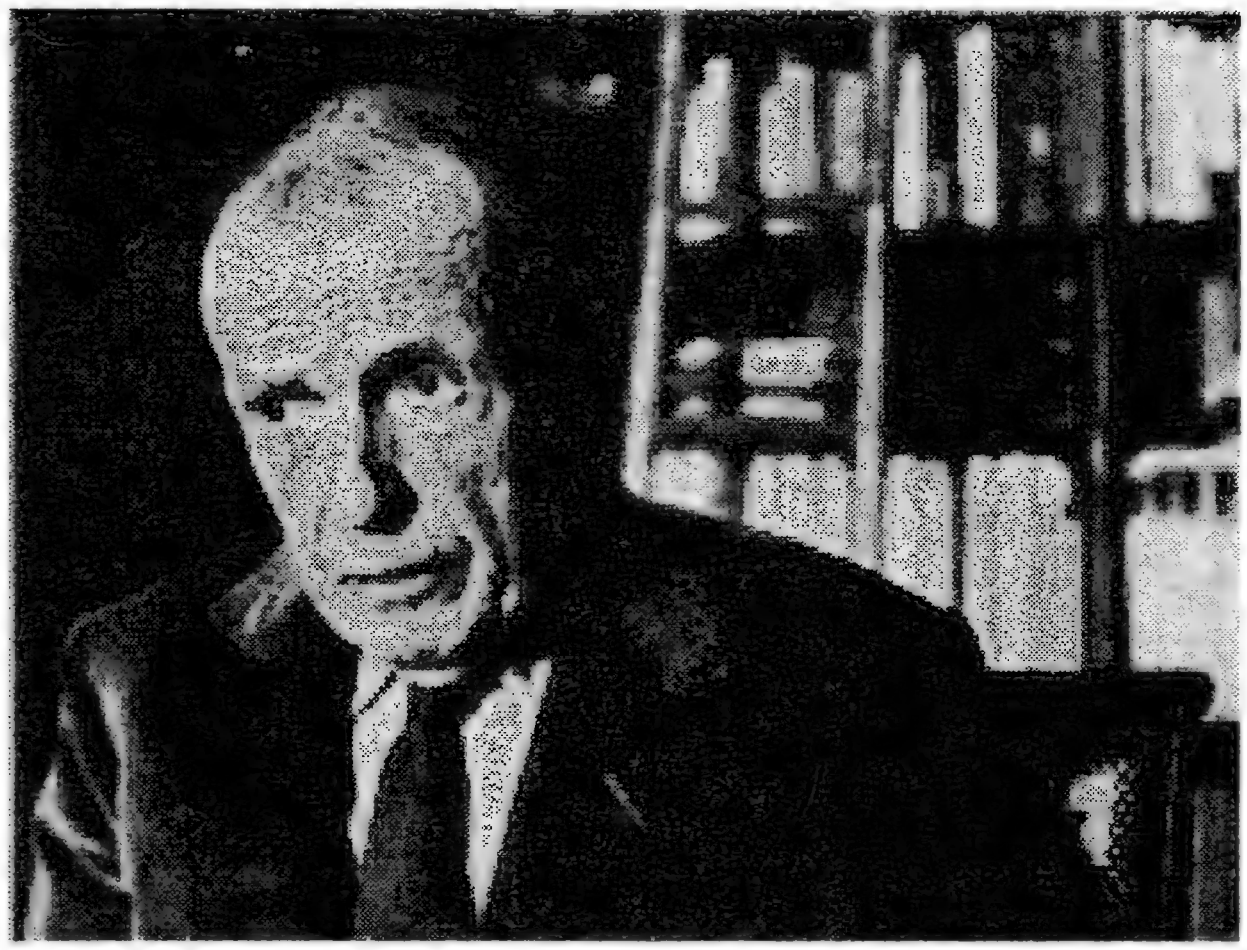
Все трое смотрели на меня, застыв от изумления. Я вошел в гараж, сел в машину. Я, беглец, искавший (как и все) у времени защиту от страхов, которые притаились и дремлют где-то позади, в глубине жизни, уже давно выучил, что одна птица в небе стоит больше сотни в западне, потому что сто́ят они чего-то, только когда могут летать, ведь их стихия — воздух. Но до сих пор меня сотрясает та же неуемная дрожь, что и мальчика, ловившего птиц, дрожь от их криков, когда они неистово бились на моих глазах, уже в неволе, хотя еще и не в клетке. Ха.

Мне показалось, что я должен сказать им что-то поучительное. Что-нибудь красивое о любви к птицам и цветам. А к старикам? Ну конечно, и к старикам тоже, почему нет. Но дело в том, что это у меня никогда не выходило. Я завожу машину, выезжаю из гаража, останавливаюсь. Они все так же смотрят на меня. Я очень медленно подъезжаю к ним, а они еле заметно пятятся. Что бы им такое сказать? Что птиц надо любить, что расставлять им ловушки... Я уже рядом с ними, я высовываюсь из окна машины. И ничего не говорю, а просто кричу:

— Мы все boat people! Я тоже! Я в вашей boat!

Все трое хохочут, когда я нажимаю на газ. Резко, спасаясь бегством.

Мишель Лейрис



Стихи и эссе

С французского

От сюрреализма через этнографию к автобиографичности — так можно очертить траекторию творческого пути Мишеля Лейриса (1901—1990), поэта, эссеиста и исследователя традиционных культур.

Он родился и вырос в Париже и уже молодым человеком вошел в литературно-художественную среду. Первые его стихи 20-х годов связаны с сюрреализмом — школой, в которую он официально вступил в 1924 году и из которой вышел в 1929-м, как и многие недовольные режимом ее вождя Андре Бретона. Тогда же, в 1929—1930 годах, он работал в журнале "Докюман" ("Документы"), которым руководил его друг Жорж Батай, еще один оппонент Бретона. Официально журнал предназначался для публикации солидных академических материалов, но Батай и Лейрис сделали из него авангардистское издание, где передовые теории общества и культуры излагались в форме поэтических парадоксов. Позднее, в конце 1930-х годов, Лейрис вместе с Батаем и Роже Кайуа встал во главе еще одного научно-художественного объединения — так называемого Коллежа социологии. Сам он к тому времени серьезно занялся этнографией, ездил в экспедиции в Африку; впрочем, официальной научной карьеры так и не сделал, лишь в 1961 (!) году получив первое повышение по службе в Национальном центре научных исследований, где много лет работал. Его первой "этнографической" книгой стал не ученый труд, а путевой дневник "Африка-призрак" (1934), и с тех пор все его писательское творчество тяготело к автобиографичности, включая книгу "Возмужание" (1939; ее только что издали в русском переводе под названием "Возраст мужчины"), тетралогию "Правила игры" (1948—1976) и посмертно изданный "Дневник 1924—1989 годов". Характерный пример: 8 января 1938 года, выступая в Коллеже социологии с докладом "Сакральное в повседневной жизни", Лейрис вместо концептуального исследования проблемы занялся чем-то вроде самоана-

© С. Зенкин. Вступление, 2002

лиза, вспоминая, какие предметы, места, зрелища — отцовский цилиндр, домашний клозет, ипподром — имели для него священный смысл в детстве.

Искать сакральное в собственной жизни — таким, видимо, и был глубинный писательский проект Лейриса, который в ранние годы смыкался с бретоновской программой поэтических поисков "сверхреальности". Лирика Лейриса отличается присутствием (само)наблюдающего субъекта; даже выпуская в 1939 году совершенно непереводимый "словарь", где каждое заглавное слово разламывается фонетическими ассоциациями, двойным эхом отражающими его звуковой состав, — поэт все-таки выставил в заголовок этой книги строку, содержащую "я": "Glossaire: j'y serre mes gloses" (как ни странно, это как раз можно перевести: "Глоссарий: глоссы в него затариваю")... Однако лейрисовское "я" — не просто наблюдатель, но и бунтарь. В 1925 году во время литературного банкета в ресторане "Клозери де лила" поэт оскорблял прохожих, крича из окна "Долой Францию!"; в позднейшие времена ездил с визитами солидарности на революционную Кубу, а в бурном мае 1968 года устроил бунт в парижском Музее человека. Его литературные тексты 20-х годов призывают на голову застойного общества то природные катастрофы вроде "потопов, схода ледников и цунами", то мифологического "матадора", который "сразит дряхлых человекоскотов", установивших свою власть в мире. Кстати, бой быков, с его традиционно-сакральным содержанием, — одна из любимых тем Лейриса; он посвятил ей две специальные книги, а второму изданию "Возмужания" предпослал эссе под названием "О литературе, рассматриваемой как тавромахия".

Еще один характерный мотив Лейриса (другая сторона его бунтарства, вновь сближающая его с мыслями и творчеством Жоржа Батая) — мотив человеческого тела, вырванного из благоприличного равновесия, возвращенного к темной жизни внутренностей, к скандальной бесформенности плевка. Одно из ранних стихотворений поэта, посвященное Батаю, так и называется "Влюбленный в плевки"; по ассоциации вспоминается зачарованность тем же мотивом русских поэтов, один из которых (Маяковский) называл "плевочками" звезды и готов был "подлизывать чахоткины плевки шершавым языком плаката", а другой (Тиняков) сам отождествлял себя с "плевком-плевочком", плывущим по канаве... Сакральное двойственно: оно включает в себя не только святость божественного духа, но и скверну телесных выделений. Сознание этой двусмысленной энергии, заключенной в человеческом нутре, образует причудливый стиль лейрисовских культурфилософских эссе, где парадоксальная, но поначалу все-таки логично-рассудительная мысль вдруг набухает неистовой силой фантазма, взрывается искрами "сверхреальных" метафор, и мы ошеломленно замечаем, что на самом деле читали не рассуждение, а поэму в прозе.

С. Зенкин

Стихи из цикла "Сдвиги"

Ни конца ни начала

Море без конца говорит
шумом волны
шепотом пены похожим на шорох платья
и природа всегда продолжается
бормотанием гальки и листьев

От останков прогнивших дней
сваленных на шкафах
смрад наполняет комнаты в которых разряжается молния
беспородное зыбкое солнце отхожих мест

О
моя молния
солнце мое настоящее
ты обрушиваешься на горы
ты касаешься бычьих ноздрей
черных зверей с ревущей утробой
так бочки в подвалах гремят
пародией на гробы в подобьях могил
когда ж ты сразишь этих дряхлых человекоскотов
ты чей клинок так искусен
чей облачный плащ так широк
чьи колени так гибки
матадор
ты готов?

Перевод Михаила Яснова

Легенда

Сегодня шатаются двери
не спят засовы привыкшие мирно дремать в темноте
тихой словно море елея

Шпалеры струящие блеск женских глаз
вы рушитесь как разодравшийся занавес тучи
за которым сверкает солнце жгучих зрачков
Беззвучная Инквизиция глухо грозила комнате

© М. Яснов. Перевод, 2002

сжимались клещи линялых стен
стол торчал позорным столбом
потолок захлестывал с головой
Ножницы пасть разевали во всю ширину
давясь рыданьями безутешной вдовы
но их половинки косым случайным движеньем
резали пустоту
растерянную пустоту от которой
отвернулось все даже небесная высь

И тут рассы́пались пеплом три головни в камине
постель распахнулась
я увидел прекрасную нагую женщину
над берегом ложа она поднялась по пояс
сбрасывая одежду в морские волны

Высокая величавая
ты почти мгновенно пропала в зыбучем песке
Он все поглотил зализал тяжелые кудри
Ты исчезла бесследно и берег песчаный сомкнувшись вновь
не сохранил ничего от тебя
даже тонкого запаха твоего тела
испарений подземного хмеля
что могли бы еще долететь до ноздрей мирозданья
отозваться стуком в его воздушных висках и быть может
    его совратить

Только одежда плыла
ее относило к другим спящим

О грудь напоенная сладким и мертвым огнем ушедшим в песок
мир еще не взрастил пламенеющей пажити
чтобы насытить свои стада завороженные сном

Перевод Марка Гринберга

Девушки

Девушка вытягивает руки параллельно безукоризненным
    линиям своего тела
и тогда камень приотворяется
так что в нем можно видеть внутреннее море
скрытую пену

© М. Гринберг. Перевод, 2002

Твердые волны по которым вздымая легкую пыль
переваливаются корабли без такелажа
прилив пригвожденный к месту внезапной остановкой
стальной луны качающейся среди четырех стен
жесткие недра откуда ничего нельзя извлечь
обнажается тайное строение
воспроизводя своими ярусами высокую перевернутую
башню подземных толчков и радостных ящериц
землетрясенья

Когда вы беретесь за руки
девушки в ожерельях из розового золота
когда ваши колени задевают друг друга словно ломкие стебли
высоких трав
воздух наполняется непостижимым эфирным облаком
пьянящим как звездная слюна
как губы в уголках которых мед

Бесчисленные изгибы вашего тела это реки текущие
в нежнейших берегах
как хочется в них вглядеться увидеть тенистые аллеи где
бредут вечером домой не опасаясь лающих вдали цепных собак
веселые друзья
но загромождены камнями эти тропы выжженные больными
небесами
откуда сыплется град недугов
В полутьме скользят лодки без парусов без весел
песни прожигают словно укусы
и тогда из незащищенности самой укромной ладони возникает
линия любви

Протяните же девушки протяните мне свежесть своих рук
их бисерный дождь от которого я хмелею
мне всегда хочется видеть как разрушаются стены
как расседаются арки от свода и до опор
как сгнивают столбы как они начинают крениться

но скажите: какая стрела излетит из этого тлена?

Перевод Марка Гринберга

Возвращение

Вернувшись домой путешественник
чистит свои сапоги
в глазах его еще рябит от крови пейзажей
а пыльные пальцы листают книгу
букет рассыпающихся впечатлений
поневоле завязанный на скорую руку
уже лишен былого восторга

Бьющий из-под земли
скромный и тихий источник
наполняет кувшин забвенья
пушка гремит вдалеке и эхо
склоняется над колодцем уха
пытаясь понять глубину тишины

Сегодня ли пробил срок
спешить за порог
открыв плотоядные рты и ладони пылающие в усердье?
Сегодня ли пробил срок поглотить окраской и тоном плоти
зелень лесов и пастбища смерти?

Прекрасной спокойной грозой
над горизонтом восходит Рок
Стены темниц сочатся водой
растенья камням отдают свой сок

Вернувшись домой путешественник
умывает руки
зажигает погасшую трубку
и протягивает оба запястья будущему
которое надевает на них кандалы тишины

А потом он ложится спать путешественник
а потом засыпает сопит
и спит и спит и спит

Перевод Михаила Яснова

© М. Яснов. Перевод, 2002

Лена

Думаю о тебе
и образ твой воздвигает вокруг меня такие несокрушимые
стены
что ни тарану туч
ни влажной смоле дождя
не хватает силы
о мой водоем тишины
справиться с этой пронзенною звездами крепостью в которую
ты меня заточила

Псы пресмыкаются а толпа
толкается и кричит напирая
Карусель забыла про звуки шарманки и кружится себе
без затей
в ореоле
из глаз детей
игра в колечко в пределах Рая

Грежу тобой
моя крепость без рвов и подъемных мостов
без башен и стен и бойниц и камней
Сплю захмелев от густого вина
тени твоей
восставшей воздвигнутой светом и тьмой
над морем над сушей
над твердью земной

Слушай
когда-то я жил насмехаясь над солнечным днем
но вселенская буря уже заполняла
мой окоем
Я в неведенье был божьей тварью
былинкой
двуногим
и меня без руля и ветрил
темный ветер по свету носил
и судьба моя падала яблоком в грязь у дороги

Но сегодня
ты бледное небо мое
ты двойное мое отраженье
и бесконечность множа и множа стены обрушивает его в мою
темницу
я слушаю облако-птицу
и ничего не боюсь и никого не боюсь
и беседую со снегами зимы

Перевод Михаила Яснова

Пабло Пикассо. Портрет Мишеля Лейриса

Эссе из журнала "Докюман"

Метафора

"*Метафора* (от греч. μεταφορα — перенесение) — это фигура, посредством которой имя одного предмета мысленно прилагается к другому, благодаря какой-то общей черте, позволяющей их сближать и сравнивать" (словарь Дармстетера). Но на самом деле неизвестно, где начинается и где кончается метафора. Абстрактное слово образуется путем сублимации конкретного. Конкретное же слово, обозначающее предмет лишь по одному из его качеств, вообще-то и само лишь метафора или, по крайней мере, фигуральное выражение. Кроме того, чтобы обозначить предмет соответствующим ему выражением — не фигуральным, а буквальным, — необходимо было бы знать самую сущность предмета, а это невозможно, так как нам дано знать лишь явления, а не вещи в себе.

Не только язык, но и вся наша умственная жизнь основана на игре транспозиций и символов, которую можно считать метафорической. С другой стороны, познание всегда идет путем сравнения, а потому все познанные предметы связаны между собой отношениями взаимной зависимости. Нельзя определить, какой из двух предметов обозначен своим собственным именем, а не метафорой другого — и наоборот. Человек — это дерево с ногами, но также и дерево — человек с корнями. Небо — разреженная земля, но также и земля — сгущенное небо. И если я вижу, как бежит собака, то ведь также и *бег собачит.*

...Сама эта статья — тоже метафорична.

© С. Зенкин. Перевод, 2002

T*alkie*[1]

После целого ряда звуковых фильмов — по крайней мере, один из которых, "Our dancing daughters"[2], несомненно останется в истории кино, не столько из-за техники, сколько потому, что благодаря ему в кино появилась новая форма сентиментальности, а прелесть беззаботной жизни подпорчена лишь исключительной заботой показывать актрис, привлекательных своей молодостью и грацией, — наконец-то мы получили настоящий talkie, где реплики столь стремительны, что зрительный крупный план порой как бы соединяется с голосовым.

Английский язык — язык *любви*; таков главный урок, который дает нам фильм "Weary River"[3], и одно это заставляет забыть бессмысленно-пуританский сценарий, лишь кое-где озаряемый мощными отблесками страсти, распространяющими чудесное багровое сияние.

Заурядные умы, толкуя о talkies, не преминули сделать свое поганое дело и, как обычно, возопили о беде — в данном случае о конце кинематографа. Такой фильм, как этот, убедительно их опровергает даже в самых своих слабостях — именно потому, что спасает его не тот или иной зрительный образ, а роль, которую играют в нем голоса. Это и показывает, в чем интерес talkies.

Благодаря этим "говорящим" фильмам, от которых, как показывает "Weary River", приходится ожидать очень многого, мы можем наконец телом и душой увлекаться пылко-чувственными сценами, можем плыть по течению на плоту голосов, когда все вокруг нас рушится, кроме волнующего движения губ или горла, кроме трепета кончиков пальцев или какого-нибудь пророческого слова, слетающего с уст влюбленной женщины, которому придают щемящий акцент горы, моря, полутемные бары и полуночные тюремные решетки, — остается лишь прекрасный, хриплый и вместе нежный голос, а сквозь него проступают все дороги, волны и тропы в краю, где не ведают ни о солнце, ни о движущихся стенах дождя.

Слюнки текут

Мы так привыкли к виду себе подобных, что обычно не замечаем, сколь чудовищны все компоненты нашего телесного состава. Разве что эротика озаряет нас своими яркими молниями и заставляет понять истинную природу того или иного органа, внезапно возвращая ему полноту реальности и силу наваждения, а заодно делая верховным божеством отмену иерархий — тех иерархий, по ступеням которых мы в обычное время кое-как распределяем части своего тела, помещая одну выше, другую ниже (в зависимости от того, насколько ценим основанные на них действия): на самом верху — глаза, которые кажутся нам чудесными светочами, а вот органы выделения — в самом-самом низу, ниже ватерлинии, в

1. Звуковой фильм (букв. "говорящий", *англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Фильм Гарри Бомонта с участием Джоан Кроуфорд (1928).
3. Фильм Фрэнка Ллойда (1929).

сырых подвалах, в застойном море скорби, отравляемом миллионами сточных труб...

Рот помещается прямо под глазами и занимает привилегированное положение, ведь он — место речи, дыхательное отверстие, в его норе запечатлевается пакт поцелуя, и для нас это куда важней, чем нечистоплотный производственный процесс пережевывания. Зато в *любви* рот вполне обретает свою мифологическую функцию (теперь это лишь теплый и влажный грот, однако по бокам его — твердые сталактиты зубов, а в глубине скрывается язык-дракон, хранитель неведомых сокровищ); в *плевке* же он разом проваливается на самую низшую ступень органической лестницы, будучи наделен функцией выброса, еще более отвратительной, чем роль дверцы, куда проталкивают пищу.

Плевок близок к эротическим проявлениям, так как с ним в классификацию органов проникает "истечение", подобное любовному. Он скандален, словно половой акт средь бела дня, — он отбрасывает рот, этот зримый знак разума, в ряд самых срамных органов, а всего человека при этом низводит до простейших организмов, имеющих лишь одно отверстие на все нужды: у них нет даже элементарного различия питательных и выделительных органов, которым могла бы соответствовать дифференциация высокого и низменного, — то есть они еще всецело погружены в дьявольский хаос, где ничто не разделено.

Оттого плевок — худшее из кощунств. Им изо дня в день оскверняется божество наших уст. И впрямь, чего стоят разум, речь, а значит и все хваленое достоинство человека, ведь коль скоро язык и плевок происходят из одного и того же органа, то на место любых философических словес вполне можно подставить неприличный образ оратора, брызгающего слюной!

Наконец, плевок есть нечто влажно-неустойчивое, неопределенное по очертаниям, нечеткое по окраске — он символизирует собой *бесформенность*, не поддающуюся проверке и иерархизации; этот мягко-прилипчивый камень преткновения верней настоящего булыжника ниспровергает все начинания человека, который мнит себя значительным существом, тогда как на самом-то деле он *ничто*, хилое безволосое животное, бредовый плевок демиурга — то-то, должно быть, он хохочет, видя, как этот изрыгнутый им тщеславный слизняк, жалкий головастик раздувается и пыжится, точно полубог...

Когда лед тронется

Явления природы — это целый алфавит символов, из которого мы черпаем многие свои выражения. Кто не знает "молниеносную страсть", "кусачее солнце", "бурю в душе" или "гром аплодисментов"?

Хотя образы эти в большинстве своем избитые, но среди них все же есть один, по-прежнему волнующий своей безжалостно-резкой лаконичностью, ломким треском стихийного бедствия: это взлом льда на реке.

В романе Золя, который озаглавлен этим словом[1], оно было применено к войне 1870 года, а затем стало особенно популярным в смысле па-

1. "La débâcle". В русском переводе "Разгром".

дения валютных курсов и финансового краха; оно и сейчас звучит сильно — тем более сильно, что при нынешних обстоятельствах оно может оказаться пророческим.

Действительно, сегодня вся наша жизнь заморожена, покрыта толстым льдом промышленности, пытающейся превратить нас в трупы. Реки подлинно человеческих отношений замерли в неподвижности, мороз крепчает, в воздухе застой; и подобно тому как в зиму 1870/1871 года, которую так любят вспоминать гнуснейшие старики, Сена поднимала на свою окаменелую водяную спину прохожих, коляски и даже грузовые фуры, — так и реки наших чувств превращаются в артерии, полные стылой и спекшейся крови, и по ним важно, как по бульвару, расхаживают упрямые микроскопические существа, обитатели мира, которому интересен один лишь экономический интерес, — это грязномелочные, как вши, общественные отношения, и нашему позвоночнику труднее выдерживать их, чем целые вереницы груженых рыночных телег или же омнибусов, битком набитых людьми с мерзкими рожами. Скутанные этим холодом, как мумии своими окаменелыми тканями, мы не можем шевельнуться и сидим неподвижно в исковерканной позе стыдливого паралитика, уже и не чувствуя *одеревенелости,* и все-таки ни о чем не мечтаем так сильно, как о ледоходе...

Если река вскроется, то придет конец опутавшей нас торговой суете, нелепому коловращению мелочных расчетов, которые угнетают и унижают нас хуже лакеев. Чтобы вырваться из пыльного чулана, где мы киснем в своих лохмотьях, линялых, как ржавая сабля рейхсхофенского кирасира[1], — для этого все токи наших сердец, наших мышц, нашей кожи должны вновь обрести свой природный вид, а с ним и всю свою первобытную ярость, как при потопах, сходе ледников и цунами; взломать мерзлый покров всех стран, захлестнуть их пустоши, поля, города и деревушки, затопить на своем пути все нечеловеческое и в конце концов испариться, чтобы восстание сразу же обернулось поражением и, сперва разбив все враждебно-чуждое себе, а затем и само разрушившись и обратившись в химерический пар, оставило по себе один-единственный итог — уничтожение *абсолютно всего.*

Человек и его нутро

В популярной книжке, изданной в прошлом веке (Эмиль Коломбе. "Самоновейшие оригиналы". Париж, 1862, серия Этцеля, изд. Э. Дантю, с. 105), я вычитал следующий анекдот:

Избыток чистоплотности

Некая женщина, увидав на разделочном столе мясника вскрытую тушу быка, из которой вынимали внутренности, чуть не упала в обморок от глубочайшего от-

1. В бою при Рейхсхофене в Эльзасе 6 августа 1870 г. французские кирасиры предприняли неудачную контратаку против немецких войск.

вращения. Когда ее стали спрашивать, из-за чего с нею случился этот припадок, она сказала:

— Неужели и у нас в теле столько всякой гадости?

Услышав ответ, она решила, что лучше умрет с голоду.

Хотя видеть внутренности животного или человека почти всегда неприятно, но с их изображениями дело не обязательно обстоит таким образом, и анатомические картинки, украшающие старинные трактаты по медицине, нельзя рассматривать только с медицинской точки зрения, не обращая внимания на необычайную красоту многих из них — красоту, связанную не столько с большей или меньшей чистотой форм, сколько с тем, что на них человеческое тело раскрыто во всех своих интимнейших секретах, со всеми потайными местами и незримыми реакциями, которые в нем происходят, со всем тем, что придает ему магическое сходство с мирозданием в миниатюре.

Изображение человеческого тела, без сомнения, является самым непосредственно волнующим из всех пластических изображений. Я не говорю здесь ни об условной "обнаженной натуре" в официальной живописи — этих чистеньких и вычесанных, в каком-то смысле *нечеловеческих* телах, не сохраняющих ничего от смущения, которое вызывает в реальности вид тела, — ни об умышленно "натуралистических" изображениях нагого тела, где изучается одна лишь его видимая структура, исключая все то, что наводило бы на догадки о его истинном значении, о роли *чувственной связи,* которую оно играет между нами и внешним миром, о том, что это единственный мост, по которому мы хоть как-то можем сообщаться с огромным и далеким мирозданием, преодолевая бездну, отделяющую нас, ограниченных во времени и пространстве, от видимым образом безграничной и бессмертной природы.

Если бы нам приходилось оставаться в одиночестве и пользоваться лишь своим собственным телом перед лицом внешней природы, то такое положение было бы, пожалуй, грандиозным — положением бога или героя, — но и ужаснейшим из всех, ибо мы так и не смогли бы понять, что это за *вещь,* столь отдельная от нашего "я", столь безразличная к нам, чуждая нам столь отчетливо-холодной чуждостью. Восстановить связь с нею нам позволяет существование других — иных, чем мы, — человеческих существ, которые служат посредниками, поскольку, с одной стороны, они причастны природе (будучи внеположны нам, как и она), а с другой стороны, причастны и нам (будучи по своему сложению примерно сходны с нами). Таким образом, общество оказывается связующим звеном между природой и нами, и соответственно наши отношения с людьми суть важнейшие из всех многообразных отношений между нами и внешним миром; потому-то вид человеческих тел, будь то тела людей, с которыми мы солидарны или враждуем, затрагивает нас сильнее всего: ведь в любом случае это живые знаки того завета, который природа удостоила с нами заключить, они магической печатью скрепляют наш предполагаемый договор с нею.

С этой символической картиной нашего положения в мире связаны великие религиозные мифы, где речь идет о посреднике, о воплощенном божестве или обожествленном человеке — таких, как Орфей или Христос, — о герое, которого почитают, но в конце концов обязательно предают смерти, принося в некую жертву. С этим же может быть связана и любовь: ведь хотя в ней немало зла, она дает нам иллюзию власти

над мировыми силами через обладание некоей частью мира, позволяющее нам как-то зачаровать или заклясть его.

А теперь вспомним фильмы Адольфа Менжу[1], где нам показывают мрачный упадок еще довольно молодого, но разбитого и утомленного жизнью бонвивана, или же великолепный фильм "Сорокалетняя женщина", где Полина Фредерик[2] играла поразительную роль зрелой женщины, еще вполне привлекательной, но вынужденной "защищать" свою красоту (вспоминаются также чудные фотографии Элизабет Арден[3], регулярно публикуемые в журнале "Вог" как реклама косметики: на них показано чистое женское лицо, обмотанное полотенцами и отданное во власть массирующих его ловких рук); сопоставим эти запомнившиеся нам образы с анатомическими рисунками, где, например, с человека содрана кожа, или он держит под мышкой голову, или же двумя пальцами ухо, или же женщина с полусодранной кожей стоит напротив фигуры, у которой полуобнажена нервная система: череп откинут назад как шлем Минервы, шевелюра струится по плечам, а от уст до ног обильно циркулируют пары́, и на голой коже всюду блестят капельки пота, едва отличимые от слез, текущих из глаз, — тогда мы поймем, почему такие изображения человеческого тела, показывая нам либо его потайные механизмы, одновременно чарующие и устрашающие, либо один из критических моментов его истории, старение, оказываются более красивыми и эротически действенными, чем любые картины тела, которые пытается давать нам живопись, изображая обнаженную натуру в академическом или же усложненном стиле, но так и не сообщая нам ничего об истинных тайнах человеческой природы.

Наконец, мазохизм, садизм, да едва ли и не все порочные извращения, представляют собой лишь средство почувствовать себя в большей мере человеком — в силу более глубоких и резких отношений с телами, подобно тому как лицезрение (для многих мучительное) морщин и выступающих жил заставляет нас сделать шаг к интенсификации своего человеческого самосознания. "Не знать, что делать со своей шкурой", — великолепное просторечное выражение предельной тоски, а для понимающего ума еще и вполне ясное указание на то, как от нее избавиться! Когда первобытный человек покрывает свое тело татуировками, знаки которых ставят его в магическое соотношение с различными частями Вселенной, или же когда некто превращает свою кожу в скопление рубцов, припухлостей, надрезов, ожогов и т. д., — то, обусловлено ли это религиозными причинами (у так называемых дикарей) или же извращением (у цивилизованных людей — любителей, как говорят, "редких ощущений"), все они втайне следуют потребности увеличить самое человеческое в себе. Так же и современная косметика, стремясь сохранить и исправить то, что мы считаем нормой телесного облика (здесь вспоминаются два образа: ослепительная реклама мыла "Пальмолив", где цыганка говорит нежной белокурой англичанке: "Сохраняйте этот девический цвет кожи", — протягивая ей кусок мыла "Пальмолив"; а еще великолепная восковая фигура, обнаженная и с пышной светлой шевелюрой, вокруг которой сложный аппарат для permanent waving[4] создает смертоносный ореол, подобный Дамоклову мечу и иллюстрирующий ту

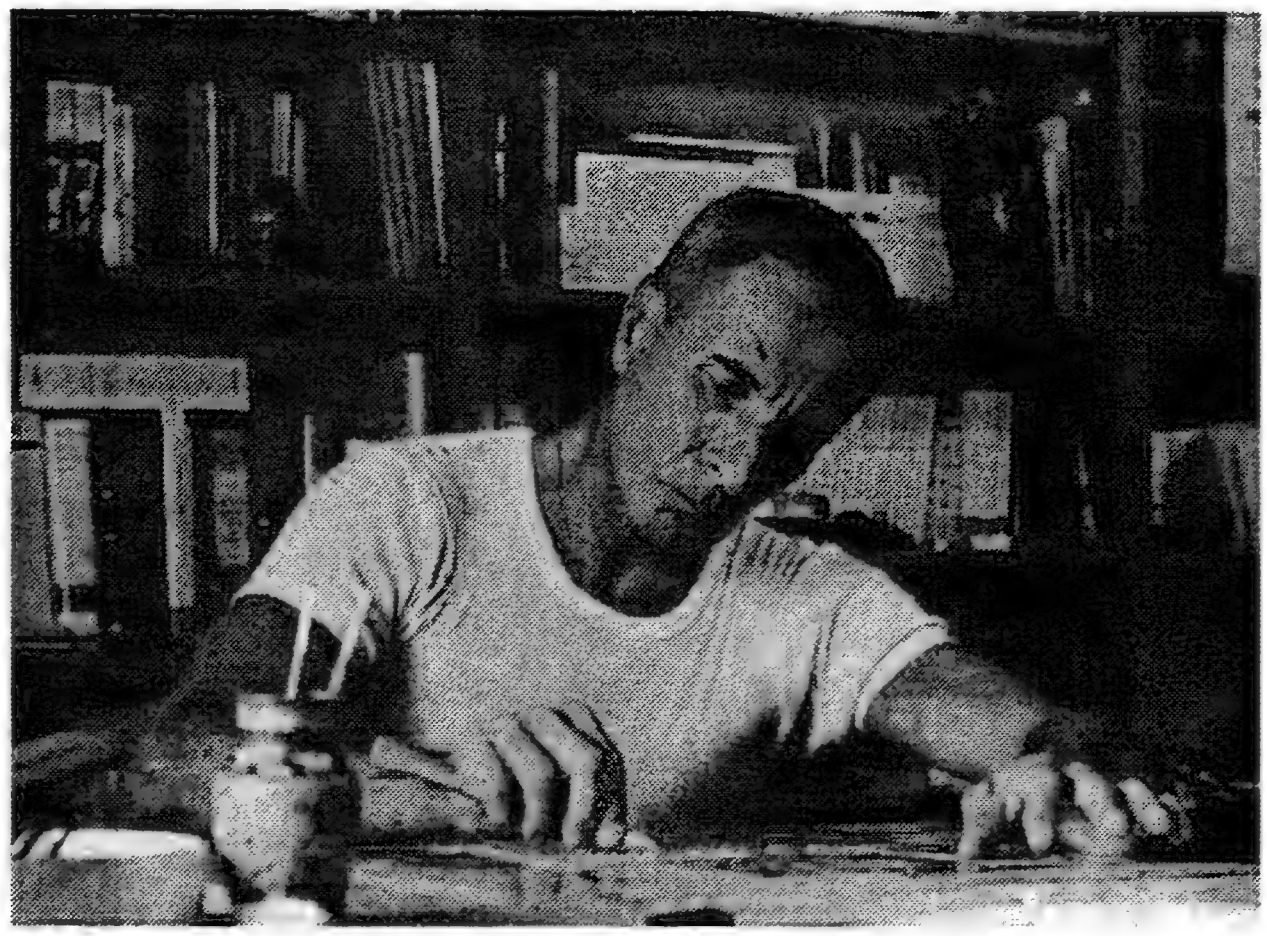
1. Американский киноактер (1890—1963).
2. Американская киноактриса (наст. имя Беатрис Либби, 1884—1938).
3. Американский косметолог-визажист (наст. имя Флоренс Найтингейл, 1878—1966).
4. Завивка-перманент (*англ.*).

же самую угрозу — угрозу старости, которую не устранить никакой прической и никаким уходом за кожей), так вот, современная косметика, оснащенная извечным набором средств — всякого рода грим, пудра, краска для волос, духи, — заключает в себе что-то страшно эротичное и человечное, ибо все это впечатляющие символы борьбы со старением, либо просто стирающей знаки телесного упадка, либо еще с юных лет создающей вместо лица, которому суждено стать игрушкой увядания, неподвижно-вневременную маску, влекущую как изящнейшая статуя, но и неприкосновенную как идол.

Кстати, такая "человечность" не имеет ничего общего со счастьем или добротой; все это очень далеко от идеи любви к ближнему; самые жестокие видения, самые зверские наслаждения вполне оправданны, если они способствуют развитию такой человечности. Одни только пуритане могли бы мне возразить, ведь они видят в теле лишь грубую материю, презренную магму внутренностей, а не таинственную сцену, на которой вершатся всевозможные обмены между внутренним и внешним, как материальные, так и интеллектуальные и чувственные: X и Y, которые смотрят друг другу в глаза, — два прекрасных зеркала, и если уж нет под рукой дубинки, чтобы разбить их вдребезги, то достаточно и обычного алмаза, чтобы разрезать каждое из них пополам... А может быть, он напишет на них — как символ любви, способной по-своему разрешить их двойственность, — чье-то очень странное и смутно-нежное имя, каллиграфическим начертанием его перечеркнув нацарапанный на стене рисунок, где современный Орфей в цилиндре и модном сюртуке бежит от прельстительных Фурий, руки которых отягощены перстнями, змеями и бичами и которых он, вечно недовольный "нравственными" развлечениями, сам же и заставил, словно Юпитер, вырваться в полном вооружении из своей головы под торжественный звон молотов по наковальням терзаемой плоти, в брызгах отвратительных искр цвета лиловых синяков и капель крови.

Перевод С. Зенкина

Дино Буццати



Семь этажей

Страшный рассказ

Перевод с итальянского Геннадия Киселева

ПОГОЖИМ мартовским утром, проведя в поезде весь день, Джузеппе Корте сошел в городе, где находилась знаменитая лечебница. Он чувствовал легкий озноб, но от вокзала до лечебницы решил дойти пешком. При себе у него был небольшой чемодан.

Врачи обнаружили у Джузеппе Корте начальную форму заболевания и все же направили его в эту известную клинику, которая специализировалась исключительно по таким болезням. Здесь работали первоклассные врачи и было установлено самое современное оборудование.

Джузеппе Корте увидел ее издалека и сразу же узнал — по фотографии в рекламном буклете. Клиника смотрелась превосходно. Белое семиэтажное здание с выступами и нишами смутно напоминало гостиницу. Вокруг росли высокие деревья.

После предварительного осмотра, до начала обследования, Джузеппе Корте поместили в симпатичную палату на последнем, седьмом, этаже. Светлая мебель, чистенькие обои, деревянные кресла с пестрой обивкой. Из окна открывался чудесный вид на один из живописных кварталов города. Все здесь внушало спокойствие, дышало гостеприимством, вселяло надежду.

Джузеппе Корте сразу лег в постель, зажег в изголовье лампу и стал читать привезенную с собой книгу. Вскоре вошла медсестра узнать, не нужно ли ему чего.

Джузеппе Корте ни в чем не нуждался. Наоборот, он охотно принялся расспрашивать молоденькую медсестру о лечебнице. Так он узнал о странной особенности этой клиники. Пациенты размещались в ней по

© Г. Киселев. Перевод, 2002

этажам в зависимости от своего состояния. На последнем, седьмом, этаже находились самые легкие больные. На шестом — не то чтобы тяжелые, но требующие пристального внимания. На пятом этаже помещались больные с серьезными осложнениями и так вплоть до второго этажа. Здесь располагались пациенты в тяжелейшем состоянии. Ну а на первом этаже содержались практически безнадежные больные.

Необычное это устройство клиники предельно упрощало уход за больными. К тому же, легкие больные могли не опасаться близости тех, чьи дни уже сочтены. Поэтому на каждом этаже царил раз и навсегда заведенный порядок. Это позволяло как нельзя лучше проводить курс лечения.

Все пациенты делились на семь категорий. Этаж представлял собой маленький замкнутый мирок со своими особыми правилами и традициями. Каждым отделением заведовал свой врач. От этого возникали собственные методики лечения. Они в чем-то отличались друг от друга, хотя главный врач направлял работу клиники по единому руслу.

Когда сестра ушла, Джузеппе Корте почувствовал, что его уже не знобит. Он подошел к окну. Перед ним раскинулся незнакомый город. Но не город был ему интересен. Он надеялся разглядеть больных с нижних этажей. Выступы здания позволяли это сделать. Взгляд Джузеппе Корте был обращен на окна первого этажа. Они были где-то далеко, и видно их было только сбоку. Ничего особенного он так и не увидел. Почти все окна были плотно зашторены серыми жалюзи.

Тут из окна соседней палаты высунулся мужчина. Какое-то время они приветливо переглядывались, не зная, как нарушить молчание. Наконец Джузеппе Корте первым набрался духу и спросил:

— Вы тоже здесь недавно?

— Да нет, уже два месяца... — отозвался сосед и, помолчав, нерешительно добавил: — Вот брата внизу высматриваю.

— Брата?

— Да, — ответил незнакомец. — Мы поступили в клинику вместе. Случай действительно редкий. Но брату становилось все хуже и хуже. Представляете, сейчас он уже на четвертом.

— Что значит — на четвертом?

— На четвертом этаже, — уточнил сосед. В его голосе звучало столько жалости и страха, что Джузеппе Корте невольно содрогнулся.

— А что, на четвертом лежат совсем тяжелые? — спросил он осторожно.

— Слава богу, они еще не безнадежны, — покачал головой мужчина. — Но веселого, сами понимаете, мало.

— Выходит, — продолжал Корте шутливым и непринужденным тоном, как будто речь шла о чем-то грустном, что его не касается, — если на четвертом лежат тяжелобольные, кого же в таком случае кладут на первый?

— Ну, на первом и вовсе не жильцы. Врачи там бессильны. Тут уже дело за священником. Ну и, конечно...

— Однако больных на первом немного, — перебил его Джузеппе Корте, которому не терпелось услышать подтверждение своих слов. — Почти все окна наглухо зашторены.

— Сейчас-то немного, а утром было порядком, — горько усмехнулся незнакомец. — Если жалюзи опущены, значит, пациент недавно умер. Сами видите, на других этажах окна не занавешены. Прошу прощения, —

добавил он, медленно разгибаясь. — Как-то посвежело. Пойду-ка я в постель. Всего наилучшего.

Незнакомец исчез, подоконник опустел, окно резко закрылось. Скоро в палате зажегся свет. Джузеппе Корте неподвижно стоял у окна, глядя на опущенные жалюзи первого этажа. Он всматривался в них с болезненным напряжением, пытаясь представить мрачные тайны этого зловещего места, куда больных отправляют умирать. Джузеппе Корте чувствовал немалое облегчение от того, что наблюдает за всем издалека. На город спускались сумерки. Одно за другим загорались многочисленные окна лечебницы. Со стороны она походила на празднично освещенный дворец. И только на первом этаже, у самого подножия крутого фасада, зияли непроглядной темнотой десятки окон.

Данные общего медицинского осмотра успокоили Джузеппе Корте. Обычно склонный предполагать худшее, в глубине души он уже приготовился к суровому вердикту врачей. Он бы ничуть не удивился, если бы врач объявил, что его переводят на этаж ниже. Температура все не спадала, хотя общее состояние было неплохим. Лечащий врач даже приободрил Корте. По его словам, зачатки болезни были налицо, но в легкой, очень легкой форме. Вполне возможно, что за две-три недели все полностью пройдет.

— Значит, я остаюсь на седьмом? — озабоченно спросил Джузеппе Корте.

— Разумеется! — отвечал врач, дружески похлопывая его по плечу. — А куда это вы собрались? Может, на четвертый? — рассмеялся он, словно предположил какую-то нелепость.

— Вот и ладно, — проговорил Корте. — А то, знаете, стоит только заболеть, как всякие ужасы начинают мерещиться...

Джузеппе Корте остался в той палате, куда его определили с самого начала. Постепенно он сошелся с другими пациентами — за те редкие дни, когда ему разрешали вставать. Он усердно выполнял предписания врачей и всячески старался поскорее выздороветь. Однако видимых изменений в его состоянии не происходило.

Дней через десять к Джузеппе Корте явился старший фельдшер отделения. Фельдшер обратился к нему с чисто дружеской просьбой. На следующий день в клинику должна поступить некая дама с двумя детьми. Две палаты, как раз рядом с его, были свободны. Не хватало третьей. Не согласится ли господин Корте переехать в другую палату, такую же удобную и просторную?

Джузеппе Корте, естественно, не возражал. Какая ему разница: эта палата или другая? А ну как на новом месте достанется сестра посимпатичней?

— Сердечно вам благодарен, — сказал фельдшер, слегка поклонившись. — От такого человека, как вы, я, признаться, иного и не ждал. Если вы не против, через час приступим к переезду. Учтите, нам придется спуститься этажом ниже, — прибавил он походя, будто речь шла о сущем пустяке. — К сожалению, на этом этаже свободных палат больше нет. Уверяю вас, это временно, — поспешно заметил фельдшер, увидя, что Корте резко сел на кровати и собрался было высказать свое несогласие. — Временно. Через пару дней, как только появится свободная палата, вы сможете вернуться наверх.

— Откровенно говоря, — улыбнулся Корте, намекая тем самым, что он отнюдь не ребенок, — весь этот переезд мне совсем не по душе.

— Что вы, это никак не связано с вашим здоровьем. Я, конечно, понимаю, о чем вы. Но дело не в этом. Просто нужно оказать любезность даме. Ей очень важно быть поближе к своим детям, вот и все. И не подумайте, — заключил он со смехом, — будто здесь кроется что-то еще!

— Как знать, — проронил Джузеппе Корте. — Только сдается мне, что это плохой знак.

Так Корте перебрался на шестой этаж. Он был уверен, что переезд никак не связан с болезнью или ее обострением. Однако сама мысль о том, что теперь между ним и обычным миром, миром здоровых людей, возникло вполне ощутимое препятствие, была ему неприятна. На седьмом этаже, в пункте прибытия, еще чувствовалась общность с другими людьми. Привычная жизнь, можно сказать, продолжалась. На шестом вы попадали в настоящую больницу. Поведение врачей, сестер, да и больных было уже другим. На шестом этаже открыто говорили, что здесь действительно содержатся больные, хотя и не очень тяжелые. Пообщавшись с соседями из разных палат, сиделками и врачами, Джузеппе Корте смекнул, что в этом отделении отношение к седьмому этажу явно несерьезное. Там, мол, не больные, а так — шибко мнительные. Строго говоря, только с шестого все и начинается.

Джузеппе Корте догадывался, что вновь подняться на седьмой, туда, где ему положено находиться в соответствии с предписаниями врачей, будет нелегко. Чтобы вернуться, он должен запустить непростой механизм, приложить для этого хотя бы небольшое усилие. Если же он так и будет сидеть сложа руки, никто и не подумает перевести его наверх, к "почти здоровеньким".

Про себя Джузеппе Корте решил не поступаться правами и не идти на поводу у обстоятельств. Соседям он все твердил, что попал сюда на денек-другой, что сам переехал на нижний этаж из уважения к даме и что, как только освободится палата, он снова поднимется на седьмой. Его слушали без особого интереса и как-то вяло поддакивали.

Поговорив с новым врачом, Джузеппе Корте уверился в своей правоте. Врач признавал, что Корте вполне мог находиться на седьмом этаже. У него была *аб-со-лют-но лег-кая* форма — для большего эффекта врач произнес свое заключение по слогам. Впрочем, по его мнению, на шестом этаже уход и лечение даже лучше.

— Знаете, давайте не будем, — прервал его больной. — Вы же сами сказали, что мое место на седьмом. Вот я и хочу обратно на седьмой.

— Никто и не возражает, — парировал врач. — Мое дело — дать вам совет. И я говорю не как врач, а как *иск-рен-ний друг*. Повторяю, у вас вполне легкая форма, не будет преувеличением сказать, что вы и вовсе не больны. От аналогичных форм ваш случай отличается разве что более широким охватом. Скажу проще: интенсивность болезни минимальная, но масштаб значительный. Процесс разрушения клеток, — Джузеппе Корте слышал это пугающее выражение впервые за время пребывания в клинике, — процесс разрушения клеток бесспорно находится в самой начальной стадии. Возможно, он еще и не начинался. Однако общая тенденция, повторяю, *тенденция* направлена на одновременное поражение обширных участков организма. Вот почему, на мой взгляд, вам следовало бы полечиться здесь, на шестом. У

нас вы пройдете курс интенсивной терапии, рекомендуемый в подобных случаях.

Спустя несколько дней Джузеппе Корте сообщили, что генеральный директор клиники, после долгих консультаций с коллегами, внес изменение в порядок распределения больных. Уровень каждого из них, если так можно выразиться, снижался наполовину. В зависимости от течения болезни лечащие врачи делили пациентов на две категории (так сказать, для внутреннего пользования). Теперь более низкая категория в обязательном порядке переводилась этажом ниже. Скажем, половина больных с шестого этажа, у которых выявлена прогрессирующая форма заболевания, должна была переехать на пятый, а больные потяжелее с седьмого этажа – на шестой. Нововведение сразу понравилось Джузеппе Корте. Теперь ему будет проще вернуться к себе на седьмой.

Стоило Корте поделиться своими планами с медсестрой, как его немедленно огорошили. Он тоже будет переведен, но не наверх, на седьмой этаж, а вниз – на пятый. По какой-то причине, о которой сестра толком ничего не знала, Корте зачислили в "тяжелую" категорию пациентов шестого этажа, и теперь он переходит на этаж ниже.

Оправившись от первоначального шока, Джузеппе Корте рассвирепел. Он кричал, что его водят за нос, что он не желает слышать ни о каком переводе на нижние этажи, что возвращается домой, что знает свои права и что администрация клиники не может так бесцеремонно игнорировать диагноз врачей.

Пока он вовсю надрывался, пришел врач, чтобы как-то его угомонить. Врач посоветовал Корте успокоиться, не то у него опять скакнет температура, и объяснил, что произошло недоразумение, по крайней мере отчасти. Он вновь подтвердил, что в принципе Джузеппе Корте должен содержаться на седьмом этаже, но тут же добавил, что имеет по данному случаю несколько иное мнение, хотя и сугубо личное. По сути дела, такая болезнь в известном смысле могла быть причислена к шестой категории сложности, учитывая обширную зону поражения. Он и сам не понимает, каким образом Корте попал в тяжелую категорию шестого этажа. Вероятно, секретарь, как раз этим утром звонивший из дирекции, чтобы уточнить клинический диагноз Джузеппе Корте, что-то напутал, записывая медицинские показания. Скорее всего, дирекция сознательно "занизила" его оценку состояния больного: он считается опытным, но излишне снисходительным врачом. В общем, доктор рекомендовал Корте прежде всего не волноваться и не возражать против перевода. Главное, нужно думать о лечении, а не о том, где лежать.

Относительно лечения, прибавил напоследок доктор, Джузеппе Корте не пожалеет. У лечащего врача с пятого этажа намного больше опыта. Таково негласное правило клиники: чем ниже вы опускаетесь, тем лучше становятся врачи. По крайней мере, так считает дирекция. Палаты везде такие же уютные, со всеми удобствами. Из окон прекрасный вид. Только начиная с третьего этажа и ниже, обзор заслоняют верхушки деревьев.

К вечеру у Джузеппе Корте обычно повышалась температура. Он все слушал и слушал пространные объяснения врача, чувствуя, как его одолевает усталость. Под конец у Корте не было ни сил, ни желания и дальше противиться несправедливому переводу. Без всяких возражений он позволил перевезти себя еще ниже.

Оказавшись на пятом этаже, Джузеппе Корте узнал — и это стало для него хотя бы слабым утешением, — что, по единодушному мнению врачей, сестер и больных, он был наименее тяжелым во всем отделении. На этом этаже ему, по большому счету, повезло. С другой стороны, Корте мучила мысль о том, что между ним и миром нормальных людей появилось теперь целых две преграды.

Приход весны ощущался во всем. Воздух становился теплее, но Джузеппе Корте уже не выглядывал в окно, как в первые дни. Правда, эти страхи были сущим вздором. Стоило Корте взглянуть на окна первого этажа, как чувства его приходили в смятение, а по телу пробегала непривычная дрожь. Большинство окон по-прежнему были закрыты и казались гораздо ближе.

Тем временем болезнь как будто стабилизировалась. Спустя три дня на правой ноге Джузеппе Корте появилась сыпь, что-то вроде экземы. Прошел день, другой, а сыпь никак не сходила.

— Подобные высыпания, — пояснил врач, — совершенно не связаны с основной болезнью. Такая реакция встречается даже у самых здоровых людей. Для эффективной профилактики необходимо пройти курс интенсивной гамма-терапии.

— А у вас она применяется? — спросил Джузеппе Корте.

— Еще бы, — с гордостью ответил врач. — Наша клиника располагает всем необходимым оборудованием. Есть тут, правда, одно затруднение...

— Какое еще затруднение? — спросил Корте, смутно предчувствуя недоброе.

— Ну, "затруднение", пожалуй, сильно сказано, — поправился врач. — Я имел в виду, что аппарат для гамма облучения находится только на четвертом этаже, а я бы вам сейчас не рекомендовал трижды в день проделывать такой маршрут.

— Как же быть?

— Желательно запастись терпением и до того, как раздражение не будет полностью устранено, переехать на четвертый этаж.

— Довольно! — в отчаянии вскрикнул Джузеппе Корте. — Хватит с меня переездов! На четвертый этаж я перееду только вперед ногами.

— Смотрите, конечно, сами, — заметил врач примирительным тоном, стараясь на него не давить, — но учтите, что как лечащий врач я запрещаю вам ходить вниз по три раза в день.

Самое неприятное заключалось в том, что сыпь не только не проходила, а стала медленно расползаться. Джузеппе Корте совсем потерял покой и все ворочался в постели. Он злился еще три дня, пока наконец не уступил. Корте сам попросил врача назначить ему курс облучения и перевести на нижний этаж.

На четвертом этаже Джузеппе Корте порадовался про себя тому, что здесь он явное исключение. Больные этого отделения были крайне тяжелыми, они практически не вставали. Он же позволял себе роскошь дойти из своей палаты до процедурной и обратно — под удивленные и одобрительные возгласы медсестер.

В разговоре с новым лечащим врачом Джузеппе Корте упирал на свое особенное положение. Подумать только: больной, законное место которого на седьмом, вдруг скатился на четвертый. Вот пройдет эта сыпь, и он тут же вернется наверх. Никаких новых отговорок он не допустит. Он по праву должен быть на седьмом этаже.

— Конечно на седьмом, на каком же еще! — ухмыльнулся врач, заканчивая осмотр. — Вечно эти больные напридумывают! Да я первый удостоверю, что дела ваши неплохи, так что радуйтесь. Из истории болезни видно, что резкого ухудшения нет. Но между всем этим и седьмым этажом, простите меня за прямоту, есть кое-какая разница! Повторяю, ваш случай еще не такой тяжелый, но болезнь есть болезнь!

— Тогда на какой этаж, — внезапно зарделся Джузеппе Корте, — на какой этаж вы бы меня поместили?

— Ну, знаете ли, так сразу и не скажешь. Пока что я провел только предварительный осмотр. Для окончательного решения понадобится не меньше недели.

— Хорошо-хорошо, — не унимался Корте, — но хотя бы примерно вы можете сказать?

Чтобы успокоить пациента, врач для вида призадумался, затем кивнул самому себе и отчетливо произнес:

— Ну, знаете ли, в порядке одолжения скажу, что вообще-то вас можно положить на шестой! Да-да, на шестой, — добавил он, как будто убеждал самого себя.

Доктор полагал, что таким образом угодит пациенту. Однако на лице у Джузеппе Корте отразилась растерянность. Больной осознал, что врачи с верхних этажей обманывали его. Вот и новый врач, вероятно более умелый и добросовестный, — и тот в глубине души считал, что место Джузеппе Корте не на седьмом, а скорее на пятом и к тому же в категории тяжелых больных! Корте испытал острое разочарование. В тот вечер у него резко поднялась температура.

Время, проведенное Джузеппе Корте на четвертом этаже, было самым спокойным с момента его поступления в клинику. Лечащий врач оказался человеком на редкость приятным, внимательным и отзывчивым. Он подолгу засиживался у Корте. Они говорили на самые разные темы. Корте охотно поддерживал беседу, рассказывая о своей адвокатской практике и вообще о светской жизни. Он старался убедить себя в том, что еще относится к здоровым людям, что, как и прежде, связан с деловым миром, что живо интересуется общественными событиями. Но из этого ничего не получалось. Рано или поздно беседа неизменно заходила о болезни.

Желание добиться хоть какого-то улучшения превратилось для Джузеппе Корте в наваждение. С помощью гамма-терапии распространение сыпи было остановлено, но снять ее так и не удалось. Каждый день Джузеппе Корте без конца говорил об этом с врачом. Он сохранял присутствие духа и даже пробовал шутить, но без особого успеха.

— Скажите, доктор, — спросил он однажды, — как там процесс распада моих клеток?

— Боже, что за словечки! — пожурил его врач. — И от кого это вы нахватались? Так дело не пойдет! А еще больной называется! Чтобы больше я от вас ничего подобного не слышал.

— Ладно-ладно, — перебил его Корте, — но вы все-таки не ответили.

— Сейчас отвечу, — вежливо сказал врач. — Процесс разрушения клеток, выражаясь этим языком, в вашем случае сведен к минимуму, слышите, к минимуму. Хотя я бы определил его как устойчивый.

— Устойчивый, в смысле хронический?

— Не следует приписывать мне того, что я не говорил. Я всего лишь сказал "устойчивый". Впрочем, так бывает в большинстве случаев. Даже легкие воспаления нуждаются иногда в интенсивном и длительном лечении.

— Скажите, доктор, когда же мне надеяться на улучшение?

— Когда? Прогнозы в подобных случаях делать сложно... Хотя знаете что... — произнес он после короткого раздумья. — Я вижу, у вас просто мания какая-то — поскорее выздороветь... Знаете, что бы я вам посоветовал... если бы не боялся вас рассердить?

— Что же, доктор, что?

— Поставлю вопрос со всей ясностью. Предположим, я сам заболел такой болезнью, пусть даже в легкой форме, и поступил в нашу клинику (лучше, кстати, и не найти). Так вот, с первого же дня, с первого, понимаете ли вы это, я бы не думая лег на один из нижних этажей. Я бы, пожалуй, лег на...

— Первый, — вставил с наигранной улыбкой Корте.

— Типун вам на язык! Первый! — с иронией в голосе ответил врач. — Скажете еще! А вот на третий или даже на второй — это точно. На нижних этажах лечение значительно лучше. Даю гарантию. Оборудование там более мощное и современное, да и персонал поопытнее. Вы знаете, кто у нас душа всей клиники?

— Уж не профессор ли Дати?

— Он самый. Именно профессору Дати принадлежит авторство нашей методики лечения. Именно он создал проект оснащения клиники. Профессор Дати — наш общий учитель. А практикует он, так сказать, между первым и вторым этажами. Оттуда он излучает свою руководящую энергию. Но поверьте на слово, влияние профессора не распространяется дальше третьего этажа. Чем выше, тем больше его указания выхолащиваются. Они теряют свою значимость и предстают в ложном свете. Сердце клиники у нас внизу. Так что, хотите вылечиться — стремитесь вниз.

— Короче говоря, — голос Джузеппе Корте дрогнул, — вы советуете мне...

— Прибавьте сюда еще и то, — врач был все так же невозмутим, — что в вашем случае мы имеем дело с раздражением кожи. Мелочь, согласен, но до чего надоедливая. Если сыпь еще какое-то время продержится, то недолго и вовсе приуныть. А вы не хуже меня понимаете, как важно для выздоровления присутствие духа. Гамма-терапия сделала только полдела. Вы спросите, почему? Возможно, это случайность. Возможно, облучение недостаточно мощное. Как бы то ни было, на третьем этаже аппаратура куда мощнее. Следовательно, вероятность устранения экземы намного выше. А что это означает? Это означает, что как только организм пошел на поправку, — самое трудное уже позади. Если вы на подъеме, обратной дороги нет. Когда почувствуете улучшение, без помех подниметесь к нам и даже выше — на пятый, шестой, а то и на седьмой... Все будет зависеть от ваших "успехов".

— Вы действительно думаете, что это ускорит лечение?

— Вне всякого сомнения. Я же сказал, как бы я поступил на вашем месте.

Такого рода беседы врач проводил с Джузеппе Корте ежедневно. В конце концов больной совсем измучился от экземы. Вопреки инстинк-

тивному нежеланию спускаться, он решил последовать совету врача и переехал этажом ниже.

На третьем этаже Джузеппе Корте сразу отметил необычное веселье среди врачей и обслуживающего персонала. Странно, ведь здесь лежали больные, внушавшие серьезное опасение. Изо дня в день веселье лишь нарастало. Завязав знакомство с медсестрой, Джузеппе Корте не выдержал и спросил, чему это все так радуются.

— Разве вы не знаете? — отвечала сестра. — Через три дня мы уходим в отпуск.

— Как это — в отпуск?

— Очень просто: третий этаж закрывается на две недели, и весь персонал идет в отпуск. У нас все этажи отдыхают по очереди.

— А как же больные?

— Ну, поскольку больных не так много, два этажа объединяются в один.

— Значит, вы объедините больных третьего и четвертого этажей?

— Нет-нет, — поправила медсестра. — Третьего и второго. Больные с третьего этажа спустятся вниз.

— На второй этаж? — Джузеппе Корте смертельно побледнел. — Мне придется перейти на второй этаж?

— Ну да. А что тут такого? Через две недели мы вернемся из отпуска, и вы переедете в эту палату. И бояться тут, по-моему, нечего.

Однако Джузеппе Корте не на шутку испугался. Какая-то загадочная интуиция подсказывала ему совсем другое. Но он не мог уговорить персонал не брать отпуск. К тому же Корте был уверен, что новый, более интенсивный курс облучения пойдет ему на пользу, ведь сыпь почти сошла. Он не решился выдвигать формальные возражения против очередного перевода. Хотя настоял, невзирая на колкости медсестер, чтобы к двери его новой палаты прикрепили табличку: "Джузеппе Корте. Третий этаж. Временно". Ничего подобного за всю историю клиники никогда не было. Но врачи не стали возражать: при таком вспыльчивом характере, как у Корте, любой запрет мог вызвать у него сильное потрясение.

Надо было переждать две недели, ни больше ни меньше. Джузеппе Корте стал считать дни с жадным упрямством. Он неподвижно лежал в постели и часами рассматривал мебель. На втором этаже мебель была уже не новой и не радовала глаз, как в палатах верхних отделений. Здесь она была массивнее, солиднее и строже. Время от времени Джузеппе Корте напрягал слух: с нижнего этажа, этажа смертников, отделения "обреченных", до него как будто доносились глухие предсмертные стоны.

Все это, конечно, не могло не угнетать Корте. Он лишился душевного покоя, а болезни это только на руку. У него постоянно держалась высокая температура, росла общая слабость. Лето было в полном разгаре. Окна почти все время держали открытыми. Но из них не видно было ни городских крыш, ни самих домов. Только сплошная зеленая стена деревьев, окружавших лечебницу.

Прошла неделя. Около двух часов дня в палату неожиданно вошли фельдшер и трое санитаров. Они толкали перед собой каталку.

— Итак, мы уже готовы к переезду? — спросил фельдшер добродушно шутливым голосом.

— Какому переезду? — с трудом произнес Джузеппе Корте. — Опять вы со своими шуточками. Третий этаж еще целую неделю в отпуске.

— А при чем здесь третий этаж? — возразил фельдшер непонимающим тоном. — У меня предписание отвезти вас на первый. Вот смотрите, — и он протянул бланк о переводе на нижний этаж. Бланк был подписан самим профессором Дати.

Ужас и гнев, переполнявшие Джузеппе Корте, вырвались наружу. Весь этаж огласился яростными, нестихающими криками.

— Ради бога, тихо, тихо, — взмолились санитары. — В отделении тяжелые больные.

Но не тут-то было.

На крики примчался заведующий, воспитанный и обходительный человек. Узнав, о чем речь, он взглянул на бланк и выслушал Корте. Затем сердито повернулся к фельдшеру и сказал, что произошла какая-то ошибка, что он не давал подобных распоряжений, что с некоторых пор в отделении царит страшная неразбериха и что от него вечно все скрывают... Отчитав как следует фельдшера, он вежливо заговорил с больным и принес ему свои глубокие извинения.

— Все дело в том, — сказал врач, — что буквально час назад профессор Дати уехал в краткосрочную командировку и вернется не раньше чем через два дня. Я крайне огорчен, но его распоряжение отменить нельзя. Поверьте, он сам об этом пожалеет... Надо же! Ума не приложу, как такое могло случиться?

Джузеппе Корте сотрясала непрерывная дрожь. На него жалко было смотреть. Самообладание покинуло Корте окончательно. Страх охватил его, как ребенка. Из палаты Корте еще долго разносилось отчаянное рыдание.

И вот, по какому-то вопиющему недоразумению, Джузеппе Корте прибыл на конечную остановку — в отделение смертников. Это он-то, чье состояние, по мнению самых придирчивых врачей, позволяло ему с полным правом лежать на шестом, если не на седьмом этаже! Положение было настолько нелепо, что Джузеппе Корте так и подмывало рассмеяться в голос.

Он лежал вытянувшись на кровати. По городу медленно плыл жаркий летний полдень. Корте смотрел в окно на зеленые деревья, и ему казалось, будто он попал в какой-то призрачный мир. Мир состоял из диковинных стен, выложенных стерильной плиткой, холодных мертвецких покоев и белых человеческих фигур, пустых и безучастных. Ему вдруг почудилось, что деревья за окном тоже ненастоящие. Скоро он полностью в этом убедился, заметив, что листья на деревьях совсем не шевелятся.

Эта догадка настолько взволновала Джузеппе Корте, что он вызвал сиделку и попросил дать ему очки для дали, которыми в постели обычно не пользовался. Только тогда он немного успокоился. В очках он все же разглядел, что деревья настоящие, а листва хоть и легонько, но колышется на ветру.

Сиделка вышла. С четверть часа в палате стояла полная тишина. Шесть этажей, шесть ужасных бастионов давили по чьей-то оплошности на Джузеппе Корте всей своей неумолимой тяжестью. Сколько же

лет, именно лет уйдет у него на то, чтобы выкарабкаться из этой пропасти?

Почему это в палате стало так темно? Ведь сейчас еще день. Из последних сил Джузеппе Корте, скованный, точно параличом, странным оцепенением, взглянул на часы, стоявшие на тумбочке возле кровати. Половина четвертого. Отведя глаза, он увидел, как жалюзи, повинуясь таинственной воле, медленно опускаются, преграждая путь свету.

Йозеф Рот

Склеп капуцинов

Роман

Перевод с немецкого С. Шлапоберской

I

Мы зовемся Тротта. Род наш происходит из Сиполья в Словении. Я говорю: род, потому что мы не одна семья. Сиполья больше не существует, и уже давно. Сегодня оно вместе со множеством других окружающих его общин входит в более крупный населенный пункт. Как известно, таково веление времени. Люди не могут жить поодиночке. Они объединяются в бессмысленные группы, и деревни тоже не могут существовать поодиночке. Так что возникают бессмысленные сообщества. Крестьян влечет в город, а деревни как раз и хотят стать городами.

Я знал Сиполье, когда еще был ребенком. Мой отец однажды взял меня туда с собой — семнадцатого августа, накануне того дня, когда во всех, даже самых маленьких местечках монархии праздновался день рождения императора Франца Иосифа I. В нынешней Австрии и в бывших коронных землях найдется совсем немного людей, у которых наша фамилия вызовет какое-либо воспоминание. Однако в давно забытых

© С. Шлапоберская. Перевод, 2002
Сборник произведений Йозефа Рота, включающий данный роман, выйдет в издательстве "Фолио".

анналах старой австро-венгерской армии эта фамилия значится, и, должен признаться, я этим горжусь — именно потому, что эти анналы забыты. Да, я не дитя нынешнего времени, мне даже трудно удержаться и не назвать себя прямо его врагом. Не то чтобы я это время не понимал, как я часто сам уверяю окружающих. Это всего лишь безобидная увертка. Просто ради собственного удобства я не хотел бы становиться агрессивным или злобным и потому говорю, что не понимаю того, о чем мне следовало бы сказать, что я это ненавижу или презираю. У меня тонкий слух, но я притворяюсь тугоухим. Я считаю более порядочным симулировать физический недостаток, нежели признать, что я услышал какие-то грубости.

Мой двоюродный дед был тем самым простым лейтенантом от инфантерии, который в битве при Сольферино спас жизнь императору Францу Иосифу. Лейтенанта возвели в дворянство. Долгое время в армии и в хрестоматиях имп.-кор. монархии его называли не иначе как "Герой Сольферино" до тех пор, пока, согласно его собственному желанию, на него не легла тень забвения. Он вышел в отставку. Похоронен в Гицинге[1]. На его надгробной плите выбиты сдержанные и гордые слова: "Здесь покоится герой Сольферино".

Милость императора простерлась дальше — на его сына, который стал окружным начальником, и на внука, который в звании лейтенанта горно-стрелковых частей пал осенью 1914 года в сражении под Красне-Буском. Я никогда его не видел, как вообще не видел никого из возведенной в дворянство ветви нашего рода. Тротты из этой ветви стали преданными слугами Франца Иосифа. Мой отец, однако, был мятежником.

Он был мятежником и патриотом, мой отец; это особый вид, который существовал только в прежней Австро-Венгрии. Он хотел реформировать империю и спасти Габсбургов. Слишком уж хорошо понимал он суть австрийской монархии. А потому навлек на себя подозрения и был вынужден бежать. Еще в молодые годы он уехал в Америку. По профессии он был химиком. Люди его специальности требовались тогда на невероятно быстро развивавшихся фабриках по производству красок в Нью-Йорке и в Чикаго. Пока он был беден, он, пожалуй, тосковал только по водке. Но когда он наконец разбогател, его взяла тоска по Австрии. Он вернулся на родину. Поселился в Вене. У него были деньги, а людей, у которых водятся деньги, австрийская полиция любила. Мой отец не только остался вне подозрений, он еще и пытался основать новую словенскую партию и купил в Аграме две газеты.

Он приобрел влиятельных друзей в ближайшем окружении престолонаследника, эрцгерцога Франца Фердинанда. Мой отец мечтал о славянском королевстве под владычеством Габсбургов. Мечтал о монархии австрийцев, венгров и славян. И да будет дозволено мне, его сыну, на этом месте своего повествования сказать: мне представляется, что мой отец, проживи он подольше, вероятно, смог бы изменить ход истории. Однако он умер приблизительно за полтора года до убийства Франца Фердинанда. Я его единственный сын. В завещании он назначил меня наследником своих идей. Не зря же он нарек меня при крещении именем Франц Фердинанд. Но тогда я был молод и безрассуден, чтобы не сказать легкомыслен. Ветреным я был во всяком случае. Жил я тогда,

1. Район Вены. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

как говорится, сегодняшним днем. Нет! Это неверно: я жил сегодняшней ночью, днем я спал.

II

Но однажды утром — это было в апреле 1913 года — мне, еще заспанному, только за два часа до того вернувшемуся домой, доложили о визите кузена, некоего господина Тротты.

В шлафроке и шлепанцах я вышел в переднюю. Окна были раскрыты настежь. В нашем саду усердно выводили свои мелодии утренние дрозды. Раннее солнце приветливо озаряло комнату. Наша горничная, которую я до тех пор никогда еще не видел в такую рань, показалась мне в синем фартуке какой-то чужой — ведь я представлял ее себе только как юное существо, состоявшее из чего-то белокурого, черного и белого и чем-то похожее на флаг. Я впервые увидел ее в темно-синем одеянии, вроде тех, что носили монтеры и газовщики, и с пурпурно-красной перьевой метелкой в руках, и одного ее вида было бы довольно, чтобы внушить мне совсем новое, совсем непривычное представление о жизни. Впервые за много лет я видел утро в своем доме, и я заметил, что оно прекрасно. Горничная мне понравилась. Раскрытые окна мне понравились. Солнце мне понравилось. Пенье дроздов мне понравилось. Оно было золотым, как утреннее солнце. Даже девушка в синем была золотой, как солнце. Ослепленный сплошным золотом, в первый миг я даже не заметил ожидавшего меня гостя. Я увидел его лишь через несколько секунд — или то были минуты? Он сидел передо мной — худой, черный, молчаливый — на единственном стуле, что стоял у нас в передней, и не шелохнулся, когда я вошел. И хотя его волосы и усы были такими черными, а его кожа такой смуглой, посреди утреннего золота в передней он тоже казался частицей солнца, во всяком случае частицей далекого южного солнца. С первого взгляда он напомнил мне моего покойного отца. Он был таким же худым и черным, таким же смуглым, мосластым и мрачным, был истинным сыном солнца, а не таким, как мы, белокурые — всего лишь его пасынки. Я говорю по-словенски, отец научил меня этому языку. Я поздоровался с моим кузеном Троттой по-словенски. Казалось, он этому нисколько не удивился. Это было естественно. Он не встал, а остался сидеть. Протянул мне руку. Улыбнулся. Под его иссиня-черными усами сверкнули белизной крупные крепкие зубы. Он сразу же обратился ко мне на "ты". Я почувствовал: это брат, а не кузен! Мой адрес он получил от нотариуса.

— Твой отец, — начал он, — завещал мне две тысячи гульденов, и я приехал сюда, чтобы их получить. К тебе я пришел, чтобы тебя поблагодарить. Завтра я хочу вернуться домой. У меня есть еще сестра, я хочу теперь выдать ее замуж. С приданым в пять сотен гульденов она получит самого богатого крестьянина в Сиполье.

— А остальное? — спросил я.

— Остальное я возьму себе, — весело сказал он. Он улыбнулся, и мне показалось, будто солнце еще ярче озарило нашу переднюю.

— Что будешь делать с этими деньгами? — спросил я.

— Расширю свое дело, — ответил он. И словно только сейчас подобало назвать мне свое имя, гость поднялся со стула: он встал с непринужденной уверенностью, а имя свое произнес с трогательной торжественностью. — Меня зовут Йозеф Бранко, — сказал он.

И только теперь я спохватился, что стою перед ним в халате и шлепанцах. Я попросил его обождать и пошел к себе в комнату, чтобы одеться.

III

Было около семи часов утра, когда мы вошли в кафе "Магерль". Явились туда и первые пекарские мальчишки-разносчики, снежно-белые и пахнущие хрустящими царскими булочками, витушками с маком и солеными палочками. Свежеподжаренный кофе, девственный и пряный, благоухал, как само утро. Мой кузен Йозеф Бранко сидел со мной рядом, черный и южный, веселый, здоровый и бодрый, а я стыдился своей бледной белокурости и невыспанной усталости. К тому же я был немного растерян. Что мне ему сказать? Он только усилил мою растерянность, когда заявил:

— Утром я кофе не пью. Я хотел бы супу.

Конечно! В Сиполье крестьяне по утрам ели картофельный суп.

Так что я заказал картофельный суп. Его пришлось довольно долго ждать, а я стеснялся тем временем макать рогалик в кофе. В конце концов принесли суп, дымящуюся тарелку. Казалось, мой кузен Йозеф Бранко вовсе не заметил лежавшей на столе ложки. Своими смуглыми, поросшими черным волосом руками он поднес эту дымящуюся тарелку ко рту. Пока он глотал суп, казалось, что обо мне он совсем забыл. Весь во власти этой дымящейся тарелки, которую он высоко поднял своими крепкими тонкими пальцами, он имел вид человека, для которого аппетит — благородное побуждение и который не прикасается к ложке лишь потому, что считает более изысканным есть прямо из тарелки. Да, пока я смотрел, как он поглощает суп, мне показалось почти непонятным, зачем люди вообще изобрели ложки, эти смешные инструменты. Мой кузен отставил тарелку, я увидел, что она совершенно пустая, блестящая и чистая, словно ее только что вымыли и вытерли.

— Сегодня после обеда, — сказал он, — я получу деньги.

Что у него за дело, спросил я, которое он собирается расширить.

— Ах, — сказал он, — дело-то совсем крошечное, однако оно способно кормить человека целую зиму.

И тут я узнал, что мой кузен Йозеф Бранко весну, лето и осень был крестьянином, который всецело предан своему полю, а зимой он жарил каштаны. У него имелись овчинный тулуп, мул, небольшая тележка, котел, пять мешков каштанов. С этим хозяйством он ежегодно с начала ноября разъезжал по некоторым коронным землям монархии. Если же какое-то место особенно ему нравилось, то он оставался там на всю зиму, пока не прилетали аисты. Тогда он обматывал мула пустыми мешками и направлялся к ближайшей железнодорожной станции. Он погружал в поезд мула, уезжал домой и снова становился крестьянином.

Я спросил его, каким образом можно расширить такое маленькое дело, и он растолковал мне, что тут еще много чего можно предпринять. Например, кроме каштанов продавать еще печеные яблоки и жареную картошку. К тому же мул у него за это время состарился и ослабел, и можно бы купить нового. Двести крон на это он так и так уже отложил.

Одет он был в блестящий атласный сюртук, цветастый плюшевый жилет с пестрыми стеклянными пуговицами, а на шее у него висела тяжелая золотая часовая цепочка изящного плетения. Я же, воспитанный

отцом в любви к славянам нашей империи и вследствие того склонный принимать всякую фольклорную бутафорию за некий символ, сразу же влюбился в эту цепочку. Я хотел ее получить. И спросил кузена, сколько она стоит.

— Не знаю, — сказал он. — У меня она от отца, а ему она досталась от его отца — такие вещи не продают. Но поскольку ты мой кузен, я тебе с удовольствием ее продам.

— Итак, сколько? — спросил я. А про себя подумал, памятуя теории моего отца, что словенский крестьянин слишком благороден для того, чтобы вообще беспокоиться о деньгах и денежных ценностях. Кузен Йозеф Бранко долго думал, потом сказал:

— Двадцать три кроны.

Каким образом ему пришло в голову именно это число, я спросить не осмелился и дал ему двадцать пять крон. Он тщательно пересчитал деньги, не делая никаких поползновений дать мне две кроны сдачи, достал большой красный носовой платок в синюю клетку и завернул в него деньги. Только потом, после того как он дважды завязал платок узлом, он снял цепочку, вынул из жилетного кармана часы и все положил на стол — часы и цепочку. Это были старомодные тяжелые серебряные часы с ключиком для завода; кузен помедлил, прежде чем снять их с цепочки, какое-то время нежно, почти с любовью смотрел на них и в конце концов произнес:

— Поскольку ты все же мой кузен! Ежели ты дашь мне еще три кроны, я продам тебе и часы!

Я вручил ему монету в пять крон. И теперь он тоже не дал мне сдачи. Вытащил опять носовой платок, медленно развязал двойной узел, приложил новую монету к остальным, сунул все в карман брюк и чистосердечно посмотрел мне в глаза.

— Мне и жилетка твоя нравится! — сказал я через несколько секунд. — Я хотел бы и ее тоже у тебя купить.

— Поскольку ты мой кузен, — ответил он, — я продам тебе и жилетку. — И, ни секунды не медля, он снял сюртук, потом жилетку и передал ее мне через стол. — Она из хорошей материи, — сказал Йозеф Бранко, — и пуговицы красивые. А поскольку ее берешь ты, она стоит всего две кроны пятьдесят.

Я отсчитал ему три кроны и заметил в его глазах явное разочарование тем, что ему снова не досталась монета в пять крон. Он казался недовольным, больше не улыбался, однако и эти деньги спрятал так же тщательно и неторопливо, как прежние.

Теперь я владел самым важным, что, на мой взгляд, должно быть у истинного словенца: старинной цепочкой, пестрой жилеткой, тяжеленными часами без хода, с ключиком. Больше я не ждал ни секунды. Я нацепил на себя сразу все три вещи, расплатился и попросил подозвать фиакр. Кузена я отвез в отель — это был "Зеленый охотничий рог". Я попросил его вечером дождаться меня, я хотел за ним заехать. Я намеревался представить его моим друзьям.

IV

Для виду, чтобы избежать лишних расспросов и успокоить мать, я записался на юридический факультет. Учиться я и не думал. Передо мной разворачивалась большая жизнь — пестрый луг, едва ограниченный

очень и очень дальней линией горизонта. Я жил среди веселой, даже распущенной компании молодых аристократов, того слоя, который наряду с художниками был мне в старой империи милее всех прочих. Я разделял с ними скептическое легкомыслие, меланхоличную нескромность, греховную беспечность, высокомерную склонность к уединению — все признаки упадка, приближения коего мы тогда еще не видели. Над бокалами, из которых мы так задорно пили, уже скрещивала свои костлявые руки невидимая смерть. Мы весело бранились, бездумно кощунствовали. Одинокий и обремененный годами, далекий и словно застывший и тем не менее близкий всем нам и вездесущий в этой большой и пестрой империи, жил и царствовал старый император Франц Иосиф. Возможно, в потаенных глубинах наших душ дремали те виды уверенности, которые зовутся предчувствиями, — прежде всего, уверенность в том, что старый император умирает тем вернее, чем дольше он живет, а с ним вместе умирает монархия, не столько наша отчизна, сколько наше царство, нечто более значительное, обширное, возвышенное, нежели только отчизна. Из наших тяжелых сердец вылетали легкие остроты, из нашего чувства, что мы обречены смерти, — безумная радость от каждого подтверждения жизни: от балов, от молодого вина, от девушек, от еды, от увеселительных прогулок, от безумств любого рода, от бессмысленных эскапад, самоубийственной иронии, необузданной критики, от Пратера, от колеса обозрения, от театра Касперле, от маскарадов, балета, от легкомысленных любовных игр в уединенных ложах Придворной оперы, от маневров, которые мы прогуливали, и даже от тех болезней, которыми нас иногда награждала любовь.

Нетрудно понять, что неожиданный приезд моего кузена оказался мне весьма кстати. Ни у одного из моих легкомысленных друзей не было такого кузена, такого жилета, такой часовой цепочки, такой близкой связи с исконной почвой знаменитого словенского Сиполья, родины тогда еще не забытого, но уже легендарного героя Сольферино.

Вечером я заехал за кузеном. Его блестящий атласный сюртук произвел на моих друзей огромное впечатление. Он невнятно бормотал по-немецки, весело хохотал, показывая свои крепкие белые зубы, разрешал за себя платить, обещал купить в Словении новые жилетки и цепочки для моих друзей и охотно брал аванс. Потому что все завидовали приобретенным мною жилетке, цепочке, часам. Все они с удовольствием откупили бы у меня целиком моего кузена, мою родню и мое Сиполье.

Кузен обещал осенью приехать опять. Все мы провожали его на вокзал. Я купил ему билет во второй класс. Он взял этот билет, пошел с ним в кассу, и ему удалось обменять его на билет в вагон третьего класса. Оттуда он еще махал нам на прощанье. А у нас у всех разрывалось сердце, когда поезд стал удаляться от вокзала, ибо печаль мы любили столь же легкомысленно, сколь и удовольствия.

V

Еще несколько дней мы в нашей веселой компании обсуждали моего кузена Йозефа Бранко. Потом мы о нем забыли, то есть мы как бы на время отодвинули его в сторону. Поскольку обсуждения и оценок настоятельно требовали злободневные безумства нашей жизни.

Только к концу лета, где-то двадцатого августа я получил от Йозефа Бранко письмо на словенском языке, которое я в тот же вечер перевел

своим друзьям. Он описывал празднование в Сиполье дня рождения императора, торжества в Союзе ветеранов. Сам он был еще слишком молодым резервистом, чтобы входить в Союз ветеранов. Тем не менее он участвовал в их марше на лесную поляну, где они каждый год восемнадцатого августа устраивали народное гулянье, участвовал потому, что никто из этих стариков был уже не в силах тащить турецкий барабан. В Сиполье имелось пять горнистов и три кларнетиста. Но что это за военный оркестр без турецкого барабана?

— Странные они, эти словенцы! — сказал юный Фестетич. — Венгры лишают их простейших национальных прав, они сопротивляются, от случая к случаю даже бунтуют или по меньшей мере делают вид, что бунтуют, однако празднуют день рождения короля.

— В этой монархии, — возразил ему граф Хойницкий, он был среди нас самым старшим, — ничего странного не бывает. Не будь у нас таких болванов в правительстве (он любил сильные выражения), то и с внешней стороны у нас наверняка не было бы ничего странного. Я хочу этим сказать: так называемые странности для Австро-Венгрии вещи совершенно естественные. В то же время я хочу этим сказать, что только этой безумной Европе с ее национальными государствами и ее национализмами естественное может представляться странным. Конечно, это словенцы, польские и русинские жители Галиции, евреи в кафтанах из Борислава, барышники из Бачки, мусульмане из Сараева, торговцы жареными каштанами из Мостара, поющие "Боже, храни". Однако немецкие студенты из Брно и Эгера, зубные врачи, аптекари, парикмахерские подмастерья, фотографы-художники из Линца, Граца, Книттельфельда, кретины из альпийских долин — все они поют "Стражу на Рейне". Австрия погибнет от этой нибелунговой верности, господа! Сущность Австрии — это не центр, а периферия. В Альпах Австрии не найдешь, там есть серны, и эдельвейс, и горечавка, но ни малейшего представления о двуглавом орле. Австрийская субстанция питается и постоянно пополняется за счет коронных земель.

Барон Ковач, молодой офицер-аристократ венгерской национальности, вставил в глаз монокль, как делал обычно, когда полагал, что должен сказать нечто особенно важное. Он говорил, как все венгры, на жестком и певучем немецком языке, не столько по необходимости, сколько из кокетства и протеста. При этом его осунувшееся лицо, напоминавшее плохо взошедший и недопеченный хлеб, сильно и неестественно краснело.

— Венгры больше всех страдают в этой двойной монархии, — сказал он.

Это был его символ веры, слова в этой фразе стояли недвижно. Всем нам это надоело, а Хойницкого, самого темпераментного, хотя и самого старшего из нас, даже злило. Неизменный ответ Хойницкого не заставил себя ждать. Он повторил, как обычно:

— Венгры, дорогой Ковач, угнетают ни более и ни менее как следующие народы: словаков, румын, хорватов, сербов, русинов, босняков, швабов из Бачки и саксонцев из Зибенбюргера. — Он считал народы по пальцам своих красивых, изящных и сильных рук.

Ковач положил монокль на стол. Казалось, слова Хойницкого до него вообще не дошли. "Я знаю, что знаю", — думал он, как всегда. Иногда он произносил это вслух.

Вообще он был безобидный, временами даже славный молодой человек, но я его терпеть не мог. И все же я честно старался выработать в себе дружеские чувства к нему. Я прямо-таки страдал от того, что терпеть его не могу, и для этого имелась основательная причина: я был влюблен в сестру Ковача, ее звали Элизабет, и было ей девятнадцать лет.

Долгое время я тщетно боролся с этой любовью, не столько потому, что считал ее для себя опасной, сколько потому, что боялся тихих насмешек моих приятелей-скептиков. Тогда, незадолго до большой войны, в моде было насмешливое высокомерие, тщеславное причисление себя к так называемому "декадансу", к наполовину наигранной и утрированной усталости и беспричинной скуке. В этой атмосфере провел я свои лучшие годы. В этой атмосфере чувства с трудом находили себе место, а страсти и вовсе были под запретом. У моих друзей были мелкие, незначительные "liaisons", женщины, которых сбрасывали с себя, а иногда и одалживали, как дождевик; женщины, которых забывали, как зонтики, или намеренно оставляли, как ненужные пакеты, на которые не оглядываются из страха, что их могут принести вдогонку. В кругу, в котором я вращался, любовь считалась заблуждением, помолвка чем-то вроде апоплексии, а женитьба — хронической болезнью. Мы были молоды. О женитьбе хотя и думали как о некоем неизбежном шаге в жизни, но примерно так, как думают о склерозе, который неминуемо наступит, вероятно, лет через двадцать или тридцать. Я мог найти немало случаев, чтобы остаться с этой девушкой наедине, хотя в то время еще не считалось нормальным, чтобы молодые дамы оставались наедине с молодыми людьми более чем на час без приличного, даже легитимного повода. Но я воспользовался лишь немногими из этих случаев. Использовать все я стеснялся, как я уже говорил, стеснялся перед своими друзьями. Да, я тщательно следил за тем, чтобы никто не заметил моего чувства, и нередко опасался, что тот или иной человек из моего круга уже об этом проведал, что я, возможно, уже чем-то себя выдал. Если иной раз я неожиданно присоединялся к компании своих друзей, то мне казалось, будто они внезапно умолкли единственно потому, что до моего появления говорили о моей любви к Элизабет Ковач, и я мрачнел, словно меня застигли на месте преступления, словно у меня обнаружили потаенную постыдную слабость. Зато в те немногие часы, когда я бывал наедине с Элизабет, мне казалось, я чувствую, насколько бессмысленны и даже кощунственны насмешки моих друзей, их скептицизм и высокомерный "декаданс". Но одновременно я испытывал что-то вроде угрызений совести, словно мог поставить себе в вину предательство священных принципов своих друзей. Так что я вел в известном смысле двойную жизнь и чувствовал себя при этом совсем неуютно.

Элизабет в то время была красивой, доброй и нежной и несомненно питала расположение ко мне. Меня глубоко трогало самое малое, самое пустячное ее действие или жест, ибо я считал, что каждое движение ее руки, каждый кивок головы, каждое покачивание ножкой, разглаживание юбки, чуть приподнятая вуаль, глоток из кофейной чашки, неожиданный цветок на платье, снятие перчатки обнаруживали четкое и непосредственное отношение ко мне — и только ко мне. Да, по многим признакам, которые в то время можно было причислить к разряду так называемых "смелых авансов", я считал себя вправе заключить, что нежность, с какою она на меня смотрит, по видимости невольное и совершенно случайное прикосновение к моей руке или к плечу были обязыва-

ющими обещаниями, обещаниями жарких и нежных ласк, которые мне еще предстояли, если бы я только пожелал, кануны празднеств, в неминуемом наступлении коих можно было уже не сомневаться. У нее был низкий и мягкий голос. (Я терпеть не могу высоких и звонких женских голосов.) Ее разговор напоминал мне что-то вроде приглушенного, сдержанного, целомудренного и все же пьянящего воркования, бормотанья подземных источников, далекого грохота далеких поездов, который слышишь иногда бессонными ночами, и каждое из ее самых обычных слов благодаря грудному звуку, с каким оно произносилось, приобретало для меня значительную и насыщенную силу отдаленного и хотя не вполне внятного, однако отчетливо ощутимого в предчувствиях, исчезнувшего, но, возможно, смутно услышанного во сне праязыка.

Если я был не у нее, то возвращался в компанию своих друзей и, стало быть, подвергался искушению в первый же миг рассказать им про Элизабет, даже выразить свое восхищение ею. Однако при виде их усталых, вялых и насмешливых лиц, их явной и даже навязчивой страсти к насмешкам — я не столько опасался стать их жертвой, сколько, напротив, стремился сделаться их общепризнанным участником, — я сразу впадал в глупую и безмолвную стыдливость, чтобы всего через несколько минут предаться тому высокомерному "декадансу", одинокими и гордыми сынами коего были мы все.

В таком дурацком раздвоении я пребывал, поистине не зная, к кому мне бежать. Временами я думал о том, чтобы сделать своей поверенной родную мать. Но тогда, когда я был еще так молод, и потому, что я был так молод, я считал ее не способной понять мои заботы. Отношения, какие я поддерживал с матерью, тоже были отнюдь не простыми и естественными — они были жалкой попыткой подражать отношению тех самых молодых людей к их родительницам. Для них эти женщины были не просто матерями, а чем-то вроде гнезд, которым они были обязаны своей жизнью и созреванием, или в лучшем случае чем-то вроде родного ландшафта, среди которого ты по случайности родился и которому не уделял уже больше ничего, кроме воспоминаний и толики растроганности. Я же всю жизнь испытывал почти священный трепет перед своей матерью, однако это чувство в себе подавлял. Дома я только обедал. Мы молча сидели друг против друга за большим столом в просторной столовой; место моего покойного отца во главе стола оставалось пустым, но навеки ушедшему по указанию матушки ежедневно ставилась пустая тарелка и клался прибор. Можно сказать, что матушка сидела справа от покойного, а я слева. Она пила золотистый мускат, а я понемногу опустошал полбутылки "фёслауэра". Мне оно было не по вкусу. Я предпочел бы бургундское. Но так постановила матушка. Прислуживал за столом дрожащими старческими руками в белоснежных перчатках наш старый слуга Жак. Его густые волосы были почти того же цвета. Матушка ела мало, быстро, но с достоинством. Стоило мне поднять на нее глаза, как она опускала свой взгляд в тарелку, а ведь за секунду до того я чувствовал, что он устремлен на меня. Ах, тогда я догадывался, что ей надо задать мне уйму вопросов и что она подавляет их лишь для того, чтобы избежать стыда, услышав ложь из уст родного сына, своего единственного дитяти. Она тщательно складывала салфетку. То были единственные секунды, когда я мог беспрепятственно рассмотреть ее широкое, немного одутловатое лицо, ее отвислые, дряблые щеки и тяжелые морщинистые веки. Я смотрел на ее колени, пока она складывала салфетку, и с благоговением, но одно-

временно с упреком думал о том, что там находится исток моей жизни, теплое лоно — самое материнское, что есть в моей матери, и я удивлялся тому, что способен сидеть напротив нее так молчаливо, так упрямо, так черство, что она, моя мать, тоже не находит для меня доброго слова и явно так же стесняется своего взрослого, слишком быстро повзрослевшего сына, как я стеснялся ее, этой постаревшей, слишком быстро постаревшей женщины, той, что подарила мне жизнь. С каким удовольствием я поговорил бы с ней о своей раздвоенности, о своей двойной жизни, о Элизабет, о своих друзьях! Но она явно не желала слушать ничего такого, о чем догадывалась, опасаясь, как бы ей не пришлось вслух порицать то, что она втайне презирала. Вероятно, она даже смирилась с вечным жестоким законом природы, который заставляет сыновей быстро забывать о своем происхождении, смотреть на своих матерей как на неких пожилых дам; не вспоминать больше о груди, от которой они взяли свою первую пищу; это неизменный закон, он и матерей принуждает наблюдать, как плоды их жизни растут и становятся все больше и больше и как они все больше и больше отчуждаются; наблюдать это сначала с болью, потом с горечью, а в конце концов — с самоотречением. Я чувствовал, почему моя матушка так мало говорила со мной: она не хотела давать мне возможность высказать такие вещи, за которые ей пришлось бы на меня сердиться. Но если бы я позволил себе поговорить с ней о Элизабет и о моей любви к этой девушке, то возможно, так сказать, обесчестил бы и ее, и мою мать, и самого себя. Иногда мне на самом деле хотелось заговорить о своей любви. Но я думал о друзьях. А также об их отношении к своим матерям. У меня было ребяческое чувство, будто своим признанием я могу выдать себя. Словно скрывать что-то от матери было вообще предательством по отношению к самому себе и, сверх того, предательством по отношению к матери. Когда мои друзья говорили о своих матерях, я стыдился втройне, а именно: за своих друзей, за свою мать и за себя самого. Они говорили о своих родительницах почти так же, как о пресловутых “liaisons”, которых они беззастенчиво бросали, говорили так, будто бы это были рано состарившиеся метрессы, и еще хуже — будто бы их матери были не вполне достойны своих сыновей.

Так что эти мои друзья мешали мне повиноваться голосу природы и разума и дать моему чувству к любимой Элизабет столь же свободное выражение, сколь и моей детской любви к матушке.

Но это явно указывало еще и на другое: грехи, какими мы обременяли свою совесть, были отнюдь не нашими личными грехами, а лишь слабыми, пока едва различимыми предвестиями грядущей катастрофы, о которой я вскоре расскажу.

VI

До этой великой катастрофы мне была суждена еще встреча с евреем Манесом Райзигером, о котором речь пойдет ниже. Он был родом из Злотогрода в Галиции. Несколько позже я познакомился с этим Злотогродом, так что могу его здесь описать. Мне это кажется важным, потому что его больше не существует, так же как не стало и Сиполья. Некогда это был городок, пусть маленький, но как-никак городок. Нынче на этом месте большой широкий луг. Летом там растет клевер, в высокой траве стрекочут кузнечики, дождевые черви толстеют и вьются кольцами, лоснясь от жира, а жаворонки камнем падают вниз, чтобы их слопать.

Еврей Манес Райзигер явился ко мне однажды в октябре в такой же ранний час, как несколько месяцев тому назад приходил его друг и мой кузен Бранко. Да и пришел он по рекомендации кузена Бранко.

— Молодой барин, — доложил Жак, — какой-то еврей желает поговорить с молодым барином.

В то время я знал нескольких евреев, правда венских евреев. Никакой ненависти к ним я не испытывал, не испытывал как раз потому, что в ту пору спокойный антисемитизм знати и тех кругов, к которым принадлежал я, стал модой среди дворников, мелких буржуа, трубочистов, обойщиков. Эта перемена была сродни той моде, повинуясь которой дочь служителя ратуши нацепляла на свою воскресную шляпку точно такие же плерёзы, какие всего три года тому назад носила по средам какая-нибудь урожденная Траутмансдорф или Сечени. И так же, как ныне какая-нибудь Сечени едва ли способна нацепить плерёзы, украшающие шляпку дочери служителя магистрата, так и приличное общество, к коему я себя причислял, навряд ли стало бы презирать еврея только потому, что его уже ни во что не ставил мой дворник.

Я вышел в переднюю, готовый к тому, чтобы увидеть одного из тех евреев, каких я знал и чье занятие наложило отпечаток на их внешний облик, даже как бы определило его. Я знавал менял, разносчиков, торговцев готовым платьем и таперов в борделях. Теперь же, выйдя в переднюю, я увидел человека, который не только не соответствовал моим привычным представлениям о еврее, а был даже способен их совершенно разрушить. Это было нечто зловеще черное и зловеще огромное. Нельзя было сказать, что его окладистая борода, его блестящая иссиня-черная окладистая борода окаймляла его смуглое, жесткое, костлявое лицо. Нет, это лицо прямо-таки вырастало из бороды, словно она существовала раньше, еще до лица, и годами ждала возможности окаймить и опушить его. Человек этот был рослый и сильный. В руке он держал черный репсовый картуз, а на голове у него была круглая бархатная шапочка, вроде тех, какие носят иногда духовные лица. Он мрачно стоял возле двери, жесткий, мощный, как воплощение силы, его красные руки, сжатые в кулаки, высовывались, словно два молотка, из черных рукавов кафтана. Из-под внутреннего кожаного ободка своего картуза он достал сложенное в несколько раз словенское письмецо моего кузена Бранко. Я предложил ему присесть, однако он робко отказался, выразив свой отказ руками, и отказ этот показался мне тем более робким, что выражен он был этими руками — каждая из них была бы способна разнести вдребезги меня, окно, мраморный столик, вешалку и вообще все, что было в передней. Я прочитал письмо. Из него я узнал, что человек, стоявший передо мной, был Манес Райзигер из Злотограда, по профессии кучер, друг моего кузена Йозефа Бранко, который во время своего ежегодного турне по коронным землям монархии, когда он торговал жареными каштанами, имел стол и бесплатный кров у подателя письма, и что я, во имя нашего родства и нашей дружбы, обязан помочь Манесу Райзигеру во всем, чего бы он от меня ни пожелал.

И чего же он желал от меня, этот Манес Райзигер из Злотограда?

Ничего, кроме бесплатного места в консерватории для его высокоодаренного сына Эфраима. Юноша не должен был стать кучером или сгинуть на восточной окраине монархии. По мнению отца, Эфраим был гениальным музыкантом.

Я все обещал. И сразу же отправился к моему другу графу Хойницкому, который из всех моих друзей был, во-первых, единственным урожен-

цем Галиции, во-вторых, один только был способен сломить извечное, традиционное, эффективное сопротивление старых австрийских чиновников, сломить с помощью угроз, применения силы, коварства и хитрости — оружия старого, давно сгинувшего культурного мира, а именно — нашего мира.

Вечером я встретился с графом Хойницким в нашем любимом кафе "Вингерль".

Я прекрасно знал, что нельзя доставить ему большего удовольствия, нежели попросив его добиться милостей для кого-нибудь из его земляков. У Хойницкого не было не только профессии, но и какого-либо занятия вообще. Он мог бы сделать, что называется, "блестящую карьеру" в армии, в административном аппарате, на дипломатическом поприще, но все это категорически отверг из презрения к олухам, рохлям, к неразберихе, ко всем тем, кто управлял государством и кого он любил называть "мозги всмятку"; для него было изысканным удовольствием дать надворным советникам почувствовать свою власть — настоящую власть, какую даровало ему его неофициальное высокое положение. И он, бывший таким радушным, таким снисходительным, даже предупредительным с официантами, кучерами, слугами и почтальонами, никогда не забывавший снять шляпу, спрашивая о чем-нибудь постового или портье, неузнаваемо менялся, предпринимая один из демаршей в пользу того или иного из своих протеже на Бальхаусплац[1], в приемной градоначальника, в министерстве культов и просвещения: черты его сковывало тогда ледяное высокомерие, прозрачное забрало. Если внизу, у входа он был еще в известной мере снисходителен с швейцаром в ливрее, то его противодействие чиновникам заметно возрастало с каждой ступенькой, на какую он поднимался, а добравшись до последнего этажа, он уже производил впечатление человека, который явился сюда, чтобы учинить ужасную, беспощадную расправу. В некоторых департаментах его уже знали. И если в коридоре он пугающе тихим голосом говорил служителю: "Доложите обо мне надворному советнику!", то его имя спрашивали редко, а когда это все-таки случалось, он повторял по возможности еще тише: "Немедленно доложите обо мне, пожалуйста!" Слово "пожалуйста", однако, звучало немного громче.

Сверх того, он любил музыку, еще и поэтому мне казалось удобным просить его о поддержке юного Райзигера. Он сразу обещал, что завтра же испробует все возможности. Хойницкий с такой быстротой отозвался на просьбу помочь, что я почувствовал укоры совести и спросил его, не хочет ли он, прежде чем вступиться за юного Райзигера, послушать его и убедиться в его одаренности. Он ужасно разволновался.

— Вы, возможно, знаете ваших словенцев, — сказал он, — а я знаю своих галицийских евреев. Отца зовут Манес, и он извозчик, как вы мне только что сообщили. Сына зовут Эфраим, всего этого мне вполне достаточно. В таланте юноши я совершенно уверен. Такие вещи я понимаю своим шестым чувством. Мои галицийские евреи могут все. Еще лет десять тому назад я их не выносил. Теперь они мне милы, потому что все эти "мозги всмятку" заделались антисемитами. Я только должен выяснить, какие именно люди сидят на нужных нам местах и в особенности — кто из них антисемиты. Ибо я хочу позлить их этим мальчиком Эф-

1. Резиденция канцлера Австрии.

раимом, и я пойду к ним вместе со стариком. Надеюсь, что у него вполне еврейский вид.

— Он ходит в полудлинном кафтане, — заметил я.

— Славно, славно, — воскликнул граф Хойницкий, — это мой человек! Знаете, я не патриот, но земляков своих люблю. Целая страна, даже родная страна — это нечто абстрактное. Но вот земляк — это нечто конкретное. Я не могу любить все пшеничные и ржаные поля, все ельники, все болота, всех польских господ и дам. Но какое-то определенное поле, лесок, болото, человека — à la bonne heur![1] Это я вижу, это я схватываю, это говорится на моем родном языке, это точно, ибо неповторимо, и это воплощение того, что хорошо знакомо. И вообще, существуют люди, которых я называю земляками, даже если они родились в Китае, в Персии, в Африке. Многие делаются мне близкими с первого взгляда. Настоящий земляк — это нечто такое, что падает с неба к тебе на колени как знак милости. Если человек к тому же родился на моей земле — a la bonne heur. Однако второе — это случай, первое же — судьба. — Он поднял бокал и воскликнул: — Да здравствуют земляки, мои земляки со всех частей света!

Через два дня я уже привел к нему в отель "Кремсер" извозчика Манеса Райзигера. Манес, огромное черное существо, неподвижно сидел на краю кресла. Вид у него был такой, будто уселся он здесь не сам, а его посадил кто-то другой, случайно взял и посадил на край, занять же все место самостоятельно он был не в силах. Он говорил всего две фразы, которые время от времени повторял без всякой связи с разговором, а именно: "Прошу вас, господа!" и "Премного благодарен, господа!", и казалось, что понимает он тоже довольно-таки мало. Это Хойницкий рассказал кучеру Манесу из Злотогрода, как выглядит Злотогрод, ведь Хойницкий знал Галицию как свои пять пальцев.

— Итак, завтра в одиннадцать часов мы пойдем устраивать это дело, — сказал он.

— Премного благодарен, господа! — отозвался Манес. Одной рукой он помахал картузом, другой приподнял шапочку. Потом еще раз поклонился у двери, которую открыл перед ним швейцар, и улыбнулся тому благодарной и счастливой улыбкой.

Через несколько недель юный Эфраим Райзигер был на самом деле пристроен в консерваторию. Юноша пришел к Хойницкому, чтобы его поблагодарить. Я тоже в то время был у Хойницкого в отеле. Юный Эфраим Райзигер выглядел довольно-таки мрачным, и когда он благодарил, то производил впечатление человека, который пришел жаловаться. Говорил он по-польски, и я, благодаря знанию словенского, понимал одно слово из трех. Однако по мимике и взглядам графа Хойницкого я уловил, что обиженная и, в сущности, высокомерная манера юноши ему нравится.

— Это еще что! — сказал он, когда тот ушел. — В наших краях люди не говорят тебе "Большое спасибо!", а скорее наоборот. Галицийские евреи — мои галицийские евреи — люди гордые! Они живут в убеждении, что им просто положены все привилегированные места. Милости и предпочтения, что им оказываются, они принимают с тем же великолепным хладнокровием, с каким реагируют на летящие в них камни и ругательства. Все прочие возмущаются, когда их ругают, и кланяются, ког-

1. Отлично, в добрый час! (*франц.*)

да им делают добро. Только моих польских евреев не трогает ни брань, ни милости. Они по-своему аристократы. Ибо признак аристократа — это прежде всего хладнокровие, а я ни у кого не встречал большего хладнокровия, чем у моих польских евреев!

Слова "мои польские евреи" он произносил тем же тоном, каким так часто говорил мне: "мои имения, мой Ван Гог, моя коллекция инструментов". У меня было отчетливое ощущение, будто евреев он так ценит отчасти потому, что считает их своей собственностью. Казалось, будто они явились на свет в Галиции не по воле Божией, а это он заказал их лично у Вседержителя, как обычно заказывал персидские ковры у известного торговца Полицера, попугаев — у итальянского продавца птиц Скапини, а редкие старинные инструменты — у скрипичного мастера Гроссауэра. И с той же тщательностью, с тем же осмотрительным достоинством, с каким он занимался коврами, птицами, инструментами, подходил он к своим евреям, до такой степени, что считал для себя непреложным долгом написать письмо славному извозчику Манесу, отцу довольно высокомерного юноши, и поздравить его с приемом Эфраима в консерваторию. Ведь Хойницкий боялся, как бы извозчик Манес его не опередил и не прислал благодарственное письмо.

Однако кучер Манес Райзигер, весьма далекий от того, чтобы писать благодарственные письма, и совершенно не способный оценить милость судьбы, которая свела его и сына с графом Хойницким и со мною, и скорее склонный полагать, будто талант его сына столь безмерно велик, что Венская консерватория должна почитать за счастье принять такого юношу под свою сень, — кучер Манес Райзигер два дня спустя нанес мне визит и заговорил следующим образом:

— Ежели человек что-то в этом мире умеет, то он кем-то станет. Я всегда говорил это моему сыну Эфраиму. Так оно и вышло. Эфраим мой единственный сын. Он замечательно играет на скрипке. Вы должны как-нибудь его попросить что-либо вам сыграть. А он гордый. Кто его знает, сделает он это или нет!

Все выглядело так, будто я должен благодарить кучера Манеса за то, что мне была предоставлена честь обеспечить его сыну место в консерватории.

— Здесь, в Вене, мне больше делать нечего, — продолжал он, — так что завтра я уезжаю домой.

— Вы должны еще, — сказал я ему, — нанести визит графу Хойницкому, чтобы его поблагодарить.

— Граф замечательный человек! — с признательностью сказал Манес. — Я с ним попрощаюсь. А он уже слышал, как играет мой Эфраим?

— Нет! — ответил я. — Надо, чтобы вы его об этом попросили.

Поезд извозчика Манеса Райзигера уходил в одиннадцать часов; около восьми он пришел ко мне и попросил меня, то есть почти что приказал мне проводить его в отель к графу Хойницкому.

Ладно, я его проводил. Хойницкий был мне благодарен и почти в восторге. Да, он прямо растрогался.

— Как это замечательно, — воскликнул он, — что он пришел меня благодарить! Я же вам сразу сказал: таковы наши евреи!

В итоге он поблагодарил кучера Манеса за то, что тот дал ему возможность сохранить для человечества такого гения. Могло показаться, будто Хойницкий уже лет десять или двадцать ждал не чего-либо иного, а именно явления сына Манеса Райзигера и что ныне сбылось наконец

его заветное, давно и заботливо взлелеянное желание. Из переполнявшей его благодарности он даже предложил Манесу Райзигеру денег на обратную дорогу. Извозчик Манес отказался, но пригласил нас обоих приехать к нему. У него есть дом, сказал он, три комнаты, кухня, стойло для лошади и сад, где стоят его фиакр и сани. О, он вовсе не какой-то бедный извозчик. Он зарабатывает целых пятьдесят крон в месяц. И ежели мы пожелаем к нему приехать, то жить будем замечательно. Уж он позаботится о том, чтобы мы ни в чем не знали недостатка.

Он не преминул также напомнить нам с Хойницким, что заботиться о его сыне Эфраиме — это прямо-таки наш долг.

— Такого гения надо лелеять! — заявил он на прощанье. Хойницкий пообещал; он обещал также, что будущим летом мы непременно приедем в Злотогрод.

VII

Здесь, на этом месте, я должен поговорить на важную тему, хотя когда я начинал писать эту книгу, то надеялся, что смогу ее обойти. Речь идет всего-навсего о религии.

Я был неверующий, так же как мои друзья, как все мои друзья. Никогда не ходил к мессе. Правда, обычно я провожал матушку до дверей церкви, — возможно, она и не была верующей, но, как говорится, соблюдала обряды. В то время я прямо-таки ненавидел церковь. Сегодня, когда я и сам верующий, я, в сущности, не знаю, за что я ее ненавидел. Это, так сказать, было модой.

Тогда мне было бы стыдно, если бы пришлось сообщить друзьям, что я ходил в церковь. Они не испытывали настоящей враждебности к религии, скорее нечто вроде высокомерного пренебрежения к традиции, в какой были воспитаны. Правда, от сути этой своей традиции они отказываться не желали, однако они — и я вместе с ними, все мы бунтовали против тех форм, какие принимала традиция, ибо мы не знали, что истинная форма тождественна содержанию и что было ребячеством отделять одно от другого. Это было ребячеством, сказал я, но мы и были тогда ребячливы. Смерть уже скрестила свои костлявые руки над кубками, из которых мы пили — пили весело и по-детски. Мы не чувствовали ее присутствия. Не чувствовали смерти, потому что не чувствовали Бога. Граф Хойницкий был единственным среди нас, кто еще придерживался религиозных формальностей, но тоже не столько из веры, сколько благодаря чувству, что знатность обязывает его соблюдать предписания религии. Нас, остальных, пренебрегавших этими предписаниями, он считал чуть ли не анархистами. "Римская церковь, — обычно говорил он, — покамест единственная созидательница форм, хранительница форм в этом прогнившем мире. Можно даже сказать — подательница форм. Между тем как она замыкает традиционное, что называется, "исстари унаследованное", в своей догматике, словно в некоем ледяном дворце, она обретает сама и дарует своим чадам свободу затевать вокруг, вне этого дворца, перед которым раскинулся большой, просторный двор, пустую возню, даже свободу прощать — или творить — нечто запретное. Назидательно перечисляя грехи, она уже эти грехи прощает. Она прямо-таки не допускает существования безгрешных людей: это ее замечательное человечное свойство. Своих безупречных чад она окружает ореолом святости. Уже одним этим она изначально допускает порочность человека. Да,

она допускает греховность в той мере, что больше не считает человеческими те существа, что не греховны: они становятся блаженными или святыми. Этим римская церковь подтверждает свою благороднейшую тенденцию — прощать. Нет тенденции более благородной, нежели прощение. Подумайте о том, что нет тенденции более низменной, нежели месть. Благородства без великодушия не бывает, так же как не бывает жажды мести без низменных побуждений.

Этот граф Хойницкий был самым старшим и самым умным из нас, но мы оказались слишком молодыми и глупыми для того, чтобы воздать ту дань уважения его превосходству, какой оно несомненно заслуживало. Мы просто вежливо его слушали и при этом еще воображали, будто оказываем ему любезность тем, что его слушаем. Нам, так называемым молодым, он представлялся пожилым человеком. Лишь позднее, во время войны, нам дано было понять, насколько моложе нас был он на самом деле. Но лишь позднее, и уже слишком поздно, мы поняли, что были не то чтобы моложе его, а просто без возраста, так сказать, вопреки естеству лишены были возраста вообще. В то время как он был человеком естественным, достойным своих лет, искренним и сподобившимся Божьего благословения.

VIII

Через несколько месяцев я получил от извозчика Манеса Райзигера нижеследующее письмо:

Милостивый государь!

После той высокой чести и большой услуги, какие Вы мне оказали, я нижайше осмеливаюсь Вам сообщить, что я Вам очень, очень благодарен. Мой сын мне пишет, что в консерватории он делает успехи, и всей его гениальностью я обязан Вам. И я от всего сердца Вас благодарю. Одновременно я нижайше осмеливаюсь просить Вас, не будете ли Вы столь добры приехать сюда, к нам. Ваш кузен Тротта, торговец жареными каштанами, все время, то есть уже десять лет, каждую осень живет у меня. Я представил себе, что и Вам было бы приятно пожить у меня. Домишко у меня бедный, но просторный.

Милостивый государь! Не обижайтесь на меня за это приглашение. Я такой маленький, а Вы такой великий! Милостивый государь! Прошу также извинения за то, что отдаю писать это письмо. Дело в том, что сам я писать не умею ничего, кроме своего имени. Это письмо по моей воле пишет официально нанятый писец нашего местечка Гирш Киниовер, то есть надежный, порядочный и служивый человек. Преданный милостивому государю

Манес Райзигер,
извозчик из Злотогрода.

Все письмо было написано кропотливым каллиграфическим почерком — "как по-печатному", говорили тогда о такого рода письмах. Только подпись, то есть фамилия, выдавала трогательную неловкость руки извозчика. Одного вида этой подписи было бы довольно, чтобы я принял решение и назначил свою поездку в Злотогрод на раннюю осень будущего года. Какими беспечными были мы все тогда, и я был таким же беспечным, как остальные. Наша жизнь до той большой войны была идиллической, и даже поездка в далекий Злотогрод казалась всем нам каким-то приключением.

А то, что сам я должен был стать героем этого приключения, было для меня великолепным поводом, чтобы предстать перед моими друзьями в великолепном виде. И хотя до этого авантюрного путешествия оставалось еще так много времени и я должен был совершить его один, тем не менее мы каждый вечер говорили о нем так, словно от Злотогрода меня отделяет всего какая-то неделя и словно ехать туда должен не только я, а все мы вместе. Постепенно эта поездка сделалась для нас какой-то страстью, мы были просто одержимы ею. И мы принялись произвольно разукрашивать этот маленький, далекий от нас Злотогрод — до такой степени, что расписывая названное местечко, сами вполне сознавали, что создаем ложную картину, и все же не могли перестать рисовать в искаженном виде этот городок, которого никто из нас не видел. То есть мы наделяли его всевозможными свойствами, какие заведомо были плодами нашей фантазии, а никак не реальными особенностями данного городка.

Вот какое тогда было веселое время! Смерть уже скрестила свои костлявые руки над кубками, из которых мы пили. Мы не видели смерти, не видели ее рук. Мы упорно говорили о Злотогроде, так долго и так подробно, что меня охватил страх, как бы в один прекрасный день он вдруг не исчез или как бы мои друзья не подумали, будто этот Злотогрод — нечто фантастическое, что его никогда не существовало и я просто о нем наболтал. Меня внезапно охватило нетерпение, даже тоска по этому Злотогроду и по кучеру Манесу Райзигеру.

В середине лета 1914 года я поехал в Злотогрод, предварительно написав в Сиполье моему кузену Тротте, что я его там жду.

IX

Итак, летом 1914 года я поехал в Злотогрод. Остановился я в отеле "У золотого медведя", единственной гостинице этого городка, о которой мне сказали, что она отвечает требованиям европейца.

Вокзал там был крошечный, такой же, как в Сиполье, и я добросовестно сохранил его в памяти. Все вокзалы старой австро-венгерской монархии похожи один на другой — маленькие вокзалы маленьких провинциальных местечек. Желтые и крошечные, они напоминали вялых кошек, которые зимой валяются на снегу, летом — на солнце, словно защищенные старой прозрачной стеклянной крышей перрона и под надзором черного двуглавого орла на желтом фоне. Везде, что в Сиполье, что в Злотогроде, был все тот же дежурный по станции, все тот же дежурный с солидным животиком, в темно-синем миролюбивом мундире с черным ремнем наискосок, на коем держался колокольчик, издававший тот блаженной памяти троекратный, предписанный правилами звонок, который возвещал отправление поезда; в Злотогроде, как и в Сиполье, на перроне, над входом в кабинет начальника станции, висел тот черный металлический прибор, из коего чудесным образом исходил далекий серебристый звонок далекого телефона, нежные и ласковые сигналы из других миров, так что было даже удивительно, что они нашли прибежище в таком тяжелом, хоть и маленьком корпусе; на станции в Злотогроде, равно как и в Сиполье, дежурный отдавал салют приезжающим и отъезжающим, и этот салют был чем-то вроде воинского благословения; на вокзале в Злотогроде, равно как и в Сиполье, были одинаковые "залы ожидания второго и первого класса", одинаковые бу-

феты с бутылками спиртного и с одинаковыми белокурыми и полногрудыми кассиршами, а также двумя огромными пальмами справа и слева от буфета, которые в равной мере напоминали как доисторические растения, так и поделки из папье-маше. А у вокзала стояли в ожидании три

фиакра — в точности как в Сиполье. И я сразу узнал легко узнаваемого кучера Манеса Райзигера.

Разумеется, это он отвез меня в отель "У золотого медведя". У него был красивый фиакр, запряженный парой белых лошадей, спицы колес покрашены желтой масляной краской, а сами колеса — в резиновых шинах, что Манес подсмотрел в Вене у некоторых так называемых "шинников".

По дороге он мне признался, что обновил свой фиакр не столько ради меня, в ожидании моего приезда, сколько из некоего безотчетного побуждения, которое заставило его пристально наблюдать венских сотоварищей — тамошних извозчиков и, пожертвовав свои сбережения богу прогресса, купить двух белых лошадей и надеть на колеса резиновые шины.

Дорога от вокзала в город была очень длинной, и у Манеса Райзигера было много времени, чтобы рассказать мне истории, какие особенно близко его касались. Вожжи он при этом держал в левой руке. По правую руку от него в специальной стойке торчал кнут. Лошади, видимо, знали дорогу. Править ими было незачем, Манес мог вообще не обращать на них внимания. Так что он небрежно сидел на облучке, вполоборота ко мне и слегка наклонившись, вожжи беспечно и вяло держал в левой руке и рассказывал мне свою историю. Обе лошади стоили всего сто двадцать пять крон. Это были казенные лошади, обе они ослепли на левый глаз, а потому для военных целей не годились, так что драгуны расквартированного в Злотогроде Девятого полка продали их задешево. Однако ему, Манесу Райзигеру, никогда не удалось бы так легко их купить, не будь он любимцем полковника, командира Девятого драгунского. В местечке Злотогрод было всего пять фиакров. У четырех других извозчиков, сотоварищей Райзигера, экипажи были грязные, запряженные старыми, ленивыми и хромыми клячами, с искривленными колесами и потрепанными кожаными сиденьями. Сквозь истертую дырявую кожу отовсюду неудержимо лезла вата, и поистине невозможно было себе представить, чтобы какой-нибудь приличный человек, не говоря уже о полковнике Девятого драгунского, сел бы в подобный фиакр.

У меня была рекомендация Хойницкого к гарнизонному коменданту, полковнику Фёльдесу из Девятого драгунского, равно как и к окружному начальнику, барону Граппику. Я собирался нанести визит им обоим прямо с утра, то есть на другой день после моего приезда. Извозчик Манес Райзигер погрузился в молчание, ничего важного он больше рассказать не мог, обо всем, что было важного в его жизни, он уже сказал. Но тем не менее он по-прежнему держал кнут в стойке, тем не менее вожжи по-прежнему держал вяло и небрежно, тем не менее сидел на облучке вполоборота ко мне. Неизменная улыбка его широкого рта с крепкими белыми зубами в гуще черных с синеватым отливом усов и бороды слегка напоминала о молочной луне среди лесов, но ласкающих глаз лесов. Столько веселья, столько доброты было в этой улыбке, что она возобладала даже над чуждым, тоскливым равнинным ландшафтом, который расстилался вокруг. Ибо бескрайние поля слева от меня, бескрайние болота справа от меня тянулись всю дорогу от железнодорожной станции

Злотогрод до местечка Злотогрод, казалось, будто оно по добровольному обету целомудрия сознательно осталось вдалеке от вокзала, который связывал его с остальным миром. День выдался дождливый — как я уже говорил, дело шло к осени. Резиновые колеса Манесова фиакра с призрачной беззвучностью катили по раскисшей, немощеной проселочной дороге, однако увесистые копыта сильных, некогда казенных лошадей тяжело и размеренно колотили по темно-серой слякоти, и перед нами взметались здоровенные комья грязи. Когда мы добрались до первых домов, уже почти стемнело. Посреди круглой площади, напротив маленькой церкви, стоял высвеченный одиноким, печальным фонарем и потому заметный единственный двухэтажный дом Злотогрода — то есть гостиница "У золотого медведя". Одинокий фонарь перед нею напоминал ребенка-сироту, который тщетно пытается улыбнуться сквозь слезы.

И хотя я приготовился встретить много незнакомого, более того, чуждого мне и далекого, бóльшая часть того, что я увидел, показалась мне родной и близкой. Лишь значительно позже, после большой войны, которую называют "мировой", на мой взгляд, справедливо, и не потому, что ее вел весь мир, а потому, что из-за нее все мы потеряли целый мир, наш мир, — так вот, лишь много позже мне суждено было понять, что даже ландшафты, пашни, даже нации, расы, хижины и кофейни разнообразнейших видов и разнообразнейшего происхождения должны подчиняться совершенно естественной власти сильного духа, способного сблизить разрозненное, породнить чужеродное и объединить то, что, по видимости, разбегается. Я говорю о превратно понятом и использованном во зло духе старой монархии, который способствовал тому, что в Злотогроде я чувствовал себя дома точно так же, как в Сиполье, как в Вене. Единственная кофейня в Злотогроде — "Кафе Габсбург", расположенная на первом этаже гостиницы "У золотого медведя", где я остановился, на вид ничем не отличалась от кафе "Виммерль" в Йозефштадте[1], где я привык в послеобеденные часы встречаться с друзьями. И здесь тоже сидела за стойкой привычного вида кассирша, такая белокурая и такая пухлая, какими в мое время могли быть только кассирши, — этакая простодушная богиня порока, грех, выдававший себя лишь легким намеком, похотливая, испорченная и одновременно деловито настороженная. Таких я уже видел в Аграме, в Ольмюце, в Брюнне, в Кечкемете, в Сомбатхее, в Эдинбурге, в Штернберге, в Мюглице. Шахматные доски, костяшки домино, прокуренные стены, газовые лампы, кухонный стол в углу, возле туалетов, служанка в синем фартуке, местный жандарм в глиняно-желтой каске, столь же властный, сколь и смущенный, — зайдя на минутку, он с некоторой робостью прислонил винтовку с примкнутым штыком к стойке для зонтиков; игроки в тарок с растительностью на лице "под императора" и круглыми манжетами, собиравшиеся там ежедневно и пунктуально в строго определенный час, — все это была родина, более сильная, чем просто отчизна, обширная и пестрая и все же близкая и поистине родная: императорско-королевская монархия. Окружной начальник барон Граппик и командир Девятого драгунского полковник Фёльдес говорили на одинаковом, с легким прононсом, казенном немецком языке высших сословий, на языке одновременно жестком и мягком, как будто бы славяне и итальянцы были основателями и отцами этого языка, полного сдержанной иронии и грациозно-изво-

1. Район Вены.

ротливой безобидности, готового к беззаботной болтовне и даже к очаровательной бессмыслице. Не прошло и недели, как я почувствовал, что в Злотогроде я у себя дома, так же как в Сиполье, в Мюглице, в Брюнне и в нашем кафе "Виммерль" в Йозефштадте.

Само собой разумеется, что я каждый день разъезжал по окрестностям в фиакре моего друга Манеса Райзигера. Край этот на самом деле был бедный, но выглядел живописно и беспечно. Даже широко раскинувшиеся бесплодные болота казались мне сочными и радушными, а приветливый хор лягушек, возносившийся оттуда к небу, — хвалебной песнью живых существ, которые лучше меня знали, с какою целью Бог создал их самих и их родину — болота.

Ночами я иногда слышал хриплые, часто прерывистые крики пролетавших высоко в небе диких гусей. С ив и берез свешивалась еще густая листва, однако с больших, требующих к себе почтения каштанов уже падали аккуратно иззубренные, жесткие, золотисто-желтые листья. Утки крякали прямо посреди улицы, где там и сям разбросанные лужи прикрывали собой непросыхавшую серебристо-серую грязь.

Я взял за привычку по вечерам есть вместе с офицерами Девятого драгунского полка; точнее — с ними пить. Над кубками, из которых мы пили, уже скрестила свои костлявые руки невидимая смерть. Мы ее присутствия еще не чувствовали. Иногда мы засиживались допоздна. Из какого-то необъяснимого страха перед ночью дожидались утра.

Я только что сказал: из какого-то необъяснимого страха, а ведь тогда он казался нам объяснимым. Объяснение мы находили в том факте, что мы еще слишком молоды для того, чтобы пренебрегать ночами. Между тем это был, что я понял лишь позднее, страх перед днем, точнее говоря, перед утром, самым ясным временем суток. Утром все видишь отчетливо, и тебя тоже отчетливо видят. А вот мы отчетливо видеть не желали, и не желали также, чтобы отчетливо видели нас.

Итак, по утрам, для того чтобы уйти как от этой отчетливости, так и от одуряющего сна, который был мне хорошо знаком и который нападает на человека после ночи бодрствования и гульбы, словно лжедруг, плохой целитель, угрюмый доброжелатель и коварный благодетель, я спасался бегством к извозчику Манесу. Нередко я появлялся у него около шести утра, как раз в то время, когда он вставал с постели. Он жил за пределами городка, возле кладбища. Чтобы до него добраться, мне требовалось приблизительно полчаса. Иногда я приходил аккурат в тот момент, когда он только что встал. Его домишко, покрашенный в синий цвет и покрытый черно-серой гонтовой крышей, стоял на отшибе, среди полей и лугов, ему не принадлежавших; он смахивал на живое существо, которое, казалось, не стоит на месте, а так и норовит с него сдвинуться. Такой силой обладала темно-синяя окраска стен посреди блекнущего зеленовато-желтого простора. Бывало, что я толчком распахивал дверь, красновато-коричневую дверь, что вела в квартиру извозчика Манеса, и заставал его, когда он как раз собирался выйти из своего жилища. Он стоял перед этой дверью в холстинной рубахе и кальсонах, с непокрытой головой, босой, с большим коричневым глиняным кувшином в руках и то и дело отпивал глоток из этого кувшина, потом сплевывал слюну — плевок описывал большую дугу. Стоя прямо под лучами восходящего солнца в грубой одежде, с растрепанными густыми волосами, он неведомо почему наводил на мысли о девственном лесе, о первобытном человеке, растерянном и запоздалом, о доисторических временах.

Сняв рубаху, он шел к колодцу мыться. За этим занятием он громко фыркал, плевался, пронзительно, почти ликующе вскрикивал — поистине, казалось, будто это вторжение древнего мира в мир настоящий. Потом он опять надевал свою холстинную рубаху, и мы шли друг другу навстречу, чтобы поздороваться. Эта встреча бывала столь же торжественной, сколь и сердечной. То был своего рода церемониал, а также — хотя мы виделись почти каждое утро — неизменное и молчаливое подтверждение того факта, что ни я не считаю его всего лишь еврейским извозчиком, ни он меня — всего лишь влиятельным молодым человеком из Вены. Иногда он просил меня прочитать ему те редкие письма, какие писал ему сын — студент консерватории. Письма были совсем короткие, но поскольку он, во-первых, не сразу понимал тот немецкий язык, каким — бог его знает по какой причине — почитал своим долгом писать его сын, а во-вторых, его нежному отцовскому сердцу желательно было, чтобы эти письма не оказывались совсем уж куцыми, он следил за тем, чтобы я читал их помедленней. И часто требовал, чтобы я по два-три раза повторял одни и те же фразы.

Как только он выходил во двор, птицы в его небольшом курятнике сразу начинали кудахтать. Почти сладострастно ржали лошади — навстречу утру и Манесу-извозчику. Сперва он открывал конюшню, и обе белые лошади разом высовывали головы из двери. Он целовал их, одну за другой, так, как целуют женщин. Потом шел в сарай, чтобы вытащить свою повозку, после чего запрягал лошадей. Затем открывал курятник, и птицы, кудахтая и хлопая крыльями, разбредались по двору. Казалось, будто их рассыпала здесь чья-то невидимая рука.

Знал я также и жену извозчика Манеса Райзигера. Она обычно вставала на полчаса позже мужа и приглашала меня к чаю. Я пил его на кухне, покрашенной в синий цвет, у большого никелированного самовара, а Манес тем временем ел тертую редьку, хлеб с луком и огурцы. Запах был сильный, но какой-то домашний, почти родной, хотя мне никогда не доводилось есть подобный завтрак; однако в ту пору я любил все, ведь я был молод, просто молод.

Мне даже нравилась жена моего друга Манеса Райзигера, хотя она принадлежала к числу так называемых в обычном словоупотреблении уродливых женщин, поскольку была рыжей, веснушчатой и походила на разбухшую булочку. Тем не менее и даже несмотря на ее жирные пальцы, у нее была аппетитная манера наливать чай, готовить мужу завтрак. Она родила ему троих детей. Двое из них умерли от оспы. Иногда она говорила о своих умерших детях так, будто они еще живы. Создавалось впечатление, что для нее нет разницы между ее похороненными детьми и тем сыном, который отбыл в Венскую консерваторию, а значит, для нее все равно что умер. Ведь из ее жизни он был теперь исключен.

Зато живым и неизменно присутствующим был для нее мой кузен, продавец жареных каштанов. Тут я чего только не предполагал. Он собирался приехать через неделю, мой кузен Йозеф Бранко Тротта.

X

Через не́делю он и приехал.

Приехал со своим мулом, своим кожаным мешком и своими каштанами. Он был загорелый, черный и веселый; в точности такой, каким я видел его в последний раз в Вене. По всей видимости, ему казалось есте-

ственным снова застать меня здесь. До начала настоящего сезона каштанов оставалось еще много времени. Кузен приехал на несколько недель раньше просто ради меня. По дороге с вокзала в город он сидел на козлах рядом с нашим другом Манесом Райзигером. Мула они привязали сзади к фиакру недоуздковой привязью. Кожаный мешок, жаровня, каштаны были прикреплены ремнями по обе стороны экипажа. Итак, мы въехали в местечко Злотогрод, но не привлекли к себе никакого внимания. В Злотогроде привыкли к тому, что мой кузен Йозеф Бранко появляется там раз в год. Да и ко мне, заблудившемуся там чужаку, они, казалось, успели привыкнуть тоже.

Мой кузен Йозеф Бранко, как обычно, остановился у Манеса Райзигера. Памятуя о выгодных сделках, какие он летом прошлого года совершил с часами и с цепочкой, он привез мне еще несколько кустарных народных безделушек, например пепельницу из чеканного серебра, на которой были изображены два скрещенных кинжала и святой Никодим, не имевший к ним решительно никакого отношения; медный кубок, который, как мне показалось, пах дрожжевым тестом, кукушку из раскрашенного дерева. Все это, сказал Йозеф Бранко, он привез, чтобы подарить мне на тот случай, ежели я буду в состоянии оплатить ему "транспортные расходы". И я понял, что он подразумевает под "транспортными расходами". Я купил у него пепельницу, кубок и деревянную кукушку сразу в вечер его приезда. Он был счастлив.

Как он уверял, для времяпрепровождения, на самом же деле для того, чтобы использовать любой случай, суливший ему хоть немного денег, он время от времени пытался внушить извозчику Манесу, что он, Йозеф Бранко, опытный кучер, получше, чем Манес, да и более способный находить клиентов. Однако Райзигер на такие разговоры совершенно не ловился. Ранним утром он сам запрягал своих белых лошадей в фиакр и, не заботясь о Йозефе Бранко, ехал к вокзалу и на рынок, где стояли его сотоварищи, другие извозчики.

Лето было прекрасное, солнечное. Хотя Злотогрод, можно сказать, настоящим "городком" не был, поскольку походил скорее на переодетую деревню, и хотя он дышал всей свежестью природы — до такой степени, что леса, холмы и болота, его окружавшие, казалось, прямо-таки осаждали рыночную площадь, и можно было подумать, будто и лес, и холмы, и болота в любой день могут так же непринужденно заехать в этот городок, словно какой-нибудь проезжающий, прибывший сюда с вокзала, чтобы остановиться в гостинице "У золотого медведя", — моим друзьям, чиновникам окружного управления, так же как господам из Девятого драгунского, казалось, что Злотогрод — настоящий город; ибо им необходимо было сознавать, что они не сосланы в какой-то медвежий угол, и один тот факт, что существовала железнодорожная станция Злотогрод, внушал им твердую уверенность, что они живут не в стороне от той цивилизации, в которой они выросли и которая их избаловала. Вследствие этого они делали вид, словно им необходимо раз-другой в неделю вырваться из так называемого невыносимого городского воздуха и отправиться в фиакрах навстречу тем лесам, холмам и болотам, которые, в сущности, шли им навстречу сами. Ибо Злотогрод не только полнился природой, но был даже стиснут своими окрестностями. И мы с друзьями, бывало, два-три раза в неделю выезжали в фиакре Манеса Райзигера в так называемые окрестности Злотогрода. У нас это и в самом деле называлось "вылазками". Нередко мы делали привал в приг-

ничном шинке Ядловкера. Старик Ядловкер, древний еврей с серебряной бородой, неподвижный, полупарализованный, сидел перед широкой ярко-зеленой двустворчатой дверью с внушительным арочным проемом. Он казался воплощением зимы, которая хочет еще насладиться последними погожими деньками осени и взять их с собой в уже столь близкую вечность, в которой никаких времен года больше нет. Он ничего не слышал, ни слова не понимал — был глух как пень. Но я как будто бы читал в его больших черных и печальных глазах, что он некоторым образом видит все то, что люди более молодые способны уловить только на слух, и что, стало быть, он оглох добровольно и наслаждается своей глухотой. Легко и нежно летали над ним паутинки бабьего лета. Серебряное, но все еще пригревавшее осеннее солнце заливало своим светом его, старика, а он сидел, глядя на запад, на солнечный закат, то есть на земные приметы смерти, сидел так, словно вечность, которой он был уже обречен, придет к нему сама, а не он пойдет к ней. Неустанно стрекотали кузнечики. Неустанно квакали лягушки. Великий покой царил в этом мире, терпкий осенний покой.

В это время мой кузен Йозеф Бранко имел обыкновение, следуя давней традиции торговцев жареными каштанами в австро-венгерской монархии, открывать свой ларек на Рингплаце Злотогрода.

В течение двух дней по всему городу еще растекался приторно-сладкий, теплый запах печеных яблок.

Начались дожди. Это было в четверг. А на следующий день, то есть в пятницу, на всех углах уже висело воззвание.

То был манифест нашего старого императора Франца Иосифа, и заголовок его гласил: “К моим народам!”

XI

Я был прапорщиком запаса. Ровно два года назад оставил я свой батальон в Двадцать первом стрелковом полку. Тогда мне показалось, что война началась весьма кстати. В тот момент, когда она разразилась и стала неотвратимой, я вдруг понял — и думаю, это столь же быстро и внезапно поняли все мои друзья, — что бессмысленная смерть все же лучше, чем бессмысленная жизнь. Смерти я боялся. Это несомненно. Погибать я не хотел. Хотел только сам убедиться в том, что могу умереть.

Мой кузен Йозеф Бранко и его друг кучер Манес были рядовыми запаса. Значит, им тоже предстояло стать под ружье. Вечером в ту пятницу, когда на стенах расклеили манифест императора, я, как обычно, отправился в офицерское собрание, чтобы поужинать с моими друзьями из Девятого драгунского. Я не мог понять ни того, с каким аппетитом они ели, ни их обычной веселости, ни их дурацкого безразличия к приказу на марш к расположенному на северо-восток русскому пограничному местечку Радзивиллов. Я был среди них единственным, кто уже заметил предзнаменования смерти на их безобидных, даже веселых, во всяком случае невозмутимых лицах. Казалось, они впали в некое подобие того эйфорического состояния — предвестия смерти — которое судьба так часто дарует умирающим. И хотя они, еще целые и невредимые, сидели за столиками, пили водку и пиво и хотя я делал вид, будто принимаю участие в их дурацких шутках, я казался себе кем-то вроде врача или санитара, который видит, что его пациент умирает, и радуется, что умирающий еще ничего не знает о своей близкой кончине. И все

же меня не оставляло тягостное чувство, какое, наверно, возникает у иных врачей или санитаров перед лицом смерти и при эйфории умирающего, то есть в минуты, когда они растеряны и толком не знают, не лучше ли сказать обреченному, что он вскоре должен умереть, вместо того чтобы радоваться тому благоприятному факту, что он уйдет из жизни, ничего не подозревая заранее.

Поэтому я быстро распрощался с друзьями из Девятого драгунского и отправился к извозчику Манесу, у которого, как я уже сказал, жил мой кузен Йозеф Бранко.

Насколько же другими были они оба и как хорошо я себя чувствовал в их обществе после вечера в офицерском собрании Девятого драгунского! Возможно, причиной тому были ритуальные свечи, горевшие в комнате с синими стенами у еврейского извозчика Манеса, горевшие в предвидении собственной смерти почти радостно, во всяком случае спокойно и уверенно: три золотисто-желтые свечки, воткнутые в зеленые пивные бутылки, ведь извозчик Манес был слишком беден для того, чтобы купить себе хотя бы латунные подсвечники. Это были уже, по сути, огарки свечей, и мне казалось, что они символизируют конец света, который, как я знал, начал осуществляться. Скатерть была белая, бутылки — того дешевого темно-зеленого цвета, который словно бы заранее простовато и задорно возвещает обыденность их приятного содержимого; а умиравшие огарки свечей — золотисто-желтого. Они мерцали. Они бросали беспокойный свет на стол и такие же беспокойные, словно бы мерцающие тени на темно-синие стены. Во главе стола сидел извозчик Манес, но не в своей обычной кучерской форме, не в перетянутой ремнем овчине и репсовом картузе, а в долгополом люстриновом сюртуке и в черной плюшевой шапочке. Мой кузен Йозеф Бранко был в своей обычной блестящей кожаной куртке, а на голову из уважения к хозяину-еврею он надел зеленую тирольскую шляпу. Где-то пронзительно стрекотал сверчок.

— Теперь все мы должны проститься, — начал извозчик Манес. И прозорливей, чем мои друзья из Девятого драгунского, и все же исполненный хладнокровия, я бы даже сказал, точно облагороженный прикосновением смерти, которая облагораживает всякого человека, готового и достойного ее принять, он продолжал: — Это будет большая, долгая война, кто из нас троих с нее вернется, мы знать не можем. В последний раз сижу я здесь, рядом с женой, за столом, накрытым для пятничного ужина, перед субботними свечами. Давайте, друзья мои, простимся достойно — ты, Бранко, и вы, сударь!

И чтобы действительно достойно отметить наше прощание, мы решили все втроем отправиться в приграничный шинок Ядловкера.

XII

Приграничный шинок Ядловкера был открыт всегда, и днем и ночью. Это был излюбленный трактир русских дезертиров, то есть тех солдат царя, которых многочисленные агенты американских пароходных линий с помощью уговоров, уловок и угроз принуждали оставить армию и отправиться в Канаду. Правда, было много таких, кто дезертировал добровольно. Эти даже отдавали агентам свои последние деньги — сами или их родственники. Приграничный шинок Ядловкера пользовался дурной славой. Однако, как все сомнительные заведения в тех краях, он был

взыскан совершенно особой милостью австрийской пограничной полиции и в известной степени находился настолько же под защитой, насколько и под подозрением властей.

Когда мы туда пришли, — молчаливые и подавленные, мы тащились добрых полчаса, — большие ржаво-коричневые двустворчатые двери шинка были уже заперты и даже погашен висевший перед ними фонарь. Нам пришлось стучать — подошел работник, Онуфрий, и открыл. Шинок Ядловкера я знал, успел раз-другой там побывать, знал и обычно царившую там суматоху, тот особый вид шума, какой поднимают люди, внезапно ставшие безродными, отчаявшиеся, все те, у кого, в сущности, нет настоящего, те, кто только еще на пути из прошлого в будущее, из родного прошлого в крайне ненадежное будущее, — пассажиры парохода приблизительно в ту минуту, когда они переходят по шатким сходням с твердой земли на чужой корабль.

Однако сегодня там царила тишина, зловещая тишина. Даже маленький Каптурак, один из самых энергичных и шумных агентов, привыкший прикрывать все то, что он в силу своей профессии и по своей природе вынужден был скрывать, отталкивающе-суетливой болтовней, сегодня молча сидел в углу, на скамье у печки, еще меньше и тщедушнее, чем был всегда, а потому вдвойне незаметный — немая собственная тень. Только позавчера он переправил через границу так называемую "смену", или, как еще выражались люди его профессии в своем кругу, "груз" дезертиров, а теперь на стенах красовался манифест императора, началась война, и даже мощное пароходное агентство стало немощным; мощный гром всемирной истории заставил маленького болтливого Каптурака умолкнуть, а ее грозная молния низвела его до жалкой тени. Дезертиры — жертвы Каптурака — тупо и осоловело сидели перед своими лишь наполовину опорожненными стаканами. Прежде, когда бы я ни заглянул в шинок Ядловкера, я с совершенно особым удовольствием молодого ветреного человека, видящего в легкомысленном поведении других людей, даже совершенно ему чуждых, легитимное подтверждение собственной бессовестности, наблюдал беспечность тех, кто только что сделался безродным и теперь осушал стакан за стаканом и заказывал новые — стакан за стаканом. Хозяин, Ядловкер, самолично сидел за стойкой со зловещим видом, как вестник беды, хоть и не как ее гонец, но как ее носитель, и казалось, будто у него нет ни малейшего желания наполнять кому-то новые стаканы, даже если бы его гости этого потребовали. Что бы все это значило? Завтра-послезавтра здесь могли оказаться русские. Бедняга Ядловкер, который еще неделю назад так величественно восседал здесь со своей серебряной бородкой клинышком, в известном смысле старейшина трактирщиков, настолько же под колпаком у негласно оберегавших его властей, насколько у них под подозрением, которое делало ему честь, выглядел сегодня как человек, вынужденный стереть все свое прошлое, — жертва всемирной истории. А грузная белокурая кассирша рядом с ним за стойкой была тоже словно бы временно уволена всемирной историей. Все частное разом переместилось в сферу официального. Оно представляло эту официальность, замещало и символизировало ее. Поэтому наше прощание было таким скомканным и таким коротким. Мы выпили всего лишь три стакана меда и закусили соленым горохом. Вдруг мой кузен Йозеф Бранко сказал:

— Я вовсе не поеду сперва в Сараево. Я запишусь добровольцем в Злочеве, вместе с Манесом!

— Браво! — воскликнул я. И при этом сознавал, что и сам с удовольствием поступил бы так же, как мой кузен.

Но я думал о Элизабет.

XIII

Я думал о Элизабет. С тех пор как я прочитал манифест императора, у меня было только две мысли: о смерти и о Элизабет. Я и по сей день не знаю, какая из них брала верх.

Перед лицом смерти развеялись и забылись все мои дурацкие опасения стать мишенью для дурацких насмешек моих друзей. Я вдруг почувствовал в себе мужество, впервые в жизни я набрался мужества открыто признаться в моей так называемой "слабости". Я, конечно, уже догадывался, что легкомысленное озорство моих друзей отступит перед черным сиянием смерти и что в час прощания, такого прощания, уже не останется места для какого бы то ни было ехидства.

Я тоже мог бы явиться в окружной военный комиссариат Злочева, к которому был приписан кучер Манес и куда собирался пойти также мой кузен Йозеф Бранко. У меня на самом деле было намерение забыть Элизабет, забыть своих венских друзей и свою мать и как можно скорее отдаться во власть ближайшей станции смерти, то есть окружного военного комиссариата Злочева. Ведь я был очень привязан к моему кузену Йозефу Бранко и к его другу кучеру Манесу. От близости смерти чувства мои стали честнее и словно бы чище, так же как иногда у человека, пораженного тяжелой болезнью, вдруг проясняются все его взгляды и представления, до такой степени, что, несмотря на страх, подавленность и гнетущее предчувствие страданий, он испытывает нечто вроде гордого удовлетворения тем, что наконец-то достиг познания, счастье оттого, что это познание открылось ему благодаря страданиям, и блаженство потому, что он заранее узнал цену своего открытия. Человек бывает очень счастлив во время болезни. Я тогда был тоже очень счастлив ввиду той страшной болезни, которая объявилась в мире, ввиду мировой войны. Теперь я мог дать полную волю всем своим бредовым фантазиям, какие обычно подавлял. Я был в той же мере освобожден, что и подвергался опасности.

Я уже понял, что кузен Йозеф Бранко и его приятель Манес Райзигер мне милее, чем все мои прежние друзья, за исключением графа Хойницкого. В то время многие представляли себе войну очень просто и довольно-таки легковесно. Я, по крайней мере, принадлежал к числу тех нередких людей, которые полагали, что мы выступим торжественным маршем в те или иные гарнизоны, по возможности сообща, и останемся если не рядом, то все же на доступном для нас расстоянии друг от друга. Я желал для себя остаться поблизости от моего кузена Йозефа Бранко и его друга извозчика Манеса.

Однако нельзя было терять время. Вообще в те дни нас угнетало, прямо-таки давило сознание, что у нас больше нет времени, нет времени на то, чтобы насладиться тем небольшим пространством, какое нам еще оставила жизнь, и даже на то, чтобы дожидаться смерти. В сущности, мы тогда даже не знали, чего хотим, — ждем ли с нетерпением смерти или надеемся на жизнь. Во всяком случае, я и мне подобные переживали тогда часы высочайшего напряжения, часы, когда смерть представляется не пропастью, в какую ты однажды рухнешь, но противоположным бере-

гом, куда ты стремишься перемахнуть одним прыжком, а ведь известно, сколь долго длятся секунды, предшествующие прыжку на тот берег.

Сначала я, разумеется, отправился домой к матушке. Она явно уже не надеялась еще раз меня увидеть, но притворилась, будто ждала меня. Это одна из материнских тайн: матери никогда не смиряются с тем, что больше не увидят своих детей, ни тех, кого они полагают умершими, ни тех, кто действительно умер; а случись такое, что умершее чадо воскресло бы перед своей матерью, она заключила бы его в объятья так же естественно, как если бы он возвратился не с того света, а из каких-то дальних краев этого. Мать всегда ждет возвращения своего дитяти, куда бы оно ни отбыло — в дальний или ближний край или в небытие. С такой же готовностью приняла меня и моя матушка, когда я заявился к ней где-то в десятом часу утра. Она, как обычно, сидела в кресле после только что законченного завтрака, держа перед собой газету и нацепив на нос старомодные очки с овальными стеклами в стальной оправе. Когда я вошел, очки она сняла, но газету не отложила.

— Целую ручку, мама! — сказал я, подошел к ней и взял у нее из рук газету.

Я прямо-таки упал к ней на колени. Она целовала меня в губы, в щеки, в лоб.

— Идет война, — сказала она, словно сообщая мне новость или так, будто для нее война разразилась аккурат в ту минуту, когда я пришел домой, чтобы проститься с ней, моей матерью.

— Идет война, мама, — ответил я, — и я вернулся с тобой попрощаться. А еще затем, — добавил я немного погодя, — чтобы жениться на Элизабет, прежде чем я уйду на войну.

— Зачем жениться, — спросила матушка, — если ты все равно идешь на войну? — Даже и тут она все еще рассуждала как мать. Если уж ей приходилось отпускать сына — притом единственного сына — на смерть, то она хотела отдать его смерти одна. Она не желала делить с какой-то другой женщиной ни обладание, ни утрату.

Наверно, она уже давно догадывалась, что я люблю Элизабет. (Она хорошо ее знала.) Наверно, моя мать давно уже опасалась, что в один прекрасный день ее единственного сына у нее отнимут — отнимет другая женщина, и это, возможно, казалось ей еще хуже, чем если бы его отняла смерть.

— Дитя мое, — сказала она, — ты сам в силах и ты один вправе решать свою судьбу. Ты хочешь жениться, прежде чем пойти на войну, это я понимаю. Я не мужчина, и я никогда не видела войны, мало знаю военных. Но я знаю одно: война — это нечто страшное, и она, возможно, тебя погубит. Настала минута, когда я могу сказать тебе правду. Я терпеть не могу Элизабет. Однако и при других обстоятельствах я не стала бы тебе мешать на ней жениться. Только я никогда не сказала бы тебе правды. Женись и будь счастлив, если тебе позволяют обстоятельства. И хватит об этом! Поговорим о других вещах: когда ты уходишь в армию? И где?

Впервые в жизни я чувствовал себя перед матерью растерянным, даже никчемным. Я был способен пробормотать ей в ответ лишь жалкие слова: “Мама, я скоро вернусь!” Слова, которые и по сей день звучат у меня в ушах как кощунство.

— Приходи обедать, сынок, — сказала она, как будто бы в мире совсем ничего не случилось, сказала, как всегда говорила нечто подобное: — на обед у нас сегодня шницель и вареники со сливами.

Мне это показалось чудесным проявлением материнского чувства: такое внезапное вторжение мирных вареников со сливами в, так сказать, уже раскинувшую свои сети смерть. Я был до того растроган, что едва не стал на колени. Но тогда я был еще слишком юн, чтобы без стыда выразить свою растроганность. И с тех пор я также знаю, что надо быть вполне зрелым и хотя бы достаточно опытным человеком, чтобы стыд не мешал тебе выражать свои чувства.

Я поцеловал матушке руку, как обычно. Ее рука — этого я никогда не забуду — была нежной, тонкой, с голубыми жилками. Сквозь темно-красные шелковые гардины в комнату проникал слегка приглушенный утренний свет, словно молчаливый и парадно одетый гость. Белая рука матушки тоже казалась порозовевшей словно от румянца смущения, эта благословенная рука в прозрачной перчатке из процеженного утреннего солнца. И робкий осенний щебет птиц в нашем саду казался мне почти родным и в то же время почти чуждым, как родная рука матушки с красноватым налетом.

— Я не могу терять время, — только и сказал я.

И отправился к отцу моей любимой Элизабет.

XIV

Отец моей любимой Элизабет был известным в то время, можно даже сказать, знаменитым шляпочником. Из обычного "императорского советника" он сделался не столь уж необычным венгерским бароном. Весьма причудливые нравы старой монархии иногда требовали, чтобы коммерции советники австрийского происхождения становились венгерскими баронами.

Война пришлась моему будущему тестю как нельзя более кстати. Он был уже слишком стар для призыва в армию, но достаточно молод для того, чтобы из серьезного шляпного фабриканта превратиться в шустрого изготовителя солдатских кепи, которые приносили ему намного больше дохода и обходились намного дешевле, нежели цилиндры.

Когда я зашел к нему, был полдень, на ратуше как раз пробило двенадцать часов и он только что вернулся из военного министерства, которое посетил с отрадным для себя результатом. Он получил заказ на полмиллиона солдатских кепи. Таким образом, сказал он мне, он, беспомощный стареющий человек, может все-таки послужить родине. При этом он обеими руками не переставая ерошил свои белокурые с проседью бакенбарды, и создавалось впечатление, словно ему хочется приласкать обе половины монархии — как цис-, так и транслейтанскую. Тесть мой был мужчина высокий, крепкий и неповоротливый и напоминал мне этакого лучезарного носильщика, который взвалил на себя груз — изготовить полмиллиона кепи и которого этот груз скорее возносил над землей, нежели придавливал к ней.

— Вы, конечно, тоже идете в армию! — сказал он прямо-таки веселым голосом. — Позволю себе предположить, что моя дочь будет без вас скучать.

В этот миг я почувствовал, что у меня не хватит духу попросить у него руки его дочери. И с той стремительностью, с какой человек пытается все-таки сделать невозможное возможным, и с поспешностью, с какой все ближе подступавшая смерть принуждала меня исчерпать до

конца жалкие остатки моих жизненных сил, я неучтиво и нетерпеливо заявил шляпочнику:

— Мне необходимо немедленно видеть вашу дочь.

— Мой юный друг, — ответил он, — я знаю, вы хотите просить ее руки. Знаю, что Элизабет не скажет "нет". Так что примите пока мою руку и считайте себя моим сыном! — С этими словами он протянул мне свою большую, мягкую и слишком уж белую руку. Я взял ее, и у меня было такое чувство, будто я прикоснулся к тесту, из которого нельзя ничего испечь. Это была рука без мышц и без тепла. Она обличала лживость произнесенного им слова "сын", даже опровергала его. Пришла Элизабет, и шляпочник избавил меня от объяснений.

— Господин Тротта уходит на войну, — сказал мой тесть так, как если бы говорил: "уезжает отдыхать на Ривьеру", — но до этого он хотел бы на тебе жениться.

Он говорил таким же тоном, каким, наверно, час тому назад беседовал в военном министерстве с референтом по обмундированию о солдатских кепи. Но здесь была Элизабет. Здесь была ее улыбка, она словно лучилась ею, то был свет, рождавшийся в ней и, казалось бы, вечный, непрестанно самообновляющийся — серебряное счастье, которое как будто бы звенело, хотя и было беззвучным.

Мы обнялись. Мы поцеловались, в первый раз, поцеловались горячо, почти бесстыдно, несмотря на внимательный взгляд отца, да, наверно, даже с блаженно-дерзким сознанием того, что рядом находится свидетель нашего молчаливого сговора. Я себя выдал. У меня не было времени. Смерть уже стояла у меня за спиной. Я уже был ее чадом, даже в большей степени, чем сыном шляпочника. Мне надо было возвращаться к друзьям из Двадцать первого драгунского на Ландштрассер-Хауптштрассе[1]. Я поспешил туда из объятий невесты — прямо в армию, из любви — в погибель. И то и другое я ощущал всем сердцем. Я подозвал фиакр и покатил в казарму.

Там я застал нескольких друзей и сослуживцев. Некоторые из них так же, как я, прибыли туда прямо из объятий.

XV

Они прибыли прямо из объятий, и у них было такое чувство, будто они уже исполнили свои важнейшие воинские обязанности. Были назначены свадьбы. У каждого из них имелась какая-нибудь девушка, на которой он мог жениться, пусть то была и социально не подобающая ему невеста, а какая-то случайная, из тех, что в те времена часто попадались нашему брату, прилетая из неведомых краев, из неисследимых глубин, подобные ночным мотылькам, что летними ночами, влетев в открытые окна, садятся на стол, на кровать, на каминную полку, — трепещущие, летучие, легкие, безоглядно жертвующие собой, бархатистые дары короткой и щедрой ночи. Каждый из нас, если бы продолжалась мирная жизнь, наверняка воспротивился бы узаконенному союзу с женщиной. Только престолонаследники обязаны были в те времена вступать в законный брак. Наши отцы к тридцати годам были уже почтенными, а часто и многодетными обладателями семейств и домов. У нас же, у поколения, рожденного для войны, инстинкт к продолжению рода явно угас. Мы не

1. Улица в III районе Вены — одном из центральных.

испытывали никакого желания к самовоспроизведению. Смерть скрестила свои костлявые руки не только над бокалами, из которых мы пили, но и над постелями, где мы спали с женщинами. Потому-то наши тогдашние подруги были такими случайными. Мы не так уж высоко ценили да-

же то наслаждение, какое дарила нам похоть.

Однако теперь, когда война нежданно затребовала нас на призывные пункты, первой мыслью, какую она у нас вызвала, была мысль не о смерти, а о чести и о сестре смерти — опасности. Чувство чести — тоже притупляющее наркотическое средство, у нас оно притупило страх и все недобрые предчувствия. Когда смертельно больные люди составляют завещания и приводят в порядок свои земные дела, то, возможно, их пробирает дрожь ужаса. Но мы-то ведь были молодые и крепкие ребята! Мы не испытывали ужаса, настоящего ужаса, однако нам нравилось, нам было лестно вызывать его у тех, кто оставался дома. Да, из тщеславия мы составляли завещания, из тщеславия торопливо шли под венец, в такой спешке, которая заранее исключала здравое размышление и тем более раскаяние. Женитьба придавала нам еще более благородный вид, чем сама наша кровавая жертва. Она представляла нам смерть, которую мы хоть и боялись, но все-таки предпочитали пожизненным узам, менее опасной и безобразной. В известной степени мы отрезали себе путь к отступлению. И тот первый, незабываемый и бурный порыв, с каким мы бросались в первые злосчастные сражения, наверняка поддерживался страхом перед возвращением в "домашнюю" жизнь, перед мебелью, которая становится подагрической, перед женщинами, теряющими свою прелесть, перед детьми, которые являются на свет прелестными, как ангелочки, а вырастают чужими и злобными существами. Нет, ничего этого мы не хотели. Опасность так и так была неминуема. Но чтобы подсластить пилюлю, мы вступали в брак. И, вооружившись таким образом, могли шагнуть навстречу опасности, словно еще неведомой, но уже приветливо встречавшей нас родине...

Хотя я знал и несмотря на то, что я знал: я сам чувствую в точности то же, что и мои товарищи — прапорщик запаса Беренфельс, лейтенант Хартман, старший лейтенант Линк, барон Лерх и кандидат в офицеры доктор Брозинер, — все, кого я здесь перечислил, казались мне в сравнении с моим кузеном Йозефом Бранко и его другом, еврейским извозчиком Манесом Райзигером, людьми поверхностными, легкомысленными, ненадежными товарищами, глупцами, не достойными ни смерти, навстречу которой они тогда выступали, ни завещаний и венчаний, которые намеревались организовать. Я любил своих ребят из Двадцать первого стрелкового, ясное дело! Старой императорско-королевской армии был присущ свой патриотизм, региональный патриотизм, полковой и батальонный патриотизм. Я вырос и получил военное воспитание, когда служил в армии под началом ротного командира Марека, капрала Тюрлинга, ефрейтора Алоиса Губера, и позднее, на ежегодных сборах. Ведь на военной службе словно бы растешь второй раз: как дитя малое учится ходить, так и ты, став солдатом, учишься маршировать. Ни в жизнь не забудешь новобранцев, которые разом обучаются маршировать, чистить ружье, осваивают ружейные приемы, укладку ранца, то, как положено застилать постель, делать скатку из шинели и чистить сапоги, а еще — ночное дежурство, служебный устав, часть вторая, и определения: субординация и дисциплина, служебный устав, часть первая. Этого ни в жизнь не забыть, не забыть и пойменного луга, на котором

мы учились бегать с прижатыми к себе локтями, а поздней осенью занимались гимнастическими упражнениями в сером тумане, который окутывал деревья и каждую елку превращал в серо-синюю вдову; не забыть и прогалины впереди, где вскоре, после привала в десять часов, должны были начинаться тактические учения на местности — идиллические предвестники красной войны. Нет, этого не забыть. Пойменный луг Двадцать первого стрелкового был моей родиной.

Однако мои товарищи были так веселы! Мы сидели в маленьком трактире, который, в сущности, изначально, так сказать от рождения, трактиром не был. Вернее, за долгие, немыслимо долгие годы, в ходе которых наша казарма, казарма Двадцать первого стрелкового, сделалась в этих краях своей и привычной, он из обыкновенного магазина, где можно было купить всевозможные мелочи — звездочки, нашивки одногодичника, розетки и шнурки для ботинок, — превратился в трактир. Так называемые позументы все еще лежали в ящиках за стойкой. В полутьме магазина значительно сильнее пахло картонными коробками, где хранились звезды — из белого каучука, из золотистого шелка, розетки для военных чиновников и темляки, похожие на связанные пучками струйки мелкого дождичка, — нежели сидром, водкой и старым "гумпольдскирхнером". Перед прилавком были поставлены три-четыре столика. Они оставались здесь еще со времен нашей юности. Тогда мы приобрели эти столики, а концессию на продажу в розлив спиртных напитков получил владелец магазина, позументщик Цинкер — исключительно благодаря предстательству нашего батальонного командира майора Паули. Штатским, однако, пить у позументщика не дозволялось! Концессия распространялась только на военных.

И вот мы опять сидели все вместе в лавке позументщика, как некогда, во время нашей одногодичной службы. И меня глубоко оскорбляла именно беззаботность моих товарищей, с какою они сегодня так же бурно приветствовали предстоящую победу, как много лет назад пили за успешную сдачу близившегося офицерского экзамена. В то время во мне, по-видимому, жило очень сильное пророческое предчувствие — предчувствие, что эти мои товарищи вполне способны выдержать офицерский экзамен, но отнюдь не войну. Слишком уж большими баловнями выросли в Вене, которую непрестанно питали коронные земли монархии, эти безобидные, до смешного безобидные дети изнеженной, слишком часто воспеваемой столицы монархии, резиденции императора, которая подобно блестящему соблазнителю-пауку сидела в середине огромной черно-желтой сети и без конца высасывала силу, и сок, и блеск из окружавших ее коронных земель. На те налоги, какие платил мой бедный кузен, торговец жареными каштанами Йозеф Бранко Тротта из Сиполья, на те налоги, какие платил мой влачивший жалкое существование еврейский извозчик Манес Райзигер из Злотогрода, жили гордые дома на Ринге, принадлежавшие еврейской семье Тодеско, получившей баронский титул, и здания государственных учреждений — Парламент, Дворец правосудия, Университет, банк "Земельный кредит", Бургтеатер, Придворная опера и даже Полицейское управление. Пестрое веселье столицы империи и резиденции императора совершенно явно питалось — мой отец так часто это повторял — трагической любовью коронных земель к Австрии: трагической, потому что безответной. Цыгане из пушты, гуцулы из предгорий Карпат, еврейские извозчики из Галиции, мои собственные родичи — словенские торговцы жареными каштанами из Сиполья, швабские табачные плантаторы из

Бачки, степные коневоды, османские сиберзны, таковые же из Боснии и Герцеговины, барышники из Ганакея в Моравии, ткачи из Рудных гор, мельники и торговцы кораллами из Подолии — все они были щедрыми кормильцами Австрии, и чем беднее, тем щедрее. Столько горя, столько боли, пожертвованных добровольно, словно это само собой разумелось, понадобилось для того, чтобы центр монархии прослыл в мире родиной изящества, веселого нрава и гениальности. Наше благоденствие росло и ширилось, но его поле было удобрено страданием и печалью. Сидя в компании друзей, я думал о Манесе Райзигере и о Йозефе Бранко. Эти двое, конечно, не собирались идти на смерть с таким изяществом, не собирались на такую изящную смерть, как мои товарищи по батальону. И я тоже нет, я тоже нет! Должно быть, в те дни я, в отличие от моих товарищей и, стало быть, в противоположность им, был единственным человеком, который ощущал мрачный гнет грядущего. Поэтому я неожиданно встал и, к собственному изумлению, сказал следующее:

— Товарищи мои! Я всех вас очень люблю, как и должно всегда водиться между товарищами, особенно накануне смерти. — Тут я остановился и дальше говорить не мог. Замерло сердце, отказал язык. Я вспомнил своего отца и — да простит мне Господь этот грех! — я солгал. Солгал, приписав моему покойному отцу слова, каких он на самом деле никогда не говорил, но какие действительно мог сказать. Так что я продолжал: — Одним из последних желаний моего отца было, чтобы в случае войны, которую он предвидел в ближайшее время, я не вступил бы вместе с вами в наш дорогой Двадцать первый полк, а отправился бы в часть, где служит мой кузен Йозеф Бранко.

Все молчали. Никогда в жизни не слышал я такого молчания. Казалось, будто я отнял у них всю их легкомысленную радость от войны, испортил им игру — игру в войну.

Я ясно почувствовал, что здесь мне больше делать нечего, поднялся и пожал всем руки. И по сей день я ощущаю холодные, разочарованные руки моих однополчан. Это меня глубоко огорчило. Но я хотел умереть вместе с Йозефом Бранко, моим кузеном, который жарил каштаны, и с Манесом Райзигером, кучером из Злотогрода, а не с молодыми людьми, вальсирующими на балах.

Так я в первый раз утратил свою первую родину, а именно — товарищей из Двадцать первого стрелкового вместе с нашим любимым заливным лугом в Пратере.

XVI

Теперь я должен был нанести визит другу графа Хойницкого подполковнику Штельмахеру из Военного министерства. Процедура моего перевода в 35-й полк ландвера должна была длиться не дольше, чем приготовления к венчанию. Мне было приятно, что я могу почти одновременно предпринять два таких разных и к тому же сбивающих с толку демарша. Один словно бы ускорял другой. Оба они прямо-таки оглушали меня, однако в то же время не позволяли мне оправдывать мою спешку уважительными причинами. В те дни я был способен твердить лишь одно: “Все надо делать быстро”. И даже не хотел толком знать, почему и ради каких целей. Но глубоко внутри у меня, подобно мелкому дождичку, который слышишь сквозь сон, не унималось предчувствие, что мои друзья Йозеф Бранко и Райзигер бредут где-то по слякотным проселочным до-

рогам Восточной Галиции, преследуемые казаками. Кто знает, быть может, они уже ранены или убиты? Ладно, тогда я, по крайней мере, хотел бы почтить их память тем, что стал бы служить в их полку. Молодой я был, да и о войне мы еще не имели никакого понятия! С какой легкостью завладело мною тогда представление, будто бы мне выпала задача рассказывать славным ребятам из Тридцать пятого про их павших товарищей Тротту и Райзигера правдивые, а также слегка присочиненные анекдоты, дабы их обоих никогда бы и нипочем не забыли. В Тридцать пятом служили тогда славные крестьяне-бедняки, фельдфебели с их казенным немецким языком, насаженным сверху на их родные славянские языки, как знаки отличия на обшлага, золотисто-желтые галуны на узенькие темно-зеленые полоски, офицеры же были не балованные сынки нашей развеселой Вены, это были сыновья ремесленников, почтальонов, жандармов, а также землевладельцев, арендаторов и табачных торговцев. Быть принятым в их компанию означало для меня тогда приблизительно то же самое, что для того или иного из них, скажем, перевод в Девятый драгунский полк графа Хойницкого. Это было, конечно, одно из тех представлений, какие уничижительно называют "романтическими". Весьма далекий от того, чтобы их стыдиться, я сегодня по-прежнему настаиваю на том, что этот период моей жизни со всеми его романтическими представлениями приблизил меня к действительности больше, нежели те редкие неромантические представления, какие я вынужден был себе навязывать. До чего глупы, однако, эти традиционные обозначения! Если уж с ними считаться, ладно: мне кажется, я всегда наблюдал, что так называемый реалистический человек стоит в мире неприступный, как ограждающая стена из цемента и бетона, а так называемый романтический — как открытый сад, куда истина входит и выходит когда ей заблагорассудится...

Итак, мне надо было посетить подполковника Штельмахера. В нашей старой монархии перевод из армии в ландвер или всего лишь из горнострелковых частей в пехоту был чем-то вроде акта военно-государственного значения, не труднее, но запутаннее, нежели процедура назначения командира дивизии. Однако в столь дорогом мне исчезнувшем мире, то есть в старой монархии, существовали ценные, восхитительные, неписаные, неведомые, недоступные, хорошо известные посвященным законы, и были они более железными и вечными, нежели писаные, которые гласили, что из ста просителей только семеро избранных будут милостиво, быстро и бесшумно удостоены исполнения своих желаний. Я знаю, фанатики абсолютной справедливости возмущаются этим и по сей день. Они и сейчас еще обзывают нас аристократами и эстетами; а я всечасно вижу, как они — не аристократы и антиэстеты — прокладывают дорогу своим братьям, фанатикам тупоумной, плебейской несправедливости. Можно ведь посеять и зубы такого дракона, как абсолютная справедливость.

Но, как я уже говорил, в то время у меня не было ни желания, ни досуга на раздумья. Я направился к Штельмахеру прямо по коридору, где ждали приема капитаны, майоры, полковники, и я, жалкий, тщедушный прапорщик стрелкового полка, вошел прямо в ту дверь, на которой значилась надпись "Вход воспрещен". "Привет!" — сказал еще до того, как увидел меня, Штельмахер, который сидел, склонившись над своими бумагами. Он прекрасно знал, как по-свойски приветствовать людей, входящих в запретные двери. Я увидел его жесткие седые волосы щеткой, жел-

товатый и словно жеваный лоб, крошечные, глубоко посаженные глаза, как будто бы совсем без ресниц, впалые скуластые щеки и большие свисающие, крашенные в черный цвет почти сарацинские усы, в которые Штельмахер, казалось, загнал все свое тщеславие, словно бы для того, чтобы оно больше нигде ему не мешало (ни в жизни, ни в работе). В последний раз я видел его в кондитерской Демеля, в пять часов дня, в обществе надворного советника Зоргзама с Бальхаусплац. Мы еще не имели ни малейшего понятия о войне; май, городской венский май плескался в маленьких чашечках с серебряной каемкой, в каких подавали "золотой" кофе, реял над приборами, над шоколадными палочками с обильной начинкой, над пирожными с розовым и зеленым кремом, напоминавшими необыкновенные съедобные драгоценности, и посреди этого мая надворный советник Зоргзам заметил: "Никакой войны не будет, господа!" Сейчас подполковник Штельмахер оторвал рассеянный взгляд от своих бумаг, он даже не увидел моего лица, заметил только мундир, темляк, саблю — достаточно, чтобы еще раз сказать "Привет!" — и сразу затем:

— Садись, я сию минуту! — В конце концов он внимательно меня рассмотрел. — У тебя шикарный вид! — И еще: — Я тебя не узнал! В штатском ты выглядишь каким-то заморышем! — Однако он произнес все это не тем звучным низким голосом, какой я знал уже много лет, да и шутки его казались вымученными. Никогда прежде с уст Штельмахера не слетало легковесное слово. Оно бы неизбежно запуталось в замечательной чаще его черных крашеных усов и беззвучно бы сгинуло там.

Я быстро изложил свою просьбу. И даже попытался объяснить, зачем хочу перевестись в Тридцать пятый.

— Если ты его еще найдешь! — ответил Штельмахер. — Новости плохие! Два полка уничтожены почти полностью. Мы катастрофически отступаем. Наши господа обер-идиоты здорово нас уделали. Но так и быть! Ступай, постарайся найти этот твой Тридцать пятый! И купи себе две звездочки. Ты переводишься в звание лейтенанта. Привет. Вольно! — Он протянул мне руку через стол. Его светлые глаза почти без ресниц, о которых трудно было подумать, что они способны когда-либо одолеть сон, дремоту, усталость, смотрели на меня издалека, отчужденно, словно из-за толстого стекла, но вовсе не печально, нет, — печальней печального, то есть безнадежно. Он попытался улыбнуться. Его большая вставная челюсть сверкнула ослепительной белизной под сарацинскими усами. — Пришли мне открытку с красивым видом! — бросил он и опять склонился над бумагами.

XVII

Священники в те дни работали так же быстро, как пекари, оружейники, дирекции железных дорог, фабриканты солдатских кепи и портные, что шили мундиры. Мы хотели венчаться в Дёблингской церкви — еще жив был человек, крестивший там мою невесту, а мой тесть был сентиментален, как большинство армейских поставщиков. Мой подарок Элизабет был, в сущности, подарком от моей матери. Я совершенно не подумал о том, что подарки невесте — дело обязательное и необходимое. Когда я пришел обедать — про вареники со сливами я тоже совершенно забыл, — матушка уже сидела за столом. Как обычно, я поцеловал ей руку, она поцеловала меня в лоб. Слуге я наказал купить мне в магазине Урбана на Тухлаубене темно-зеленые петлицы и лейтенантские звездочки.

— Тебя переводят? — спросила матушка.
— Да, мама, в Тридцать пятый полк!
— Где он стоит?
— В Восточной Галиции.
— Ты едешь завтра?
— Послезавтра!
— А венчание завтра?
— Да, мама!

В нашем доме сложился обычай хвалить блюда во время еды, даже если они не удались, и ни о чем другом не говорить. И похвалы не должны были звучать банально, скорее неожиданно и замысловато. Так я, например, говорил, что жаркое напоминает мне одно совершенно определенное блюдо, какое я ел шесть или восемь лет тому назад, тоже во вторник, и зелень к нему сегодня, как и в тот раз, была от него прямо-таки неотделима. Когда подали вареники со сливами, я сделал вид, что просто онемел:

— Пожалуйста, чтоб были точно такие же, когда я вернусь! — наказал я Жаку.

— Как прикажете, молодой барин, — ответствовал старик.

Матушка вышла из-за стола еще до того, как подали кофе, — поступок необычный. Она принесла из своего кабинета два темно-красных сафьяновых футляра, которые я нередко видел, ими любовался, но не решался спросить, что в них содержится. Любопытство, правда, меня не оставляло, но в то же время я был счастлив сознавать, что рядом со мной существуют две непроницаемые тайны.

Теперь наконец мне собирались их открыть. В первом футляре, меньшем по размеру, лежал портрет на эмали моего отца, обрамленный узкой золотой полоской. Его большие усы, черные горящие, почти фанатичные глаза, пышный, со множеством тщательно заложенных складок галстук вокруг слишком высокого стоячего воротничка делали его каким-то чужим. По-видимому, так он выглядел до моего рождения. Такой он оставался для матушки живым, любимым и близким. Я блондин с голубыми глазами, и эти глаза всегда были скорее скептическими, печальными, знающими, а отнюдь не верующими и фанатичными. Но матушка сказала:

— Ты точно такой же, как он, возьми этот портрет с собой!

Я поблагодарил ее и взял портрет. Моя матушка была умная, проницательная женщина. Теперь мне стало ясно, что она никогда по-настоящему меня не видела. Конечно, она могла горячо любить меня. Но любила она сына своего мужа, а не свое дитя. Она была женщиной. Я был наследником ее возлюбленного, рожденным от его чресел по велению судьбы, а из ее лона — лишь по случайности.

Матушка открыла второй футляр. На белоснежном бархате лежал большой фиолетовый шестигранной формы аметист, прикрепленный к золотой цепочке тонкого плетения, в сравнении с которой камень казался слишком крупным, почти огромным. Создавалось впечатление, будто камень не висит на цепочке, а эту цепочку присвоил и таскает за собой, как безвольную, преданную рабыню.

— Для твоей невесты! — сказала матушка. — Отнеси ей прямо сегодня!

Я поцеловал матушке руку и этот футляр также положил в карман.

В эту минуту наш слуга доложил, что приехали гости — мой тесть и Элизабет.

— В гостиную! — приказала матушка. — Зеркало!

Жак принес ей овальное ручное зеркало. Она довольно долго не шевелясь всматривалась в свое лицо. Да, женщинам ее времени еще не надо было с помощью румян, пудры, гребенок, а то и просто пальцев поправлять свое платье, лицо, волосы. Казалось, будто моя матушка одним взглядом требует от всего, во что она сейчас всматривалась, проверяя свое отражение, — от волос, лица, платья — особой дисциплины. Она и пальцем не шевельнула, но вся ее простота, доверительность разом исчезли, и даже я почувствовал себя чуть ли не гостем какой-то незнакомой пожилой дамы.

— Идем! — сказала она. — Подай мне трость!

Тонкая трость черного дерева с серебряным набалдашником стояла прислоненная к спинке стула. Матушке она требовалась не для опоры, а как знак ее достоинства.

Тесть явился в наглухо застегнутом сюртуке и в перчатках, скорее вооруженный, нежели принаряженный, Элизабет была в доверху закрытом серебристо-сером платье с алмазным крестом на груди. Она казалась более высокой, чем обычно, и была бледна, как аграф из матового серебра на ее левом бедре. Когда мы вошли в гостиную, отец и дочь стояли выпрямившись и словно застыв. Тесть поклонился, Элизабет попыталась сделать книксен. Я беззаботно поцеловал ее. Война избавила меня от всех излишних церемониальных обязательств.

— Простите за вторжение! — сказал мой тесть.

— Это очень приятный визит, — поправила его матушка. При этом она смотрела на Элизабет.

Через две-три недели я снова буду дома, пошутил мой тесть. Матушка сидела на узком жестком стуле эпохи рококо, прямая и словно в броне.

— Люди, — сказала она, — нередко хорошо знают, когда они уедут. Но никогда не знают, когда вернутся. — Говоря это, она смотрела на Элизабет. Она приказала подать в гостиную кофе, ликер и коньяк. Ни на миг не улыбнулась, но в определенный момент устремила взгляд на карман моей гимнастерки, куда я положил футляр с аметистом. Я понял и без единого слова надел кулон на шею Элизабет. Камень лег к ней на грудь над крестом. Элизабет улыбнулась, подошла к зеркалу и — матушка кивнула ей — сняла крест. Аметист играл фиолетовым блеском на серебристо-сером платье. Он напоминал замерзшую кровь на замерзшей земле. Я отвернулся.

Мы поднялись. Матушка обняла Элизабет, но не поцеловала.

— Ты поедешь вместе с гостями! — приказала она мне. И прибавила: — Приходи сегодня вечером! Я хочу знать, в котором часу вы венчаетесь. На ужин у меня рыба — голубой линь! — Она слегка взмахнула рукой, как взмахивают веерами королевы, и скрылась.

Внизу в машине — мой тесть ездил на автомобиле (марку он мне назвал, да я запамятовал) — я узнал, что в Дёблингской церкви все готово. Время — вероятнее всего, десять часов утра — точно еще не назначили. Нашими свидетелями будут Зелинский и Хайдеггер. Нехитрая церемония.

— По-военному скромно, — заметил тесть.

Вечером, когда мы медленно и осторожно поедали голубых линей, матушка, наверное, впервые с тех пор, как она стала полновластной хозяйкой дома, заговорила за едой о так называемых серьезных вещах. Я как раз начал нахваливать линей. Она перебила меня:

— Возможно, мы в последний раз сидим вместе. — И только еще спросила: — Сегодня ты пойдешь со всеми прощаться, верно?

— Да, мама!

— Увидимся утром, пока!

И она ушла не оглянувшись.

Конечно, я пошел прощаться. То есть я блуждал по улицам, чтобы проститься с людьми. Там и сям встречал кого-нибудь из знакомых. Прохожие на улицах время от времени издавали невнятные возгласы. Требовалось несколько минут, чтобы понять их смысл, а они уже отзвучали. Иногда играла музыка: "Марш Радецкого", марш дойчмайстеров[1] и "Славься, Австрия моя!". Это исполняли цыганские оркестры, музыканты в кабачках, где пили молодое вино, в мелкобуржуазных кафе. Пиво лилось рекой. Когда я вошел в одно заведение, несколько унтерофицеров встали, и даже штатские приветствовали меня, подняв пивные кружки. У меня возникло такое чувство, будто бы я единственный трезвый человек в этом большом городе и потому выгляжу чудаком. Да, город, бывший для меня таким близким, куда-то уходил, отодвигался, и с каждой минутой все дальше; его улицы, переулки, сады, сколь бы людными и шумными они ни были, казались мне уже вымершими, какими мне суждено было увидеть их позднее, после войны и нашего возвращения. Я блуждал без цели до рассвета, взял комнату в старом "Бристоле", взвинченный, разгоряченный, в непрестанном борении с мыслями, планами, воспоминаниями несколько часов поспал, пошел в Военное министерство, получил благоприятный ответ, поехал в нашу казарму на Ландштрассер-Хауптштрассе и попрощался с майором Паули, нашим батальонным командиром, получил "открытый приказ", который предписывал мне — я уже назывался "лейтенант Тротта" — явиться в Тридцать пятый полк, поспешил в Дёблинг, узнал, что венчать нас будут в десять тридцать, отправился сперва к матушке и сообщил ей об этом, а потом — к Элизабет.

Мы всем говорили, будто Элизабет проедет вместе со мной часть пути до полка. Матушка, как обычно, поцеловала меня в лоб и села в фиакр — жесткая, холодная и проворная, вопреки своей обычной медлительности. Экипаж был закрытый. Еще прежде чем он двинулся с места, я успел заметить, что она торопливо задернула занавески на окошке. И я знал, что там, внутри, в полумраке двухместного экипажа, она сразу начала плакать. Мой тесть беззаботно и бодро поцеловал нас обоих. В глотке у него толклась наготове добрая сотня ненужных речений, они вылетали невозбранно и скоро развеивались, как запахи. Мы несколько резко от него оторвались.

— Я оставляю вас одних, — крикнул он нам вдогонку.

Элизабет не провожала меня на восток. Напротив, мы с ней поехали в Баден. Перед нами простирались шестнадцать часов, шестнадцать долгих, полных, насыщенных, кратких, летучих часов.

XVIII

Шестнадцать часов! Я любил Элизабет уже более трех лет, однако минувшие три года показались мне короткими в сравнении с этими шестнадцатью часами, а ведь должно было быть наоборот. Запретное — быстротечно, зато дозволенное изначально обладает долговечностью. Кроме того, мне вдруг показалось, что Элизабет хоть еще и не переме-

1. Дойчмайстеры — название особого полка в австро-венгерской армии.

нилась, но уже на пути к какой-то перемене. Однако я думал о своем тесте и находил некоторые признаки сходства между ним и ею. Несколько ее вполне определенных жестов были явно унаследованы от отца — то было отдаленное и утонченное отражение отцовских движений. Некоторые ее поступки во время поездки в Баден на трамвае чуть было не оскорбили меня. Например: не прошло и десяти минут, как трамвай тронулся, она вдруг вытащила из своего чемоданчика книжку. Книжка лежала рядом с несессером, на белье, — я подумал о ночной рубашке невесты, и один тот факт, что какая-то ничего не значащая книжонка могла лежать на почти что сакраментальном одеянии, показался мне унизительным. Это был, между прочим, сборник рисунков одного из тех северогерманских юмористов, которые в то время начали демонстрировать у нас в Вене, наряду с нашей нибелунговой верностью, с германским школьным ферейном, с доцентами высших учебных заведений из Померании, Данцига, Мекленбурга и Кёнигсберга, свое слегка отсыревшее веселье и вымученную радость. Элизабет порой отрывала глаза от книги, взглядывала на меня, минуту-другую смотрела в окно, подавляла зевок и читала дальше. Ко всему еще у нее была манера класть ногу на ногу, казавшаяся мне прямо-таки неприличной. Нравится ли ей книжка, спросил я.

— Очень остроумная! — решительно заявила она. И протянула мне книжку, чтобы я мог убедиться сам.

Я принялся читать одну из дурацких историй в середине книжки, там говорилось о восхитительном юморе Августа Сильного и о его связи с некой нескромной придворной дамой. Этих двух определяющих слов, по моему ощущению весьма точно характеризующих прусские и саксонские души, когда они предаются воскресному отдыху, мне было вполне достаточно. Я сказал:

— Да, восхитительно и нескромно!

Элизабет улыбнулась и продолжала читать дальше. Мы пошли с ней в отель "У золотого льва". Там нас дожидался наш старый слуга — единственный, кто знал о нашем баденском плане. Он сразу признался мне в том, что рассказал о нем моей матушке. Старик стоял там, на конечной остановке трамвая, держа в руке свой жесткий котелок, который он, должно быть, унаследовал от моего отца, и преподнес моей жене букет темно-красных роз. Он стоял наклонив голову, и на его светлой макушке в виде серебряной крупинки-звездочки отражалось солнце. Хоть бы слово молвила! — подумал я. Но она ничего не сказала. Немая церемония длилась бесконечно долго. Оба наших чемоданчика стояли на тротуаре. Элизабет прижимала к груди розы вместе с сумочкой. Старик спросил, чем бы еще он мог нам служить. Ему было поручено также передать нам сердечные приветы от моей матушки. Мой чемодан, мой второй мундир, мое белье уже находились в отеле.

— Спасибо тебе! — сказал я.

Я заметил, как Элизабет отошла немного в сторону. Это ее движение, эта попытка отстраниться рассердила меня. Я сказал:

— Проводи нас в отель! Я хотел бы еще с тобой поговорить!

— Слушаюсь! — ответил он, взял чемоданчики и последовал за нами.

— Я хотел бы еще потолковать со стариком! — сообщил я Элизабет. — Отлучусь на полчаса!

Мы с Жаком пошли в кафе. Он держал свой котелок на коленях, я мягко взял у него из рук этот головной убор и положил на соседний

стул. Из смотревших словно издалека бледно-голубых, немного влажных старческих глаз струилась на меня вся нежность Жака, и у меня было такое чувство, будто бы моя матушка вложила в его глаза последнее материнское послание для меня. Его подагрические руки (я давно уже не видел их голыми — только в белых перчатках) дрожали, когда он подносил ко рту кофейную чашку. Это были добрые старые руки слуги. Почему я никогда не обращал на них внимания? На искривленных суставах пальцев виднелись синие узелки, ногти были плоские, тупые, со множеством трещин, косточка на запястье — смещена, казалось, она против воли терпит жесткий край старомодной манжеты, а многочисленные светло-голубые жилки, подобные крошечным речкам, с трудом прокладывали себе дорогу под растрескавшейся кожей тыльной стороны ладони.

Мы сидели в саду кафе "Астория". Увядший золотой лист каштана, крутясь, медленно опустился на лысую голову Жака, он этого не почувствовал, ведь его кожа от старости стала нечувствительной, — я оставил лист там, куда он лег.

— Сколько тебе лет? — спросил я.

— Семьдесят восемь, молодой барин! — ответил он, и я заметил под его густыми белоснежными усами единственный большой желтый зуб. — Собственно, это я должен был бы пойти на войну, а не вы, молодые! — продолжал он. — В шестьдесят шестом году я воевал против пруссаков, в Пятнадцатом полку.

— Где ты родился? — спросил я.

— В Сиполье! — ответил Жак.

— Знаешь ли ты семейство Тротта?

— Ясное дело, знаю — всех, всех!

— А по-словенски еще говоришь?

— Позабыл уж, молодой барин!

"Отлучусь на полчаса", — сказал я Элизабет. Я не решался взглянуть на часы. Прошло уже, наверно, больше часа, но я не хотел расставаться с выцветшими старыми глазами Жака, в которых жила его сердечная боль и боль моей матери. Мне казалось, что я должен теперь наверстать двадцать три года моей жизни, прожитых легкомысленно и без любви, наверстать за один час, и я, вместо того чтобы, как обычно поступает молодожен, начать так называемую новую жизнь, стремился, скорее, подправить уже минувшую. Охотнее всего я начал бы с самого своего рождения. Мне стало ясно, что важнейшее я упустил. Но было уже слишком поздно. Я стоял лицом к лицу со смертью и с любовью. Какую-то секунду я подумывал даже о постыдной, позорной уловке. Я мог просто-напросто послать Элизабет сообщение, что должен немедленно ехать на фронт. Мог и сказать ей это, обнять ее, разыграть безутешность, отчаяние. Но смятение длилось у меня всего долю секунды. Я сразу с ним справился.

Из "Астории" я ушел. На полшага позади за мной следовал верный Жак.

У самого входа в отель, как раз когда я хотел обернуться, чтобы окончательно проститься с Жаком, я услышал его хрип. Я быстро обернулся и распростер руки. Старик упал ко мне на плечо. Его котелок со стуком покатился по камням. К нам вышел портье. Жак был без чувств. Мы отнесли его в вестибюль. Я послал за врачом и побежал наверх сказать Элизабет.

Она все еще читала своих юмористов, попивала чай и клала в свой прелестный алый рот кусочки тоста с повидлом. Увидев меня, она положила книжку на стол и раскинула руки.

— Жак, — начал я, — Жак... — и осекся. Я не хотел произносить ужасное, бесповоротное слово. Но возле рта Элизабет змеилась похотливая, и равнодушная, и веселая улыбка, которую, как я считал, я мог бы в этот миг согнать только одним зловещим словом, и потому сказал:

— Он умирает!

Она уронила раскинутые руки и ответила только:

— Он старый!

Меня позвали — приехал врач. Старик лежал уже в своей комнате, в кровати. Накрахмаленную сорочку с него сняли. Она висела на его черном сюртуке — блестящий льняной панцирь. Начищенные сапоги стояли, как часовые, у изножья кровати. Штопаные-перештопаные шерстяные носки валялись возле сапог. Вот и все, что остается от простого человека. Пара латунных запонок на тумбочке, воротничок, галстук, сапоги, носки, сюртук, брюки, сорочка. Старческие ступни с искривленными пальцами выглядывали из-под нижнего края одеяла.

— Апоплексический удар! — сказал доктор. Он был только что призван в армию обер-лейтенантом медицинской службы и успел надеть мундир. Завтра ему предстояло явиться в часть к дойчмайстерам. Наше уставное воинское представление друг другу рядом с умирающим выглядело как театральный спектакль где-нибудь в Винер-Нойштадте. Нам обоим было стыдно.

— Он умрет? — спросил я.

— Это твой отец? — спросил доктор.

— Это наш слуга! — ответил я.

Я бы охотнее сказал: мой отец. Доктор как будто бы это заметил.

— Вероятно, умрет, — ответил он.

— Этой ночью?

Он недоуменно развел руками.

Вечер наступил скоро. Пришлось зажечь свет.

Доктор сделал Жаку укол кардиазола, выписал рецепты, позвонил и послал человека в аптеку. Я украдкой вышел из комнаты. Так крадется предатель, подумал я. Так же тихо прокрался я наверх по лестнице к Элизабет, словно боялся кого-нибудь разбудить. Комната Элизабет была заперта. Моя находилась рядом. Я постучал. Попытался открыть дверь. Дверь, соединявшую наши комнаты, она заперла тоже. Я раздумывал, не применить ли силу. Но в этот миг я уже понял, что мы не любим друг друга. У меня было двое мертвецов: первой умерла моя любовь. Я похоронил ее на пороге той двери, что соединяла наши две комнаты. Потом спустился на этаж ниже, чтобы видеть, как умирает Жак.

Добряк доктор был все еще там. Он снял саблю и расстегнул гимнастерку. В комнате пахло уксусом, эфиром, камфорой, а в открытые окна вливался влажный, увядающий аромат осеннего вечера.

Обер-лейтенант медицинской службы сказал:

— Я останусь здесь, — и пожал мне руку.

Я послал матушке телеграмму, что вынужден задержать нашего слугу до самого своего отъезда. Мы с доктором поели ветчины, сыру, яблок. Выпили две бутылки “нусдорфера”.

Старик лежал на кровати посиневший, его дыхание прорезало комнату, как ржавая пила. Время от времени верхняя половина туловища у

него вздымалась, скрюченные руки тянули на себя темно-красное стеганое одеяло. Доктор смочил водой носовой платок, побрызгал на него уксусом и положил на лоб умирающему. Я дважды поднимался наверх к Элизабет. В первый раз там было тихо. Во второй я услышал ее рыдания. Я постучал сильнее. "Оставь меня!" — вскричала она. Ее голос пронзил запертую дверь, как нож.

Было, наверно, около трех часов утра, я сидел возле кровати Жака, доктор спал, без сюртука, положив руки на письменный стол и уткнувшись в них головой. Вдруг Жак поднялся с простертыми руками, открыл глаза и что-то пролепетал. Доктор мгновенно проснулся и подошел к кровати. Теперь я услышал прежний, звонкий голос Жака:

— Прошу вас, молодой барин, передайте барыне: я вернусь завтра утром. — Он упал обратно на подушки. Дыхание его стало ровным. Глаза оставались открытыми и неподвижными, казалось, веки им больше не нужны.

— Он умирает, — сказал доктор как раз в ту минуту, когда я решился опять пойти наверх к Элизабет.

Я остался. Похоже было, что смерть подступает к Жаку крайне бережно, по-матерински, поистине как ангел. Около четырех часов утра в открытое окно влетел гонимый ветром увядший, желтый лист каштана. Я поднял его и положил Жаку на одеяло. Доктор обнял меня за плечи, потом склонился над стариком, прислушался, снял руку с моего плеча и произнес:

— Отошел!

Я стал на колени и перекрестился — впервые за много-много лет.

Не прошло и двух минут, как в дверь постучали. Ночной портье принес мне письмо.

— От милостивой государыни! — сказал он.

Конверт был плохо заклеен и открылся сам собой. Я прочитал одну-единственную строчку: "Прощай! Я уезжаю домой. Элизабет". Я передал листок доктору — чужому человеку. Он прочел письмо, взглянул на меня и сказал:

— Понимаю! — И через минуту: — Я все улажу — с отелем, с похоронами и с вашей матушкой. Пока что я остаюсь в Вене. А ты куда сегодня едешь?

— На восток!

— Счастливо!

Этого доктора я больше никогда не видел. Но забыть его я не мог. Фамилия его была Грюнхут.

XIX

Я отправился на фронт своим ходом. Письмо моей жены я в первом приступе раздражения, уязвленного тщеславия, жажды мести, возможно, озлобленности — сам не знаю чего — скомкал и сунул в карман брюк. Теперь я его оттуда вытащил и снова перечитал единственную строчку. Мне было ясно, что я провинился перед Элизабет. Через некоторое время мне стало казаться, что я серьезно перед ней провинился. Я решил написать ей письмо, принялся даже доставать из чемодана бумагу, но когда я ее вытащил — в те времена люди брали с собой на фронт кожаные бювары для писем, — с пустого голубоватого листа на меня словно дохнула моя собственная досада. Казалось, будто этот пустой лист дол-

жен, в сущности, содержать все, что мне следовало еще сказать Элизабет, и будто бы я должен отослать его таким же пустым и чистым, каким он был. Я написал на нем только свое имя. Это послание я отправил со следующей станции. Письмо от Элизабет я еще раз скомкал. А комок еще раз сунул в карман.

Согласно "открытому приказу", изданному военным министерством и подписанному Штельмахером, я был зачислен в Тридцать пятый полк ландвера, то есть зачислен прямо в полк, а не приписан к окружному военному комиссариату, который вследствие военных событий был переведен из опасной зоны в глубь империи. Итак, передо мной стояла довольно-таки сложная задача: отыскать в какой-нибудь деревне, в каком-либо лесу, в городке, короче — в месте "дислокации", — мой полк, который, должно быть, непрерывно отступал, другими словами, будучи одиноким бродягой, пристать к удирающей, бродячей воинской части. Ничего похожего мы на учениях, разумеется, не проходили.

Хорошо было, что мною прежде всего завладела эта забота. Она стала для меня прямо-таки убежищем. Так я мог больше не думать о матушке, о жене, о нашем покойном слуге. Поезд, которым я ехал, каждые полчаса останавливался на какой-нибудь незначительной крошечной станции. Я и некий обер-лейтенант восемнадцать часов ехали в узком купе, похожем на спичечный коробок, пока не добрались до Камёнки. Начиная оттуда нормальные железнодорожные пути были разрушены. Лишь временная узкоколейка с тремя маленькими грузовыми платформами вела к ближайшей позиции полевого управления штаба, где "одинокому путешественнику" могли указать, хоть и без ручательства, нынешнее местоположение тех или иных полков. Платформы медленно катили по рельсам. Машинист локомотива непрестанно звонил, потому что навстречу нам по этой узкой дороге двигались толпы раненых, пешком или на крестьянских телегах. Оказалось, что я — тогда я впервые это узнал — не особенно чувствителен к так называемым "большим ужасам". Так, например, вид раненых, которые лежали на носилках, вероятно, из-за того, что им оторвало ступню или всю ногу, казался мне не столь ужасным, как плетущиеся поодиночке шаткой походкой солдаты с легкими ранениями, у которых сквозь белоснежные бинты безостановочно сочилась кровь. И при всем том по обе стороны узкоколейки, на обширных, уже тронутых осенним увяданием лугах стрекотали поздние кузнечики, ибо обманчиво теплый сентябрьский вечер побудил их поверить, будто на дворе все еще — или уже снова — лето. В расположении полевого управления штаба я случайно застал фельдкурата[1] Тридцать пятого полка. Это был дородный самодовольный служитель Господа, одетый в узкий в обтяжку блестящий сюртук священника. Во время отступления он заблудился вместе со своим слугой, своим кучером, своей лошадью и крытым обозным фургоном, где он вез алтарь и церковную утварь, но также некоторое количество домашней птицы, бутылки со спиртным, сено для лошади и вообще кое-какое реквизированное крестьянское добро. Меня он приветствовал как давно не виденного друга. Казалось, он боялся снова заблудиться, но вместе с тем никак не мог решиться пожертвовать свою птицу полевому управлению штаба, где вот уже десять дней питались только консервами и картошкой. Этого фельдкурата здесь не очень-то любили.

1. Армейский католический священник.

Но он ни за что не хотел ехать дальше наугад или по неточному маршруту, между тем как я, памятуя моего кузена Йозефа Бранко и кучера Манеса Райзигера, считал, что неточность предпочтительнее ожидания. Наш Тридцать пятый — так гласило расплывчатое указание — должен был стоять в трех километрах к северу от Бжезаны. Так что я пустился в путь вместе с фельдкуратом, с его фургоном и его птицей, без карты местности, снабженный лишь наброском плана.

В конце концов мы отыскали Тридцать пятый полк, однако не к северу от Бжезаны, а лишь в местечке Струмильце. Я доложился полковнику. Приказ о присвоении мне звания лейтенанта уже поступил к полковому адъютанту. Я выразил желание увидеться с друзьями. Они пришли. Я попросил, чтобы их перевели в мой взвод. И как они пришли! Я ждал их в канцелярии унтер-офицера — счетовода Ценовера, но им не сказали, что это я послал за ними. В первый миг они меня вообще не узнали. Но через минуту Манес Райзигер уже бросился меня обнимать, невзирая на все воинские предписания, между тем как мой кузен Йозеф Бранко все еще стоял навытяжку — от изумления и стараясь соблюсти дисциплину. Он же был словенец. А Манес Райзигер был еврейский извозчик с востока монархии, человек беспечный и не думавший об уставе воинской службы. Борода его состояла сплошь из безнадежных жестких колтунов, а сам он выглядел так, будто был не в мундире, а в маскарадном костюме. Я чмокнул его в один из колтунов и собирался обнять также Йозефа Бранко. Я и сам-то — я тоже! — забыл о воинском уставе. Думал я теперь только о войне и, наверно, раз десять подряд воскликнул: "Вы живы, живы!" А Йозеф Бранко сразу заметил у меня обручальное кольцо и молча указал на мой палец.

— Да, — сказал я, — я женился. — Я чувствовал, что им хочется побольше узнать о моей женитьбе, о моей жене, и вышел с ними во двор, на узкую круговую дорожку, которая опоясывала церковь в Струмильце. Но я ничего не говорил о Элизабет, пока вдруг не вспомнил — и как только я мог забыть! — что держу в бумажнике ее фотографию. Проще всего было бы показать ее моим друзьям — это избавило бы меня от каких бы то ни было объяснений. Я достал бумажник, принялся искать карточку, однако ее там не было. Я начал думать, где я мог ее посеять или забыть, и на секунду мне показалось, будто я вспомнил: эту фотографию я оставил дома, у матушки. Меня охватил непостижимый, даже бессмысленный страх, словно я порвал или сжег карточку Элизабет.

— Что-то я не нахожу ее фотографии, — сказал я своим друзьям.

Вместо ответа кузен Йозеф Бранко вытащил из кармана фотографию своей жены и протянул ее мне. Это была красивая женщина, горделивая в своей пышности, в костюме словенской крестьянки, на гладких, расчесанных на пробор волосах — венчик из монет и на шее — ожерелье из таких же монет в три ряда. Ее полные руки были обнаженными, она уперла их в бока.

— Это мать моего ребенка — у меня сын! — сообщил мне Йозеф Бранко.

— Ты женат? — спросил его кучер Манес.

— Когда война кончится, я на ней женюсь, нашего сына зовут Бранко, как меня, ему десять лет. Он живет у деда. Мальчонка умеет вырезать чудесные свистульки.

XX

В ближайшие дни, что нам предстояли — ёмкие и чреватые опасностью, мрачные и величественные, загадочные и странные, — сражений, по видимости, не предвиделось — только отступления. Из поселка Струмильце мы через неполных два дня переместились в деревню Жезёры, а спустя еще три дня — в городок Погроды. Русская армия нас преследовала. Мы отошли назад, до Красне-Буска. Вероятно, из-за доставленного с опозданием приказа мы пробыли там дольше, чем входило в намерения Второй армии. В итоге однажды, ранним утром, нас атаковали русские. У нас даже не осталось времени окопаться. То была историческая битва под Красне-Буском, в которой треть нашего полка полегла, а вторая треть попала в плен.

Мы тоже стали пленными — Йозеф Бранко, Манес Райзигер и я. Так бесславно закончилась наша первая битва.

Здесь у меня возникает настоятельная потребность поведать о тех особых чувствах, что обуревают военнопленного. Однако я прекрасно знаю, с каким бесконечным равнодушием люди встречают ныне подобные повествования. И я охотно принимаю судьбу пропавшего без вести, но отнюдь не судьбу повествователя об этих пропавших. Меня навряд ли поймут, если я, скажем, примусь в наши дни еще рассуждать о свободе, о чести и тем паче о том, что такое плен. В последние годы человеку лучше молчать. Я пишу исключительно с целью разобраться во всем самому, а также — pro nomine Dei[1]. Да простит Он мне этот грех!

Ладно, мы, значит, были военнопленными — весь наш взвод. Со мной остались Йозеф Бранко и Манес Райзигер. В плен мы попали вместе.

— Для нас война кончилась, — объявил Манес Райзигер. — Я еще никогда не бывал в плену, — приговаривал он время от времени, — так же как вы оба. Однако я знаю, что нас ждет жизнь, а не смерть. Вы еще будете вспоминать эти мои слова, когда мы вернемся. Знать бы мне только, что поделывает мой Эфраим. Война продлится долго. Мой сын еще тоже пойдет в армию. Заметьте это себе! Это сказал вам простой извозчик, Манес Райзигер из Злотогрода! — Он прищелкнул языком. Это прозвучало как удар кнута. В следующие недели он был тих и безмолвен.

Второго октября вечером нам предстояла разлука. Начальство имело намерение, как тогда было принято и само собой разумелось, отделить пленных офицеров от рядовых. Мы должны были остаться в центре России, а лица рядового состава — быть отправлены дальше. Речь шла о Сибири. Я вызвался ехать в Сибирь. И по сей день я не понимаю, не желаю понимать, каким это образом Манесу Райзигеру удалось затащить в Сибирь и меня. Наверное, никогда еще человек так не радовался, как радовался я, что мне удалось, хитростью и подкупом, причинить себе вред. В сущности, это удалось Манесу Райзигеру. С первых минут нашего плена он взял всех нас, весь наш взвод, под свое начало. Чему только не научишься, с Божьего произволения, от лошадей, коли ты извозчик! Да еще еврейский, из Злотогрода...

Об окольных и о прямых путях, коими добирались мы до Сибири, я рассказывать не стану. Пути и перепутья подразумеваются сами собой. Через шесть месяцев мы очутились в Вятке.

1. Во имя Божие (*лат.*).

XXI

Вятка находится далеко в Сибири, на берегу реки Лены[1]. Поездка туда длилась полгода. На этих дорогах счет дням мы потеряли — бесчисленные и притом бесконечные, они тянулись чередой, один за другим. Кто сосчитает кораллы в бусах, шестикратно обвивших шею? Около шести месяцев длился наш транспорт. В сентябре нас взяли в плен; когда мы прибыли на место, был март. В венском Аугартене, должно быть, уже цвели кусты золотого дождя. Скоро начнет благоухать бузина. Здесь плыли по реке огромные льдины, даже в самых широких местах ее можно было перейти, не замочивши ног. За время этапирования трое из нашего взвода умерли от тифа. Четырнадцать человек пытались бежать, шестеро из нашего конвоя дезертировали вместе с ними. Молодой казачий поручик, который командовал транспортом на последнем этапе, заставил нас сидеть в Чирайне: ему надо было поймать как беглых пленных, так и дезертиров. Звали его Андрей Максимович Красин. Пока его патрули обшаривали местность в поисках беглецов, он играл со мной в карты. Разговаривали мы по-французски. Красин пил самогон, который ему приносили немногочисленные в этих местах русские поселенцы, пил из своей походной фляжки в форме тыквы, был доверчив и благодарен за каждый добрый взгляд, каким я его одарял. Мне нравилась его манера смеяться, его крепкие ослепительно белые зубы под маленькими угольно-черными усиками и глаза, которые превращались в искорки, когда он их прищуривал. Он поистине владел искусством смеха. Ему можно было, например, сказать: “Пожалуйста, посмейтесь немножко!”, и он мгновенно начинал хохотать — громко, щедро, великодушно. Однажды патруль поймал беглецов. В сущности, лишь нескольких — восьмерых из двадцати. Остальные наверняка заблудились или где-нибудь спрятались, а может быть, и погибли. Андрей Максимович Красин играл со мною в тарок в станционном бараке. Он приказал конвою подвести задержанных к нам поближе, заказал им чай и спиртное, а мне велел, поскольку я был теперь у него в подчинении, назначить наказание как людям из моего взвода, так и двум захваченным русским дезертирам. Я ответил ему, что дисциплинарного устава его армии не знаю. Но он настаивал — сначала просил, потом начал угрожать, и в конце концов я сказал:

— Поскольку я не знаю, какие наказания следует назначить по вашим законам, то приказываю всех от наказания освободить.

Он положил на стол свой пистолет и заявил:

— Вы участвуете в заговоре. Я вас арестую и прикажу увести, господин лейтенант!

— Разве мы не доиграем партию до конца? — спросил я и взял свои карты.

— Конечно! — отозвался он, и мы продолжали играть, а солдаты стояли вокруг нас — конвойные и австрийцы. Он проигрывал. Мне не составило бы труда дать ему выиграть, однако я не на шутку опасался, что он мог бы это заметить. При свойственной ему ребячливости недоверие тешило его еще больше, чем смех, и в нем постоянно жила готовность дать волю подозрению. Так что я не мешал ему проигрывать. Он нахмурил брови и уже с такой злобой посмотрел на унтер-офицера, который

1. Так у автора.

командовал конвоем, будто бы собирался в следующую минуту всех восьмерых задержанных отправить на расстрел. Я попросил его:

— Посмейтесь немножко!

Он рассмеялся — щедро, великодушно, обнажив все свои ослепительные зубы. Я было уже подумал, что спас этих восьмерых.

Минуты две он смеялся, потом вдруг посерьезнел и приказал унтерофицеру:

— В наручники — всех восьмерых! Вольно! Ждите моих дальнейших распоряжений!

Затем, когда эти люди вышли из барака, он принялся тасовать карты.

— Реванш! — заявил он.

Мы начали новую партию. Он опять проиграл. Теперь он первым делом убрал свой пистолет, поднялся, бросил: "Сейчас вернусь!" — и вышел. Я остался сидеть; в комнате зажгли две керосиновые лампы. Ко мне подошла хозяйка, из коренных жителей этих мест, и подала новый стакан чаю. В свежем чае плавал старый ломтик лимона. Хозяйка была шириною с корабль. Но улыбалась по-детски доверчивой и по-матерински доброй улыбкой. Когда я вознамерился извлечь из стакана противный старый лимон, она окунула в чай два своих толстых добрых пальца и вытащила ломтик. Я поблагодарил ее взглядом.

Медленно пил я горячий чай. Поручик Андрей Максимович все не возвращался. Становилось поздно, мне пора было обратно в лагерь, к моим людям. Я вышел на крыльцо и несколько раз выкрикнул его имя. В конце концов он мне ответил. Ночь была ледяная, до того холодная, что вначале я подумал: мой зов, едва вылетев из моих уст, мгновенно замерз и не долетел до того, кого я звал. Я взглянул наверх, на небо. Казалось, будто серебряные звезды не рождены им самим, а вбиты в его свод, точно блестящие гвозди. Могучий ветер с востока, подавив, как тиран, другие сибирские ветры, пресекал дыхание, лишал сердце силы биться, глаза — способности видеть. Ответ поручика на мой зов, все же донесенный до меня злым ветром, показался мне утешительным посланием человека, впервые подавшего о себе весть после долгого молчания. Но сколь же малоутешительным оказалось это человеческое послание.

Я вернулся в барак. Горела лишь одна лампа. Она не освещала комнату, а только сгущала ее мрак, словно крошечное светящееся ядро тяжелой округлой тьмы. Я сел поближе к лампе. Вдруг тишину взорвали несколько выстрелов. Я выбежал из барака. Эхо выстрелов еще не стихло. Казалось, они все еще куда-то катятся под необъятным морозным небом. Я прислушался. Ничто больше не шевелилось, кроме непрестанного ледяного ветра. Я не мог его больше вынести и опять вернулся в барак.

Через некоторое время пришел поручик, он был бледен, шапку, невзирая на ветер, держал в руке, из расстегнутой кобуры торчал пистолет.

Он сразу сел, пытаясь отдышаться, расстегнул ворот гимнастерки и посмотрел на меня неподвижным взором, так, будто бы он меня не знает, будто бы он меня забыл и напряженно пытается вспомнить, кто я такой. Карты он смел со стола рукавом. Изрядно отхлебнул из фляжки, опустил голову и вдруг быстро проговорил:

— Я попал только в одного.

— Значит, плохо целились, — заметил я. Но я его не так понял.

— Я плохо целился. Велел им построиться в шеренгу. Хотел их только попугать. Стрелял в воздух. В момент последнего выстрела на мою ру-

ку словно кто-то надавил и опустил ее вниз. Произошло это мгновенно, раз — и все, сам не знаю как. Человек убит. Люди перестали меня понимать.

Убитого похоронили в ту же ночь. Поручик приказал произвести салют. С этой минуты он больше не смеялся. Он думал о чем-то, что неотступно его занимало.

Под его началом мы проделали еще около десяти верст. За два дня до того, как нас должен был взять в свое подчинение новый начальник транспорта, поручик пригласил меня к себе в сани и сказал:

— Эти сани принадлежат теперь вам и двум вашим товарищам. Еврей — кучер. Он дорогу найдет. Вот вам карта. Я пометил крестиком место, где вам вылезать. Там вас будет ждать человек. Это мой друг. Надежный. Искать вас никто не станет. Всех вас я объявлю беглецами. Казню и похороню. — Он пожал мне руку и вылез из саней.

Ночью мы пустились в путь. Ехали несколько часов. Человек ждал нас. Мы сразу почувствовали, что с ним мы в безопасности. У нас начиналась новая жизнь.

XXII

Наш хозяин принадлежал к давно осевшим в Сибири полякам. По роду занятий он был торговец пушниной. Жил один, с собакой неопределенной породы, с двумя охотничьими ружьями и несколькими собственноручно вырезанными трубками, в двух просторных комнатах, заставленных кустарными капканами для пушного зверя. Фамилия его была Баранович, имя — Ян. Говорил он крайне редко. Окладистая черная борода обязывала его к молчанию. Он заставлял нас делать всевозможные работы — чинить забор, колоть дрова, смазывать жиром полозья саней, иголкой проверять на прочность меха. Мы приобрели там кое-какие полезные навыки. Но уже через неделю нам стало ясно, что Баранович заставляет нас работать из чувства такта и еще ради того, чтобы мы в этой глуши не заводили ссор с ним или друг с другом. Он был прав. Трости и трубки он вырезал из кустарника с твердыми и толстыми ветвями, который растет в тех местах и который он, уж не помню почему, называл "насторкой"[1]. Каждую неделю он раскуривал новую трубку. Я ни разу не слыхал от него какой-нибудь шутки. Бывало, он на минутку вынимал изо рта трубку, чтобы улыбнуться кому-нибудь из нас. Приблизительно раз в два месяца приходил человек из соседнего поселка и приносил старую русскую газету. Сам Баранович ее не просматривал. А я многое узнавал из этой газеты, правда, о ходе войны она нас информировать не могла. Однажды я прочитал, будто казаки вступают в Силезию. Мой кузен Йозеф Бранко в это поверил, а Манес Райзигер — нет. Они начали спорить и впервые ожесточились друг против друга. В конце концов ими тоже завладело то безумие, к какому неизбежно приводит одиночество. И вот Йозеф Бранко, более молодой и горячий, схватил за бороду Манеса Райзигера. Я в это время мыл посуду на кухне. Услыхав, что они ссорятся, я с тарелками в руках вошел в комнату. Мои друзья не слышали и не видели меня. В первый раз, хоть я и был испуган горячностью любимых мною в ту пору людей, ко мне внезапно пришло понимание, можно сказать, оно поразило меня

1. Так у автора.

как бы извне — понимание того, что у меня больше нет с этими людьми ничего общего. Как бессильный третейский судья, стоял я перед ними, перестав быть их другом, и хотя мне было ясно, что их охватило безумие пустыни, я все-таки верил, что сам я от него застрахован. В меня вселилось какое-то злобное равнодушие. Я пошел обратно на кухню мыть тарелки. В комнате шла драка. Но так, словно я не хотел мешать их безрассудной схватке, как, бывает, не хочется будить спящих поблизости людей, я теперь ставил тарелки одну на другую с особой осторожностью, чтобы они не гремели. Покончив с этой работой, я сел на кухонный табурет и стал спокойно ждать.

Порядочное время спустя они и в самом деле вышли из комнаты один за другим, словно бы для того, чтобы показаться. Они по-прежнему не обращали на меня внимания. Создавалось впечатление, будто каждый из них — и каждый сам по себе, поскольку были они все-таки врагами, — хочет выказать мне свое презрение за то, что я не вмешался в их драку. Каждый из них взялся за какую-нибудь ненужную работу. Один точил ножи, но ничего угрожающего в этом занятии не было. Другой принес котел снегу, затопил плиту, подбросил в топку щепок, поставил на плиту котел и не сводил глаз с пламени. Понемногу делалось тепло. Огонь освещал окно напротив, ледяные цветы на стекле становились в его сиянии красноватыми, синими, иногда фиолетовыми. Замерзшие капли воды на полу, прямо под окном, начали таять.

Надвигался вечер, вода в котле бурлила. Вскоре из очередной своей прогулки, какие он совершал в те или иные дни — толком никто не знал зачем, — вернулся Баранович. Он вошел, держа полушубок на руке, заткнув рукавицы за пояс. (У него была привычка снимать их перед дверью — некий род вежливости.) Каждому из нас он подал руку со своим обычным приветствием: "Дай Бог здоровья!" Потом снял шапку и перекрестился, после чего пошел в комнату.

Позднее мы ужинали, как всегда вчетвером. Никто не произнес ни слова. Слышался стук маятника часов с кукушкой, наводя на мысли о птице, случайно залетевшей сюда из чужедальних стран. Можно было только дивиться тому, что она не замерзла. Баранович, привыкший к нашей ежевечерней болтовне за столом, украдкой всматривался в наши лица. Наконец он поднялся, неожиданно и не так медленно, как обычно, словно бы недовольный тем, что сегодня мы его разочаровали, сказал "Спокойной ночи!" и ушел в другую комнату. Я убрал со стола, задул керосиновую лампу. Сквозь замерзшие окна мерцала ночь. Мы легли спать. "Спокойной ночи!" — сказал я, как всегда. Никто не ответил.

Утром, когда я колол щепки, чтобы поставить самовар, на кухню зашел Баранович и неожиданно быстро заговорил.

— Итак, они все же подрались, — сказал он. — Я видел у них ушибы и понял, почему они молчат. Больше я их держать у себя не смогу. В этом доме должен царить мир. У меня уже не раз бывали гости. Все они оставались аккурат до тех пор, пока соблюдали мир. Я никогда никого не спрашивал, кто он такой, откуда пришел. Будь он хоть убийцей. Для меня он был гостем. Я поступаю согласно пословице: "Гость в дом, а Бог в доме". Поручик, который тебя прислал, давно меня знает. Его мне однажды тоже пришлось выставить — из-за драки. За это он зла на меня не держит. Тебя я хотел бы оставить. Ты-то, конечно не дрался. Однако другие на тебя донесут. Так что и тебе придется отсюда убраться. — Он умолк.

Я бросил зажженные щепки в трубу самовара и положил туда еще несколько комков газетной бумаги, чтобы щепки не погасли. Когда самовар запел, Баранович продолжал:

— Бежать вы не можете. В здешних краях в это время года бродячему человеку крышка. Так что вам ничего другого не остается, как поехать в Вятку. В Вятку, — повторил он и, помедлив немного, прибавил: — в лагерь. Возможно, вас подвергнут наказанию — тяжелому, легкому или вовсе оставят без наказания. Беспорядок там изрядный, царь далеко, законы у него путаные. Обратитесь к вахмистру Кумину. Он может больше, чем начальник лагеря. Я дам вам чай и махорку, отдадите ему. Запомните: Кумин.

Вода закипела, я насыпал в чайник заварку, залил кипятком и поставил чайник на самовар. "В последний раз", — подумалось мне. Лагеря я не боялся. Шла война, всем пленным положено было находиться в лагерях. Однако теперь я знал, что Баранович — отец, его дом — моя родина, его хлеб — это хлеб родины. Вчера я лишился своих лучших друзей. Сегодня лишился родины. Родины я лишился впервые. Тогда я еще не ведал, что родину потерял не в последний раз. Наш брат отмечен особой печатью.

Когда я вошел с чаем в горницу, Райзигер и Йозеф Бранко уже сидели по обе стороны стола. Баранович стоял, прислонившись к притолоке двери, что вела в соседнюю комнату. Он не сел за стол, даже когда я поставил ему стакан. Хлеб я нарезал и раздал сам. Баранович подошел к столу, стоя выпил свой чай, стоя съел свой хлеб. Потом сказал:

— Друзья мои, вашему лейтенанту я объяснил, почему больше не могу держать вас у себя. Забирайте свои сани и возьмите под мундир по нескольку меховых шкурок, они вас согреют. Я провожу вас до того места, где я вас встречал.

Манес Райзигер вышел во двор, и я услышал, как он двинул сани по заскрипевшему снегу. Йозеф Бранко не сразу понял, в чем дело.

— Встать, упаковать вещи! — сказал я. В первый раз мне стало больно оттого, что приходится командовать.

Когда мы были готовы и уже сидели впритык друг к другу в маленьких санях, Баранович мне сказал:

— Вылезай-ка, я кое-что забыл.

Мы пошли обратно в дом. В последний раз оглядел я украдкой кухню, горницу, окно, ножи, посуду, привязанную собаку, два ружья, сложенные стопкой меховые шкурки, однако от Барановича эти мои взгляды не укрылись.

— Вот, — сказал он и дал мне револьвер. — Твои друзья могут... — Он не договорил. Я спрятал револьвер в карман. — Кумин тебя обыскивать не станет. Только отдай ему чай и махорку.

Я хотел его поблагодарить. Но какими жалкими прозвучали бы здесь слова благодарности! Благодарности из моих уст! Мне пришло в голову, сколь часто в своей жизни я легковесно произносил слово "спасибо". Я его прямо-таки осквернил. Каким же выхолощенным должно было прозвучать это мое невесомое благодарственное слово в ушах Барановича. И даже мое рукопожатие оказалось бы чем-то легковесным, к тому же он надел рукавицы. Только когда мы прибыли на то место, где он когда-то нас встречал, он снял правую рукавицу, пожал нам руки, произнес свое обычное "Дай Бог здоровья!", громко крикнул Серому: "Фьюить!", словно боялся, что мы не захотим сдвинуться с места, и повернулся к нам

спиной. Шел снег. С быстротою призрака скрылся Баранович за плотною белой завесой.

Мы поехали в лагерь. Кумин ни о чем не спрашивал. Чай и махорку он взял и ни о чем не спрашивал. Нас он разлучил. Я попал в офицерский барак. Манеса и Йозефа Бранко я видел два раза в неделю, когда у нас бывали строевые занятия. Друг на друга они не смотрели. Если я иногда подходил к одному из них, чтобы дать ему немного табаку из моих скудных запасов, то каждый говорил мне согласно уставу и по-немецки: "Покорнейше благодарю, господин лейтенант!" — "Как дела? Все в порядке?" — "Так точно!"

В один прекрасный день их обоих не оказалось во дворе на перекличке. Вечером в бараке на своих нарах я обнаружил записку, приколотую булавкой к подушке. Рукой Йозефа Бранко на ней было написано: "Мы ушли. Едем в Вену".

XXIII

Я на самом деле встретил их в Вене, но только четыре года спустя.

В рождественский сочельник 1918 года я вернулся домой. Часы на Западном вокзале показывали одиннадцать. Я пошел по Мариягильфершштрассе. С немилосердного неба косыми полосами сыпал крупитчатый дождь — недоделанный снег и убогий брат града. Мое кепи было голым — розетку с него сорвали. Мой воротник был голым — звезды с него сорвали. Я сам был голым. Камни были голыми, стены и крыши. Голыми были редкие фонари. Крупитчатый дождь колотил по их матовым стеклам, казалось, небо швыряет мелкий гравий в эти несчастные большие стеклянные шары. Плащи часовых, стоявших на посту возле казенных учреждений, развевались на ветру, хоть и насквозь промокли. Примкнутые штыки выглядели какими-то ненастоящими, винтовки сползали у солдат с плеч. Казалось, эти винтовки хотят лечь спать, такие же усталые, как мы, после четырех лет стрельбы. Я нисколько не удивлялся, что люди меня не приветствуют, — мое голое кепи, голый воротник гимнастерки никого ни к чему не обязывали. Я не возмущался. Просто все это выглядело жалким. Это был конец. Я думал о давнишней мечте моего отца — мечте о тройственной монархии и о том, что он предназначал меня к тому, чтобы я когда-нибудь осуществил эту мечту. Мой отец покоился в гробу на Хитцингском кладбище, а император Франц Иосиф, чьим верным дезертиром он был, — в Склепе капуцинов. Я был наследником, на меня сыпался крупитчатый дождь, а я брел к дому моего отца и моей матери. Я сделал крюк, чтобы пройти мимо Склепа капуцинов. Перед ним тоже взад-вперед расхаживал часовой. Что там было еще охранять? Саркофаги? Память? Историю? Я, наследник, остановился ненадолго перед этой церковью. Часовой не обращал на меня внимания. Я обнажил голову. Потом пошел дальше, к отчему дому, минуя один дом за другим. Жива ли еще моя матушка? С дороги я дважды уведомил ее о своем приезде. Я ускорил шаг. Жива ли еще матушка? Вот и наш дом. Я позвонил. Ждать пришлось долго. Дверь отворила наша старая привратница.

— Фрау Фанни! — воскликнул я.

Она сразу узнала меня по голосу. Свеча мигала — у Фанни дрожала рука.

— Вас ждут, мы вас ждем, молодой господин. Мы обе ночей не спали, и милостивая государыня у себя наверху — тоже.

Фанни и в самом деле была одета так, как раньше, на моей памяти, одевалась только в воскресенье утром, но вечером, после того как запирали двери, — никогда. Я помчался наверх, перемахивая через две ступеньки.

Матушка стояла подле своего старого кресла в доверху закрытом черном платье, серебристые волосы зачесаны высоко надо лбом. Сзади, над двумя свернутыми в кольца косами, возвышалась широкая дуга гребня под цвет волос. Воротник и узкие рукава платья окаймляла хорошо знакомая мне тонкая белая тесьма. Матушка подняла старинную трость с серебряной рукоятью — это было заклинание небес, словно рука ее была недостаточно длинной для выражения столь безмерной благодарности. Она не шевелилась, она ждала меня, а мне показалось, будто бы она не стоит, а шагает. Матушка наклонилась ко мне, но даже не поцеловала меня в лоб. Двумя пальцами приподняла она мой подбородок, так, что я запрокинул лицо — и впервые заметил, насколько она выше меня ростом. Она долго смотрела на меня. А потом произошло нечто невероятное, даже пугающее, нечто непостижимое, почти сверхъестественное: матушка взяла мою руку, слегка наклонилась и два раза ее поцеловала. Быстро, в смущении, я сбросил шинель.

— И мундир тоже, — сказала она, — он же промок!

Я снял и гимнастерку, матушка заметила, что правый рукав моей рубашки разорван почти во всю длину.

— Сними рубашку, я тебе ее починю, — заметила она.

— Нет, — попросил я, — она несвежая. — Никогда в жизни не посмел бы я в нашем доме сказать про какую-либо вещь, что она грязная или запачканная. Как быстро ожила эта церемонная манера выражаться! Только теперь я почувствовал, что я дома.

Я ничего не говорил, только смотрел на матушку, ел и пил то, что она для меня приготовила, что сотней хитроумных способов сумела раздобыть. Все, что в Вене тогда невозможно было достать: соленый миндаль, настоящий пшеничный хлеб, две дольки шоколада, пробная бутылочка коньяка и настоящий кофе. Она села за рояль, он был открыт. Возможно, она открыла его и так держала несколько дней с тех пор, как я известил ее о своем приезде. Вероятно, она хотела сыграть мне Шопена. Она знала, что любовь к нему я унаследовал от отца, — это была одна из его немногих явных склонностей. По толстым желтым, наполовину выгоревшим свечам в бронзовых подсвечниках над клавиатурой я заметил, что матушка уже несколько лет не прикасалась в клавишам. Вообще она имела обыкновение играть каждый вечер — только вечером и только при свечах. Это были еще добротные, толстые и прямо-таки сочные свечи мирного времени, в годы войны таких наверняка больше не делали. Матушка попросила меня подать ей спички. То был обычный коробок, он лежал на каминной полке. Коричневый и грубый, положенный возле небольших каминных часов с нежным девичьим личиком, он казался в этой комнате каким-то незваным пришельцем. Спички были серные, чиркнув, надо было дождаться, пока синий огонек превратится в здоровое, нормальное пламя. Запах этих спичек тоже был пришельцем. В нашей гостиной всегда царил определенный аромат, в котором смешивалось благоухание далеких, уже отцветающих фиалок и пряный запах крепкого свежезаваренного кофе. Что здесь было делать сере?

Матушка положила свои родные старые белые руки на клавиши. Я прислонился возле нее к роялю. Пальцы ее забегали по клавишам, одна-

ко инструмент не издал ни звука. Он был нем, просто мертв. Я ничего не понимал. То был, по-видимому, какой-то странный феномен; в физике я ничего не смыслил. Я сам ударил по нескольким клавишам. Они не ответили. Творилось что-то сверхъестественное. Движимый любопытством, я поднял крышку рояля. Инструмент был пуст — струны в нем отсутствовали.

— Мама, там же пусто внутри! — сказал я.

Она опустила голову.

— Я совсем забыла, — тихо заговорила она. — Через несколько дней после твоего отъезда у меня появилась странная идея. Я хотела принудить себя больше не играть и велела вынуть струны. Не знаю, что мне тогда ударило в голову. Я, право, уже не знаю. Это было какое-то помрачение рассудка. Возможно, даже умопомешательство. Я только сейчас об этом вспомнила.

Матушка смотрела на меня. В ее глазах стояли слезы, слезы из тех, что не могут излиться и похожи на стоячие воды. Я заключил старую женщину в объятья. Она погладила меня по голове.

— У тебя на волосах столько копоти, — заметила она и несколько раз повторила эту фразу. — У тебя на волосах столько копоти! Пойди вымойся!

— Перед сном, — взмолился я. — Пока мне еще не хочется спать, — сказал я, как говаривал в детстве. И прибавил: — Позволь мне, мама, еще немного побыть здесь!

Мы сели за маленький столик возле камина.

— Во время уборки я нашла твои папиросы, две коробки египетских, какие ты всегда курил. Я завернула их во влажную промокательную бумагу. Они еще вполне свежие. Хочешь покурить?

Да, это были старые упаковки по сто штук! Я осмотрел коробки со всех сторон. На крышке одной из них моим почерком — его еще можно было разобрать — было написано имя: Фридль Райхнер, Хоэнштауфенштрассе. Я сразу вспомнил: так звали хорошенькую табачницу, у которой я, по всей видимости, и купил эти папиросы. Матушка улыбнулась.

— Кто это? — спросила она.

— Милая девушка, мама! Но больше я к ней не заходил.

— А теперь ты уже слишком стар для того, чтобы соблазнять табачниц. И кроме того, этих папирос вообще больше нет...

Впервые в жизни я услышал, как моя мать пытается пошутить.

Потом опять наступила пауза. После чего она спросила:

— Ты много страдал, малыш?

— Не так уж много, мама.

— Тосковал по своей Элизабет? (Она сказала не “по своей жене”, а “по своей Элизабет” и сделала ударение на слове “своей”.)

— Нет, мама!

— Ты все еще любишь ее?

— Это уж слишком, мама!

— Однако ты о ней даже не спрашиваешь!

— Я как раз собирался спросить!

— Я редко ее встречала, — сообщила матушка. — Чаще видела твоего тестя. В последний раз он был здесь два месяца тому назад. Очень расстроенный и все-таки полный надежд. Война обогатила его. Они знали, что ты попал в плен. Думаю, они предпочли бы увидеть твое имя в списке погибших или без вести пропавших. Элизабет...

— Могу себе представить, — перебил я.

— Нет, ты не можешь себе представить, — упрямо продолжала матушка. — Угадай, кем она стала?

Я предположил самое худшее или то, что могло выглядеть самым худшим в глазах моей матери.

— Танцовщицей? — спросил я.

Матушка серьезно покачала головой. Потом печально, почти мрачно произнесла:

— Нет, художницей в области прикладного искусства. Знаешь, что это такое? Она рисует, а может быть, и вырезает какие-то дикие бусы или кольца, эдакие угловатые модные штучки и аграфы из соснового дерева. Думаю даже, что она умеет плести коврики из соломы. Когда она в последний раз была здесь, то, помнится, прочитала мне целую лекцию об африканском искусстве — ни дать ни взять профессор! А однажды, не спросив разрешения, взяла и привела с собой подругу. Это была, — матушка запнулась было, но потом все же решилась и сказала: — это была бабенка с короткими волосами.

— Неужели все это так плохо?

— Хуже некуда, малыш! Люди начинают делать из никудышного материала вещи, которые кажутся ценными! К чему это приведет? Африканцы увешивают себя раковинами, но это же совсем другое. Когда кто-то мошенничает, ладно. Но эти люди еще ставят мошенничество себе в заслугу, малыш! Понимаешь? Никто меня не убедит, будто хлопок — это лен и будто лавровые венки делают из еловых шишек.

Матушка проговорила все это очень медленно, своим обычным тихим голосом. Лицо у нее покраснело.

— А танцовщица тебе больше подошла бы?

Матушка на минутку задумалась, потом, к моему величайшему изумлению, сказала:

— Конечно, малыш! Я не хотела бы иметь дочь-танцовщицу, но танцовщица — это честная профессия. Даже их распущенные нравы еще прозрачны. Это не обман, не мошенничество. С какой-нибудь танцовщицей у такого молодого человека, как ты, пожалуй, может быть связь. Но ведь это прикладное искусство хочет замуж. Разве ты не понимаешь, малыш? Когда ты оправишься от войны, то увидишь сам. Так или иначе, завтра ты должен пойти к своей Элизабет. А где вы вообще собираетесь жить? И как вообще пойдет ваша жизнь? Она живет у своего отца. Когда прикажешь завтра тебя разбудить?

— Не знаю, мама!

— Я завтракаю в восемь, — заметила она.

— Тогда, пожалуйста, в семь, мама!

— Ступай ложись, малыш! Спокойной ночи!

Я поцеловал ей руку, она поцеловала меня в лоб. Да, это была моя мать! Казалось, будто бы ничего не случилось, будто бы я не только что вернулся с войны, будто бы мир не лежал в развалинах, будто бы монархия не была разрушена и наша старая отчизна с ее многообразными непостижимыми, но незыблемыми законами, нравами, обычаями, склонностями, привычками, добродетелями, пороками еще существует. В доме моей матери люди встают в семь часов утра, хотя перед тем четыре ночи не спали. Я пришел туда около полуночи. Теперь старинные каминные часы с усталым и нежным девичьим личиком пробили три. Трех часов нежности моей матери хватило. Неужели хватило? Во всяком слу-

чае, она не позволила себе прибавить к ним ни четверти часа и была права: я вскоре заснул с утешительным сознанием, что я дома, заснул в крепости посреди разрушенной отчизны. Моя старая матушка своей старой клюкой отгоняла от меня смутные видения.

XXIV

Я еще не испытывал никакого страха перед ожидавшей меня новой жизнью, как теперь говорят, "реально" еще ее не осознавал. Скорее, я цеплялся за небольшие задания, какие возлагались на меня с часу на час: я был похож на человека, который, стоя у подножия уходящей ввысь лестницы, по какой он вынужден будет подняться, считает ее первую ступеньку самой опасной.

Слуги у нас больше не было, только девушка-служанка. А слугу замещал наш старый дворник. Около девяти утра я послал его к своей жене с цветами и письмом. Я сообщал, что в одиннадцать часов нанесу ей визит, как, на мой взгляд, и подобало. Я "сделал туалет" — так еще принято было говорить в мое время. Мое штатское платье было пока в полном порядке. Пошел я пешком. Явился на место без четверти одиннадцать и решил подождать в кафе напротив. Ровно в одиннадцать позвонил в дверь. "Господ нет дома!" — объявили мне. Цветы и письмо были вручены Элизабет. Она велела мне передать, чтобы я пришел к ней в контору на улице Вольцайле. Так что я отправился на Вольцайле. Да, Элизабет была там. Маленькая табличка на двери возвещала: "Ателье Элизабет Тротты." Я отпрянул, увидев свою фамилию.

— Привет! — сказала моя жена. И: — Дай-ка на тебя взглянуть!

Я хотел поцеловать ей руку, однако она не дала мне этого сделать и уже этим вывела меня из равновесия. Это была первая женщина, которая не позволила мне поцеловать ей руку, и это была моя жена! Я ощутил нечто вроде того неприятного чувства, какое всегда охватывало меня при виде аномалий и механизмов, исполняющих человеческие движения, например, при виде клинических сумасшедших или женщин, изображенных вполтуловища. Но это все-таки была Элизабет. В доверху застегнутой зеленой блузке с отложным воротником и длинным мужским галстуком. Лицо ее все еще покрывал нежный пушок, я все еще узнавал изгиб шеи, когда она наклоняла голову, и нервное постукивание по столу крепкими тонкими пальцами. Она сидела, откинувшись назад, на простом канцелярском стуле из лимонно-желтого дерева. Все здесь было лимонно-желтое — и стол, и рама картины, и обрамление широких окон, и ничем не покрытый пол.

— Да сядь же хоть на стол! — сказала Элизабет. — Возьми сигарету. Я еще не вполне устроилась. — И она рассказала мне, что все здесь оборудовала своими руками. — Вот этими двумя руками, — подчеркнула она и показала свои красивые руки. И на этой неделе должны еще доставить остальную мебель и оконные занавеси апельсинового цвета, ведь апельсин и лимон хорошо сочетаются. Позднее, закончив свой рассказ, — а говорила она все еще своим прежним, чуть хрипловатым голосом, который я так любил! — она спросила:

— Где ты все это время носился?

— Не я носился, а меня носило! — возразил я.

— Спасибо тебе за цветы, — заметила она. — Ты посылаешь цветы. А почему было не позвонить по телефону?

— У нас нет телефона!

— Ну что ж, рассказывай! — приказала она и закурила сигарету. Закурила так, как закуривают многие женщины, с тех пор мне довелось это не раз наблюдать: зажав сигарету в скошенном углу рта, отчего лицо принимает выражение той болезни, какую медики именуют “facies partialis”, и с трудно давшимся ей беззаботным видом.

— Я расскажу позднее, Элизабет, — сказал я.

— Как хочешь! — ответила она. — Посмотри мою папку. — Она показала мне свои эскизы.

— Очень оригинально! — заметил я. В папке были эскизы чего угодно: ковров, шарфов, галстуков, колец, браслетов, подсвечников, абажуров. Все было какое-то угловатое.

— Ты понимаешь? — спросила она.

— Нет!

— Где уж тебе! — сказал она и взглянула на меня.

В ее взгляде была боль, и я почувствовал, что она имеет в виду нашу брачную ночь. На миг мне даже показалось, будто я чувствую что-то вроде вины. Но как я должен был это выразить? Вдруг распахнулась дверь и в комнату впорхнуло нечто темное, частица ветра — молодая женщина с короткими черными волосами, большими черными глазами, смугло-желтым лицом и густым пушком усов над алым ртом с крепкими белыми зубами. С этой женщиной ворвалось что-то непонятное мне, я встал, она присела на стол.

— Это мой муж, — объявила Элизабет. Только через несколько минут я понял, что передо мной была та самая Иоланта.

— Ты не знаком с Иолантой Са́тмари? — спросила моя жена. Таким образом я узнал, что это знаменитая женщина. Она еще лучше, чем моя жена, умела рисовать эскизы всего того, что, по-видимому, настоятельно требовало прикладное искусство. Я принес свои извинения. В самом деле: ни в Вятке, ни по пути туда не довелось мне слышать имя Иоланты Сатмари.

— Где старик? — спросила Иоланта.

— Должен скоро прийти! — ответила Элизабет. “Старик” был мой тесть. Вскоре он действительно пришел. Увидев меня, издал свой привычный возглас: “А-а!” — и заключил меня в объятья. Он был здоров и бодр.

— Вернулся целехонек! — воскликнул он с таким торжеством, точно сам доставил меня домой. — Все хорошо, что хорошо кончается! — заявил он вслед за тем. Обе женщины засмеялись. Я почувствовал, что краснею. — Пошли есть! — скомандовал он. — Погляди вокруг, — сказал он мне, — все это я соорудил вот этими двумя руками. — И он показал свои руки. Элизабет при этом сделала вид, будто ищет свое пальто.

Итак, мы пошли есть, точнее говоря, поехали, ведь у моего тестя, конечно же, был собственный автомобиль с шофером.

— В наш обычный ресторан! — приказал он. Я не осмелился спросить, какой ресторан был для него обычным. Оказалось, что это старый, хорошо знакомый мне ресторан, где я так часто сиживал с друзьями, одно из тех старинных венских заведений, владельцы которых лучше знали своих гостей, чем своих кельнеров, и где гость был не просто платежеспособным клиентом, а священной особой.

Однако теперь все изменилось: нас обслуживали незнакомые кельнеры, которые меня не знали и с которыми мой тесть здоровался за руку.

Имелся у него здесь и свой "особый" стол. Я был в этом заведении совсем чужой, чужак из чужаков. Ибо зал был мне хорошо знаком, друзьями мне были обои, окна, закопченный потолок, широкая зеленая кафельная печь и на подоконнике — фаянсовая ваза с голубыми краями, в которой стояли увядшие цветы. Только обслуживали меня чужие люди и с чужими людьми сидел я и ел за одним столом. Их разговоров я не понимал. Мой тесть, моя жена Элизабет, Иоланта Сатмари говорили о выставках; они собирались выпускать журналы, плакаты, добиться международного признания и бог весть чего еще! "Мы прихватим тебя с собой!" — время от времени говорил мне тесть, а я и понятия не имел о том, куда он намерен меня "прихватить". В самом деле, уже одно представление о том, что меня могут "прихватить", было для меня мучительно.

— Запишите на мой счет! — крикнул тесть, когда мы покончили с едой. В этот миг из-за стойки показался Леопольд, дедушка Леопольд. Еще шесть лет тому назад мы звали его дедушкой Леопольдом.

— Дедуля! — крикнул я, и он вышел к нам. Ему, наверное, уже перевалило за семьдесят. Он ходил на трясущихся ногах и с вывернутыми наружу ступнями — признаком долго прослуживших кельнеров. Его светлые, выцветшие глаза с красными веками за шатким пенсне вмиг узнали меня. Беззубый рот старика уже заулыбался, уже раздвинулись его белые пушистые бакенбарды. Он засеменил ко мне и взял мою руку с такой нежностью, с какой берут птицу.

— О, как хорошо, что по крайней мере вы здесь! — прошамкал он. — Приходите поскорее опять! Я почту за честь, сударь, обслужить вас сам! Наконец-то у нас гость! — Мой тесть засмеялся.

С тестем я должен был переговорить. Теперь, как я полагал, мне открылась вся лестница, у подножия которой я стоял. Бесконечное число ступеней насчитывала она и становилась чем выше, тем круче. Конечно, можно было бросить Элизабет и больше о ней не беспокоиться. Однако о такой возможности я тогда и не помышлял. (Я и по сей день живу с сознанием, что она моя жена.) Быть может, я перед нею провинился, даже наверняка. Быть может также, что это моя прежняя, лишь наполовину подавленная любовь принуждала меня считать, будто мною движет исключительно совесть. Быть может, так проявилось мое желание, дурацкое желание всех молодых и молодящихся мужчин, из эгоизма любой ценой заставить женщину, которую они когда-то любили, а потом забыли и которая тем временем изменилась, снова стать прежней. Короче, я должен был поговорить сначала с тестем, потом с Элизабет.

Я встретился с тестем в баре старого отеля, где меня должны были очень хорошо знать. Чтобы чувствовать себя уверенней, я за полчаса до встречи проделал нечто вроде рекогносцировки. Да, все они были еще живы — два кельнера вернулись с войны и бармен тоже. Да, они даже вспомнили, что я остался им кое-что должен, — до чего приятно мне было слышать и это! Все там было тихим и кротким. Дневной свет мягко сочился сквозь стеклянную крышу. Окон не было. Были старые добрые напитки мирного времени. Мне принесли, как некогда, старый "наполеон". "Ну и молодчина же ты!" — восхитился мой тесть. Нет, молодчиной я вовсе не был.

Я сказал ему, что хотел бы теперь наладить свою жизнь, вернее, нашу жизнь. Откладывать решительные меры, так я сказал, я отнюдь не собираюсь. Мне необходимо с самого начала во всем разобраться. Я человек систематический.

Тесть спокойно все выслушал. Потом заговорил:

— Хочу тебе все сказать откровенно. Во-первых, я не знаю, намерена ли еще Элизабет с тобой жить, то есть любит ли она тебя, — но это твое, это ваше дело. Во-вторых, на что ты собираешься жить? Что ты вообще умеешь делать? В мирное время ты был богатым молодым человеком из хорошего общества, то есть из того общества, к которому принадлежал мой Буби.

— Буби! — Это был мой зять. Тот самый Буби, которого я с самого начала терпеть не мог. Про него я совсем забыл. — Где он? — спросил я.

— Погиб! — ответил тесть. Он умолк и залпом осушил стакан. — Погиб в 1916 году, — прибавил он. В первый раз мой тесть показался мне близким и родным человеком. — Итак, — продолжал он, — у тебя ничего нет и нет никакой профессии. Что до меня, то я коммерции советник и даже возведен в дворянство. Но это теперь ничего не значит. Армейское интендантство задолжало мне сотни тысяч. Никто мне их не выплатит. У меня только и есть, что кредит и немного денег в банке. Я еще молод. Могу затеять какое-нибудь новое крупное дело. Вот предпринял теперь, как видишь, попытку с прикладным искусством. Элизабет училась у этой знаменитой Иоланты Сатмари. "Мастерская Сатмари" — под такой маркой этот хлам может разойтись по всему миру. Да и кроме того, — мечтательно прибавил он, — у меня в кузнице железа еще вдоволь, ковать не перековать!

Этого речения для меня было достаточно, чтобы я снова почувствовал к нему неприязнь. Видимо, он это уловил, потому что сразу за тем сказал:

— У вас денег уже нет, я-то знаю, а вот твоя матушка пока об этом не догадывается. Я могу взять тебя в какое-нибудь дело, если пожелаешь. Но сперва поговори с Элизабет. Привет!

XXV

Итак, сперва я поговорил с Элизабет. Казалось, я выкапываю нечто такое, что сам предал земле. Толкало ли меня на это чувство, влекла ли страсть к Элизабет? По рождению и воспитанию склонный брать на себя ответственность, а также стремясь выразить резкий протест против того порядка, который царил вокруг меня и в котором я не сориентировался, я чувствовал, что обязан прежде всего навести порядок в собственных делах.

Элизабет, правда, пришла в условленный час в ту кондитерскую в центре города, где мы встречались с нею раньше, в первые дни моей влюбленности. Я ждал ее за нашим прежним столиком. Мною завладели воспоминания, даже сентиментальность. На мраморной столешнице, казалось мне, еще должны были проявиться некоторые следы наших, ее рук. Конечно, то была ребяческая, смешная идея. Я это понимал, однако насильно к этой идее себя приучал, прямо-таки вгонял себя в нее, в известной мере ради того, чтобы скрасить потребность "навести порядок в своей жизни" каким-нибудь чувством и тем оправдать мое объяснение с Элизабет с обеих сторон. Тогда я впервые открыл для себя, что мы, люди, переживаем все лишь мимолетно, скоро забываем и летучи, как никакие другие существа на земле. Я боялся Элизабет; войну, плен, Вятку, возвращение домой я из памяти почти уже стер. Все свои переживания теперь я так или иначе соотносил с Элизабет. А что она, в сущнос-

ти, значила для меня в сравнении с потерей моих друзей Йозефа Бранко, Манеса Райзигера, Яна Барановича и моей родины, моего мира? Согласно букве и духу как гражданских, так и церковных законов, Элизабет даже не была мне женой. (В старой монархии мы могли бы с легкостью развестись, не говоря уже о нынешних временах.) Вызывала ли она еще у меня желание? Я взглянул на часы: через пять минут она должна была явиться сюда, а мне хотелось, чтобы она задержалась хотя бы еще на полчаса. От страха я поедал шоколадные птифуры из цикория и корицы, способные прельстить только наши глаза, но не обмануть желудок. (Спиртного в кондитерской не было.)

Элизабет пришла. Пришла не одна. Ее сопровождала приятельница — Иоланта Сатмари. Я, разумеется, ожидал, что она придет одна. Но когда появилась также Иоланта Сатмари, я нисколько не удивился. Мне было ясно, что без этой женщины Элизабет не пришла бы, не могла бы прийти. И я понял.

У меня не было предрассудков, о нет! В том мире, в котором я вырос, всякий предрассудок считался признаком вульгарности. Вместе с тем публично демонстрировать то, что считалось запретным, представлялось мне пошлостью. Вероятно, Элизабет не привела бы с собой на нашу встречу женщину, в которую не была влюблена. Тут она должна была повиноваться.

Поражало сходство обеих женщин, хотя они были созданы такими разными и с такими разными лицами. Это впечатление возникало благодаря сходству их одежды и жестов. Можно было бы сказать, что они похожи, как сестры или скорее как братья. Как мужчины, медлили они перед дверью, пропуская одна другую. Как мужчины, медлили еще и возле стола — каждая предлагала другой сесть первой. А я не делал больше и самой робкой попытки поцеловать руку одной и другой. В их глазах я был смешным существом, отпрыском жалкого рода, чужой, презираемой расы, не способным за всю свою жизнь удостоиться посвящения в ту касту, к которой они принадлежали, и приобщиться к тайнам, какие они хранили. К тому же я был во власти низменных представлений, что они принадлежат к слабому полу, и достаточно наглым для того, чтобы прикрывать эти мои представления галантностью. Они сидели со мной рядом решительные и замкнутые, точно я вызвал их на дуэль. Их объединял против меня молчаливый, но очень явный союз. Это было заметно. Даже если я говорил на самую нейтральную тему, они обменивались долгим взглядом, как два человека, которые давно уже знают, что я за тип и на какие высказывания способен. Иногда одна из них улыбалась, и спустя долю секунды точно такую же улыбку повторяли губы другой. Время от времени я, как мне казалось, замечал, что Элизабет проявляет ко мне интерес, пытается украдкой на меня взглянуть, словно хочет мне доказать, что она, в сущности, принадлежит мне и повинуется подруге лишь по принуждению, вопреки собственной воле и склонности. О чем нам было с ней говорить? Я осведомился, как идет ее работа. И прослушал лекцию о неспособности Европы оценить материалы, замыслы, гениальность примитивных народов. Необходимо было вывести совершенно заблудший художественный вкус европейца на верный, естественный путь. Украшения, насколько я понял, были полезными предметами. Я в этом не сомневался, о чем и сказал. Охотно согласился и с тем, что художественный вкус европейцев сбился с пути. Не мог я понять одного: отчего этот заблудший художественный вкус якобы один

только и виноват во всей всемирной катастрофе, — ведь он скорее следствие, наверняка просто симптом.

— Симптом! — воскликнула Иоланта. — Я же тебе говорила, что он неисправимый оптимист! Разве я не раскусила его с первого взгляда? — Говоря это, Иоланта положила свои маленькие широкие ручки на руку Элизабет. При этом движении перчатки Иоланты соскользнули с ее колен на пол — я нагнулся было, но она резко оттолкнула меня.

— Простите, — сказал я. — Я оптимист.

— Вы с вашими симптомами! — воскликнула она. Мне стало ясно, что этого слова она не понимает. — В восемь часов Гаруфакс будет говорить о добровольной стерилизации, — сообщила Иоланта. — Не забудь, Элизабет! Сейчас уже семь.

— Не забуду, — ответила Элизабет.

Иоланта поднялась и метнула взгляд в Элизабет, приказав ей следовать за собой.

— Извини, — сказала Элизабет и покорно последовала за Иолантой в туалет.

Они отсутствовали несколько минут. Достаточно времени для того, чтобы я уяснил себе, что, упорно стараясь "навести порядок в своей жизни", лишь усугубляю путаницу. Я не только сам приходил в смятение, а вдобавок еще усиливал его у других. Как раз до этой мысли я дошел, когда женщины вернулись. Они расплатились. Я даже не успел кликнуть официантку. Из страха, что я могу их опередить и ущемить их самостоятельность, они, так сказать, захватили официантку на ходу, на коротком отрезке между туалетом и кассой. Прощаясь, Элизабет сунула мне в руку кусочек свернутой в трубочку бумаги. Они убежали к Гаруфаксу, послушать про стерилизацию. Я развернул бумажку. "В десять вечера в кафе "Музеум", один" — написала на ней Элизабет. Сумятице не было конца.

В кафе воняло осветительным газом, то есть гнилым луком и падалью. Электрического света не было. При резких запахах мне бывает крайне трудно сосредоточиться. Запах действует сильнее, чем звуки. Я тупо ждал, не испытывая ни малейшего желания снова свидеться с Элизабет. Пропало у меня и желание "навести порядок". Выходило, будто запах газа окончательно убедил меня в запоздалости моих усилий навести порядок. Я ждал еще только из галантности. Но галантность не могла длиться дольше, чем так называемый "комендантский час". И теперь я, в сущности, нашел это установление, которым обычно возмущался, необычайной предупредительностью со стороны властей. Конечно, они, власти, знали, что делали. Они принуждали нашего брата отказаться от не подобающих нам свойств и урегулировать наши безнадежные недоразумения. Элизабет все-таки пришла, за полчаса до закрытия. Она была очень хороша, когда влетела в кафе, чем-то похожая на загнанного зверька, в короткой бобровой шубке, со снегом в волосах и на длинных ресницах и каплями тающего снега на щеках. Казалось, она прибежала ко мне из лесу.

— Я сказала Иоланте, что папа заболел, — начала она. И в глазах у нее уже блестели слезы. Она зарыдала. Да, она рыдала, несмотря на то что под расстегнутой шубкой у нее виднелся мужской воротничок с галстуком. Я бережно взял ее руку и поцеловал. На сей раз у Элизабет вовсе не было настроения отталкивать мою руку. Подошел уже клевавший носом официант. Горели еще только две газовые лампы. Я думал, Элизабет за-

кажет ликер. Она, однако, захотела сосисок с хреном. У плачущих женщин бывает хороший аппетит, подумал я. Кроме того, хрен оправдывал слезы. Ее аппетит меня растрогал. Я проникся нежностью — предательской, роковой мужской нежностью. Обхватил ее за плечи. Она откинулась назад, одной рукой макая сосиску в хрен. Слезы у нее еще катились, но они значили так же мало, что и тающие снежинки на ее шубке.

— Ведь я твоя жена, — вздохнула она. Но прозвучало это как возглас ликования.

— Конечно, — откликнулся я. Элизабет внезапно выпрямилась. Она заказала еще порцию сосисок с хреном и пиво.

Последнюю газовую лампу погасили тоже — нам пора было уходить из этого кафе.

— Иоланта меня ждет, — сказала Элизабет, когда мы вышли.

— Я тебя провожу, — заявил я.

Мы молча шли рядом. Падал вялый, словно гниющий снег. Фонари, тоже гнилые, не светили. Скупые и злобные, они прятали искорку света в своих стеклянных коробках. Они не освещали улицы, а делали их еще темнее.

Когда мы дошли до дома Иоланты Сатмари, Элизабет сказала:

— Мне сюда, до свидания!

Я попрощался. Спросил, когда мне можно будет к ней прийти, и уже собрался уходить. Вдруг Элизабет протянула ко мне руки.

— Не отпускай меня, — попросила она. — Я пойду с тобой.

Что ж, я взял ее с собой. С Элизабет я не мог войти ни в один из тех домов, где меня, возможно, еще помнили по прежним временам. Мы бродили по этому большому, осиротевшему мрачному городу, как двое сирот. Элизабет крепко держала меня под руку. Через мех шубки мне передавалось биение ее сердца. Иногда мы останавливались возле одного из тусклых фонарей, и я глядел в ее мокрое лицо. Я не знал, от чего оно мокрое — от слез или от снега.

Мы дошли до набережной Франца Иосифа, едва сознавая, где находимся. Сами того не сознавая, прошли по Аугартенскому мосту. Все еще шел снег, гнилой и противный, и мы не произносили ни слова. Один из домов на Нижней Аугартенской улице светил нам навстречу крошечной звездочкой. Мы оба знали, что возвещает эта звездочка, и пошли ей навстречу.

Обои, как обычно, были ядовито-зеленые. Света не было вообще. Портье зажег свечу, дал стечь нескольким каплям и прилепил ее к ночному столику. Над умывальником висело полотенце. На нем кроваво-красными нитками внутри зеленого венка были вышиты слова: “Бог в помощь!”

В этой комнате в эту ночь я любил Элизабет.

— Я в плену, — сказала она мне. — Иоланта взяла меня в плен. Не надо было мне тогда уезжать из Бадена, когда умер Жак.

— Ты не в плену, — возразил я. — Ты со мной, ты моя жена.

Я пытался исследовать все тайны ее тела, а их у него было много. Юношеское честолюбие — тогда я считал его мужским — приказывало мне стереть все следы, какие могла оставить Иоланта. Что это было? Честолюбие? Ревность?

Зимнее утро медленно вползало по ядовито-зеленым обоям. Элизабет меня разбудила. Когда она так смотрела на меня, то казалась совсем чужой. В глазах — испуг и упрек, да, упрек был тоже. Ее строгий серебри-

сто-серый галстук, похожий на маленький меч, висел на спинке кресла. Она нежно поцеловала меня в глаза, но вдруг вскочила и воскликнула:

— Иоланта!

Мы торопливо оделись, сгорая со стыда. Утро было ужасное. Сыпал мелкий град. Идти нам было далеко. Трамваи еще не ходили. Целый час шли мы под колючим дождем до дома Элизабет. Рука ее была холодной.

— До свидания! — крикнул я ей вслед. Она не обернулась.

XXVI

Было восемь часов. Матушка уже сидела за завтраком, как ежедневно. Ритуал нашей встречи совершился как обычно.

— Доброе утро, мама!

Сегодня матушка огорошила меня, сказав:

— Здоро́во, малыш!

Давно уже я не слышал от нее этого мальчишеского приветствия. Когда же это она употребила его в последний раз? Лет десять, а может быть, пятнадцать тому назад, когда я был еще гимназистом и на каникулах, раз мог сидеть с ней за завтраком. В то время она еще имела привычку отпускать иногда безобидную шутку, которая, по-видимому, ей самой казалась очень остроумной. Например, она говорила, указывая на кресло, на котором я сидел:

— Ну как, не жестко тебе на этой школьной скамье?

Один раз я ответил: "Так точно, мама!", за что на три дня был лишен права сидеть за столом.

Сегодня она даже начала жаловаться на качество повидла.

— Не понимаю, — сказала она, — где они берут столько свеклы! Попробуй, малыш! Они пишут, что это полезно. Чтоб их... — она не договорила. Ругательства она всегда не договаривала. Я ел свеклу и маргарин и пил кофе. Кофе был хороший. Я заметил, что наша горничная мне наливала из другого кофейника, и понял, что хороший, с трудом добытый кофе фирмы "Майнль" мать приберегала для меня, а сама довольствовалась горькой бурдой из цикория. Но я не должен был подавать виду, что это понял. Матушка не терпела, когда кто-то разгадывал ее маленькие стратегические уловки. Надо было притворяться слепым. Ее тщеславие было столь велико, что иногда она могла сделаться даже мстительной.

— Итак, ты встретился со своей Элизабет, — начала она прямо. — Я это знаю, вчера здесь побывал твой тесть. Когда я делаю над собой некоторое усилие, то вполне его понимаю. Он сидел тут часа два. Сообщил мне, что у вас с ним был разговор. Я ему сказала, что могла бы узнать это от тебя, но его было не остановить. Итак, ты намерен навести в своей жизни порядок — вот что я услышала. А что думает об этом Элизабет?

— Мы с ней встретились.

— Где? Почему не здесь?

— Мне это в голову не пришло, мама. Было уже очень поздно.

— Он сказал, что хочет взять тебя в дело. Ты, мол, ничего не умеешь. Не можешь прокормить жену. Не знаю, в какое дело намерен он тебя взять, так или иначе, ты должен сделать какой-то взнос. А у нас ничего нет. Все вложено в военный заем. То есть проиграно — как и война. У нас остался этот дом. Он считает, что дом можно бы заложить. Тебе надо будет как-нибудь переговорить с нашим доктором Киниовером. Но где ты должен работать и что делать? Разве ты что-нибудь смыслишь в этом

прикладном искусстве? Твой тесть прекрасно в нем разбирается. Его лекция была еще подробнее, чем разъяснения твоей Элизабет. А кто такая эта госпожа Иоланта Кечкемет?

— Сатмари, мама, — поправил я.

— Пусть ее будет Шекели, — согласилась матушка. — Так кто это такая?

— У нее коротко стриженные волосы, мама, и я ее терпеть не могу.

— И Элизабет ее подруга?

— Очень близкая подруга!

— Очень близкая, говоришь?

— Так точно, мама!

— Ага! Тогда оставь это, малыш. О дружбе такого рода я наслышана. Мне этого довольно. Я кое-что читала, малыш! Ты себе не представляешь, как много я знаю. Лучше бы у Элизабет был друг. От женщин бывает трудно отделаться. А с каких это пор водятся женщины-профессора? И каких наук профессор эта Кечкемет?

— Сатмари, мама! — поправил я.

— Пусть ее будет Лакатош, — немного подумав, сказала матушка. — Так что же ты можешь поделать против женщины-профессора? Боксер или артист — это другое дело!

Как же плохо я знал свою мать! Эта старая женщина, лишь раз в неделю на два часа ходившая в городской парк, чтобы "подышать воздухом", и ради той же цели взявшая за привычку лишь раз в неделю ездить в фиакре до "звезды" Пратера, оказывается, имела представление о так называемых "извращениях". Сколько всего должна была она прочитать, насколько ясно должна была рассуждать и мыслить в те долгие одинокие часы, что проводила дома, где, опираясь на свою черную трость, бродила по затемненным комнатам нашего особняка, такая одинокая и богатая, такая наивная и мудрая, столь чуждая свету и столь светски искушенная! Но я должен был защищать Элизабет — что могла бы подумать матушка, если бы я не стал это делать! Элизабет была моя жена, я пришел домой, еще не остыв от ее объятий, я еще чувствовал в ладонях шелковистую прохладу ее юных грудей, еще вдыхал аромат ее тела; отражение ее лица с блаженно полузакрытыми глазами еще жило в моих глазах, и на моих устах еще покоилась печать ее губ. Я должен был защищать Элизабет, и пока я ее защищал, я снова начал ее любить.

— Эта госпожа профессор Сатмари против меня бессильна. Элизабет меня любит, в этом я уверен. Вчера, например...

Матушка не дала мне договорить.

— А сегодня? — перебила она. — Сегодня она опять у профессора Халаши!

— Сатмари, мама!

— Я ни во что не ставлю такие имена, малыш, ты это знаешь, и нечего все время меня поправлять! Если ты намерен жить с Элизабет, то должен ее содержать. Значит, ты должен, как говорит твой тесть, взять кредит под залог нашего дома. Потом войти в какое-то дело, как говорит твой тесть. Что это я твержу: наш дом? Это твой дом! Тогда этой профессорше с ее окаянной фамилией придется довольствоваться изготовлением бус из еловых шишек — во имя Господне! У нас на первом этаже еще есть свободная квартира, кажется, четыре комнаты, — дворник знает точно. У меня еще кое-что осталось в банке, я с тобой поделюсь, спро-

си-ка доктора Киниовера, сколько там. Столоваться мы можем вместе. Элизабет умеет готовить?

— Думаю, нет, мама!

— Я когда-то умела, — произнесла матушка, — и уж как-нибудь вспомню! Главное, что ты можешь жить с Элизабет. А она с тобой. — Она больше не говорила "твоя Элизабет" — я счел это признаком особой материнской милости.

— Пройдись по городу, малыш! Навести своих друзей! Возможно, они еще живы. Как ты полагаешь? Не пройтись ли тебе?

— Так точно, мама! — ответствовал я и пошел к Штельмахеру в Военное министерство, чтобы навести справки о своих друзьях. Штельмахер должен был всегда сидеть на месте. Пусть Военное министерство и стало теперь просто каким-то ведомством! Штельмахер наверняка сидел на месте.

Он был на месте — старый, седой и сгорбленный. Сидел за своим старым письменным столом, в своем старом кабинете. Только одет был в гражданский костюм, какой-то странный, мешковатый и болтавшийся на нем, к тому же перелицованный. Время от времени он просовывал два пальца под воротничок и оттягивал его от шеи. Накрахмаленное полотно раздражало его. Манжеты тоже раздражали его. Он то и дело прижимал их к краю стола, заталкивая обратно в рукава пиджака. Кое-что было ему известно. Хойницкий еще жив, он живет на Видене. Дворжак, Сечени, Халлерсберг, Лихтенталь, Штрохофер каждый день играют в шахматы в кафе "Йозефинум" на Веринге рштрассе. Штейскаль, Халаш и Грюнбергер пропали без вести. Первым делом я отправился к Хойницкому на Виден.

Он сидел в своей прежней гостиной, в своей прежней квартире. Узнать его было почти невозможно, так как он сбрил усы.

— Зачем, зачем? — спросил я.

— Чтобы я выглядел как мой слуга. Я сам себе лакей. Сам открываю себе дверь. Сам чищу себе сапоги. Звоню, когда мне что-нибудь нужно, и сам являюсь на звонок. Что прикажете, ваше сиятельство? — Сигареты! — И я отправляюсь в табачную лавочку. Столоваться пока еще могу бесплатно, у старухи. — Под "старухой" в нашем кругу подразумевали госпожу Захер. — Вино пока еще получаю у толстяка. — Под этим прозвищем в нашем кругу подразумевали Лаутгартнера в Хитцинге. — А Ксандль сошел с ума и находится в Штайнхофе[1], — так заключил Хойницкий свой печальный рассказ.

— Сошел с ума?

— Совершенно. Раз в неделю я его навещаю. "Крокодил" (это был дядя братьев Хойницких, Сапега) наложил секвестр на имения. Он опекун Ксандля. Я даже не имею права протестовать. Эта квартира заложена. Еще три недели я могу здесь оставаться. А как ты, Тротта?

— Я хочу взять кредит под залог нашего дома. Знаешь, я ведь женился. Мне надо содержать жену.

— О-о, женился! — воскликнул Хойницкий. — Я тоже. Но моя жена в Польше. Да хранит ее Господь, пусть живет там подольше и здравствует. Я решил все предоставить Вседержителю. Он ведь заварил всю эту кашу, эту гибельную кашу, а я не желаю ее расхлебывать. — Немного помолчав, он стукнул кулаком по столу и воскликнул:

1. Психиатрическая клиника в Вене.

— Это вы во всем виноваты, вы, вы... — он искал слово, — вся ваша шайка, — слово наконец пришло ему в голову. — Это вы своими безответственными шуточками за кофейным столом разрушили государство. Мой Ксандль всегда это предсказывал: Вы не желали видеть, что эти альпийские болваны и судетские чехи, эти кретинские нибелунги так долго оскорбляли и бесчестили народности нашей страны, пока те не начали ненавидеть и предавать монархию. Это не наши чехи, не наши сербы, не наши поляки, не наши русины ее предали, а только наши немцы — господствующая нация.

— Но моя семья словенского происхождения, — заметил я.

— Прости, — тихо сказал он. — Просто возле меня совсем нет немцев. Дайте мне судетского немца! — вдруг заорал он опять. — Я его задушу! Пойдем, отыщем его! Пошли! Идем в "Йозефинум".

Там сидели Дворжак, Сечени, Халлерсберг, Лихтенталь и Штрохофер, большинство еще в военной форме. Все они принадлежали к прежнему светскому обществу. Дворянские титулы были запрещены, но что с того?

— Кто не знает меня по имени, — сказал Сечени, — тот вообще не получил приличного воспитания!

Они неустанно играли в шахматы.

— Где судетец? — воскликнул Хойницкий.

— Я здесь, — откликнулся тот. Это был болельщик, папаша Кунц, старый социал-демократ, редактор партийной газеты, готовый в любой миг на фактах доказать, что австрийцы, в сущности, немцы.

— Докажите! — воскликнул Сечени.

Папаша Кунц заказал двойную порцию сливянки и принялся приводить доказательства. Никто его не слушал.

— Пусть Бог покарает судетских немцев! — закричал Хойницкий, только что проигравший партию. Он вскочил и, вскинув сжатые кулаки, бросился к старому папаше Кунцу. Мы оттащили его. На губах у него выступила пена, глаза налились кровью.

— Безмозглые чурбаны! — воскликнул он наконец. Это был пик его ярости. Затем он заметно смягчился.

Я чувствовал себя хорошо, я снова был дома. Все мы потеряли прежнее положение, имя и ранг, дом, и деньги, и значение, потеряли прошлое, настоящее, будущее. Каждое утро, когда мы просыпались, каждую ночь, когда ложились спать, мы проклинали смерть, которая понапрасну заманила нас на свое грандиозное празднество. И каждый из нас завидовал павшим. Они покоились в земле, и будущей весной из их праха вырастут фиалки. Мы же вернулись домой безнадежно бесплодными, с бессильными чреслами, поколение обреченных смерти, коих она презрела. Заключение призывной комиссии было категоричным. Оно гласило: "К смерти негоден".

XXVII

Все мы привыкали к непривычному. Это было торопливое привыкание. Мы спешили приспособиться, словно бы сами того не сознавая, мы прямо-таки гнались за нововведениями, которые ненавидели и к которым питали отвращение. Начали даже любить свое несчастье, как любят верных в своей вражде врагов. Мы прямо-таки в нем окопались. Мы были благодарны ему за то, что оно поглотило все наши мелкие, особые, лич-

ные невзгоды, это был их старший брат, — несчастье такое большое, что перед ним не только оказывалось бессильным всякое утешение, но и теряла свою важность любая из наших повседневных забот. По-моему, люди могли бы понять и, конечно же, простить даже ужасающую податливость ныне живущих поколений их еще более страшным угнетателям, если бы приняли во внимание, что человеческой природе вообще свойственно предпочитать огромное, всепожирающее бедствие личному горю. Чудовищное бедствие быстро заглатывает маленькое несчастье, так сказать, невезение. Так что в те годы мы любили чудовищное горе. О, не то чтобы мы были не способны отбить у него еще несколько маленьких радостей, выкупить их у него, выклянчить, вытянуть. Мы часто шутили и часто смеялись. Мы тратили деньги, которых у нас, правда, почти уже не было, но которые вместе с тем уже почти ничего не стоили. Мы занимали их и швыряли, принимали в дар и дарили сами, оставались должны и оплачивали чужие долги. Примерно таким же образом люди когда-нибудь станут жить в канун Страшного суда, высасывая мед из ядовитых цветов, превознося гаснущее солнце как подателя жизни, целуя иссыхающую землю как мать плодородия.

Близилась весна, венская весна, которой ни одна из слезливых эстрадных песенок не могла ничего поставить в упрек. Ни одна из стяжавших популярность мелодий не могла сравниться с песнью дрозда в Вотивпарке или в Народном саду. Ни один рифмованный песенный текст не покоряет так, как в апреле подкупающе грубый, хриплый крик зазывалы перед каким-нибудь из балаганов Пратера. Кто способен воспеть неброский блеск "золотого дождя", который тщетно пытается спрятаться среди свежей зелени соседних кустов? Где-то рядом уже ощущаешь чарующий аромат бузины — обещание праздника. В Венском лесу синели фиалки. Люди сходились парами. Мы сидели в нашем обычном кафе, играли в шахматы, в триктрак, в тарок. Мы проигрывали и выигрывали ничего не стоящие деньги.

Весна так много значила для моей матери, что начиная с пятнадцатого апреля она ездила в Пратер целых два раза в неделю, а не раз, как зимой. Фиакров в Вене осталось совсем мало. Лошади умирали от старческой немощи. Многих забивали и съедали потом в виде колбасы. В каретных сараях прежней армии можно было увидеть составные части разбитых фиакров, экипажей на резиновом ходу, в которых некогда, наверно, катались Чиршские, Паллавичини, Штернберги, Эстерхази, Дитрихштайны, Траутмансдорфы. Моя матушка с присущей ей от природы осторожностью — а с годами она стала еще осторожней — "поладила" с одним из немногих извозчиков. Он приезжал за ней два раза в месяц ровно в девять часов утра. Иногда я сопровождал матушку, особенно в дождливые дни. В дурном расположении духа — а дождь был для нее уже достаточным к тому поводом — она не хотела быть одна. В тихом угрюмом сумраке под брезентовым верхом мы разговаривали мало.

— Господин Ксавер, — обратилась как-то матушка к извозчику, — расскажите-ка мне что-нибудь.

Он обернулся к нам, пустив лошадей минуту-другую бежать рысью, и стал рассказывать всякую всячину. Его сын получил высшее образование, вернулся с войны и был теперь активным коммунистом.

— Мой сын говорит, — рассказывал Ксавер, — что с капитализмом покончено. Он больше не говорит мне "отец", а обращается со словами:

"Поехали, ваша милость!" Голова у него хорошая. Парень знает, чего хочет. В моих лошадях он ничего не смыслит.

— А я что, тоже капиталистка? — спросила матушка.

— Конечно, — сказал Ксавер, — все, кто не работает, а все-таки живет, — капиталисты.

— А нищие? — не унималась матушка.

— Нищие не работают, но и не катаются в фиакрах в Пратер, как вы, милостивая государыня! — ответил Ксавер.

Матушка сказала мне:

— Якобинец! — Она полагала, что высказалась на диалекте "имущих". Но Ксавер понял. Он обернулся и сказал:.

— Якобинец — это мой сын. — После чего хорошенько щелкнул кнутом. Могло показаться, будто он сам себе поаплодировал за то, что у него такие солидные исторические познания.

Моя матушка вообще день ото дня становилась все несправедливей, в особенности с тех пор, как я оформил ипотеку. Прикладное искусство, Элизабет, госпожа профессор, короткие волосы, чехи, социал-демократы, якобинцы, евреи, мясные консервы, биржевые бумаги, мой тесть — все это были объекты ее презрения и ненависти. Нашего адвоката, доктора Киниовера, который был другом моего отца, она простоты ради именовала "еврей". Наша горничная была "якобинка", дворник — "санкюлот", а Иоланта Сатмари прозывалась не иначе как "Кешкемет". В нашей жизни возник новый персонаж — некий Курт фон Штеттенхайм, прибывший прямиком из провинции Бранденбург и полный решимости любой ценой распространить в мире прикладное искусство. Выглядел он как один из тех людей, которых ныне называют породистыми. Под этим подразумевают смесь чемпиона по теннису с еще встречающимся в сельской местности типом владельца дворянского имения, слегка смахивающим то ли на пассажира, то ли на стюарда океанского парохода. Такого рода люди приезжают из Прибалтики, из Померании, даже с Люнебургской пустоши. Нам еще относительно повезло. Наш господин фон Штеттенхайм приехал всего лишь из провинции Бранденбург.

Он был высокий и мускулистый, белокурый и веснушчатый, лоб его украшал неизбежный шрам — опознавательный знак боруссов, а глаз — монокль, настолько противоестественный, что его можно было счесть не чем иным, как врожденным уродством. Я и сам иногда пользуюсь моноклем — ради удобства, я слишком тщеславен, чтобы носить очки. Но попадаются лица из Померании, из Прибалтики, из провинции Бранденбург, которым монокль придает такой вид, будто у них есть третий, лишний глаз, не помощник естественного глаза, а его стеклянная маска. Когда господин фон Штеттенхайм зажимал в глазу монокль, он выглядел как госпожа профессор Иоланта Сатмари, закуривающая сигарету. Когда господин фон Штеттенхайм говорил или особенно когда он горячился, его каинов рубец на лбу наливался кровью, а горячился он зря. Ибо в поразительном противоречии с его горячностью оказывались слова, какие он произносил, например: "Итак, могу вам сказать, что я просто остолбенел", или: "Я всегда говорю: только не отчаиваться!", или: "Ставлю десять против одного и клянусь вам!" И так далее в том же духе. Ипотечного кредита моему тестю явно не хватило. Фон Штеттенхайм обещал вложить солидный капитал в ателье Элизабет Тротты. Тесть несколько раз устраивал мне встречи с ним. Ведь он же именно ра-

ди ипотеки в конце концов и "втянул" меня в прикладное искусство! Так что ему надлежало по меньшей мере представить меня нашему третьему компаньону.

— Одного графа Тротту я знаю! — воскликнул фон Штеттенхайм, едва лишь мы с ним обменялись первыми двумя фразами.

— Вы ошибаетесь, — возразил я, — Тротты получили только баронский титул, и то лишь в одной своей ветви, не знаю, живы они еще или нет.

— Конечно, я вспомнил, тот старый полковник был барон.

— Вы опять ошибаетесь, — заметил я. — Мой дядя — окружной начальник.

— Сожалею! — ответил фон Штеттенхайм, и его шрам налился кровью.

У фон Штеттенхайма родилась идея назвать нашу фирму "Мастерские Иолан". Под этим названием она и была зарегистрирована. Когда бы я ни пришел в контору фирмы, Элизабет усердно рисовала. Рисовала непостижимые вещи, как, например, девятиконечные звезды на гранях октаэдра, или десятипалую руку, которую предполагалось сделать из агата и назвать "Благословение Кришнамурти", или же красного быка на черной земле, которого звали "Апис", корабль с тремя рядами весел, получивший название "Саламис", или браслет в виде змеи по имени "Клеопатра". Эти идеи исходили от профессора Иоланты Сатмари, она диктовала Элизабет эти планы. В остальном между мной и ею установилась мрачная, чреватая ненавистью условная любезность, на дне которой таилась взаимная ревность. Элизабет любила меня, в этом я был уверен, страх она испытывала перед профессором Иолантой, один из тех видов страха, которому тогдашняя медицина не без успеха пыталась дать определение, но не умела объяснить. С тех пор как господин фон Штеттенхайм вступил третьим участником в наши "Мастерские Иолан", мой тесть и госпожа профессор считали меня помехой, препятствием на пути прикладного искусства, человеком, не способным ни к какой полезной деятельности и совершенно недостойным того, чтобы его посвящали в художественные и деловые планы нашей фирмы. Я был для них еще только супругом Элизабет.

Фон Штеттенхайм составлял проспекты на всех языках мира и рассылал их тоже во все концы света. И чем меньше приходило откликов, тем лихорадочнее становилась его деятельность. Появились новые гардины, вслед за лимонно-желтыми стульями — софа, тоже лимонно-желтая с черными зебровидными полосами, две лампы с шестигранными абажурами из японской бумаги и пергаментная географическая карта, на которой все страны и города были отмечены булавками — все, в том числе и те, куда наша фирма ничего не посылала.

В те вечера, когда я заходил за Элизабет, мы не говорили ни о Штеттенхайме, ни о профессоре Иоланте Сатмари, ни о прикладном искусстве. На этот счет у нас была договоренность. Мы переживали сладостные, упоительные весенние ночи. Нет сомнения: Элизабет любила меня.

Я был терпелив. Я ждал. Ждал минуты, когда она по собственной воле скажет, что хочет окончательно переехать ко мне. Наша квартира на первом этаже нас ждала.

Матушка никогда не спрашивала меня о намерениях Элизабет. Время от времени она роняла несколько слов, например: "Как только вы вселитесь" или: "Когда вы будете жить у меня" и тому подобное.

К концу лета выяснилось, что наши "Мастерские Иолан" не приносят никакого дохода. Кроме того, мой тесть потерпел неудачу со своим обилием "железа в кузнице". Он пытался спекулировать на марке, при посредстве фон Штеттенхайма. Марка упала. Мне надо было взять второй, намного более значительный ипотечный кредит под наш дом. Я заговорил на эту тему с матушкой — она не желала об этом слышать. Я рассказал это тестю.

— Ты бездарь, я всегда это знал, — заявил он. — Я сам к ней пойду.

Он пошел к моей матери, но не один, а вместе с фон Штеттенхаймом. Матушка, боявшаяся незнакомых людей и даже питавшая к ним отвращение, попросила меня не уходить. Так что я поневоле остался. Произошло нечто поразительное: фон Штеттенхайм понравился моей матери. Во время беседы у нас в гостиной мне даже показалось, что матушка делает поползновения наклониться к собеседнику, дабы лучше расслышать его многословные и никчемные рассуждения. "Очаровательно! — сказала матушка. — Очаровательно!" — повторила она несколько раз, причем после самых пустопорожних фраз фон Штеттенхайма. Он — и он тоже! — прочел нам лекцию о прикладном искусстве вообще и об изделиях АО "Мастерские Иолан" в частности. И моя добрая старая матушка, которая, конечно, столь же мало понимала в прикладном искусстве, сколь и раньше, после лекции Элизабет, отныне без конца твердила:

— Теперь я понимаю, теперь я понимаю, теперь я понимаю!

У господина фон Штеттенхайма достало вкуса сказать:

— Колумбово яйцо, милостивая государыня!

И матушка послушно, как эхо, повторила:

— Колумбово яйцо! Мы возьмем вторую закладную.

Наш адвокат Киниовер поначалу воспротивился.

— Предупреждаю вас, — сказал он. — Это дело бесперспективное. У вашего уважаемого тестя уже совсем нет денег. Я навел справки. Этот фон Штеттенхайм живет на займы, которые берете вы. Он уверяет, что является совладельцем зала "Таттер" в берлинском Тиргартене. Мой берлинский коллега сообщил мне, что это неправда. Клянусь вам именем вашего покойного отца, который был моим другом: я говорю вам правду. Профессор Иоланта Сатмари такой же профессор, как я. Она никогда не посещала ни одного из высших учебных заведений Вены или Будапешта. Предупреждаю вас, господин Тротта, предупреждаю вас.

У "еврея" были маленькие черные слезящиеся глаза за криво сидевшим пенсне. Одну половину своих седых усов он подкручивал вверх, другая уныло свисала вниз. Таким образом в известной степени выявлялась двойственность его натуры. Он был способен после долгой мрачной речи, в которой он предрекал мой неминуемый крах, неожиданно заявить: "И тем не менее все еще кончится хорошо! Господь нам отец!" Эту фразу он вообще твердил всегда при запутанных обстоятельствах. Этот потомок Авраама, унаследовавший и благословение, и проклятье, легкомысленный, как австриец, и печальный, как еврей, чувствительный, однако, лишь до той границы, за которой чувствительность может стать опасной, зоркий, несмотря на криво сидящее пенсне, со временем стал мне близок, как брат. Я часто заходил к нему в контору без всякой

причины, без надобности. На письменном столе у него стояли фотографии двух его сыновей. Старший погиб на войне. Младший учился на медицинском.

— Он носится со всякими возвышенными социальными идеями, — посетовал старый доктор Киниовер. — А ведь насколько важнее было бы найти лекарство от рака! Боюсь, у меня он завелся тоже, где-то там, сзади, в области почек. Раз уж мой сын изучает медицину, ему надо бы подумать о старике отце, а не о спасении человечества. Хватит спасителей! Но вы ведь хотите спасти прикладное искусство! Ваша уважаемая мама хотела спасти родину. Все свое значительное состояние она вложила в военный заем. У нее осталась лишь смехотворная сумма, на которую она застраховала свою жизнь. Ваша уважаемая мама, вероятно, воображает, что этих денег ей хватит на покойную старость. Она могла бы прожить на них аккурат два месяца. У вас никакой профессии нет, и никакой работы вы, наверно, не найдете тоже. Но если вы не начнете что-то зарабатывать, то погибнете. Даю вам совет: у вас есть дом, откройте в нем пансион. Постарайтесь втолковать это вашей уважаемой маме. Ипотечный кредит, который вы взяли, не последний. Вам понадобятся еще и третий, и четвертый. Поверьте мне! Господь нам отец!

Фон Штеттенхайм частенько заглядывал к моей матушке, но предупреждал о своем приходе редко. Матушка всегда встречала его радушно, а случалось, и восторженно. Удивленно и с огорчением наблюдал я, как старая, избалованная и строгая женщина весело-снисходительно воспринимает, одобряет, хвалит и ценит его хамские шутки, пошлые поговорки, раздражающие жесты. У Штеттенхайма была привычка внезапным пугающим движением выбрасывать вперед и подносить к глазам левую руку, чтобы посмотреть, который час на его наручных часах. Мне всегда казалось, что при этом он толкает соседа слева, но такового, к счастью, не было. Когда он брал чашку с кофе, то, словно гувернантка, отставлял мизинец правой руки, именно тот палец, на котором он носил массивное кольцо с печаткой — печатка напоминала какое-то насекомое. Говорил он тем гортанным голосом, что свойствен некоторым пруссакам и как будто бы исходит не из человеческой глотки, а из печной трубы, и выхолащивает даже серьезные вещи, какие они иногда говорят.

И надо же было, чтобы именно этот человек понравился моей любимой старой матушке.

"Очаровательный!" — говорила она про него.

XXVIII

Постепенно он подкупил и меня, да так, что сначала я даже этого не заметил. Он был мне нужен, нужен просто ради матушки. Он осуществлял связь между нашим домом и Элизабет. Я не мог долгое время стоять между двумя женщинами — даже между тремя, если считать госпожу профессора. С тех пор как фон Штеттенхайм снискал поразительное расположение моей матери, Элизабет иногда заходила к нам домой. Матушка лишь намекнула на то, что не желала бы видеть госпожу профессора. Впрочем, она заметно отстранялась и от Элизабет. Это тоже отчасти было заслугой фон Штеттенхайма, чем он опять-таки меня подкупил. Я привыкал к его неожиданным выходкам (они все реже меня пугали), к его голосу, который всегда был немного громче, чем требовало помещение, где он говорил. Создавалось впечатление, будто он вообще не зна-

ет, что бывают помещения меньшие и большие. Например, комната в жилом доме и перрон вокзала. В гостиной моей матери он разговаривал тем несколько торопливым голосом, которым некоторые простые люди имеют обыкновение разговаривать по телефону. На улице он только что не кричал. А поскольку он употреблял сплошь бессодержательные речения, то они звучали еще громче. Долгое время я удивлялся тому, что моя матушка, которой чей-то повышенный тон, чрезмерный шум, уличная музыка и даже концерт под открытым небом всегда причиняли физические страдания, могла терпеть и тем более находить "очаровательным" голос фон Штеттенхайма. Лишь через несколько месяцев я случайно узнал причину такой снисходительности.

Однажды вечером я вернулся домой в неурочный час. Хотел поздороваться с матушкой, стал ее искать. Горничная мне сказала, что она сидит в библиотеке. Дверь в комнату, которая служила нам библиотекой и граничила с гостиной, стояла открытой — стучаться не надо было. Моего приветствия старая женщина явно не услышала. Сперва я подумал, что она заснула над книгой. Кроме того, она сидела ко мне спиной, лицом к окну. Я подошел ближе — она не спала, она читала и как раз переворачивала страницу, когда я подошел.

— Добрый вечер, мама! — сказал я.

Она не взглянула на меня. Я дотронулся до нее. Она испугалась.

— Как ты здесь оказался? — спросила она.

— Забежал на минутку, мама, я хотел только отыскать здесь адрес Штясны.

— От него уже давно ни слуху ни духу. Я думаю, он умер.

Полицейский врач, доктор Штясны был моих лет, должно быть, матушка меня не поняла.

— Я имею в виду доктора Штясны, — пояснил я.

— Ясно, только, по-моему, он два года тому назад умер. Ему было уже не меньше восьмидесяти.

— Значит, умер! — повторил я. Тут мне стало ясно, что матушка плохо слышит. Исключительно благодаря своей внутренней дисциплине, той необыкновенной дисциплине, какой от нас, более молодых, с самого детства уже не требовали, она находила в себе загадочную силу скрывать этот свой физический недостаток в те часы, когда ждала меня домой, меня и других. В те долгие часы, что она ждала, она готовилась слушать. Ведь она не могла не сознавать, что старость нанесла ей один из своих ударов. Вскоре, думал я, она станет глухой, как рояль без струн!

Да, возможно, уже тогда, когда в приступе смятения она велела вынуть из рояля струны, у нее появилось предчувствие надвигающейся глухоты и смутный страх, что вскоре она уже не сможет улавливать верные тона! Из всех ударов, какие могла нанести старость, этот должен был оказаться для матушки — ведь она была истинной дочерью музыки — наитяжелейшим. В этот миг она показалась мне почти сверхъестественно великой, отодвинулась в другое столетие, в эпоху давно ушедшей в прошлое героической аристократии. Ибо скрывать и отрицать свои увечья свойственно аристократам и героям.

Потому она так и ценила фон Штеттенхайма. Его она, по всей видимости, слышала отчетливей, чем остальных, и была ему за это благодарна. Его банальности ее не утомляли. Я попрощался — мне надо было зайти к себе в комнату, чтобы взять адрес Штясны.

— Можно мне прийти в восемь часов, мама? — крикнул я, на сей раз уже повысив голос. Получилось, пожалуй, слишком громко.

— С каких это пор ты так кричишь? — удивилась она. — Приходи, у нас сегодня вареники с вишнями, правда из ржаной муки.

Я судорожно пытался вытеснить мысли о пансионе. Моя мать — хозяйка пансиона! Какая дикая, нелепая идея! Тугоухость матушки придавала ей еще больше достоинства. Теперь она, возможно, уже не слышала постукиванья собственной палки, не слышала даже звука собственных шагов. Я понял, почему она так снисходительно относилась к нашей горничной, белокурой, полной и неуклюжей девушке, славной и туповатой дочери венского предместья, имевшей склонность все делать с шумом и грохотом. Моя мать среди пансионеров! Наш дом, где не умолкают звонки, которые уже сегодня начали рвать мне уши оттого, что матушка была не в силах уловить всю их наглость. Я, так сказать, должен был слышать за нас обоих и за обоих чувствовать себя оскорбленным. Но какой еще могли бы мы найти выход? Доктор Киниовер был прав. Прикладное искусство пожирало один ипотечный кредит за другим.

Матушка об этом не беспокоилась. Стало быть, нес ответственность, как принято говорить, я один. Я — и ответственность! Не то чтобы я был трусом! Нет, просто я был на это не способен. Я не боялся смерти, но боялся канцелярии, нотариуса, начальника почтового отделения. Я не умел считать, в крайнем случае только складывать. Умножение уже становилось для меня мукой. Вот так! Я — и ответственность!

Между тем господин фон Штеттенхайм, эта грузная птица, вел беспечную жизнь. У него всегда были деньги, он никогда их не занимал, а, напротив того, угощал всех моих друзей. Правда, мы его не любили. Когда он неожиданно появлялся в кафе, мы сразу умолкали. Кроме того, у него была привычка каждую неделю приходить с другой женщиной. Он подхватывал их повсюду и всех сортов: танцовщиц, кассирш, белошвеек, модисток, кухарок. Он совершал экскурсии, покупал костюмы, играл в теннис, катался верхом в Пратере. Однажды вечером он вышел мне навстречу из подъезда нашего дома как раз когда я возвращался домой. Казалось, он спешил, его ждал автомобиль. “Я должен ехать!” — бросил он и уселся в машину.

У матушки сидела Элизабет. Она явно пришла к нам вместе с фон Штеттенхаймом. Я почувствовал в нашей квартире что-то чуждое — словно бы странный, непривычный запах. Должно быть, здесь, пока я отсутствовал, произошло нечто неожиданное. Когда я вошел в комнату, женщины говорили между собой, однако разговор был явно вымученный, и я сразу заметил, что цель его — ввести меня в заблуждение.

— Я встретил у дверей фон Штеттенхайма, — начал я.

— Да, — сказала Элизабет, — он проводил меня сюда и пробыл с нами четверть часа.

— У него, у бедняги, заботы! — заметила матушка.

— Ему нужны деньги? — спросил я.

— Именно! — откликнулась Элизабет. — Сегодня у нас был скандал. Скажу тебе сразу: Иоланта потребовала денег. Пришлось ей дать. Это первый случай, что она потребовала деньги. Дело в том, что она подает на развод. А Штеттенхайму тоже срочно понадобились деньги. Моему отцу, говорит он, в эти дни предстоят платежи. Вот я и привела его сюда.

— Матушка дала ему денег?

— Да!

— Наличными?
— Чек!
— На какую сумму?
— Десять тысяч!

[188]
ИЛ 6/2002

Я знал, что у матушки, по словам "еврея", еще лежали в банке Эфрусси непрестанно терявшие цену, все более терявшие цену пятьдесят тысяч крон. Я принялся под строгим и испуганным взглядом матушки ходить взад-вперед по комнате, чего раньше никогда не делал. Впервые в жизни осмелился я в ее присутствии повысить голос. Я почти кричал. Во всяком случае, я горячился. Весь мой долго сдерживаемый гнев на Штеттенхайма, на Иоланту, на тестя, а еще — гнев на собственную податливость разом захлестнул меня. К этому примешивался и гнев на матушку, и ревность к Штеттенхайму. Я впервые позволил себе в присутствии матушки употребить недопустимое и привычное лишь в офицерском собрании выражение "вонючий пруссак". Сказал и сам испугался.

Я позволил себе еще и нечто большее: сказал матушке, чтобы впредь она не смела выписывать чеки без моего согласия. Не переводя дыхания, я также запретил Элизабет когда-нибудь еще приводить к моей бедной матушке каких-то людей, которым нужны деньги, — каких-то проходимцев, буквально сказал я. А поскольку я себя знал и прекрасно понимал, что я всего лишь раз-другой в три года способен выказать свою волю, свое отвращение, свое искреннее мнение о людях и обстоятельствах, то я сознательно распалял себя еще большей яростью. Я орал:

— Профессоршу я тоже больше видеть не желаю! — И еще: — О прикладном искусстве я больше и знать не хочу! И вот что, Элизабет: давайка наведем порядок. Ты переедешь сюда, вместе со мной!

Матушка смотрела на меня своими большими печальными глазами. Она явно была столь же испугана, сколь и обрадована этим моим внезапным взрывом.

— Точь-в-точь покойный отец! — сказала она Элизабет.

Сегодня я и сам в это верю: возможно, тогда моими устами говорил отец. Мне хотелось поскорее уйти из дома.

— Его отец, — продолжала матушка, — бушевал иногда, как настоящая гроза. А сколько он перебил тарелок! Сколько тарелок, в приступе гнева! — Она широко раскинула руки, чтобы дать Элизабет представление о массе тарелок, перебитых моим отцом. — Каждые полгода! — сказала матушка. — Это была болезнь, особенно летом, когда мы уезжали в Ишль и паковали чемоданы. Этого он не выносил. И малыш не выносит, — добавила она, хотя еще никогда не наблюдала за мной в такое время, когда люди обычно пакуют чемоданы.

Мне хотелось ее обнять — эту бедную, старую, медленно глохнущую женщину. Оно было и к лучшему. Она больше не воспринимала шумы настоящего. Ей слышались звуки прошлого, например грохот тарелок, побитых моим разъяренным отцом. Кроме того, она стала терять память, как часто бывает с глохнущими старыми людьми. И это было тоже к лучшему! Как благодетельна природа! Недуги, какие она дарит нам в старости, это милость. Когда мы старимся, она дарит нам забывчивость, глухоту, слабое зрение, а незадолго до смерти — и некоторую кашу в голове. Тени, какие она высылает вперед, прохладны и благодетельны.

XXIX

Мой тесть, как и многие люди его типа, пытался спекулировать на падении французского франка. Эта спекуляция провалилась. Из обилия "железа в кузнице" у него ничего не осталось. Да и "Мастерская Иолан" не приносила ни гроша. Вся лимонно-желтая меблировка оказалась напрасной. Ненужными были эскизы профессора Иоланты Сатмари. Ничего не стоили и непонятные рисунки моей жены Элизабет.

Мой неизменно шустрый тесть потерял интерес к прикладному искусству и неожиданно обратился к газетной индустрии — в те годы в Австрии по немецкому образцу начало активно развиваться газетное дело. Он стал совладельцем так называемой "Монтагсцайтунг". И туда тоже хотел "вовлечь" меня. Он давал, как говорят, "биржевые подсказки" и на этом зарабатывал. От стоимости нашего дома за вычетом ипотечных кредитов нам оставалась едва треть. А когда ввели новые деньги, выяснилось, что от капитала моей матери в банке Эфрусси осталось всего несколько тысяч шиллингов.

Первым из нашего мира исчез фон Штеттенхайм. Он "дал тягу" — согласно выражению, которое он сам так часто и охотно употреблял. Даже прощального письма не написал. Только дал телеграмму: "Срочная встреча. Вернусь! Штеттенхайм". Дольше всех продержалась госпожа профессор Сатмари. Вот уже несколько недель, как знаменитое ателье с лимонно-желтой мебелью было сдано в аренду компании ОО-Ирак, торговавшей персидскими коврами. Вот уже несколько недель, как мой тесть намеревался продать свой дом венскому муниципалитету. Полмира претерпело перемены, однако госпожа Иоланта Сатмари оставалась где прежде — в отеле "Регина". Она была полна решимости не расставаться ни с одной из своих привычек, манер и ужимок. Она все еще делала эскизы. Бракоразводный процесс она выиграла: муж ежемесячно выплачивал ей алименты. Она часто поговаривала о том, что уедет в Сан-Франциско, Европа, по ее мнению, была "испоганена". Ее манили к себе незнакомые части света. Но она не уезжала. Ни перед чем не отступала. Иногда являлась мне в страшных снах. Да, являлась в страшных снах, как некое исчадие ада, предназначенное для того, чтобы уничтожить жизнь Элизабет и мою собственную. Почему она все еще не уехала? Зачем продолжала делать эскизы? Чего ради Элизабет неизменно изо дня в день к ней таскалась? Таскалась в отель, чтобы забрать эскизы, которые уже никогда никому не понадобятся?

— Я словно провалилась в яму! — призналась мне однажды Элизабет. — Я люблю тебя! — сказала она. — Эта женщина меня не отпускает, — я не пойму, чем она занимается.

— Давай поговорим с моей матушкой! — предложил я.

Мы пошли ко мне домой, пошли в наш дом. Был уже поздний вечер, но матушка еще не спала.

— Мама, я привел Элизабет, — объявил я.

— Хорошо! — отозвалась матушка. — И пусть она здесь останется!

Я впервые спал с Элизабет в своей комнате, под родным кровом. Казалось, что мой отчий дом еще распаляет нашу любовь, благословляет ее. До конца дней сохраню я воспоминание об этой ночи, поистине брачной ночи, единственной брачной ночи в моей жизни.

— Я хочу от тебя ребенка, — сказала Элизабет уже спросонок.

Я счел это обычной нежностью. Однако утром, проснувшись, а проснулась она первой, Элизабет обхватила меня за шею и деловитым, почти оскорбительно деловитым тоном сказала:

— Я твоя жена, я хочу от тебя забеременеть, хочу избавиться от Иоланты, она мне противна, хочу ребенка.

С этого утра Элизабет осталась у нас в доме. От профессора Иоланты Сатмари пришло еще только короткое прощальное письмо. Она уехала не в Сан-Франциско, как грозилась, а в Будапешт, где хотела обосноваться.

— Где же обретается госпожа профессор Кечкемет? — время от времени спрашивала матушка.

— В Будапеште, мама!

— Она еще заявится! — предсказала матушка. И она не ошиблась.

Теперь все мы жили в одном доме, и жили неплохо. Матушка даже пошла мне навстречу и подавила в себе неприязнь к некоторым людям. Про нашего адвоката она больше не говорила "еврей", а называла его, как в прошлые годы, "доктор Киниовер". Он же упрямо придерживался своей идеи: мы должны открыть пансион. Доктор Киниовер принадлежал к тем так называемым практичным людям, которые не в состоянии отказаться от какой-то так называемой продуктивной идеи, даже если окажется, что другие не способны ее осуществить. Он был реалист, а значит, такой же упрямый, какими принято считать лишь фантастов. Доктор Киниовер видел перед собой только полезность того или иного проекта и пребывал в убеждении, что все люди, кем бы они ни были, в равной мере способны осуществлять полезные проекты. Все равно как если бы, например, портной изготовил удобную мебель, не приняв во внимание размеры домов, дверей, комнат. И мы открыли пансион. Доктор Киниовер принялся добывать нам необходимое для этого разрешение с таким пылом, с каким, например, одержимый изобретатель добивается патента на то или иное свое изобретение как его официального признания.

— У вас же столько друзей! — говорил он мне. — Вы можете сдать целых двенадцать комнат. У вашей матушки останутся две. У вас с женой — четыре. Вам понадобятся еще одна горничная, телефон, восемь кроватей и звонки.

И не успели мы оглянуться, как он доставил нам горничную, ремонтных рабочих, телефон, взятые напрокат кровати. Требовалось еще найти жильцов. Хойницкий, Штескаль, Халаш, Грюнбергер, Дворжак, Сечени, Халлерсберг, Лихтенталь, Штрохофер — все они, так сказать, остались без крова. Я привел их в наш пансион. Единственным, кто внес квартирную плату вперед, был барон Халлерсберг. Сын видного сахарозаводчика в Моравии, он позволял себе совершенно чуждую нашему кругу роскошь быть педантически аккуратным. Он не занимал денег и не давал взаймы. В безупречно вычищенном и выглаженном костюме, воплощенная опрятность, он жил среди нас, с нами накоротке, а мы его терпели за кротость, скромные манеры и полное отсутствие чувства юмора. Например, он был способен сказать: "Наш завод пережил тяжелые времена". И сразу принимался с карандашом в руках подсчитывать на бумаге, в каких суммах исчисляются заботы его отца. Он ожидал при этом, что и у нас сделаются озабоченные лица, и мы оказывали ему такую любезность. "Я вынужден себя ограничивать", — сетовал он в такие моменты.

Вот и в нашем пансионе он тоже себя ограничивал. Платил он точно и всегда вперед. У него был страх перед долгами, счетами — "они накапливаются", любил он говорить, и нас он невысоко ставил за то, что мы позволяли им "накапливаться". И в то же время завидовал нам как раз за нашу способность давать таким вещам "накапливаться". Лучше всех нас умел это делать Хойницкий. Ему Халлерсберг больше всех и завидовал.

К моему изумлению, матушка была в восторге от этого нашего "пансиона". Ее явно радовало, что по нашим комнатам снуют рабочие в синих комбинезонах, что она слышит пронзительные звонки и громкие веселые голоса. Ей явно казалось, что у нее начнется теперь новая жизнь, притом с самого начала, так сказать, жизнь заново. Бодрым шагом, весело постукивая своей тростью, ходила она по комнатам нашего дома, вверх-вниз по всем его четырем этажам. Голос у нее был громкий и веселый. Такой я никогда еще ее не видел.

Вечерами она иногда засыпала в своем кресле. Трость лежала у ее ног, как верный пес.

Но пансион "пошел", как говорил Киниовер.

XXX

Отныне я ночевал в нашем доме, рядом с женой. Вскоре выяснилось, что ей присуща ярко выраженная склонность к так называемой домовитости. Как многие женщины, она была прямо одержима манией чистоты и порядка. Этому ее роковому свойству была сродни и ее ревность. Тогда я впервые узнал, почему женщины любят дома и квартиры больше, чем своих мужей. Дело в том, что они, женщины, первым делом готовят гнезда для своего потомства. С неосознанным коварством оплетают они мужа плотной сетью мелких повседневных дел, из которой ему уже не выпутаться. Я ночевал отныне в нашем доме, рядом со своей женой. Это был мой дом. Это была моя жена. Да! Кровать становится скрытым домом посреди видимого, открытого дома, а женщину, которая там нас ждет, мы любим просто потому, что она есть и находится на месте. Она есть и находится на месте в любое время ночи, когда бы ты ни пришел домой. За это ее и любят. Любят все надежное. Особенно любят дожидающееся, терпеливое.

Теперь в нашем доме было десять телефонных аппаратов и с дюжину звонков. С полдюжины мужчин в синих блузах трудились над нашим водопроводом. Деньги на все оборудование и на перестройку нашего дома выдавал доктор Киниовер. Для моей матери он давно уже перестал быть просто "евреем". Она возвела его в ранг "дельного человека".

Осенью к нам пожаловал нежданный гость: мой кузен Йозеф Бранко. Он приехал утром, точно так же, как в первый раз, и так, словно в промежутке между его первым и вторым приездом ничего не случилось, словно мы не пережили мировую войну, словно он не был вместе со мной и Манесом Райзигером в плену, сперва у Барановича, а потом в лагере; словно наша страна не распалась; вот так он и явился, мой двоюродный братец, торговец жареными каштанами, со своим товаром, своим мулом, черноволосый и черноусый, с загорелым лицом и, вопреки всему, излучая, как солнце, золотое сияние; так и явился, как каждый год, словно бы ничего не случилось и он, Йозеф Бранко, прибыл сюда, чтобы продавать свои жареные каштаны. Его

сын рос здоровым и крепким и посещал школу в Дубровнике. Сестра удачно вышла замуж. Зять странным образом не погиб на войне. У них было двое детей — двое мальчиков-близнецов, и обоих, простоты ради, звали Бранко.

А что сталось с Манесом Райзигером, спросил я.

— Да, это дело не простое, — ответил мой кузен Йозеф Бранко. — Он ждет внизу, не захотел подняться со мною вместе.

Я побежал вниз, чтобы привести его к себе. И не сразу узнал: у него была седая косматая борода. Он выглядел как Дед Мороз на примитивных картинках в сборниках сказок. Почему он сразу не поднялся наверх, спросил я.

— Вот уже год, господин лейтенант, — ответил он, — как я собираюсь вас навестить. Я был в Польше, в Злотогроде. Хотел опять стать извозчиком Манесом Райзигером. Но что такое этот мир, что какой-то городок, даже какой-то извозчик супротив Бога? Бог все перетасовал в этом мире, городок Злотогрод он уничтожил. Там, где стояли наши дома, растут теперь крокусы и маргаритки, и жена моя тоже уже померла. Ее разорвало гранатой, как и других злотогродцев. Вот, значит, я и вернулся опять в Вену. Здесь, по крайней мере, живет мой сын Эфраим.

Да, конечно! Его сын Эфраим! Я сразу вспомнил этого вундеркинда и то, как Хойницкий устроил его в консерваторию.

— Что он делает теперь? — спросил я извозчика Манеса.

— Мой сын Эфраим — гений, — ответил старик извозчик. — На скрипке он больше не играет! Ему это ни к чему, говорит он. Он коммунист, редактор газеты "Роте фане". Пишет замечательные статьи. Вот они.

Мы пошли ко мне в комнату. Извозчик Манес Райзигер носил все статьи своего гениального сына Эфраима у себя в кармане — это был внушительный пакет. Он попросил, чтобы я их ему прочитал. Громким голосом я прочитал их одну за другой. Из своей комнаты вышла Элизабет, позднее у меня, как всегда во время полдника, собрались также наши пансионеры — мои друзья.

— Вообще-то я не могу оставаться в Вене, — сказал Манес Райзигер. — Меня высылают. — Борода его распушилась, глаза сияли. — Мой сын Эфраим добыл мне фальшивый паспорт. Вот он. — И он показал свой фальшивый австрийский паспорт, огладил бороду, сказал: — Подпольщик! — и гордо оглядел присутствующих. — Моему сыну Эфраиму незачем больше играть. Когда произойдет революция, он станет министром.

Он был так же твердо убежден в том, что мировая революция неизбежна, как и в том факте, что в календаре все воскресенья отмечены красными цифрами.

— В этом году каштаны уродились плохо, — сказал кузен Йозеф Бранко. — К тому же много червивых. Я продаю теперь больше печеных яблок, чем каштанов.

— Как вы вообще выбрались из плена? — спросил я.

— С Божией помощью, — откликнулся извозчик Манес Райзигер. — Нам удалось убить русского капрала. Йозеф Бранко дал ему подножку, а когда он упал, ударил камнем по голове. Потом я надел его форму, взял его винтовку и проводил Бранко до Жмеринки, где стояла оккупационная армия. Бранко тотчас же доложился по начальству. Ему пришлось еще повоевать. А я, одетый в штатское, остался у одного доброго еврея. У Бранко был его адрес. А как война кончилась, он пришел ко мне.

— Замечательная армия! — воскликнул Хойницкий, который только что вошел в комнату, чтобы выпить со мною кофе, как каждый день. — А что поделывает ваш сын Эфраим, музыкант?

— Музыка ему теперь без надобности, — ответил Манес Райзигер. — Он делает революцию.

— Несколько их у нас уже было, — заметил Хойницкий. — Не подумайте, что я имею что-нибудь против! Но у нынешних революций есть один недостаток — они не удаются. Наверно, вашему сыну Эфраиму лучше было бы остаться музыкантом!

— Теперь для каждой страны нужна отдельная виза! — жаловался кузен Йозеф Бранко. — Я в жизни такого не видывал. Каждый год я мог торговать где хотел: в Богемии, в Моравии, в Силезии, в Галиции, — и он перечислил все прежние, ныне утраченные коронные земли. — А теперь все запрещено. Хотя у меня есть паспорт. С фотографией. — Он вытащил из кармана пиджака свой паспорт и поднял его вверх, чтобы показать всем присутствующим.

— И ведь это только один продавец жареных каштанов, — заметил Хойницкий, — но взгляните-ка: это же прямо символическая профессия. Символическая для старой монархии. Этот господин продавал свои каштаны повсюду, можно сказать в половине Европы. Повсюду, где люди ели его жареные каштаны, была Австрия, правил Франц Иосиф. Теперь каштанов без визы уже не бывает. Что это за мир! Плевал я на ваш пансион. Я отправляюсь в Штайнхоф, к своему брату!

Приближалась моя матушка, на лестнице уже слышался жесткий стук ее трости. Она считала, что ей подобает каждый день точно в пять часов появляться в нашей комнате. До сих пор ни один из наших пансионеров еще ничего не заплатил. Один раз Хойницкий, другой раз Сечени сделали попытку спросить счет. Матушка им на это ответила, что счета составляет привратник. Но это было не так. На самом деле эта обязанность была возложена на Элизабет. Она принимала деньги у одного, другого — как получалось, и покрывала наши издержки — как получалось. Звонки дребезжали целый день. Теперь у нас были две горничные. С проворством белки носились они вверх-вниз по всем четырем этажам. В нашем квартале у нас повсюду был кредит. Матушка радовалась звонкам, которые она еще могла слышать, шуму, который учиняли наши гости, и кредиту, которым пользовался наш дом. Бедная старая женщина не знала, что это больше не ее дом. Она все еще считала его своим, потому что в нашей комнате все умолкали, когда она входила к нам со своими белыми волосами и черной тростью. Сегодня она узнала Йозефа Бранко, приветствовала также Манеса Райзигера. Вообще с тех пор, как мы открыли пансион, она стала общительной. Она могла бы приветствовать и совершенно чужих людей. Только все больше теряла слух, и казалось, будто этот физический недостаток медленно уничтожает и ее разум, и отнюдь не потому, что этот недостаток ее мучил, а потому, что она делала вид, будто он вовсе ей не мешает, и отказывалась его признавать.

XXXI

В апреле следующего года Элизабет родила ребенка. Она произвела его на свет не в клинике. Моя мать просила, требовала, приказывала, чтобы она рожала дома.

Я сотворил этого ребенка, я выпрашивал его, требовал, приказывал. Элизабет желала его. В то время я любил Элизабет, а значит, был ревнив. Я не мог — так я воображал тогда — вытеснить или вытравить из памяти Элизабет госпожу профессора Иоланту Сатмари иначе как сделав ей ребенка: явное свидетельство превосходства моей силы. Госпожа профессор Иоланта Сатмари была вытеснена и забыта. Но и я, старый Тротта, был наполовину вытеснен и забыт.

Я был уже не Тротта, я был отец моего сына. При крещении я нарек его Франц Иосиф Евгений.

Должен сказать: с той минуты, как у меня родился сын, я совершенно переменился. Хойницкий и все остальные мои друзья, что жили у нас в пансионе, дожидались меня в моей комнате на первом этаже и так волновались, словно им самим предстояло стать отцами. Ребенок появился на свет около четырех часов утра. Мне сообщила об этом матушка.

Это кроваво-красное безобразное существо со слишком большой головой и конечностями, напоминавшими плавники, был мой сын. Существо безостановочно орало. Я вмиг проникся любовью к этому существу, сотворенному моими чреслами, и не мог удержаться от никчемной гордости, что родил сына, а не дочь. Я даже наклонился к нему, чтобы разглядеть его крошечный член, который выглядел как маленькая красная запятая. Никаких сомнений: это был мой сын. Никаких сомнений: я был его отцом.

С тех пор как существует мир, жили уже миллионы и миллиарды отцов. Я был одним из этих миллиардов. Однако в тот миг, когда мне позволили взять на руки моего сына, я ощутил отдаленный отблеск того непостижимо высокого блаженства, которое, наверно, переполняло Творца этого мира на шестой день, когда он счел своё несовершенное создание все-таки завершенным. Когда я держал на руках это крошечное, кричащее, безобразное и кроваво-красное дитя, то отчетливо чувствовал, какая во мне совершается перемена. Каким бы маленьким, безобразным, красным ни был этот малыш у меня на руках, от него исходила некая несказанная сила. Более того: у меня было такое чувство, будто бы в этом мягком жалком тельце я сосредоточил всю свою силу и держу на руках себя самого и то лучшее, что во мне есть.

Материнские чувства женщин не знают границ. Моя мать приняла своего только что явившегося на свет внука так, словно выносила его сама, и обратила на Элизабет всю свою нерастраченную любовь. Только теперь, когда Элизабет родила сына от меня, от моих чресел, стала она ее дочерью. На самом деле Элизабет никогда не была для нее кем-либо иным, кроме как матерью ее внука.

Могло оказаться, будто матушка только и дожидалась этого внука для того, чтобы приготовиться к смерти. Я позволю себе сказать, что она начала умирать — медленно, как текло время ее жизни. Однажды она не явилась к полднику в нашу комнату на первом этаже. Одна из двух наших горничных сообщила, что у матушки головная боль. Это не была головная боль: мою мать хватил удар. Правая сторона у нее была парализована.

И вот она стала для всех нас на долгие годы любимым, преданно лелеемым бременем. И все же я еще каждодневно радовался, когда утром заставал ее живой. Это была старая женщина, как легко могла бы она умереть!

Моего сына — ее внука — приносили к ней каждый день. Она могла только пролепетать: "Маленький". У нее была парализована правая сторона.

XXXII

Матушка стала для меня преданно лелеемым дорогим бременем. За всю свою жизнь я еще никогда не чувствовал склонности к какому-либо занятию, теперь у меня наконец оказалось их сразу два: я был сыном, и я был отцом. Часами сидел я подле матушки. Нам пришлось нанять санитара — старая женщина была грузной. Каждый день приходилось относить ее в комнату, к столу. Усадить ее там тоже требовало усилий. Иногда она просила меня, чтобы я прокатил ее в кресле по комнатам. Она хотела видеть и слышать. С тех пор как она заболела, ей казалось, что она многое — что она все упускает. Правый глаз у нее был полузакрыт. Когда она открывала рот, казалось, будто его правую половину стискивает железный зажим. Впрочем, она могла произносить лишь отдельные слова, в основном существительные. Временами это выглядело так, точно она ревниво оберегает свой словарный запас.

Покинув матушку, я шел в комнату сына. Элизабет, бывшая в первые месяцы преданной матерью, понемногу отдалялась от нашего ребенка. Я окрестил его Францем Иосифом Евгением, а для себя и Элизабет прозвал его Гени. Со временем Элизабет стала часто и без причин отлучаться из дома. Я не знал, куда она ходит, и ее об этом не спрашивал. Хочется ей уйти — пускай уходит! Я даже лучше себя чувствовал, когда оставался с моим мальчиком наедине, без нее. "Гени!" — восклицал я, и его круглое смуглое личико освещалось улыбкой. Я делался все ревнивей. Мне было совершенно недостаточно того, что я зачал этого ребенка, мне хотелось бы также выносить и родить его. Он ползал по комнате проворно, как ласка. Это был уже человек — и еще животное, и еще ангел. Изо дня в день, даже с часу на час наблюдал я, как он меняется. Его каштановые локончики становились все более густыми, блеск больших светло-серых глаз — все более ярким, ресницы — все более мохнатыми и черными, даже ручонки приобретали собственный вид, пальчики делались тоньше и крепче. Губы двигались все энергичней и все торопливей, и все понятнее лепетал язычок. Я видел, как у Гени режутся первые зубки, слышал его первый осмысленный смех, я присутствовал при том, как он в первый раз побежал — навстречу окну, свету, солнцу, во внезапном порыве, будто нежданно озаренный; это было скорее внутреннее принуждение, нежели физиологический акт. Сам Господь внушил ему, что человек может ходить на двух ногах. И гляди-ка: мой мальчонка пошел.

Долгое время я не знал, где Элизабет проводит часы, а иногда и дни. Она часто говорила о какой-то подруге, о какой-то портнихе, о каком-то бридж-клубе. Наши пансионеры, за исключением Халлерсберга, платили скупо и редко. Если Хойницкому случалось получить деньги из Польши, он сразу вносил плату за трех-четырех пансионеров. Наш кредит в квартале был неограниченным. Я в счетах ничего не смыслил, Элизабет уверяла, что ведет бухгалтерию. Но в один прекрасный день, когда ее не было дома, к нам явились мясник, булочник, торговец кофе — кредиторы, которые потребовали у меня денег. У меня были только мои карманные деньги — Элизабет имела привычку, уходя из дома, оставлять мне

несколько звонких монет. Иногда мы целыми днями не виделись. Я посещал с друзьями кафе "Виммерль". В обязанности Хойницкого входило читать газеты, делать нам доклады о политике. Каждое воскресенье он ездил в Штайнхоф навещать своего сумасшедшего брата. Говорил с ним о политике. Нам он рассказывал:

— Что касается частной жизни, то мой несчастный брат совершенно сумасшедший. Но если взять политику, то другого такого умного человека, как он, просто не найти. Сегодня, например, он мне сказал: "Австрия — это не государство, не родина, не нация. Это религия. Клерикалы и клерикальные болваны, которые ныне здесь правят, делают из нас так называемую нацию, это из нас-то, когда мы — сверхнация, единственная сверхнация, какая вообще существовала в мире. Брат мой, — продолжил он и положил мне руку на плечо. — Мы поляки, говорят мне. Мы были ими всегда. Почему бы и нет? И мы австрийцы: почему бы нам ими не быть? Но у идеологов своя, особая глупость. Социал-демократы объявили, что Австрия — составная часть германской республики, они ведь вообще мерзкие первооткрыватели так называемых национальностей. Христианские альпийские болваны идут следом за социал-демократами. Глупость обитает в горах, говорю я, Йозеф Хойницкий". И разве поверишь, что этот человек сумасшедший? Не будь краха монархии, он никогда не сошел бы с ума! — так закончил он свой рассказ.

После подобных речей мы молчали. Над нашим столом нависала гнетущая тишина, она исходила отнюдь не из нашего существа, она нисходила свыше. Мы не оплакивали, а, так сказать, замалчивали наше утраченное отечество. Иногда мы вдруг, не сговариваясь, начинали петь старые солдатские песни. Мы были живы и состояли из плоти и крови. Однако на самом деле мы были мертвецами.

В один прекрасный день я поехал с Хойницким в Штайнхоф, когда он, как делал раз в неделю, отправился туда навестить брата. Сумасшедший Хойницкий гулял по двору, он жил в изолированной части клиники, хоть и не выказывал ни малейшей склонности к насилию. Брата он не узнал. Однако когда я назвал свое имя — Тротта, он сразу оживился.

— Тротта, — сказал он. — Его отец был здесь неделю назад. Старый окружной начальник Тротта. Мой друг, лейтенант Тротта, погиб под Красне-Буском. Я люблю вас всех! Всех, всех Тротт! — И он меня обнял. — Моя резиденция — Штайнхоф, — продолжал он. — Отныне, с тех пор как я здесь живу, это столица Австрии и резиденция монарха. Я храню здесь корону. Я на это уполномочен. Мой дядя Ледоховский часто говорил: "Этот маленький Йозеф станет большим человеком". Теперь я большой человек. Дядя оказался прав.

После этого больной Хойницкий понес несусветную чушь. Потребовал, чтобы ему дали его чулок. С тех пор как он оказался в доме умалишенных, он без устали вязал. "Я вяжу монархию", — время от времени говорил он. Когда я сделал попытку с ним попрощаться, он заявил:

— Я не имею чести вас знать.

— Моя фамилия Тротта, — сообщил я.

— Тротта, — ответил он, — был герой сражения под Сольферино. Он спас жизнь императору Францу Иосифу. Того Тротты давно уже нет в живых. Мне кажется, вы мошенник.

В тот день я также узнал, почему моя жена столь часто и столь надолго отлучалась из дома, почему оставляла без призора нашего ребенка и мою несчастную парализованную мать. Дело в том, что когда я вернулся

домой, то застал там двоих людей — тех единственных в мире людей, которых я по-настоящему ненавидел: профессора Иоланту Сатмари и Курта фон Штеттенхайма.

Выяснилось, что они уже не одну неделю живут в Вене. Выяснилось, что с прикладным искусством они покончили, теперь они были целиком поглощены искусством кино. Александр Рабинович ("знаменитый Рабинович, как, вы его не знаете?"), рассказывал фон Штеттенхайм, основал в Вене "фирму" — нате вам, еще одна фирма! Выяснилось, что Элизабет абсолютно не желала оставаться матерью, она желала непременно стать актрисой. Кино призывало ее, и она чувствовала в себе призвание к кино.

В один прекрасный день она просто исчезла, оставив мне следующее письмо:

"Мой дорогой муж, твоя мать меня ненавидит, а ты меня не любишь. Я чувствую в себе призвание. Я следую за Иолантой и Штеттенхаймом. Прости меня. Зов искусства необорим. Элизабет".

Это письмо я показал своей парализованной матери. Она перечитала его дважды. Потом обхватила меня за голову своей еще здоровой левой рукой и сказала:

— Малыш! Ма-а-алыш! — Казалось, она одновременно поздравляет и жалеет меня. Кто знает, сколько умных мыслей высказала бы она, если бы не была парализована. В феврале она умерла.

XXXIII

В первые дни февраля моя мать умерла. Умерла так же, как жила: благородно и тихо. Священнику, который пришел ее соборовать, она сказала:

— Поторопитесь, ваше преподобие! У Господа Бога вовсе не так много времени, как иногда воображает церковь.

Священник и в самом деле поторопился. Потом матушка позвала меня. Невнятного бормотанья я не услышал. Она говорила легко и свободно, как в былые времена, словно язык у нее никогда и не отнимался.

— Если ты когда-нибудь еще увидишь Элизабет, — так начала она, — хоть я полагаю, этого не случится, то скажи ей, что я всегда ее терпеть не могла. Я умираю, но я ни во что не ставлю тех набожных людей, которые на смертном одре лгут и притворяются великодушными. Теперь принеси мне твоего сына, я хочу еще раз его увидеть.

Я пошел вниз, я принес своего сына — он был уже большой и довольно тяжелый, и, неся его вверх по лестнице, я радовался тому, что он столько весит. Матушка обняла, поцеловала ребенка и опять отдала его мне.

— Отошли его куда-нибудь подальше! — сказала она. — Здесь он расти не должен. Уходи! — прибавила она. — Я хочу умереть одна.

Она умерла в ту же ночь — ночь революции. В ночном городе гремели выстрелы, и Хойницкий рассказал нам за ужином, что правительство стреляет в рабочих.

— Этот Дольфус, — сказал Хойницкий, — хочет уничтожить пролетариат. Да простит меня Бог, но я его терпеть не могу. По натуре это человек, который сам роет себе могилу. Такого мир еще не видывал!..

Когда матушку хоронили на Центральном кладбище, вход через вторые ворота, в городе все еще стреляли. Нас с матушкой провожали все мои друзья, то есть все наши пансионеры. Шел дождь с градом, точно

так же, как в ту ночь, когда я вернулся домой. Сыпала такая же колючая ледяная крупа.

Мы похоронили мою мать в десять часов утра.

Когда мы выходили из вторых ворот Центрального кладбища, я увидел Манеса Райзигера. Он шел следом за чьим-то гробом, и я присоединился к нему, ни о чем не спрашивая. Гроб везли к третьим воротам, где находился иудейский участок.

Я стоял перед разверстой могилой. После того как раввин прочитал молитву, Манес Райзигер выступил вперед и сказал:

— Бог дал его, Бог взял, да славится имя Его во веки веков. Министр пролил кровь, и его кровь прольется тоже. Она истечет бурным потоком. — Люди пытались его остановить, но он громким голосом продолжал: — Кто убивает, — говорил он, — будет убит. Господь велик и справедлив. — После этих слов ноги у него подкосились, мы отвели его в сторону, тем временем тело его сына Эфраима предали земле. Он был мятежником, он стрелял и был убит.

Йозеф Бранко еще время от времени являлся к нам домой. У него не было теперь иных интересов, кроме жареных каштанов. В том году каштаны выдались гнилыми, червивыми, и ему, Йозефу Бранко, пришлось продавать только печеные яблоки.

Дом я продал, оставив за собой только пансион.

Казалось, будто смерть моей матери вымела из нашего дома всех моих друзей. Они выехали один за другим. Мы встречались теперь только в кафе "Виммерль".

Смыслом жизни стал для меня теперь только мой сын. "Кто убивает, будет убит", — сказал Манес Райзигер.

Дела этого мира меня больше не занимали. Сына я отправил в Париж, к моему другу Лаверавилю.

Я остался один — один, один, один.

И пошел к Склепу капуцинов.

XXXIV

Я и в пятницу с нетерпением ждал столь любимого мною вечера, когда я только и чувствовал себя дома с тех пор, как лишился и дома и приюта. Я ждал возможности привычно довериться его попечению, которое было у нас, в Вене, милосерднее, нежели тишина ночей после закрытия кафе, когда фонари становились печальными и тусклыми от бесполезного свечения. Они томились по медлительному утру и той минуте, когда сами они погаснут. Да, они всегда были усталыми, эти заспанные лампы, они хотели дождаться утра, чтобы спокойно заснуть.

Ах, я часто вспоминал о том, каким серебристым светом пронизывали ночи моей юности эти сыновья и дочери неба, солнца и звезд, добровольно слетевшие вниз, дабы освещать город Вену. Юбки панельных девиц на Кертнерштрассе в то время еще доходили до лодыжек. Когда лил дождь, эти прелестницы подбирали платья повыше, и я видел их волнующие ботинки на пуговках. Потом я заходил к Захеру, чтобы повидать своего друга Штернберга. Он сидел там в ложе, всегда в одной и той же, и оставался последним из посетителей. Я уводил его оттуда. В сущности, нам следовало бы вместе пойти домой, но мы были юными, да и ночь была юной (хоть и успела уже продвинуться вперед), юными были и уличные девицы, особенно те, что постарше, юными были фонари...

Так что мы словно бы проходили сквозь нашу собственную юность и младую ночь. Дома, в которых мы жили, казались нам склепами или в лучшем случае ночлежками. Ночные полицейские отдавали нам честь, граф Штернберг одаривал их сигаретами. Часто мы вместе с постовыми патрулировали улицы, шагая по пустынной и блеклой мостовой, и бывало, что за нами увязывалась какая-нибудь из тех прелестниц, и шла она совсем другой походкой, чем расхаживала по привычной панели. Фонари тогда были реже и скромнее тоже, но поскольку они были юными, то и светили ярче, а некоторые весело раскачивались на ветру...

Позднее, после того как я вернулся домой с войны не только состарившийся, но и одряхлевший, венские ночи сморщились и поблекли подобно мрачным стареющим женщинам, и вечер не входил в них, как раньше, а уворачивался, бледнел и пропадал прежде, чем они успевали надвинуться. Эти вечера, прыткие и почти пугливые, надо было, так сказать, изловить еще до того, как они вздумают удрать, и я чаще всего настигал их в парках — в Народном саду или в Пратере, а их последний и самый сладкий остаток — в каком-нибудь кафе, куда они имели обыкновение просачиваться, нежные и мягкие, словно запах.

Стало быть, я и в тот вечер пошел в кафе "Линдхаммер" и сделал вид, будто бы я в отличие от остальных нисколько не взволнован. Ведь я давно уже, со времени своего возвращения с войны, считал, что не имею права жить! Ведь я давно уже приучил себя к тому, чтобы рассматривать все события, которые газеты называют "историческими", праведным взглядом человека, уже не принадлежащего к этому миру! Я давно уже был в бессрочном отпуске у смерти. И она, смерть, могла в любую секунду мой отпуск прервать. Так какое мне было дело до вещей, что происходят в этом мире?..

Тем не менее они меня беспокоили, и особенно в ту пятницу. Казалось, все дело было в том, смогу ли я, человек, уволенный жизнью на пенсию, и впредь спокойно, как доселе, в каком-то ожесточенном спокойствии проедать эту пенсию; или же у меня будет отнято и оно, это жалкое, ожесточенное спокойствие, можно было бы сказать, это смирение, которое я приучился именовать "спокойствием". До такой степени, что в последние годы, если тот или иной из моих друзей, бывало, приходил ко мне, чтобы сказать: наконец-то пробил час, когда и мне пора позаботиться о будущем страны, я хоть и отвечал ему своей обычной фразой: "Я хочу, чтобы меня оставили в покое!", но при этом точно знал, что, в сущности, должен был бы сказать: "Я хочу, чтобы мне оставили мое смирение!" Мое дорогое смирение! Но и оно уже улетучилось! Следом за моими несбывшимися желаниями...

Итак, я уселся в кафе, и пока друзья, сидевшие за моим столом, все еще говорили о своих личных делах, я, человек, что в силу столь же неумолимой, сколь и милостивой судьбы считал всякую возможность личного интереса исключенной, чувствовал озабоченность лишь общим делом, которое всю свою жизнь так мало меня интересовало и от которого я всю свою жизнь, как правило, уклонялся...

Я уже несколько недель не читал газет, и разговоры моих друзей, которые, казалось, только и жили газетами, прямо-таки кормились известиями и слухами, — шелестели мимо моих ушей без всякого эффекта, словно волны Дуная, когда мне случалось сидеть на набережной Франца Иосифа или в аллее Елизаветы. Я был из всего этого исключен. Быть ис-

ключенным из числа живых означает нечто подобное понятию "экстерриториальный". Вот я и был экстерриториальным среди живых.

И даже волнение моих друзей в тот вечер, в пятницу, казалось мне излишним — до той секунды, пока дверь кафе не распахнулась и на пороге не возник странно одетый молодой человек. На нем были черные кожаные гамаши, белая рубашка и что-то вроде военной фуражки, которая напоминала мне одновременно подкладное судно и карикатуру на наше старое австрийское кепи; короче говоря, это даже не походило на прусский головной убор (ведь пруссаки носят на голове не шляпы, не кепи — они носят "уборы"). Я, далекий от мира и от ада, который этот мир для меня воплощал, был совершенно не способен различать новые фуражки и мундиры, тем более распознавать, кого они представляют. Пусть бы то были белые, синие, зеленые и красные рубашки, брюки черного, коричневого, зеленого цвета; сапоги и шпоры, кожаные портупеи и ремни, и пояса, и кинжалы в ножнах всех фасонов; я, во всяком случае, уже давно, как вернулся с войны, дал себе зарок их не различать и не узнавать. Поэтому сперва я был сильнее, чем мои друзья, поражен явлением этой фигуры, которая словно выросла из расположенного в подвале туалета, однако вошла через дверь с улицы. Несколько секунд я и впрямь думал, что туалет, расположенный в подвале, вдруг оказался снаружи и один из людей, что его обслуживали, вошел сообщить нам, что все места уже заняты. Однако вошедший сказал:

— Соотечественники! Правительство свергнуто. Образовано новое германское народное правительство!

С тех пор как я вернулся с войны, вернулся в свое общипанное отечество, я ни дня не верил в какое-то там правительство, тем менее в народное правительство. Я и по сей день — незадолго до моего, возможно, последнего часа я, человек, вправе сказать правду — принадлежу к тому ушедшему миру, где казалось естественным, что тем или иным народом кто-то управляет и что, стало быть, народ, если он не хочет перестать таковым быть, не может управлять собой сам. В моих глухих ушах — я нередко слышал, как их называют "реакционными", — это звучало так, словно любимая женщина заявила мне, что она нисколько во мне не нуждается, ибо может сама с собою спать и даже должна это делать ради одной-единственной цели — родить ребенка.

Именно поэтому меня так поразил испуг, охвативший всех моих друзей при появлении человека в странных сапогах с его странным заявлением. Вся наша компания занимала каких-нибудь три столика. Секунду спустя я остался — нет, очутился — один. Я действительно очутился один, и у меня на миг возникло чувство, будто бы я и впрямь долго искал самого себя и неожиданно обнаружил, что я один. Дело в том, что все мои друзья повставали со своих мест и вместо того чтобы, как у нас было заведено с давних пор, сперва сказать мне "Доброй ночи!", громко требовали: "Кельнер, счет!" Но поскольку наш обер-кельнер Франц не появлялся, они крикнули владельцу кафе, еврею Адольфу Фельдману: "Мы заплатим завтра!" — и ушли, больше ни разу не взглянув на меня.

Я еще верил, что завтра они действительно зайдут туда и заплатят и что обер-кельнер Франц в настоящую минуту задержался на кухне или где-то еще и просто поэтому не мог появиться так быстро, как обычно. Однако через десять минут из-за стойки вышел хозяин кафе Адольф Фельдман в пальто и в котелке и сказал мне:

— Господин барон, мы прощаемся навсегда. Если нам суждено еще где-то встретиться в этом мире, то мы друг друга узнаем. Завтра вы наверняка сюда уже не придете. По милости нового германского народного правительства. А сейчас вы пойдете домой или хотите еще здесь посидеть?

— Я останусь здесь допоздна, как всегда, — ответил я.

— Тогда всего вам доброго, господин барон! Лампы я погашу. Вот вам две свечки!

И с этими словами он зажег две белые свечки, и еще до того, как я успел разобраться в своем впечатлении, что он зажег поминальные свечи по мне, все лампы в кафе погасли, а его владелец, бледный, в черном котелке, скорее гробовщик, чем жизнерадостный седобородый еврей Адольф Фельдман, вручил мне увесистую свинцовую свастику и сказал:

— На всякий случай, господин барон! Допивайте спокойно свою рюмочку! Я опущу жалюзи. А когда вы пожелаете уйти, то сможете их поднять изнутри. Шест стоит справа у двери.

— Я хочу заплатить, — сказал я.

— На это сегодня нет времени! — возразил он.

И вот он уже исчез, а я услышал, как снаружи перед дверью опускаются жалюзи.

Итак, я очутился один за столиком, при двух свечах. Они прилепились к поддельному мрамору столешницы и походили на двух белых, вытянувшихся вверх зажженных червей. Каждую секунду я ждал, что они начнут извиваться, как, в сущности, и подобает червям.

Мне становилось жутко, и потому я крикнул, как делал из вечера в вечер:

— Франц, счет!

Но ко мне подошел не обер-кельнер Франц, а сторожевой пес, которого тоже звали Франц и которого я на самом деле терпеть не мог. Он был желтовато-песочного цвета, со слезящимися глазами, изо рта у него текла слюна. Я не люблю животных, а еще больше не люблю людей, которые любят животных. Всю жизнь мне казалось, что люди, любящие животных, отнимают частицу любви у людей, и моя точка зрения показалась мне особенно оправданной, когда я случайно узнал, что немцы из третьего рейха любят волкодавов, немецких овчарок. “Бедные овцы!” — подумал я тогда.

И вот теперь ко мне подошел пес Франц. Хоть я и был его врагом, он потерся мордой о мое колено — словно бы просил у меня прощения. А свечи горели, погребальные свечи на моем погребении! А от церкви Святого Петра не слышалось колокольного звона. Я же никогда не ношу при себе часов, и я не знал, сколько времени.

— Франц, счет! — сказал я собаке, и она забралась ко мне на колени.

Я взял кусочек сахара и протянул ей.

Она не взяла и только скулила. А потом лизнула мне руку, из которой не взяла угощение.

Теперь я одну свечу задул. Другую оторвал от поддельного мрамора, подошел к двери и шестом поднял жалюзи изнутри.

В сущности, я хотел уйти подальше от этой собаки и от ее любви.

Когда я вышел на улицу с шестом в руках, чтобы опустить жалюзи снаружи, то увидел, что пес Франц от меня не отстает. Он последовал за мной. Остаться в кафе он не мог. Это был старый пес. Минимум десять лет служил он владельцу кафе “Линдхаммер”, как я — императору Фран-

цу Иосифу, а теперь больше не мог. Мы оба больше не могли. "Счет, Франц!" – сказал я собаке. В ответ она заскулила.

Над крестами неведомой формы занималась заря. Веял легкий ветерок, раскачивая дряхлые фонари, которые еще не погасли. Я шел по пустынным улицам с чужой собакой. Она была полна решимости следовать за мной. Куда? Этого я не знал, и она тоже.

Склеп капуцинов, где покоятся мои императоры, погребенные в каменных саркофагах, был заперт. Навстречу мне вышел монах-капуцин и спросил:

– Что вам угодно?

– Я хочу поклониться гробу моего императора Франца Иосифа, – ответил я.

– Да благословит вас Бог! – сказал монах и осенил меня крестным знамением.

– Боже, храни!.. – воскликнул я.

– Тсс! – шепнул монах.

Куда же пойду я теперь, я, Тротта?..

Циприан Норвид
Стихи

Перевод с польского и вступление А. Гелескула

© А. Гелескул. Перевод, вступление, 2002

Последний из могикан

Циприан Норвид родился осенью 1821 года и рано осиротел: в четыре года лишился матери, в четырнадцать — отца, в двадцать — родины. Его дальнейшая жизнь, обильная впечатлениями и невзгодами — скитальческая жизнь эмигранта, гражданина мира без прав гражданства, — оборвалась в 1883 году в парижском предместье Иври, в приюте св. Казимира для престарелых и неимущих польских изгнанников. Большинство стихов Норвида остались в рукописи, многие увидели свет лишь в двадцатых и даже тридцатых годах следующего века.

В России Норвида переводили эпизодически, пока в начале 70-х не вышел в издательстве "Художественная литература" его небольшой сборник. Среди переводчиков были Леонид Мартынов, еще не запрещенный Владимир Корнилов и уже запрещенный, но замаскированный чужой фамилией Иосиф Бродский. Однако львиную долю стихов, определившую облик книги, перевел Давид Самойлов. Видимо, Норвид дался ему непросто. Однажды, задолго до выхода книги, в общем разговоре он неожиданно спросил: "Что мне делать с Норвидом?" Я был довольно молод и достаточно глуп, чтобы ответить не задумываясь: "По-моему, поляки переоценивают Норвида". "Да нет, — вздохнул Самойлов, — не переоценивают".

Для ответа у меня были свои резоны, подсказанные ревностью. В ушах уже навязла расхожая фраза о том, как Польша с опозданием в полвека открыла для себя поэта-визионера, польского Лермонтова. Простите, но судьба поручика Нижегородского гусарского полка Михаила Лермонтова была иной — и тоже через полвека Лев Толстой сказал: "Если бы этот мальчик не погиб, не понадобились бы ни я, ни Достоевский". И "открывать" Лермонтова не пришлось.

Да, Норвид много скитался, бедствовал и, случалось, голодал. Случалось, бедствовал и Пушкин, но странствиям Норвида он мог бы, наверно, позавидовать.

> Адриатические волны,
> О Брента! нет, увижу вас...

Не увидел. А Норвид бороздил эти волны, и не однажды, повидал Грецию, исколесил Италию и чуть ли не всю Европу и даже побывал в Соединенных Штатах. Это вам не путешествие в наспех отвоеванный Эрзерум.

Понятно, какие чувства бродили во мне, когда отвечал Самойлову. И как-то выпадало из сознания, что Норвид, столько перевидавший, так и не увидел родину. Биографическая подробность: покидая Польшу, он отдал свой заграничный паспорт одному из друзей, бежавшему из-под ареста. По требованию российского посольства Норвид был задержан и заключен в берлинскую тюрьму. В тюрьме он оглох. Позже, во время франко-прусской войны, когда пятидесятилетний поэт записался во французскую армию, эта глухота помешала ему защищать Париж.

Величайший, в моем понимании, польский поэт — Фредерик Шопен — тоже не вернулся на родину, но музыка — это музыка. И у нее есть почва и свои границы, но ее таинственная природа универсальна, и все мы, лучше, или хуже, или кое-как, читаем ее иероглифы. Слово — черный значок на белом фоне — иной природы, и растет оно не столько из речи, сколько из земли, вбирая ее соки и облик. Драма поэтов-эмигрантов не в отрыве от живого и переменчивого языка. И речь не о сентиментальной привязанности к родным местам. Мазовше, где Норвид родился, не рай земной и не Венеция, которую он так любил. Скитальческая судьба Норвида дала размах его крыльям, дальнозоркость и

широту кругозора, но в чем-то насущном обездолила и, может быть, обескровила его дар. Его поэзия стала бесплотней, чем обещала быть.

Мицкевич покинул родину зрелым художником, уже запечатлевшим не только ее воздух, леса и озера, но и тоску по ним. Все это он унес с собой, и земное тепло по-прежнему согревало его стих, как ток живой крови. Иная судьба у Словацкого: свой огромный огненный дар он сузил до блеска рапиры — и вдел отточенный клинок в ножны, на будущее. Оружие пригодилось. В годы фашистской оккупации молодые поэты, вчера — школьники, сегодня — подпольщики и партизаны, повторяли: "Есть лишь один польский поэт — Словацкий". Так думал и погибший в первые дни варшавского восстания юный Бачинский, надежда польской поэзии — "второй Словацкий", как называли его соратники.

Время Норвида пришло позже. Его открыли на рубеже веков польские символисты, но не они стали его наследниками. Мне кажется, вся послевоенная польская поэзия рождалась и росла в его незримом присутствии. Это заметно не только по нобелевским лауреатам — Шимборской и Милошу, — но по многим и многим, таким несхожим поэтам, как Гроховяк и Херберт. И наследовалось то, что отчасти сближает Норвида с Лермонтовым, — "стих, облитый горечью и злостью". Горечи и злости у Норвида в избытке. Но в одном из последних его стихотворений, написанных в приюте для неимущих и о самом приюте, есть строки: "Все на земле проходит, остаются лишь поэзия и доброта — и только они".

Сейчас, пытаясь переводить Норвида, я ничего не мог бы ответить Самойлову, но зато мне понятней вопрос. Норвид необычен. Все подлинные поэты необычны, но схожи в одном — в летучей стремительности слова, по которой мы и отличаем поэзию от прозаических подробностей. Речь не о жанрах; ощущение настигшей стрелы возникает и при чтении Льва Толстого или Андрея Платонова. Поэзия — всегда стрела, она вонзается в сознание, и мы постигаем ее, даже не успев понять. И стихотворение издревле, исконно — это всегда стрела, оперенная или нет, отточенная или едва оструганная, но стрела, посланная в цель, а чаще — на поиски цели. Это роднит и окончательный, афористичный стих Баратынского и запечатленный в муках рождения стих Цветаевой.

Аскетичная поэзия Норвида питается мыслью, порой она перенасыщена мыслью, но почти всегда это мысль в ее зарождении: брошенная неостывшей, она словно ищет себя в буреломе сомнений и тупиков. Иные стихи его прямо-таки ощетинены антиномиями, как иглами, и не даются в руки. В одной из поэм Норвида есть выразительное сравнение: мысль — как непросохшая картина; она закончена, но трогать ее нельзя. До поры до времени.

Вместо рассуждений о том, насколько причудлива и насколько прозорлива норвидовская мысль, мне хочется привести целиком его последнее, предсмертное стихотворение в переводе Давида Самойлова:

Как славянин, когда не знает, где учиться,
Мечтает средь полей, как жить **на свой манер**, —
А где-то вдалеке купец в вагоне мчится,
И телеграф стучит, и реет монгольфьер;
Как славянин, что все уже прошел дороги,
Ждет **самовитости**, без знанья, от души —
Вот так печальна жизнь!.. Товарищи, пророки,
Крестьяне, шляхтичи, евреи, торгаши!

Так камень на меже лежит, забыв про сроки,
А прежде штурмовал лихие рубежи;
С ним рядом коровяк и рыжая полевка,
А он лежит в полях огромно и неловко
(Сам разумеешь смысл моих иносказаний) —
То ль камень межевой, то ль череп великаний?

Предлагаемая подборка ни в коей мере не претендует на какое-то новое прочтение Норвида. Или, как выражаются, свежее. Поэзия — не осетрина. Но общий историко-философский тон стихов Норвида как-то заглушил его лирику. По-моему, несправедливо, о чем и хотелось напомнить. Норвид часто говорил "векам, истории и мирозданью" (вспомним Маяковского), реже — себе. Но сказанное себе иногда оказывается долговечней, и поэзия дает тому немало примеров от Архилоха до Маяковского и далее.

Последний польский романтик Циприан Норвид взял на плечи тяжкую и едва посильную ношу. Ушли из жизни Мицкевич, Шопен, Словацкий — и Норвид остался один. Когда думаю о его судьбе и его одиноком труде, не замеченном современниками, мне вспоминаются строки из стихов Николая Рубцова о разоренном и обезлюдевшем русском Севере:

Лишь один во всем околотке
Выйдет бакенщик-великан
И во тьме промелькнет на лодке,
Как последний из могикан.

Промелькнет, зажигая путеводные огни.

Наш эпос

I

Я по твоим следам учился чтенью,
Печальный рыцарь! — вечным силуэтом
Передо мной стоишь высокой тенью,
Спиною к солнцу вычерченный светом,
И ярким нимбом замерший на шлеме
Ласкает луч покинутое стремя...

II

Твои **черты** полузабыты мною,
Ты стольким их дарил — таким несхожим.
Но **сердце**?.. — узнаю, оно родное,
И я твоей тревогою тревожим,
Мой вечный друг! Знакомой нам обоим
Поделимся тоскою по героям.

III

Ребенком над зачитанной страницей
(Я помню все и даже цвет бумаги)
Оцепенев нахохленною птицей,
Я чары чтенья, магию из магий,
В себя впивал — и все казалось мало,
И все на свете было мне немило,
Когда родня от книги отрывала
Или свеча догасшая чадила,
Или сверлила мысль: еще немножко,
Страница — и захлопнется обложка!..

IV

Суди же сам, насколько ты мне дорог,
И мне поверь: я не рожден пиитом
И не витаю в неземных просторах, —
Как жил, так и пишу о пережитом...

V

Да, это так... И пусть оружье ржаво,
Ты вновь маячишь, в мареве чернея,
И будишь боль, как сонного удава:
Ведь у меня есть тоже Дульсинея!

VI

Да, это так... Смешного в этом мало —
Читателю смешно и ротозеям, —
А нам, коней седлавшим, как бывало,
На страх и на отмщение злодеям,
Освобождая спящую принцессу, —
Нам боль и пыль и долгий путь по лесу.

VII

А смех? — потом... Потешится потомок
Над тем, как безрассудны мы и хилы,
А он — иной, и голос его громок,
И разум свеж, и сам он полон силы...

VIII

Счастливые!.. в раю благословенном
Витают со своими Беатриче
И, недоступны бедам и изменам,
Венчают лавром ясное обличье,
И перстнями их руки осияннны,
И отовсюду слышатся **осанны**!

IX

Ну, дай им Бог...

X

...а мы, мой рыцарь бледный,
Мы по сырым лесам от замка к замку,
Доспехи опоясав алой лентой,
Из дальней дали тянем нашу лямку,
Застрявшую в решетках, эшафотах
И жерлами ощеренных воротах...

XI

То лежбище драконов на полянах,
Сожженных ядовитою слюною,
То злобный гном, из самых окаянных,
Глаза коня захлещет беленою,
Здесь молят с башен девичьи платочки,
Там серый змей в зеленой оторочке...

XII

Легко ли пробираться по болоту
И выдирать копье из бурелома,
То лишь тебе понятно, **Дон Кихоту**,
И лишь тебе, великому, знакомо —
И недостойна челядь с ее смехом
Притронуться к заржавленным доспехам!

XIII

Ну, а мою, ламанчец, Дульсинею
Я знаю лишь по снам да по приметам,
А наяву не свиделись мы с нею;
— То ветерок покажется приветом,
То прядь волос, играя с покрывалом,
Блеснет звездой, то взглядом изумленным
Найдешь колечко с радужным опалом,
То притаится в вереске зеленом
След туфельки, заметный еле-еле
И крохотной жемчужнице подобный...

XIV

И это все!.. Мне часто птицы пели,
Что чары спали, враг повержен злобный,
Светлеет за решеткою оконной —
Разбуженная сходит по ступеням,
Держа свечу, и пятятся драконы,
Бегут от света с яростным шипеньем
И под землей, обламывая крылья,
Скребя когтями, воют от бессилья...

XV

И что ж? — поют певуньи о желанном,
Садясь на щит мой, но душа не рада
И чувствует, привыкшая к обманам,
Что песни лгут — а нам потребна правда
И нам за нею гнаться, **Дон Кихотам**,
Навстречу копьям, ядам и тенетам!..

Слушатель[1]

I

Ты знаешь край, где музыканту в руки
Вплывает мир, раскалывая льдины;
Когда слова бессильней слез и муки,
Слова молчат — а звук и мысль едины!

1. Гётевская песня Миньоны в переводе Мицкевича, по крайней мере начальная строка перевода (в транслитерации "Знашь ли тен край"), стала в Польше такой же хрестоматийной, как наше "На севере диком". (*Прим. перев.*)

II

Останься там! — а я в борьбе созвучий,
Закрыв лицо, привычное к печали,
Услышу весть, как дальний гром за тучей,
И вслушаюсь — пока танцуют в зале...

III

А ты играй — чтоб веселей плясали!

Как...

Как если бы фиалкою лиловой
Коснулись глаз, не проронив ни слова...

Как если бы повеяло сиренью
И, расцветая облаком туманным,
Прохладное, как утро, дуновенье
По клавишам скользнуло фортепьянным...

Как лунный отсвет, в сумерки вплетенный
И в волосы стоящей на крылечке,
Венчает ее голову короной,
Разубранной в серебряные свечки...

Как разговор с ней, суетный и смутный,
Подобный вихрю ласточек над домом —
Предвестнику грозы сиюминутной,
Пока она прокладывает русло
И молния еще не стала громом —

Так...
... умолкаю, слишком это грустно.

Нежность

Бывает нежность яростной, как войны,
И тихой, как биение сердец,
И словно гул заупокойной...

И как цепочкой заплетенный локон,
Чтобы донашивал вдовец
Часы с брелоком –

Синяя лента

*

Синюю ленту верну, не сумею
Переупрямить.
Я твою тень, ее гибкую шею,
Взял бы на память.

**

Да ведь отпрянет от рук или взгляда –
Тень безобманна!
Нет, ничего от тебя мне не надо,
Милая панна...

***

Руки господни и мне утешений
Не пожалели –
К раме прилипший листик осенний,
Отзвук капели...

В *тетрадь*

Варшава***

Эх, если бы за наледью оконной
Промерзшего насквозь апартамента –
В лазури перистиль белоколонный
И синева на бронзе монумента,
И светом голубого небосвода
Заласканные лавры, как в Сорренто...
Куда там! Лишь туман да непогода...

Рим***

Эх, если бы да вместо кипарисов
И зноя, выжимающего слезы,
И Колизея (улья рыжих лисов!) –

Плакучее девичество березы
И под ногой не выжженные плиты,
Осколки ваз этрусских и руины,
А холодок бахчи свежеполитой
И хоть комок убогой нашей глины...
Эх!..

Пенелопа!.. бред воображенья,
Тебя я знаю чуть ли не с пеленок —
Твою осанку и пренебреженье
К золе сердец, тобой испепеленных,
И веер твой, раскрытый своевольно,
И власть, и теноров твоих хваленых —
И **правду** тоже — и с меня довольно.

Марионетки

1

Как не хандрить?.. когда тихая стая
Неповторимых созвездий
Медлит над нами — а мы, отлетая,
Так и остались на месте...

2

Все, как и было, и каждый, кто ныне
Жив еще, рядит и судит —
А через миг его нет и в помине,
Да ведь людей не убудет...

3

Тошно в театрик такой захудалый
Ради пустой оперетты
И неумелой игры в идеалы
Жизнью платить за билеты...

4

Господи, чем же прогнать эту скуку,
Что поселилась без спросу?
Время угробив на скорую руку,
Вирши строчить или прозу?

5

Или замолкнуть?.. забыться в теплыни
И перечитывать главы,
Те, что Потоп на песчинках пустыни
Нам написал для забавы...

6

Нудность и скука... а впрочем, знакомы
Средства от этих напастей:
Брезгуй людьми и ходи на **приемы**
– Галстук надев поцветастей.

С борта "Маргериты", отплывающей в Нью-Йорк

Лондон, декабрь 1852, 10 утра

I

Сочится свет на снасти и на всплески,
Тускнея в довершение картины:
Туман капризней женской занавески,
И облака за нею – как **руины**...

II

"Чего руины? Что за занавеска?
А женщина?.." – читателю досадно,
Что далеко сравнениям до блеска
И что-то с этой женщиной неладно –

III

Не возражу... темны мои печали,
Я лишь один из журавлей пролетных,
Что паруса тенями омрачали,
Не оставляя **образ** на полотнах...

IV

Чем **кончу**?.. никогда не знал, похоже,
Лишь...
(колокол прервал)
...ну, дай вам Боже...

Загадка

Что за оковы сподручней для ката
И за надежность особенно чтимы?..
Те, что безжалостней стали и злата,
Неощутимы...

Крест и дитя

1

— Отец! Мы на краю,
Скорей к кормилу!..
К мосту несет ладью,
А нас — в могилу.

2

Взгляни! пролет моста
И мачта слиты,
Как будто тень креста
Легла на плиты...

3

— Сынок мой! Не беда,
Судьба рассудит.
То добрый знак. Туда!
И будь что будет...

*

Сменилось ли окрест
Хотя бы что-то?

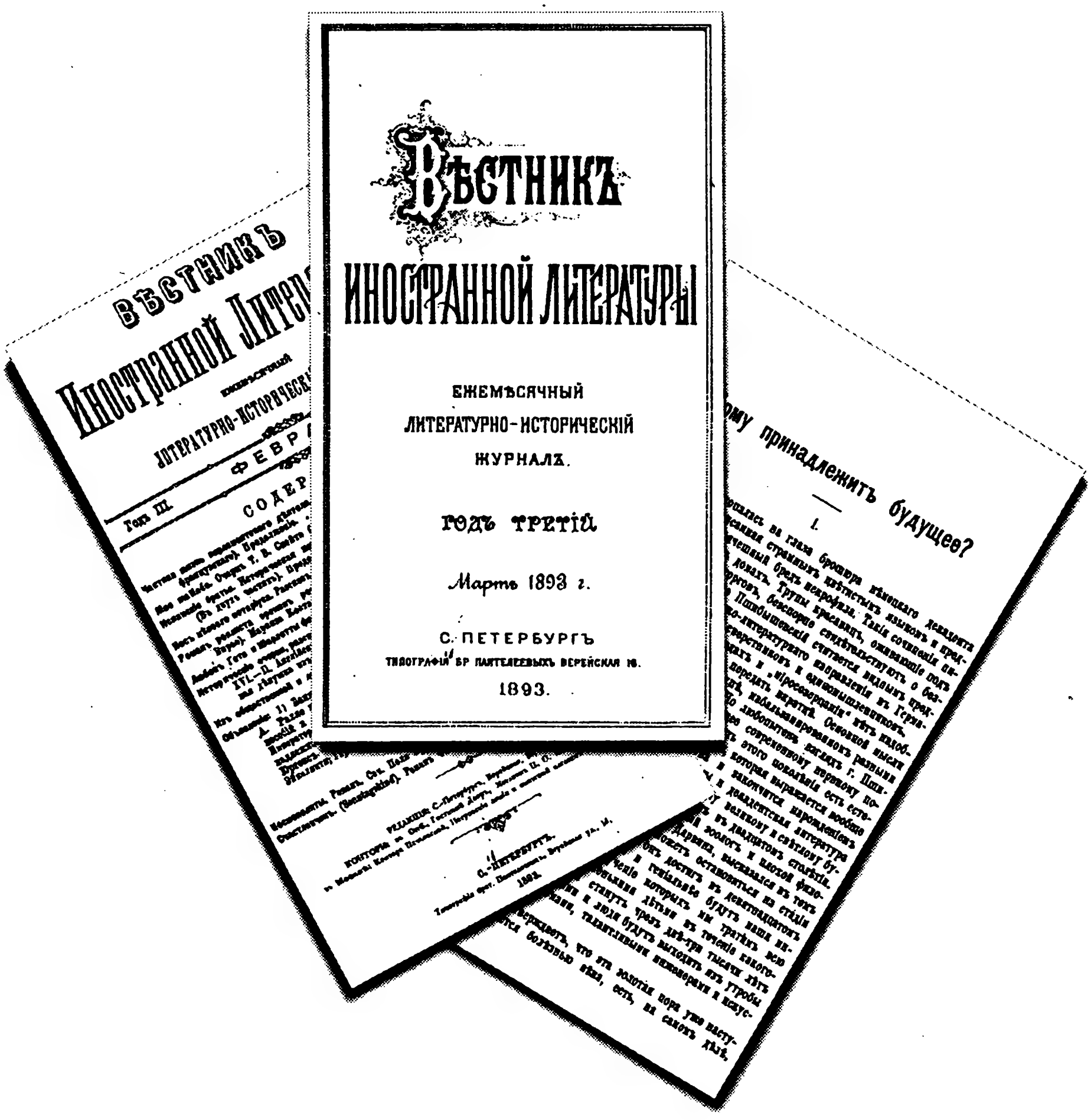
*

— А где наш черный **крест**?

*

— Открыл **ворота**.

Вестник иностранной литературы, 1891–1894


ВѢСТНИКЪ
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКІЙ
ЖУРНАЛЪ.
ГОДЪ ТРЕТІЙ
Мартъ 1893 г.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ТИПОГРАФІЯ БР. ПАНТЕЛЕЕВЫХЪ ВЕРЕЙСКАЯ 16.
1893.

В этом номере мы открываем новую рубрику, и цель ее: познакомить читателей с изданиями, которые "ИЛ" может назвать — с понятной долей условности — своими предшественниками или даже прародителями. Иными словами, мы предлагаем вам проследить путь нескольких российских журналов-"толстяков", ориентированных главным образом на зарубежную культуру. (Подробно об их истории мы расскажем в одном из следующих выпусков рубрики.)

"Вестник иностранной литературы" — один из первых в этой цепочке. Он был основан в Санкт-Петербурге в 1891 году и свой дебютный номер открыл, как принято, обращением к читающей публике. Позволим себе привести этот текст полностью, ибо в нем четко обозначена программа новорожденного журнала:

От редакции

Переводчики — подставные лошади цивилизации [sic! — *ИЛ*].
Пушкин

Наш журнал поставил себе задачею давать своим читателям, в художественном по возможности переводе, все выдающееся, что появляется в литературе Запада.

При обилии материала, представляемого иностранной словесностью, без сомнения, необходим руководящий принцип, держась которого редакция могла бы из массы беллетристических, исторических и др. сочинений выбрать действительно достойное перевода и имеющее положительный интерес для русского читателя.

Прежде всего произведения авторов, имена которых приобрели почетную известность в образованном мире, произведения, за которые ручается имя автора, найдут всегда место на страницах нашего журнала, но вместе с тем редакция считает своею обязанностью, следя за текущей литературою всех стран, останавливаться на именах менее или даже совсем неизвестных, давать произведения начинающих авторов, если они отмечены печатью таланта.

Что же касается исторических монографий, мемуаров, путешествий и т. д., то редакция будет давать такого рода произведения, которые рисуют жизнь народов и обществ, их быт, социальные и экономические отношения, — сочинения, в которых при добросовестности и беспристрастном изложении факты освещались бы обобщающей философской мыслью.

Принимая на себя задачу сделать наш журнал, так сказать, посредником между западной мыслью и русским читателем, мы употребим все усилия, чтобы выполнить ее по возможности удовлетворительно и заслужить доверие и любовь читателя.

Итак, цели провозглашались заманчивые и масштабные, оставалось реализовать эту многообещающую программу, привлечь читателей и постараться завоевать особое (по крайней мере заметное) место в кругу русских периодических изданий, что было не так уж и просто. Прежде всего потому, что планы, обнародованные новым журналом, абсолютной оригинальностью не отличались. "Вестник" не мог претендовать на роль первопроходца в деле установления связей — или посредничества — "между западной мыслью и русским читателем". Зарубежная культура вниманием в России не была обделена. В эти же приблизительно годы (с 1888-го по 1895-й) в Петербурге выходил, например, журнал "Пантеон литературы", где помещались в основном переводы произведений иностранных авторов. Но куда опаснее были не прямые конкуренты, вроде вышеназванного "Пантеона", а "толстяки" более широкого профиля, успевшие завоевать в России огромную популярность. Скажем, "Вестник Европы" ("журнал истории, политики и литературы", цифра его подписки достигала 7000), по сути, открыл русским читателям Э. Золя, печатал античные трагедии в переводе Д. Мережковского, переводную поэзию (переводы И. А. Бунина, О. Н. Михайловой),

произведения Брет Гарта, Г. Ибсена, Э. Ожешко, Ф. Шпильхагена и других. Здесь публиковались серьезные критико-биографические материалы, действовала рубрика "Новости иностранной литературы". "Русская мысль" печатала А. Франса, А. Доде, П. Бурже, Т. Харди, Т. Фонтане, С. Лагерлёф. "Северный вестник" — Г. Д'Аннунцио, М. Метерлинка, Г. Гауптмана, Г. Ибсена, Г. Сенкевича, статьи о новейших писателях Запада. "Новый путь" — П. Мериме, А. Франса, К. Гамсуна. Не стоит забывать и массовые еженедельники: назовем "Север" с его ежемесячным литературным приложением, где публиковались Брет Гарт, М. Твен, Э. Золя, Р. Киплинг. Круг зарубежных авторов у "Вестника иностранной литературы" был приблизительно тем же, хотя на первых порах он проявлял излишнюю осторожность по отношению к самым "спорным" новейшим текстам, ограничиваясь подробной хроникой последних литературных событий. Тем не менее, журнал многое дал читающей публике, печатая и современников: кроме указанных выше, назовем Б. Бьернсона, Я. Вассермана, Р. Киплинга, Дж. К. Джерома, Г. де Мопассана, А. Стриндберга и др., а также классиков: Л. Стерна, Дж. Чосера, Т. Готье, Э. Т. Гофмана, В. Гюго, П. Мериме, А. Прево... Что касается классики, то делались попытки предложить подписчикам новые и более качественные переводы. Например, в редакционном предисловии к публикации "Истории Манон Леско и Кавалера де-Грие" аббата Прево говорилось, что "за сорок лет до того был перевод под названием "Машенька Леско", но прошел незамеченным... а произведение столь замечательное требует перевода более тщательного и осмотрительного". Нельзя не упомянуть и издававшиеся редакцией собрания сочинений известных авторов.

В конце первого года выпуска редакция "Вестника иностранной литературы" вновь обратилась к читателям и, подводя начальные итоги, постаралась скорректировать свою программу: "Главная задача, которую преследовала редакция, состояла в том, чтобы издание представило из себя не сборник случайного материала, но серьезный, руководящийся общею идеею журнал".

К сожалению, именно "общая идея" формировалась слишком вяло. В море бурных полемик и острейших дискуссий тех лет голос "Вестника иностранной литературы" был почти не слышен. Там редко появлялись сколько-нибудь заметные литературно-критические или публицистические статьи. Журналу явно недоставало постоянных сотрудников с громкими именами. Издание вернее было бы назвать информационно-реферативным. Попытка изменить ситуацию обозначилась лишь к концу 1894 года (в двух смежных номерах — 11-м и 12-м — были напечатаны критические очерки Д. Мережковского "Неоромантизм в драме" и "Новейшая лирика").

"Идея" — или позиция — журнала выражалась в ту эпоху скорее косвенным образом: с одной стороны, собственно выбором текстов для перевода и публикации, с другой — манерой подачи информационных материалов и характером комментариев к ним. А ведь первые годы "Вестника" — это годы, когда в российской культуре назревали радикальные перемены, когда не утихали горячие дискуссии по поводу "причин упадка" искусства и "новых течений". Представители разных лагерей сшибались в спорах, анализируя мрачные настроения, овладевавшие культурой конца века — fin de siècle, — строили прогнозы и искали выход. В России одна за другой появлялись книги "декадентов" и все чаще звучал призыв "выбиться из оков натурализма". В этой ситуации новейшая западная литература давала ценные ориентиры, оттуда шли свежие веяния, а деятельность русских новаторов во многом была "западнической". И роль "посредников" между отечественной культурой и зарубежной возрастала.

Вот один пример. В прогрессивном "Вестнике Европы" появляется важнейшая статья З. Венгеровой (она вела там иностранный отдел) "Поэты-символисты во Франции" (о Верлене, Малларме, Рембо, Лафорге, Мореасе). Показательна ре-

акция на нее В. Брюсова: "Наконец появилось "Entartung" Нордау, а у нас статья Венгеровой в "Вестнике Европы". Я пошел в книжный магазин и купил себе Верлена, Малларме, А. Рембо и несколько драм Метерлинка. То было целое откровение для меня" (В. Брюсов. "Из моей жизни"). Именно "вопрос о декадентах" превращался в один из самых злободневных.

О том, какую позицию в дискуссии о декадентах занимает "Вестник иностранной литературы" в первые годы существования, можно судить по следующим выдержкам из статьи "Кому принадлежит будущее?" (1894, № 9). Ее автор — И. И. Ясинский, весьма известный в ту пору писатель, журналист, в 90-е годы занявший отчетливо консервативные позиции:

Недавно мне попалась на глаза брошюра немецкого декадента Пшибышевского[1], написанная странным цветистым языком и представляющая собою горячечный бред некрофила. Такие сочинения пишутся в сумасшедших домах. Трупы красавиц, оживающие под огнем мистических восторгов, бесспорно свидетельствуют о безумии автора. Тем не менее Пшибышевский считается видным представителем нового философско-литературного направления в Германии, разумеется среди своих сверстников и единомышленников.

Останавливаться на его выводах и "мировоззрении" нет надобности — к тому же бред нельзя передать вкратце. Основной мысли в нем нет, нет скелета в трупе, набальзамированном разными пряными специями fin de siècle'я...

...Болезненные процессы, которым подвергаются целые поколения, не всегда знаменуют прогресс. Может быть, в этом отношении правда на стороне Макса Нордау, который думает, что мы быстро идем к деградации — к вырождению.

...Конечно, дело стояло бы иначе и Макс Нордау был бы теперь же посрамлен, если бы литературные произведения народившейся молодежи, претендующей на высшую нервность, отличались хоть намеком на гениальность. Увы! В действительности нет ничего подобного. Молодая литература на западе находится в периоде полного и еще небывалого упадка.

Естественно, взгляд на литературу конца XIX века из сегодняшнего дня разительно отличается от оценок современников, какими бы противоречивыми они ни были. Но речь не о том. Нам важно обозначить уровень критических выступлений "Вестника", показать, насколько актуальной, убедительной и конструктивной была его линия. Иными словами, дать ответ на вопрос: удалось ли "Вестнику иностранной литературы" превратиться в действительно влиятельного участника культурных процессов, происходящих в стране? Увы! На первых порах журнал в этом явно не преуспел. Достаточно сказать, что даже в подробных трудах по истории русской литературы и русской периодической печати того периода мы встретим в лучшем случае беглые упоминания о нем.

И тем не менее нынешний выпуск рубрики "ИЛ: истоки и история" — не просто дань моде на поиск собственных корней. Мы не станем, "защищая фамильную честь", приписывать "Вестнику" несуществующие заслуги. Для публикации нами выбрано то, что, на наш взгляд, вызовет несомненный интерес сегодняшнего читателя, — материалы, которые доносят до нас злобу дня давно минувшей эпохи, ее атмосферу. Предлагаемые небольшие заметки и информационные сообщения живо и в сжатой форме воссоздают круг тем и проблем, владевших общественным вниманием в начале 90-х годов позапрошлого века, наиболее типичное в умонастроениях, главные тенденции в оценках происходящего и прогнозах на бу-

1. Польский писатель Станислав Пшибышевский (1868—1927) в 90-е годы ряд произведений написал по-немецки, позднее он сам перевел их на польский. (*Прим. ред. ИЛ.*)

дущее. Это и провозглашение конца XIX века "литературной пустыней". И повторяемые как заклинание слова "безвременье", "упадок", "деградация"... И особое, нередко восторженное, отношение к успехам науки, прежде всего естествознания. Кое-что теперь вызывает улыбку, но очень многое поражает актуальностью. Наши читатели, несомненно, заметят: подробнее всего в хрониках освещалась культурная жизнь Франции, что тоже знак времени. Причем речь шла об интересе "обоюдоостром". При фактическом отсутствии языкового барьера русские писатели поддерживали тесные связи с французскими. С другой стороны, некоторые произведения французской литературы, как известно, публиковались прежде в России и только потом на родине.

Материалы перепечатаны с небольшими сокращениями. Сохранены некоторые особенности правописания личных имен.

Литературная хроника

***

Да! Вот зловещий факт, оповещаемый со всех сторон: публика больше не читает, книги не продаются. По последней книгопродавческой статистике в настоящее время парижские книжные магазины загромождены 3 миллионами книг, не находящих сбыта.

Публика не читает больше, потому что устáла. Читать больше не принято, а только перелистывать. Публика разрезывает листы книги, как ходит в кондитерскую — между делом.

Завелась литература для туристов и для светских людей. Существуют книги под заглавием: "Pour lire aux bains", "Pour lire en wagon", "A se tordre", "Contes lestes", "Histoires courtes"[1].

В текущей жизни можно положительно сказать, что чтение книг занимает не более часу в неделю. Кончится тем, что будут покупать только политические листки, прибавления к газетам и иллюстрированные журналы. Наша демократия станет настоящими янки. Каждый французский гражданин подпишется на дюжину журналов и будет читать только их, как это делается в Америке. Передовые статьи исчезнут из журналистики. Телеграф заменит репортеров. Журналы будут наполняться одними телеграфическими депешами со всех концов света. К чему будет думать, когда все будешь знать? Объявления и дневные происшествия воцарятся безраздельно.

Мания писательства — невроз своего рода, и до того укоренившийся, что его не замечают и никто на него не указывает. Не одно только обязательное образование причиной этой сильно распространенной эпидемии. Значение, приданное реалистической школой всему пережитому, роковым образом содействовало страсти пачкать бумагу. Под предлогом человеческих документов каждый пускается рассказывать свою жизнь или чужую, точно последнее слово искусства — это автобиография. Никто больше не умеет ни любить, ни страдать, не крича об этом с крыш.

Отсюда такая масса личных признаний в форме рассказов и мания интервьюировать... Тех, которые не хотят писать, заставляют говорить; когда не о чем спра-

1. "Для чтения у моря", "Для чтения в вагоне", "Чтобы похохотать", "Легкомысленные сказки", "Короткие истории" (*франц.*).

шивать, так просят высказать свое мнение о табаке или самоубийстве. Мания документироваться проникла в тюрьмы и остроги. Убийство стало литературным. После Шамбижа[1], анализировавшего себя на манер героев романа, мы видели госпожу Вейс, отравительницу из Аин-Фецца, изливающую свои мечтания и позирующую жертвой. Преступление драпируется во фразы и думает, что оправдывает себя, ссылаясь на психологию. Злоупотребление чернилами до того нас отравило, что мы не возмущаемся больше этими скандальными самооправданиями. Не стоило отвергать романтический эгоизм и личную поэзию Гюго и Ламартина, чтобы дойти до того, чтобы, подобно преступникам, не то что уже исповедоваться, но рассекать себя, не то что рассказывать про себя, но вывертывать себя наизнанку.

Следуя буквальному примеру де Гонкура, который как-то похвалился, что он — анатомический препарат, все вообразили, что, наблюдая за собой, достигнут всеобщей истины; и вместо того чтобы исчезать в своем произведении, как Гомер или Шекспир, художник нашего времени, изучая только самого себя, стал бессильным в описании других. Эта мания — одна из наиболее распространенных форм писательской болезни. Те, которые ею заражены, не излечиваются; этот соблазн вечно их преследует; страсть анализировать себя и других убивает в них воображение; потребность объяснять убивает способность чувствовать; необходимость преувеличивать делает их неточными.

Этот же способ, примененный к личности и вещам внешнего мира, умножил увлечения писательством, каждый вообразил, что ему есть что сказать, раз он сделал какое-нибудь наблюдение... Никто не соображает, что умственное значение эпохи заключается не в количестве, но в качестве писателей. Утонченный анализ убивает талант. Сравните нашу теперешнюю цивилизацию с состоянием Греции за три тысячи лет перед тем. В эпоху, когда еще не изобретено было письмо, Гомер сочинил поэму, которая еще не истощила восторгов последующих веков и остается вечным типом писательского совершенства. Мы же со всей нашей наукой и нашей культурой еще не смогли создать чего-нибудь достойного "Илиады" или "Одиссеи".

Нас легион, и мы мало оставим по себе. Гомер был один и живет.

№ 11, 1891 г.

***

В Париже вышел пятый том "Journal des Goncourt" (2-de série, vol. chez Charpentier). На первый взгляд, это собрание заметок в три строчки, самое большое в полстраницы, представляется не более значительным, чем мимолетные впечатления праздношатающегося. Но при ближайшем знакомстве эти беглые заметки как бы оживляют перед глазами читателя минувшее — служат как бы верным отголоском всего того, что происходило в период с 1872 по 1877 годы.

Гонкур характеризует нам одним словом мужчину или женщину и освещает роль, какую они играли в обществе, и тайный смысл их значения. Материалу для будущего историка найдется пропасть в этих беглых заметках. Гонкур вы-

1. Студент-медик и поэт-декадент, убивший ради позы и рекламы свою любовницу, жену почтенного человека и мать двоих детей.

Не смотря на достаточное число объявленій объ изданіи „ВѢСТНИКА ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ“ въ самыхъ распространенныхъ петербургскихъ газетахъ и почти во всѣхъ провинціальныхъ, что обошлось намъ въ 1892 году болѣе 4000 руб., многіе новые подписчики заявляютъ, что не встрѣчали нашихъ публикацій и только случайно узнали о нашемъ изданіи.—Видимо, объявленія при газетахъ не всегда обращаютъ на себя вниманіе и оказываются, не смотря на значительныя затраты, не вполнѣ достигающими цѣли, почему находимъ необходимымъ обратиться къ своимъ подписчикамъ съ покорнѣйшею просьбою, содѣйствовать возможно большему распространенію „Вѣстника Иностранной Литературы“.

звал много брани и обвинений своим "Дневником". Многие выдающиеся лица, в том числе и Ренан, рассердились за обнародование того, что они говорили в дружеской беседе, нисколько не помышляя отдавать на суд публики свои суждения и часто мимолетные впечатления. Гонкура обвиняли в нескромности за публикацию его мемуаров; его сочли недоброжелательным, тогда как он был только правдивым летописцем, заносившим в свой дневник все, что слышал и видел.

Может быть, заинтересованные стороны и правы в своем недовольстве, но для публики тем не менее очень интересно, а порой и поучительно видеть разных знаменитых людей, так сказать, в дезабилье, а не в официальном мундире, в каком они обыкновенно показываются простым смертным...

№ 3, 1891 г.

***

Разложение нравов в современном западном обществе, бросающееся в глаза даже поверхностному наблюдателю, произвело глубокий переворот в лучших западных умах, потрясенных теми губительными результатами, какие в такое сравнительно короткое время обнаружила проповедь материализма и безверия. Романисты в свою очередь завладели этой темой. Целый ряд произведений — упомянуть хотя бы мимоходом "Le disciple"[1] Поля Бурже и "Борьбу за жизнь" Альфонса Доде — выводят людей, для которых преступление и насилие над чужой жизнью и личностью представляются самым естественным и законным исходом из затруднительного положения. После "права на бесчестье", стремление к которому подмечено Достоевским, у поборников крайнего материализма явилось требование "права на преступление". Дальше идти нельзя — дальше остается уже только каннибальство. Понятно, что такое положение дел вызывает сильную реакцию, и проповедь иных воззрений и начал находит глубокое сочувствие в обществе.

Каждая эпоха имеет своих "властителей дум". В настоящее время таких властителей два: Лев Толстой и норвежский драматург Генрих Ибсен, так же как и наш соотечественник, в своих произведениях являющийся проповедником понятых более или менее своеобразно начал христианской морали и настолько занимающий в последнее время внимание Европы, что каждое новое его произведение немедленно переводится на все языки.

1. "Ученик" (*франц.*).

Последняя пятиактная пьеса его — в переводе гг. Армана Эфраима и Теодора Линденбаума — "Le Canard sauvage" поставлена в Париже на сцене "Théatre-Libre".

Довольно трудно сказать, почему именно пьеса названа так странно — "Дикая утка". В пьесе утка действительно появляется, но тем не менее роль ее вовсе не настолько первенствующая, чтобы ее выставить в заглавие пьесы.

"Я долго самым добросовестным образом, — говорит один французский журналист, — ломал себе голову, стараясь разгадать тайну утки г. Ибсена. Я расспрашивал об этом важном предмете всех бывших на представлении критиков и символистов. Я заклинал их не оставлять меня в моем жалком неведении; и я с тоской говорил им: "Скажите, ответьте, объясните мне, к чему тут утка, да еще дикая, отчего именно утка, а не гусь? Это ваша обязанность". Но они молчали, и я должен сознаться, что так и остался без объяснения этого таинственного персонажа в пьесе норвежского драматурга".

Что касается самой пьесы, то она обладает несомненными достоинствами. В ней много оригинального, и она полна искреннего чувства и неподдельного пафоса, порою, впрочем, наивного, но всегда привлекательного, и как бы то ни было, новое произведение вполне достойно своего автора и достойно внимания как произведение сильного ума и глубокого убеждения.

Ибсен проводит в своей пьесе ту идею, что вся современная жизнь основана на лжи и самообольщении, и для нее поэтому истина — смерть. Она боится ее, прячется от нее. Здание нашей жизни, как ледяной, с виду кажущийся непоколебимой твердынею, дворец, при первом ярком солнечном луче развалится и растает. Ложь есть цемент, связывающий современное здание. Мы боимся воплощения в нашей жизни того идеала, которому лицемерно поклоняемся: боимся истины, так как живем ложью, и она проникает все наши отношения...

№ 6, 1891 г.

***

Кроме пищи физической, человек на известной степени духовного развития требует еще и умственной пищи. Одному любопытному парижскому журналисту пришла мысль собрать сведения насчет того, какой писатель наиболее читается в Париже.

И вот результат справок, наведенных им у книгопродавцев и в библиотеках для чтения, частных и общественных. Всего более читают Александра Дюма-отца. Количество продающихся экземпляров его многотомных сочинений исчисляется миллионами... И всякая новая библиотека первым делом покупает сочинения Александра Дюма-отца...

Не следует, однако, думать, что он нравится только толпе; избранные умы тоже находят в нем прелесть.

Издатель Жорж Занд, приехав в Ноган, поместье знаменитой писательницы, удивился, застав ее за чтением какого-то романа Дюма-отца.

Жорж Занд сказала ему:

— Когда я устала или мне скучно, только этот бедовый человек может меня развлечь.

В числе живых писателей первое место принадлежит Эмилю Зола. В этом сходятся показания как книгопродавцев, так и содержателей библиотек. Число томов его, которое расходится ежегодно, доходит до 100 000.

Такой же большой сбыт имеют творения Жоржа Оне, а это доказывает лучше всяких теорий, что у публики нет предпочтений к одному какому-нибудь роду романа.

Произведения Жоржа Оне, выпущенные в дешевых изданиях, достигают цифры 6 202 800.

Автор, успех которого постоянно возрастает, — это Гюи де Мопассан. Можно уже предвидеть время, когда его произведения будут расходиться в таком же количестве, как произведения Эмиля Зола и Жоржа Оне.

Бальзак и Жорж Занд не заброшены публикой, как уверяют некоторые. Напротив, они очень охотно читаются и раскупаются. Точно так и произведения Октава Фелье.

Теофиль Готье насчитывает много читателей, и число их не уменьшается.

Флобер держится в 10 000, а Гонкур значительно выше.

Додэ — большой фаворит публики, равно как и Гектор Мало.

В большой моде также Поль Бурже, Людовик Галеви, Пьер Лоти, Тинсо, Шербюлье, Териэ Жип, Клареси, Жюль Верн и сенсационные фельетонные романисты дю Буа-Гобе, Ксавье де Монтенен и Матей.

Эжена Сю много берут из библиотек для чтения. Два главных его произведения, "Вечный Жид" и "Парижские тайны", все еще имеют хороший сбыт.

Кто бы поверил, что у Понсона дю Терайль все еще много читателей!

Из поэтов первое место по сбыту принадлежит Гюго. Затем идут Франсуа Коппе и Сюлли Прюдон.

Альфред де Мюссе находится во всех библиотеках и его ежегодно продают средним числом 6 000 экземпляров.

Одно из самых денежных успехов одержало сочинение Ренана "Жизнь Христа". Его продано свыше миллиона экземпляров.

Но таким же успехом пользуется и "Домашняя кухарка", так что гордым писателям стоит над этим призадуматься.

№ 9, 1891 г.

***

В один прекрасный день прошлой осенью в Париже газета "Figaro" объявила на весь мир, что родился новый и величайший Шекспир, и где же? — в скромной Бельгии, доселе не блиставшей гениальными писателями. Имя бельгийского Шекспира — Морис Метерлинк, а открыл и превознес его парижский фельетонист Октав Мирбо. Пьеса, в которой Мирбо открыл "вещи, более прекрасные, чем прекраснейшие вещи у Шекспира", называется "La Princesse Maleine". Эта пятиактная трагедия и две одноактных драматических фантазии составляют пока весь литературный багаж нового Шекспира.

К чему же, в сущности, сводится эта широковещательная и громкая реклама? Метерлинк — писатель не без таланта, с сильным пристрастием к фантастическим ужасам в духе Бодлера и Эдгара Поэ.

Все его усилия направлены к тому, чтобы нагромоздить как можно больше ужасов — так, чтобы у читателей волосы стали дыбом. Порою эти усилия доводят его до той грани, где уже начинается балаган, но спасает его большая колоритность и музыкальность формы и умение поэтически пользоваться всеми стихийными элементами: завыванием ветра, раскачиванием дерев, плакучими ивами

и березами, блудящими огоньками и пр.

Психология совершенно отсутствует из произведений бельгийского поэта.

Знаменательным фактом может служить то, что главная его пьеса написана для сцены марионеток, все его действующие лица, в сущности, не что иное, как простые марионетки в руках беспощадной и безнравственной судьбы. "La princesse Maleine" — не что иное, как страшная детская сказка, но пересказанная с большим искусством. "L'intruse" и "Les Aveugles"[1], по удачному выражению одного критика, — мрачная симфония пессимистического символизма...

10, 1891 г.

***

...Есть небольшое количество образцовых книг, которые каждый должен знать и хорошо знать, любить и очень любить. Врач и археолог, немец и француз, молодая женщина и старик, дипломат и военный — все они найдут источник наслаждения или назидательности в сочинениях Мольера и Шекспира, Гомера и Сервантеса, то есть в тех шедеврах, которые стоят выше всякой разнокалиберности людей и пригодны "среднему человеку".

Такую-то идеальную библиотеку, основу всякой библиотеки, пытались составить не раз, а в последнее время в Англии, Италии, Германии и Франции в тех же видах было организовано своего рода голосование. В Англии Джон Лебок пожелал, чтоб публика назвала сто книг наилучших, по ее мнению. По примеру английского писателя, изложившего результаты своих изысканий на этот счет в книге "The Pleasure of Life" (в главе "The choice of Books"[1]), один берлинский издатель напечатал брошюру с мнениями разных известностей о "лучших книгах всех времен и литератур" ("Die besten Bücher aller Zeiten und Literaturen"). В Италии также издана любопытная книга "Fra I Libri" с предисловием проф. Тамбурини, Гвичиарди и Сарло. В ней собрали 214 мнений о пяти лучших литературных книгах, какие могли бы людям всегда доставлять удовольствие или утешение даже при лишении их сообщества с другими людьми. Тут голоса поданы в пользу 60 авторов иностранных и 40 итальянских; за французских писателей — 53, за немецких — 41, за английских — 35, за американских и русских — по 12. Но преимущество все-таки отдается авторам XIX столетия перед писателями иных времен. В Париже "Revue bleue" произвел голосование о 25 лучших книгах и получил 764 списка таких книг. Самое большое число голосов досталось Виктору Гюго (616), после идут:

Мольер (563), Шекспир (476), Расин (475), Лафонтен (426), Мюссе (426), Корнель (400), Гете (393), Вольтер (388), Паскаль (373), Ламартин (342), Гомер (346), Ветхий и Новый Завет (331), Монтень (300), Сервантес (288), Мишле (282), Бальзак (256), Дант (246), Ренан (246), Лабрюйер (245), Флобер (240), Боссюэт (239), Рабле (237), Додэ (214), Виргилий (207), Зола (194), Руссо (190), Тэн (188), Подражание Христу (168), Пьер Лоти (168), Гораций (164), Тацит (147), Софокл (143), Сюлли Прюдон (136), Лев Толстой (130), Ла-Рошфуко (130), Жорж Занд (121), Александр Дюма-отец

1. "Непрощенная", "Слепые" (*франц.*).

1. "Радость жизни", "Выбор книг" (*англ.*).

(111), Лукреций (110), Дарвин (110), Шатобриан (108), Мопассан (106), Диккенс (105), Бомарше (105), Монтескье (105), Лесаж (99), Эсхил (97), Бурже (95), Лабиш (91), Альфред де Винье (89).

По поводу всех этих литературных голосований остроумно высказался Жюль Леметр, когда ему предложили назвать 20 книг, которых хватило бы на духовное услаждение человека. Он составил такой список: 1. Библия, 2. Гомер, 3. Эсхил, 4. Виргилий, 5. Тацит, 6. Подражание Христу, 7. 1 том Шекспира, 8. "Дон-Кихот", 9. Раблэ, 10. Монтень, 11. 1 том Мольера, 12. 1 том Расина, 13. "Мысли" Паскаля, 14. "Этика" Спинозы, 15. "Contes" Вольтера, 16. 1 том стихотворений Ламартина, 17. 1 том стихотворений Виктора Гюго, 18. 1 том пьес Альфреда де Мюссе, 19. 1 том Мишле и 20. 1 том Ренана.

Но, перечитав этот список, Леметр заметил, что это не "искренний" список. "Совершенно безотчетно, — пишет он, — я составил его не для себя только, но и для публики, и выразил здесь скорее условные предпочтения, нежели личные симпатии. А между тем вопрос заключался в выборе не 20 наилучше написанных книг, а таких, с которыми приятно было бы провести остаток дней".

№ 7, 1893 г.

Китайская стена во французской литературе и неведение относительно России

...Иностранным писателям нелегко проникнуть во Францию. Критика там готова восхвалять свое самое посредственное, а против всего чужого ведется систематическая кампания. Боязнь того, что парижский "esprit", "гальская веселость", может пострадать от чужого влияния, заставляет критику и влиятельных писателей воздвигать китайскую стену в делах искусства. Еще недавно Эдмон Гонкур нашел нужным поднять это знамя "французского духа", чтоб протестовать против удручающего, по его словам, "славянского тумана в мозгах русских и норвежских". Так буквально и значится в предисловии знаменитого писателя к его одноактной сатирической пьесе "A bas le Progrès"[1], где он восстает против "северо-восточного" нашествия, считая норвежцев за единоплеменников с русскими. Сделав такое этнографическое открытие, Гонкур заявляет: "В эту пору пристрастия Франции к иноземной литературе, при том культе, который наших молодых драматических авторов привлекает в скандинавский театр, при этой наклонности современных умов выдавать себя за литературных лакеев Толстого и Ибсена — писателей, заслуги которых я далек от мысли оспаривать, но свойства которых, как мне кажется, не подходят к климату той широты, под какой мы живем здесь, — я попытался вступить в борьбу, и в пьесе, за которой последуют другие, создать по возможности драматическое произведение, которое обладало бы французскими особенностями — ясностью, умом, иронией. Да, я убежден, что славянский туман надо предоставить русским и норвежским мозгам и что нельзя его насильно ввести в наши светлые мозги, где, как я думаю, этому туману суждено производить одни плагиаты".

Да не подумают читатели, что это исключительный образчик самомнения и презрения ко всему чужому или, как французы гово-

1. "Долой прогресс" (*франц.*).

рят, "экзотическому". Чтоб далеко не ходить за примерами, наведем справку, в какой степени серьезно во Франции интересуются хотя бы русскими писателями, популярность которых должна бы оправдываться и теперешним сочувствием французской печати ко всему русскому, и вообще франко-русскими симпатиями, политическими и народными, наконец долголетними и усерднейшими усилиями таких основательных изучателей России, как Анатоль Леруа-Больё и Альфред Рамбо, ознакомить с ней своих соотечественников. Общее неведение французов относительно России Леруа-Больё как-то охарактеризовал в "Journal des débats" в таких чертах:

"Россия у нас в моде; никогда еще народ не пользовался такой популярностью у другого... Но одно только огорчает меня. Часто я себя спрашиваю, лучше ли мы знаем ее, эту столь чествуемую Россию, чем в ту эпоху, уже отдаленную, когда, не обращая внимания на всеобщее равнодушие к ней, мы с Рамбо отправились открывать эту неведомую страну Востока (Леруа-Больё, Рамбо и Луи Лежер приезжали в Россию в самом начале 70-х годов). Поистине я сомневаюсь. Все, что говорится и пишется о ней в настоящее время, заставляет нас думать о тщетности наших усилий познакомить с ней, с этой таинственной Россией... Россия стала добычей лубочной литературы и антрепренеров популяризации, и один Господь ведает, что они сделали из нее..." В особенности неведение французской прессы о России, неведение не только забавное, но зачастую и прискорбное, поражает почтенного писателя. "Ходячие представления о России и о русских не вернее стали теперь, чем были двадцать лет назад. Они только изменились в том смысле, что предубежденность в некотором роде приняла обратное направление. Что представляли себе прежде в неприглядном свете, то теперь кажется красивым. Это, во всяком случае, ничуть не приятнее для русских, портреты которых мы делаем так мало схожими".

Однако следовало бы ожидать, что Россия стала знакома Франции все-таки более, чем прежде, именно в литературном отношении. И на этот счет свидетельство Леруа-Больё не особенно ободряющего свойства. Он признает заслугу за Вогюэ, своей книгой "Le roman russe"[1] возбудившей интерес к произведениям первоклассных русских писателей, начиная с Гоголя и кончая гр. Л. Н. Толстым. "Но, – замечает тот же компетентный судья, своими капитальными трудами о России стяжавший себе заслуженную известность, – наши литераторы взяли из русского романа именно то, что для нас в нем имеется наиболее странного и чуждого; им понадобились утратившие равновесие мистики обоих полов... А в среде большой публики я не раз встречал женщин и молодых людей, которые больше рассуждали о Достоевском и Толстом, нежели читали их". <...>

Небезинтересно также отметить, что в таком популярном собрании сочинений знаменитых писателей, которое издается парижской фирмой Марпон, почти в двухстах напечатанных томиках (по 60 сантимов каждый) из русских писателей встречаются только Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский и Толстой, да и то не в их главных произведениях, а в мелких повестях и рассказах. В более старейшем, по цене еще более общедоступном, собрании классиков всемирной литературы –

1. "Русский роман" (*франц.*).

"Bibliothèque nationale" (по 25 сантимов за томик) — русские писатели игнорируются. Правда, с появлением названной книги Вогюэ в Париже возник спрос на русских писателей, которых там не знали раньше даже по именам. Но об этом спросе имеется показание лица, усердно занимающегося популяризацией русской литературы. Это профессор Collège de France Луи Лежер. В своем библиографическом обзоре французских пособий для изучения России в "Revue Encyclopédique" он пишет, что в угоду наставшего увлечения парижской публики русскими писателями "книгопродавцам пришлось перепечатывать такое, напр., сочинение, как "Мертвые души", которое раньше было ими продано по дешевой цене букинистам. Появились вдруг импровизированные переводчики для удовлетворения или для возбуждения любопытства, иногда более нетерпеливого, нежели просвещенного. В последнее двадцатилетие литовские евреи возымели явное намерение воспользоваться нашим гостеприимством, нашими школами и добиться у нас национализации. С практическим инстинктом своего племени они очень хорошо поняли, что русская литература сделалась предметом обмена, и они-то явились ее самыми пылкими популяризаторами. Это они понапереводили большинство тех романов, которыми загромождены полки книгопродавцев и из которых иные — увы! — способствовали бедственному книжному кризису, озабочивающему французских издателей и литераторов. На потребу французской публики пущены в ход даже издания английские, немецкие или итальянские, трактующие о России". Нечего сказать, добросовестных переводов можно ожидать от таких популяризаторов русской литературы и достоверны будут сведения, почерпнутые о России из английских, немецких и итальянских источников!

О *знаменитых писателях*

Марк Твен

К знаменитому американскому писателю Марку Твену является молодой человек, нервный, юркий. Это репортер. Начинается после предварительных извинений выспрашивание.

— Позвольте узнать, сколько вам лет?

— Девятнадцать с половиною, — отвечает Марк Твен невозмутимо.

— Не может быть! Я бы вам дал minimum 44 или 46! Где вы родились?

— В Миссури.

— В какую эпоху начали вы свою писательскую деятельность?

— В 1836 году.

— О!.. Но как же в таком случае вам может быть девятнадцать лет?

— Не знаю, право. Мне самому это кажется довольно странным.

— Забавно!.. Кого вы считаете самым замечательным человеком из тех, кого вам случалось встречать?

— Георга Вашингтона.

— Надеюсь, вы говорите не об отце Америки? Вам ведь всего девятнадцать лет.

— Если вы все это лучше меня знаете, зачем вы меня спрашиваете?

— О! Я просто так заметил... При каких же обстоятельствах

встречались вы с Георгом Вашингтоном?

— В день его погребения. Он просил меня не делать большого шума и...

— Великий Боже! Если его погребали, значит, он был мертв, а в таком случае как же...

— Не будем говорить об этом. О, Георг Вашингтон был необыкновенным человеком!

— Как хотите, но я ничего не понимаю. Вы говорите, что он с вами беседовал, и в то же время, что он был мертв.

— Я не говорю, что он был мертв.

— Как? Если его погребали, значит, он был мертв.

— Знаете, трудно сказать... Одни говорят, что да, другие, что нет.

— Ну а вы какого мнения?

— Я? Это не мое дело... Ведь не меня погребали.

— Имели вы... Но нет, мы из этого не выпутаемся! Оставим этот странный предмет и позвольте спросить вас о другом. Какого числа вы родились?

— В понедельник, 31 октября 1807 года.

— Позвольте... что вы говорите?.. Ведь это невозможно. Вам было бы теперь восемьдесят три года! Как вы это объясните?

— Никак!

— Позвольте! Вы мне сказали вначале, что вам только девятнадцать с половиной лет, а теперь оказывается восемьдесят три года! Ведь это непроницаемая тайна.

— Как? Вы это заметили? (С чувством жмет руку репортеру.) Сколько раз и мне это казалось непроницаемой тайной. И я до сих пор ничего в ней не понимаю. Как вы наблюдательны! От вас ничего не укроешь и вас не проведешь! Вероятно, это объясняется большим навыком.

— Благодарю за комплимент. А теперь позвольте спросить: есть у вас братья и сестры?

— Мне... мне кажется — да, хотя... Видите, я не знаю этого хорошенько.

— А! Вот самое странное признание, какое когда-либо мне приходилось слышать!

— Почему же это вам кажется странным?

— Помилуйте, как же не странно? Не может быть, чтобы вы не знали! Попробуем вместе обсудить этот вопрос!

— О, пожалуйста! Я вас прошу, я заклинаю вас...

— Этот портрет на стене... Не портрет ли это вашего брата?

— О! Да, да! Я вспомнил теперь. Вы меня навели; это мой брат Вильям... Билл, как его звали в семье. Бедный старый Билл!

— Как? Он умер?

— Он? Мы не могли узнать наверное. Роковая тайна.

— Как жалко! Как жалко! Что же, он пропал?

— Да! Самым необыкновенным образом. Мы его похоронили.

— Как? Похоронили? Не зная наверно, жив он или мертв?

— О, нет. Не то... Конечно, он был... довольно мертв...

— Я ничего не понимаю. Жив, умер, погребен... Тут какая-нибудь тайна?

— Именно, вы угадали. Видите ли, мы вместе, покойник и я, брали ванну. Нам было тогда всего три недели. Мы были смешаны, понимаете, в ванне... Один из нас погиб, утонул, который из двух? Никогда не могли узнать, одни говорили, что Билл, другие — что я.

— Вот замечательное происшествие! А вы как думаете?

— Бог знает! Я бы все отдал, чтобы узнать наверно. Ужасная тайна давит меня, отравила мои дни. Но так как вы пишете в газе-

тах, я открою вам секрет, который еще не слышало доселе ни одно человеческое ухо. Один из нас имел примету — бородавку на спине. Это я. Это тот ребенок, который утонул.

— Благодарю вас, мистер Твен, я довольно собрал материала.

Молодой человек поднимается и, вежливо поклонившись, исчезает.

№ 1, 1891 г.

Как устроен мозг писателя?

Альфонс Додэ

Как устроен мозг писателя? Как он думает, как чувствует, как работает его мыслительная машина? Разрешением этого любопытного вопроса занят в настоящее время профессор Лакассан Лионского факультета.

Он предполагает проверить доктрину, созданную Галлем о "мозговой локализации". Конечно, самый искусный физиолог не в состоянии проникнуть в чужой мозг, доколе владелец его жив. Расследование производится на основании показаний и самонаблюдений писателей над процессом творчества.

Прежде всего надо изучить "внутренний язык и различные способы представления". Умственные процессы в последнем отношении классифицируются сообразно мозговым центрам и преимущественной роли того или другого в процессе мысли следующим образом.

Процесс этот "воззрительный" (visuels), если читают слова своих мыслей.

"Слуховой" (auditifs), если их слышат.

"Словесный" (voteurs), если их говорят.

По теории можно наперед утверждать, что реалист Эмиль Зола, обладающий конкретной мыслью, думает на иной манер, чем отец Дидон, спиритуалист, с умом абстрактным. Один из учеников Лакассана посетил многих артистов, литераторов, замечательных мыслителей. Результаты его исследований составили драгоценные психологические материалы.

Вот некоторые из этих характеристик "писательского мозга".

— Страдаю сильной близорукостью с детства; в Лионе мои профессора никогда не хотели этому верить, и я вышел из лицея, так ни разу и не видав, что такое писалось на доске во время объяснений, — сообщил Додэ посетившему его физиологу.

— Позвольте узнать напряженность вашего зрения?

— Постоянно ровная, не увеличивается и не уменьшается.

— Слух?

— Превосходный, как у слепца. В ушах — мое зрение.

— Воззрительная память?

— Прекрасная. Я помню со всеми деталями картину, которую видел десять лет тому назад.

— Как вы представляете себе бесконечность, вечность, совершенство и тому подобные отвлеченные идеи?

— Я их никак себе не представляю. Я никогда не мог вызвать их в своем мозгу.

— Память слуха?

— Отличная. Звуки запоминаются мною удивительно. Их своеобразные оттенки отпечатлеваются с необыкновенной точностью. Мне припоминаются аккорды фразы, уловленные мимоходом.

ГОДЪ ТРЕТІЙ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

ВѢСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(не менѣе 5000 страницъ въ годъ лучшихъ иностранныхъ произведеній).

„ВѢСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ“ выходитъ ежемѣсячно въ форматѣ „Вѣсти. Европы“, по слѣдующей программѣ: 1) Романы повѣсти и всякаго рода произведенія художественной литературы; 2) историческіе разсказы, біографіи, мемуары и очерки по исторіи культуры 3) путешествія, географическіе и правоописательные очерки и 4) смѣси анекдоты, извѣстія и объявленія.

[230]
ИЛ 6/2002

Если я хочу восстановить то состояние ума, души, которое было у меня некогда, вспомнить что-либо из давнего прошлого, я всегда стараюсь вспомнить ту арию, которую я тогда напевал, и раз она воскреснет в моем ухе, память восстановит все остальное. Что касается процесса моей мысли, то вот что я могу сказать. Когда я желал охарактеризовать в Нума Руместане южанина, я заставил его сказать: “Я только тогда думаю, когда говорю”. Эту характеристику, которую я считал новою, потом я отыскал у Монтеня. Очевидно, это характеристика вполне верная южного ума, так как Монтень был тоже южанин.

Часто, когда в уме моем возникает какое-либо слово, я машинально соображаю четное и нечетное число составляющих его букв. Эта мания так уж давно меня преследует, что теперь я почти мгновенно могу сказать, четное или нечетное число букв у данного слова.

Чтобы запомнить номер дома, я быстро складываю числа. Напр., д. № 31, улица Бельшас... 3 + 1 = 4...

— Видите вы сны?

— Уже пять или шесть лет, что я не могу спать без приема наркотика и не вижу больше снов. Но прежде я видел часто такие живые и яркие сны, что писал на них сказки. Я часто записывал свои сны, проснувшись и еще в поту от кошмара. Вот, например, некоторые: “Le Calvaire dans les cerises”, “Monsieur Daudet, ne regardez pas à droite”, “L’Urubu”[1] ...

— Обладаете вы умом синтетическим или аналитическим?

— Абсолютно аналитическим.

— Вы хороший наблюдатель?

— До мании, с детства. С детства я могу также раздвояться и наблюдать за самим собой...

Эмиль Зола

— Когда я был ребенком, у меня была отличная память. В школе я выдавался благодаря ей. Уже тогда я работал лишь настолько, насколько было необходимо, не надрывался в усердии. Я всегда торопился кончить занятия и затем ничего не делать. В постели я повторял про себя уроки, прежде

1. “Голгофа в вишневом саду”, “Господин Доде, не смотрите направо”, “Юрюбю” (*франц.*).

чем уснуть; это лучший способ укрепить выученное в памяти.

На другой день я их отлично знал и мог повторить от слова до слова. Я очень редко ошибался или запинался. Память позволяла мне с легкостью заучивать быстро и хорошо, но все вылетало из моей головы так же быстро и хорошо.

И в то время, как и теперь, моя память, воспринимая, затем как бы утрачивала воспринятое, но в нужную минуту вновь обнаруживая, по-видимому, забытое. Это губка, весьма быстро высыхающая, это река, которая все увлекает и воды которой потом быстро пропадают в песчаных мелях. Отличительное свойство моей памяти — воспринимать и вызывать воспоминания согласно моему желанию. Я обладаю прекрасною памятью на предметы, но если я смотрю на них без желания их запомнить, они не остаются в моем сознании. Когда я был назначен президентом общества литераторов, мне понадобилось более трех недель, чтобы запомнить лица 24 членов общества.

Но когда я хочу написать роман, все нужные мне представления возникают в моем уме так, как мне хочется, чтобы они возникали.

Воспоминания виденного у меня необыкновенно выпуклы и ярки. Моя память бесконечна, чудесна, она стесняет меня. Когда я вызову представление о каком-либо предмете, он предо мною является как совершенно реальный предмет, со всеми линиями, формами, цветами, запахами, звуками. Это просто материализация вещи.

Солнце, которое освещает вещи в моем воображении, просто ослепляет меня, запах меня душит, выступает столько деталей, что они мешают мне видеть целое.

Но эта способность вызывать во всей его реальной яркости представление недолго сравнительно действует. Сначала образ необыкновенно рельефен, но потом бледнеет и исчезает.

Это, — продолжает Зола, — счастливый для меня феномен, я написал много романов, собрал значительные материалы, так что, если бы моя память все это хранила, я был бы раздавлен их тяжестью. Я забываю роман по мере его написания. Когда я приду к концу сочинения, я уже забуду его начало. Я составляю столько же отдельных планов, сколько предполагаю написать глав; если роман из двадцати глав — двадцать планов, разработанных до последних мелочей. Затем уже я спокоен, с таким планом я не заблужусь... Вывод же такой: моя память характеризуется выходящей из ряду вон силой запоминания и вместе с тем необыкновенной хрупкостью своих впечатлений.

Я не запоминаю ради удовольствия помнить, не обладаю той памятью, которою пользуются для того, чтобы поражать быстротою запоминания...

Все знают, как я пишу свои романы. Я собираю все документы, какие только могу достать, путешествую, так как мне необходимо подышать той атмосферой, в ко-

Вестник иностранной литературы, 1891—1894

„ВѢСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ“
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМѢСЯЧНО.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОЮ:
на годъ — 4 руб., на 6 мѣс.— 2 руб., на 1 мѣс.— 50 коп. За границу на годъ 7 руб.
БЕЗЪ ДОСТАВКИ И ПЕРЕСЫЛКИ:
на годъ — 3 руб. 50 коп., на 6 мѣс.— 1 руб. 75 коп., на 1 мѣс.— 50 коп.

торой будет развиваться мой роман; я знакомлюсь с очевидцами того, что хочу описывать; я ничего не выдумываю; роман уже заключен в материалах к нему...

Для меня слово не имеет особого значения. Его может породить образ или довод. Я могу легко говорить, но истинно красноречивым становлюсь лишь под влиянием страсти. Я не переношу общих, избитых мест, они меня парализуют, мешают мне говорить. Часто написанное слово приводит меня в удивление, словно я его в первый раз узнал; оно кажется мне диким, грубым, некрасивым, неграциозным; слово пробуждает в моем уме образ; я никогда не читаю и не произношу его в уме, но, когда я пишу, фраза слышна мне, она сопровождается как бы музыкой.

Когда я был юн, я обожал стихи и много их писал; настоящая музыка не трогает меня; вероятно, у меня недостаточно верное ухо.

Я не приготовляю фразы, я бросаюсь как в воду, начиная писать, я не боюсь фразы; я храбро овладеваю ею, гляжу ей прямо в лицо, беру ее приступом. У наших романистов это редко встречается. Все писатели, которых я знаю, долго оттачивают фразу, прежде чем ее написать... Я скоро устаю; написав четыре-пять положенных страниц, я должен бросить перо; я работаю всего часа три в день; это создало мне репутацию труженика, но это ошибка; я чрезвычайно регулярен и чрезвычайно ленив; я спешу окончить урок, чтобы потом уже ничего не делать...

...Я близорук и ношу 9-й номер очков; я надел их в 16 лет.

Вообще же мои органы чувств в хорошем состоянии: обоняние великолепное. Я часто вижу сны, но они не ярки, я не вижу их при солнечном блеске, сверкающим днем; предметы и лица окутаны светлыми сумерками, их нежные очертания наполовину теряются в рассеянном и сероватом свете...

Мопассан

"Я завтракал на днях, — рассказывает один публицист, — с автором "Cosmopolis" в компании с Франсуа Коппе, приехавшим недавно из Канн отдохнуть от парижской суеты и подышать свежим воздухом. За десертом Поль Бурже сказал нам:

— Я нарочно собрал вас сегодня, 3 января, на этот дружеский завтрак. Ровно год исполнился в этот день с тех пор, как погасло яркое сознание нашего дорогого сотоварища Гюи де Мопассана. Последние часы своей разумной жизни он провел на борту своей яхты "Bel Ami", постоянно стоящей в Антибской гавани. Я думаю, вам приятно будет, так же как и мне, ознаменовать паломничеством к этому плавучему дому нашего друга трагическую годовщину...

— Эй! Бернар! — крикнул Поль Бурже.

На этот зов на палубе показалась человеческая фигура. Привычным жестом моряка она поднесла обе ладони в виде зонтика к глазам, стараясь лучше рассмотреть нас. Потом человек прыгнул на шлюпку, привязанную к боку яхты, отцепил канат и поплыл по направлению к нам — это был Бернар, матрос Мопассана, товарищ в его лихорадочных порывах к глубокому горизонту между небесами и водой, вдали от населенных земель, где сторожило поэта безумие...

"Bel Ami" — одна из тех увеселительных яхт, которые летом плавают в Ла-Манше, а зимою — на Средиземном море. Обитаемую часть судна составляют четыре квадратные комнатки. Во-первых, прихожая с двумя параллельными диванами, где спят Бернар и верный лакей Мопассана Франсуа. Кухня, где еще стоит на плите медный чайник, но в нем теперь уже не кипит утренний чай. Каюта капитана, где находится его скромное ложе, покрытое белоснежным сукном, всегда готовое к услугам хозяина. Здесь же лампа, озарявшая его ночные бдения, морской бинокль; четвертая каюта — гостиная или лучше — рабочий кабинет.

Здесь-то Мопассан был самим собой. Диван, обитый восточной тканью, еще сохраняет отпечаток его тела. Несколько морских сочинений, между ними "Jacht" Register, лежат на этажерке. Единственная книга самого хозяина: "Une vie"[1] с заложенной на 22 странице сухой фиалкой; затем небольшой служебник — роскошное издание с палево-золотым обрезом. В углу кинута связка "Figaro". За этим столом красного дерева была написана книга Мопассана "Sur l'eau"[2]. Здесь же его чернильница и даже перо, простое гусиное перо, запачканное чернилами. Я бросил на Бернара вопросительный взгляд, и он улыбнулся с таким видом, который говорил: "Берите!" Я благоговейно положил в мой портфель это последнее орудие мозга, уже разбитого. Бурже и Коппе взяли несколько лоскутков бумаги с зигзагами, иероглифами и началами фраз, слов, которые набросала рука писателя в смутном предчувствии не воплощенной еще новой мысли.

1. "Жизнь" (*франц.*).
2. "На воде" (*франц.*).

Мы стояли в глубоком молчании и никогда дотоле нам не представлялся с такою силою глубокий смысл слов поэта "Sunt lacrimae rerum!"[1] Да, незримое дыхание грусти исходило из всех этих вещей; казалось, они таили в себе частицу души нашего друга.

Мы пожелали услышать от Бернара как очевидца рассказ о том кризисе, который сломил, навсегда быть может, один из замечательнейших умов нашего времени. Простой рассказ матроса тронул нас до глубины души.

— Давно уже, — сказал он нам, — я замечал, что с нашим господином творится что-то неладное... Я особенно в этом уверился, когда он однажды, поднося палец к губам, словно ему было что-то отвратительно, вскричал: "Бернар, друг мой, я просолился!" Я ему сказал, что и все мы, моряки, всегда просолены, но это его не успокоило... Послед-

1. "Слезы найдем мы и здесь" (*лат.*). Вергилий. Энеида. Песнь I. Перев. С. Ошерова.

ний раз, что он был на "Bel Ami", пришелся на 30 декабря... Вечером он заплатил экипажу за месяц, а меня отпустил на сорок восемь часов повидаться с женой и детьми. Когда я вернулся, револьвер и бритва сделали уже свое дело. Я нашел моего бедного капитана бьющегося в руках Франсуа и Реймона... Надо было его связать, чтобы помешать наложить на себя руку. Франсуа велел мне принести веревок...

Веревок!.. Я собрал бечевок, и мы его обмотали, словно малого ребенка. Связанный, он уже ничего не мог над собою сделать, да он уже и не страдал больше. Три дня спустя, по совету доктора, мы перевезли его в Париж. В карете он положил голову мне на плечо, кроткий, словно ангел Божий, и говорил мне: "Как хорошо, Бернар, как хорошо!" Вот уж год прошел с тех пор, а он все еще не в своем разуме. Но как Бог свят, он еще вернется, непременно вернется... Я вам правду говорю, господин, наш капитан вернется... я его дождусь..."

№ 2, 1893 г.

Научные новости

***

Одним из любопытнейших применений уголовной антропологии — этой новой науки, которая заняла место между социологией, психиатрией и уголовным правом, — является изучение физиономии политического преступника. Оно может дать для исследования политического преступления прочный базис, до сих пор не дававшийся юристам. Оно помогает также отличить истинную революцию, которую вернее было бы назвать государственной реформой и которая очень часто идет сверху, производится исподволь лучшими силами страны и бывает всегда плодотворна и полезна, от бунта, почти всегда бессмысленного и бесплодного.

Известный Ломброзо, специально занимающийся вопросом о людской преступности вообще, написал интересную статью о физиономии анархистов.

"Для меня, — говорит Ломброзо, — несомненным фактом, доказательства которому я представил в моем сочинении "Delitto politico"[1], является то, что истинные революционеры, то есть люди, производящие великие научные или политические перевороты, составляющие прогресс в человечестве, почти все гении или святые, и у них у всех физиономия прекрасная и правильная. Какие благородные лица у Паоли, Фабрици, Дандоло, Моро, Мадзини, Гарибальди и у христианских мучеников. Вообще мы видим у них обширный лоб, у мужчин густую бороду, очень кроткие и очень большие глаза; встречается иногда очень развитая челюсть, но никогда не бывает она гипертрофической; замечается порою и бледность лица (Мадзини, Брут), но никогда почти эти черты не сосредоточиваются у одного лица настолько, чтобы явилось то, что я называю преступным типом.

В этюде, посвященном мною 321 человеку наших итальянских

1. "Политическое преступление" (*итал.*).

революционеров (бунты против Австрии и пр.), главным образом мужского пола (на 100 мужчин приходилось 27 женщин), пропорция преступного типа была 0,57 % на 100, то есть менее значительна, чем у нормальных людей, у которых она составляет 2 % на 100.

Из 30 известных нигилистов у 18 физиономия прекрасная, у 12 замечаются некоторые отдельные аномалии и только у двоих — преступный тип.

Если же мы перейдем к цареубийцам, как Фиэски, Гито, Нобилинг и др., или к зачинщикам политических убийств 1789 г., каковы Каррье, Марат и др., то почти у всех у них находим преступный тип. И этот тип часто повторяется у коммунаров и анархистов. В 50 фотографиях коммунаров я нашел преступный тип в размере 12 % на 100. Из 41 парижского анархиста, которых я изучал в полицейской префектуре в Париже, пропорция преступного типа равняется 31 % на 100". <...>

Вообще политические преступники, по словам Ломброзо, часто отличаются чертами вырождения расы, присущими преступникам и безумным, потому что они являются людьми ненормальными уже в силу наследственности. Отцы Гито и Нобилинга и мать Стапса были помешаны религиозным помешательством, а сам Стапс, как и Равальяк и Клеман, страдал галлюцинациями.

"Психология анархистов, — говорит Ломброзо, — так же как вожаков парижской коммуны, показывает в них настоящую нравственную бесчувственность, иногда врожденную жестокость, которая находит в политике предлог и толчок и которая слишком хорошо согласуется с их преступной физиономией". <...>

№ 7, 1891 г.

***

Настоящие затеи fin de siècle не заставляют себя ждать. Вот одна из таких затей — газета-телефон. Это нововведение зародилось в Буда-Пеште. Инициатива его принадлежит Теодору Бусказу, главному инженеру и директору компании телефонов в этом городе.

Общая идея затеи очень проста и заключается в том, чтобы централизовать наибыстрейшим способом известия со всего мира и немедленно по телефону передавать их жителям венгерской столицы.

Вот каким образом Бусказ привел в исполнение свой план. В № 6 "Magyarutea" он поместил редакционное бюро, непосредственно соединенное телефоном с биржей, палатой депутатов, метеорологическим институтом, центральным справочным агентством и пр. В этом бюро у аппаратов дежурят стенографы, которые немедленно записывают получаемые ими свежие новости. Записи их передаются во второе бюро, где полученные известия редактируются по-венгерски и по-немецки, так как добрая часть столичного населения не владеет еще национальным языком.

Войдем в передаточное зало. Помещение узкое, и стены обиты войлоком, чтобы по возможности изолировать аппараты от шума с улицы. За столом, над которым привешен записывающий микрофон, занимают места двое служащих. Один из них читает вслух перед аппаратом только что сообщенный ему листок, затем второй повторяет те же известия по-немецки. ...

Абонент получает небольшой весьма несложный аппарат-приемник, с помощью которого во

всякое время дня он может быть au courant[1] текущих событий всего мира. <...>

№ 4, 1893 г.

Телавтограф

Американский профессор электроники Элиша Грей недавно закончил усовершенствованный свой телеграф, дозволяющий посылать по обыкновенной телеграфной проволоке "собственноручные" письма на какое угодно большое расстояние. Депеша пишется на особом телеграфном столике карандашом, к которому прикреплены два слабо натянутых шнура. Длина этих шнуров определяется в каждое мгновение положением острия карандаша над столиком. На приемной станции имеется такой же столик, на котором перо особого устройства повторяет все движения карандаша и воспроизводит совершенно такие же буквы и штрихи. К перу этому прикреплены две линейки, длина которых всегда остается в точности равной длине шнуров. Дело в том, что шнуры, удлиняясь или укорачиваясь, заставляют поворачиваться шкивы, причем повороту на известный угол соответствует определенное число замыканий и размыканий тока. На приемной станции эти замыкания и размыкания тока производят соответственное движение линеек, управляющих пером. Таким образом, точность передачи депеши или рисунка является совершенно обеспеченной.

№ 1, 1894 г.

1. В курсе (*франц.*).

Газокуция

В Северо-Американских Соединенных Штатах за последнее время убедились, что электрокуция, или смертная казнь с помощью электричества, оказывается на самом деле чрезвычайно варварским способом освобождения общества от вредных для него членов. Опыт показал, что электрокуция, несмотря на всю свою строго научную обстановку, в девяти случаях из десяти вызывает только бессознательное состояние, а потому для достижения желаемого результата должна сопровождаться по возможности немедленным вскрытием, которое, в сущности, и препровождает казненного к праотцам. Поэтому янки начали теперь деятельно хлопотать о замене электрической казни газокуцией, то есть удушением какими-либо газами, напр. углекислотой. Присужденного к смерти предполагается помещать в особую камеру, куда во время его сна будет введено с помощью соответственного приспособления количество углекислоты, с лихвой достаточное для того, чтоб он никогда уже более не просыпался.

Подобный способ умерщвления давно уже применяется в Париже к бездомным собакам, пойманным на улице. <...>

Газокуция с помощью светильного газа или же окиси углерода является по мнению Scientific American идеальной казнью — быстрой, верной, как смерть, — и вместе с тем немучительной. Примешивающийся к ней таинственный элемент трагизма должен, по-видимому, усилить устрашающее ее действие. Эмиль Готье в свою очередь рассказывает, что в Соединенных Штатах, а именно в Уньон Блефф, существовала в былое время тюрьма с вращающи-

мися камерами, приводимыми в движение водяным колесом. Каждая из тюремных камер имела цилиндрическую форму и с помощью устроенных под полом проводов медленно вращалась днем и ночью вокруг своей оси, что, разумеется, устраняло для арестантов всякую возможность побега. Готье рекомендует устроить подобную же вращающуюся камеру и для газокуции. Если часть стенки у камеры будет стеклянная, то, повернув камеру на соответственный угол, окажется возможным наблюдать из соседнего помещения за выполнением казни и доставить ей желаемую публичность. При существовании смягчающих обстоятельств Готье рекомендует газокуцию с помощью закиси азота или же другого веселящего газа. Это будет настоящая казнь fin de siècle.

№ 2, 1894 г.

Духи и спириты конца века

В непродолжительном времени в Бельгии в городе Лютихе состоится конгресс, на котором должно произойти решительное сражение спиритов со скептиками, придерживающимися материалистических теорий. Ввиду этого небезинтересно подвести итоги завоеваний, сделанных в течение последнего десятка лет духами и спиритами.

Спиритов расплодилось видимо-невидимо. Если судить об их количестве по тому числу, какое записалось на спиритический конгресс 1889 г. в Париже, то окажется, что в одной Франции их было 50 000 человек. На самом деле эта цифра далеко не точна, ибо на конгресс записались лишь адепты, прибывшие в Париж. А сколько осталось в провинции! По словам американского "Religio-Philosophical Journal", издающегося в Чикаго, число спиритов в Соединенных Штатах доходит до двух миллионов. Но количество не так важно, как качество, а по качеству своему адепты спиритизма принадлежат к самым интеллигентным классам общества. Во Франции в числе ярых спиритов находятся известные писатели Энник, Жюль Лермина, поэт Фабр де Эссар, Сар-Пеладан, ученый-астроном Фламарион и др. В Англии среди спиритов встречается имя знаменитого Крукса, в Германии — Цельнера, в России — Вагнера и покойного Бутлерова, в Италии — Ломброзо.

У спиритов имеются даже княжеские салоны. Например, прелестной и страстной пропагандисткой спиритизма во Франции является герцогиня де Помар, в Англии — леди Кэйтнесс, которая носит в себе дух несчастной шотландской королевы Марии Стюарт. Герцогиня Помар для приведения скептиков и невежд в спиритическую веру издает и редактирует журнал в нежной розовой обертке под названием "Aurore du jour nouveau" ("Рассвет нового дня"). После прочтения статей этого розово-дамского журнала ни один благовоспитанный человек не решится оставаться скептиком и сразу же перейдет в спиритизм, тем более что такой переход откроет ему доступ в роскошный отель герцогини, где собирается цвет спиритов и спиритоk и где подаются превосходные вина, носящие название хозяйки дома. Далее следует графиня Адемар, которая поддерживает самые тесные отношения с духом нашей соотечественницы, покойной Блаватской, знаменитой основательницы теософического

учения. Правда, дух Блаватской посмертно поднадул веровавших в нее. Перед смертью Блаватская указала, с кем ее дух будет поддерживать сношения; она назначила своими представителями: для Азии – полковника Олькотта, для Америки – Джюдр, для Европы – г-жу Ани Безант, а для Франции – г. Арну. И после таких определенных назначений она вдруг забыла своих "агентов" и вступила в совершенно незаконные сношения с графинею Адемар и герцогинею де Помар.

Но не в одном высшем свете процветает оккультизм. Он овладел и другими слоями общества: артистами, художниками, учеными, академиками, врачами и даже бакалейщиками. Спиритизм имеет не только около пятидесяти журналов и газет, свой книжный магазин и склад, но даже своих фотографов и одного живописца (Тиссо), которые снимают фотографии и рисуют портреты с духов.

В каком же положении теперь спириты? Овладели ли они наконец "тайной неизвестности"? Какие победы одержаны ими в прошлом и какое можно предсказать им будущее? Вот, собственно, главные вопросы, требующие, так сказать, немедленного разрешения.

Влияние спиритизма, как сказано, растет с каждым днем. В Лондоне образовано целое общество (Society dialectical), которое состоит из многих ученых и верующих, для серьезной проверки "духов" и их тайн. Комитет этого общества, состоящий из профессоров, адвокатов, врачей, инженеров, художников, политиков, дам и проч., имел пятьдесят собраний, рассмотрел бесчисленное количество рапортов и донесений, выслушал тысячи свидетельских показаний и затем разделился на подкомитеты, предложив всем принять самые крайние меры для того, чтобы проверить действительность спиритических явлений.

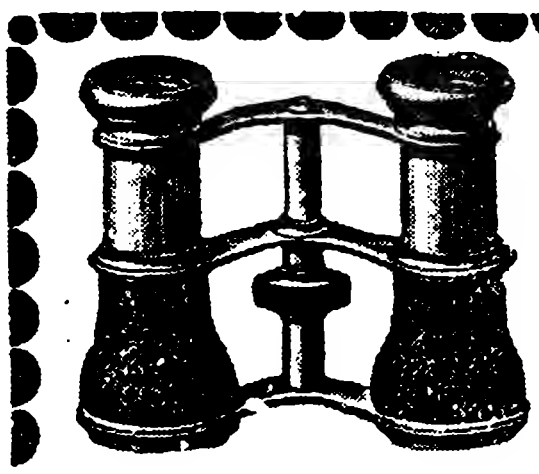
Первый подкомитет собирался 80 раз. Во время сеансов употреблялась обыкновенная мебель, тяжелые столы, комнаты освещались газом, работали медиумы-любители и приняты были все меры предосторожности. Вынесена была следующая резолюция:

1. В известных случаях в присутствии многих лиц появилась невидимая сила, двигавшая тяжелые предметы, причем движение происходило без всякого видимого соприкосновения между предметами и людьми.

2. Раздавались некоторые звуки как от движения предметов, так и от невидимых причин.

3. Звуки слышались всеми присутствовавшими.

Далее в отчете об этих сеансах говорится, что из 40 сеансов 34 оказались безусловно удачными и что столы длиною в 6 футов и шириною в 4 фута передвигались на несколько дюймов по четыре-пять раз в течение минуты. Опыты, докладывает подкомитет, производились под самым тщательным контролем и тем не менее столы


АХРОМАТ. УНИВ. БИНОКЛИ
„АРГУСЪ"
Карманнаго форм. въ замшев. кошелькѣ 8 р.; перес. за 3 ф. Большого форм. въ шагренев. футлярѣ и съ ремнемъ 9 р ; перес. за 4 фунта.
Е. КРАУСЪ и К°.
Фабр. оптич. инструм. въ Парижѣ.
ЕДИНСТВЕННЫЙ СКЛАДЪ ДЛЯ РОССІИ:
С.-Петербургъ, Мойка, № 42 (у Полицейскаго моста).
Иллюстриров. прейсъ-курантъ высылается безплатно.

танцевали, музыкальные инструменты издавали звуки и проч. В результате подкомитет решил, что большие предметы могут приходить в движение без всякой видимой силы и без всякого усилия мускульной энергии человека.

Второй подкомитет тоже имел множество сеансов с духами и без оных. Когда духи явились, они заставляли танцевать столы и производили сухие звуки. То паркет начинал издавать какие-то крики, то стены или потолок извергали из себя таинственные звуки. Иногда же раздавались нежные аккорды фортепьяно, несмотря на то, что вблизи инструмента не находилось ни одного человека.

Понятное дело, что столы весьма любезно разговаривали при помощи стуков, изображавших азбуку. Они доходили даже до того, что признавались в родстве с некоторыми присутствовавшими на сеансах.

В отчете, подписанном всеми членами комитета, передается, между прочим, следующий случай: вдруг ни с того ни с сего послышались сильные звуки.

— Что случилось? — спросили присутствовавшие хором.

— Это мы, духи, — отвечали духи, — мы не хотим уходить от вас и желаем находиться в вашем обществе.

Один из членов выпил тогда за здоровье духов, и последние вежливо простучали за любезный тост.

Нужно заметить, что духи редко проявляют грусть и печальное настроение. Профессор Энгель, присутствовавший по крайней мере на сотне спиритических сеансов, рассказывает, что на спиритическом вечере у известной американской спиритки г-жи Блисс появились последовательно духи генерала Гранта в сопровождении двух полковников, поэта Лонгфелло и Зоры, царствовавшей в Мавритании в 1140 году, в то время как заведенный орган играл веселые арии из "La fille de M-me Angot" и "Belle Hélène"[1]. В Сан-Франциско на сеансе у другой спиритки, г-жи Тауфенберг, под звуки флейт появились духи индийских военачальников и белых женщин, причем и те и другие позволяли себя даже ощупывать.

Когда наконец все сведения из подкомитетов были собраны, то главный комитет сделал следующее резюме: шесть свидетелей объявили, что им было предсказано будущее; тринадцать свидетелей видели подъем в воздух тяжелых тел и пребывание их в таком положении без видимой поддержки; тринадцать лиц слышали музыкальные пьесы, исполнявшиеся разными инструментами, к которым никто не прикасался, четырнадцать лиц ощупали и видели физиономии и руки, очевидно не принадлежавшие никому из присутствующих.

Тем не менее комитет, хотя и перешел в спиритическое вероучение, но не решился утверждать наличность оккультических сил и постановил, что все эти явления заслуживают внимания и изучения.

Это постановление — безусловно беспристрастное — резюмирует нынешнее состояние спиритической науки. Во всяком случае, теперь явствует, что, во-первых, духи "работают" при свете, и, стало быть, опыты могут быть видимы; во-вторых, присутствие на сеансе скептиков и неверующих нисколько не препятствует удаче опытов; и, наконец, третье: перерыв сеанса, вход посторонних лиц в комнату, гром-

1: "Дочь мадам Анго", "Прекрасная Елена" (*франц.*).

кий разговор и проч. нисколько не пугает духов.

Одновременно с работами этого комитета появилась монография английского ученого доктора Джемса Эдмундса. Он доказывает, что лица, занимающиеся спиритизмом, в конце концов сходят с ума. Печальный исход этот врач констатировал, наблюдая членов спиритических комитетов. Одному из членов комитета английский ученый прямо предсказал душевную болезнь, если тот не прекратит своих занятий спиритизмом. И предсказание это сбылось во всей полноте. Доктор Эдмундс посвящает несколько страниц своей монографии разоблачениям спиритических шарлатанств и в заключение говорит, что шарлатанства эти бывают двоякие: умышленные и неумышленные. Первые должны бы быть предметом судебных разбирательств, вторые сводят неизменно в дом умалишенных.

Таким образом, конец века не дал ничего нового для спиритических учений и положение их осталось таким же, каким было еще во времена Аллана Кардека и других первоучителей оккультизма.

№ 6, 1894 г.

Древнейший известный медицинский рецепт

В люттихской медицинской газете приведен прочитанный кембриджским профессором Мак-Алишером на египетском папирусе рецепт, являющийся пока древнейшим в мире. Это – масло для ращения волос, прописанное матери фараона Хоты, второго царя первой египетской династии, царствовавшего приблизительно за 4000 лет до Р. Х. Рецепт заключается в следующем:

"Возьми по ровной части мякиша с собачьих подошв, спелых фиников и ослиных копыт. Развари все в масле и натирай им покрепче голову".

К сожалению, в папирусе умалчивается о результатах, получившихся от употребления этого древнего филокома.

№ 8, 1894 г.

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ

НОВОЕ 3-е ИЗДАНІЕ

РОМАНЪ

Берты СУТТНЕРЪ

„ПРОТИВЪ ВОЙНЫ“

Цѣна 60 коп., съ перес. 80 коп.

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ

ВЪ КОНТОРѢ РЕДАКЦІИ

„Вѣстника Иностранной Литературы“,

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

Из заграничной хроники

***

В Лондоне основался "вольный театр" на манер Парижского, и первая пьеса, данная в нем, это "Привидения" Генриха Ибсена, биографию которого мы сообщали читателям в мартовской книжке нашего журнала.

Со свойственным англичанам лицемерием и притворством часть публики и прессы завопила против "безнравственности" этой пьесы в

частности и Генриха Ибсена как писателя вообще.

Медный лоб англичан удивителен, несмотря на достопамятные разоблачения редактора "Pall-Mall-Gazette", доказавшие как дважды два четыре, что в Лондоне торгуют белыми невольницами и мало того — детьми, не хуже чем в каком-нибудь Морокко; несмотря на длинный ряд процессов, обнаруживших глубочайшую безнравственность, скрывающуюся в среде "избранных десяти тысяч", увенчивающих общественное здание коварного Альбиона и имеющих быть его украшением, — несмотря на все это англичане продолжают притворяться самым добродетельным народом в мире.

Забавнее всего то, что собственная их пресса изобилует явлениями, далеко не похвальными.

Сплетня в Англии возведена на степень общественного учреждения, и ею живут так называемые "society papers", то есть периодические издания, исключительно распространяющиеся в бомонде. Нельзя представить себе, до каких размеров доходит в них бесцеремонность и нарушение тайны семейного очага. Прошло то время, когда англичане хвалились, что их дома крепость.

Королева, принц Уэльский и его семья не пользуются никакими привилегиями в этом отношении, и их частные дела и все, что до них касается, обсуждается с развязностью поразительной и идущей совершенно в разрез с верноподданническими чувствами, которыми любит драпироваться эта нация фарисеев.

В этом направлении прогресс так велик, что то, что лет двадцать тому назад считалось самой наглой дерзостью, теперь стало невинной шуткой. Для примера стоит только сравнить "Owl" ("Сова") с "Modern Society". Когда появился первый номер "Совы", то он показался крайне рискованным. Издаваемый в изящном формате, в размере нескольких листков, он давал читателям коротенькие, хорошо написанные статейки, сообщавшие в приличных и закутанных выражениях новости и скандалы дня. Имена не назывались; намеки были глухие и в тон приличного общества. Надо было принадлежать к нему, чтобы понимать, в чем дело. Редакция этого журнала окружила себя тайной, вскоре, впрочем, разгаданной, но которая все же придавала некоторую пикантность сведениям, сообщаемым в этом журнале.

Дознались, что Альджернон Борсвик, редактор в те поры, как и в настоящее время "Morning Post", человек светский и остроумный, — основатель и душа "Совы". Он сгруппировал вокруг себя целый кружок сов, и их тайные совещания возбуждали всеобщее любопытство. Успех "Совы" был очень велик, но журнал обращался в чересчур ограниченном кружке людей и вскоре прекратился.

Несколько лет спустя красивый молодой человек по имени Боульс, пользовавшийся большим успехом у женщин, превозносивших его остроумие, основал "Vanity Fair" ("Ярмарка тщеславия"). То было началом репортерства без зазрения совести, так как светские статьи были единственным материалом этого журнала, который доводил до всеобщего сведения новости, неизвестные еще самим заинтересованным лицам. Желание увидеть себя в печати распространилось как эпидемия; то уже не были простые отчеты о светских событиях, как в "Morning Post" или в "Court Journal", но пространные статьи с похвалами красоте, костюму и с критикой того и другого, перемешанные двусмысленными намека-

ми. Этот род литературы ныне стал настоящей силой. В Лондоне не могут больше жить, не читая "World" или "Truth"; эти две газеты попадаются во всех домах, и их убористые столбцы проглатываются с наслаждением.

№ 4, 1891 г.

***

В этой стране встречается немало причуд. Возьмите любую английскую газету в руки и неожиданно вам попадется без всяких комментариев фраза "С добрым утром!"

Чего бы, кажется, безобиднее такого приветствия. А между тем, вы невольно спрашиваете: "Что сей сон значит? Пошутить ли кто вздумал или интриговать захотел кого-нибудь?" Таким образом, внимание ваше возбуждено, и цель оказывается достигнутой.

В отделе объявлений различных английских газет и самых почтенных журналов громадными буквами, чуть ли не в полстраницы, а также по углам улиц красуется это "Good morning!" Когда оно успеет всем намозолить глаза, при нем появляется кратенькое добавление: "Have you... 's soap?" Итак, то была реклама мыльного фабриканта, который с материнской заботливостью осведомляется у публики, мылась ли она его мылом?

"Добрый вечер! Да, но я предпочитаю мыло такого-то..." — появляется затем вдруг новый анонс.

Факты эти могут служить иллюстрацией того, каким образом коммерческие люди в Англии сорят деньгами на рекламы, или правильнее — каким образом наживают они громадные состояния! Саморекламирование практикуется, конечно, и в других странах, но нигде рекламное дело не производится с такими денежными затратами, как в Англии! Одна мыльная фабрика израсходовала на это в короткое время до четырех миллионов рублей.

Конечно, против объявлений вообще протестовать не приходится. С прекращением объявлений, пожалуй, тысячи людей остались бы без куска хлеба. Говорят, что без объявлений журналистика не могла бы существовать при современном своем развитии, так как эти объявления покрывают ей значительную часть расходов, нередко не возмещаемых даже успешной подпиской.

Против газетных или журнальных объявлений ничего не возражает и газета "Times", с некоторых пор открывшая поход против "Advertising plague"[1]. Правда, еще старая английская поговорка гласит: "Good wine needs no bush", то есть доброе вино не нуждается в рекомендации. Иные же из гигантских реклам, очевидно, указывают также и на нечто совершенно обратное, то есть что "Good bush needs no wine". А между тем еще покойный Барнум, этот король рекламы, сравнивал всякого, имеющего товары для продажи и не рекламирующего их, с кавалером, улыбающимся хорошенькой девушке в темноте. Как бы то ни было, все так или иначе готовы согласиться с тем, что объявление, даже реклама — между ними трудно иногда установить разницу — или афиша отнюдь не подлежат обязательному изгнанию. Интересно только, в какой форме и в каких размерах будут они предлагаться почтеннейшей публике. И вот тут-то сетования "Times" уместны вполне.

Сетования эти прежде всего направляются против гигантских разрастающихся "плакатов", которыми сверху донизу оклеиваются высокие стены, а подчас и леса на

1. "Эпидемия рекламы" (*англ.*).

постройках, и которые по возможности наиболее яркими красками и нередко режущими глаз иллюстрациями расхваливают то чудотворное лекарство, то новый порошок для чистки посуды. Даже выдающиеся актеры — или, по крайней мере, те, которые желали бы считаться такими, — не прочь от того, чтобы их изображали таким же манером на стенах в человеческий рост и даже больше того — предпочтительно в самых ужасных сценах, в каких они выступают на театральных подмостках, так что нередко одна страшная картина убийства чередуется с другой, изображающей стычки и взрывы. Больше всего кидаются в глаза эти плакатные чудовища на железнодорожных станциях. Едва успеваете вы подъехать к тому месту, где поезд замедляет свой ход, как можете быть уверены, что направо и налево — а нередко и в чистом поле — найдете воздвигнутой эту назойливую картинную галерею... Наконец, если вы совсем не будете смотреть из окон вагонов, то и в таком случае плакатов вам не избежать, ибо, заполняя стены, пристроились они и в купе. В конножелезных дорогах и в омнибусах то же самое: больше объявлений о театральных представлениях и чистильном порошке, о художественных выставках и сапожной ваксе, нежели о направлении и конечной цели данных поездов. <...>

№ 4, 1893 г.

***

Китайское нашествие — вот пугало, которое по временам мелькает перед умственными очами западного человека вообще, а англоамериканца в особенности. Последнему, впрочем, есть отчего тревожиться. Китаец для него уже не страшный призрак только, а действительная и серьезная опасность, против которой он вынужден принимать законодательные меры предосторожности.

Но попытки ограничить эмиграцию китайцев в Америку не особенно успешны, и "китайский вопрос", по мнению американских публицистов, гораздо важнее "негритянского вопроса", волновавшего Соединенные Штаты четверть столетия тому назад и разрешившегося междуусобной войной. Всего более пугает американцев необыкновенная, можно сказать непобедимая, устойчивость китайской цивилизации, нравов, обычаев, умственного и физического склада китайца, его безусловная неподатливость и неспособность ассимилироваться с теми народами, среди которых он водворяется.

Из всех народов в мире китаец самый консервативный. Иные китайцы в продолжение слишком тридцати лет проживают в Сан-Франциско, и, несмотря на это, между ними не найдешь ни одного, который бы хоть что-нибудь изменил бы в своем костюме, в своих манерах или привычках. Это поразительный факт в истории этого народа. Китаец не способен меняться.

Замечательно, что китайцы, обращенные в христианство, в сущности остаются теми же, что и прежде, по мыслям, убеждениям и нравам. Нет ни одного человека между крещеными китайцами, по словам американских публицистов, который бы не вернулся открыто и с радостью к первоначальной религии при первых же благоприятных условиях.

Наблюдая то, что происходит в Калифорнии и в других частях земного шара, приходишь к заключению, что в китайце преоб-

ладают следующие черты: фанатизм, консервативный дух, суеверие, скупость, умеренность в жизни и привычках. Китайцы, по словам все тех же американских публицистов, считают себя священным народом, они убеждены, что не могут пойти назад по пути цивилизации или дойти до падения как нация. Кроме того, они верят в астрологию и во влияние планеты, а в жизни придерживаются будто бы невысоких учений о нравственности некоторых из своих великих пророков и философов, но поклоняются идолам и придерживаются разных суеверных обрядов. Они эмигрируют в Калифорнию, в Южную Америку и в Австралию с намерением пробыть там ровно столько, сколько нужно, чтобы заработать денег и вернуться в Китай обеспеченными от нужды. <...>

Китай превращается мало-помалу в очень могущественную и хорошо вооруженную нацию; морской флот его развивается. Китайцы вышли из оцепенения и перестали игнорировать то, что делается у соседей.

И прежде всего возникает вопрос о будущем положении англичан в Ост-Индии и их торговом влиянии в Китае. Индия ускользнет со временем из рук англичан, утверждают западные публицисты, и по многим причинам: главная из них та, что англичане образовали Ост-Индию не только в деле науки, философии, литературы и искусства, но и в военном деле. Так же невероятно, чтобы они удержали за собой и Австралию. Австралию легче всего наводнить для китайских орд, Северная Австралия, населенная главным образом чернокожими туземцами и весьма незначительным числом белых, очень легко доступна. Залив Карпентария представляет свободный вход для вторжения китайских кораблей, и в таком числе, что белому населению очень трудно будет помешать их быстрой высадке.

Китайцы, прибыв многочисленной толпой, естественным образом завладеют краем и легко утвердятся в нем, так как для них ни климат, ни условия культуры не будут так губительны, как для белых. А так как Австралия, и в особенности северная ее часть, гораздо ближе к Китаю, чем всякая другая английская колония, китайцы могут оттуда производить и другие нашествия, захватить другие острова и другие округа. Из Ганг-Чеу и других китайских портов будут посылать колоссальные флоты в Америку на берега Орегона, Калифорнии и Мексики.

Не следует также очень надеяться, чтобы Южная Америка удержалась в руках народностей, говорящих по-испански и португальски.

Но возможно ли, чтобы это свершилось, невзирая на вооруженное сопротивление американцев? И возможно ли в будущем, как и в прошлом, нашествие новых гуннов и вандалов, как о том раньше еще вопрошал Маколей? Да, отвечают люди, вполне возможно. Американскую республику потрясают серьезные распри по вопросам правительственным, а главное — религиозным. Одного беглого взгляда достаточно, чтобы убедить наименее внимательного наблюдателя о роковом характере этого политического, общественного и гражданского антагонизма.

Уже теперь часто утверждают, что Калифорния в руках китайцев. При малейшем волнении пришлось бы считаться с 25 тысячами китайцев, населяющих Сан-Франциско, хорошо организованных, крепко сплоченных, прекрасно вооруженных, комфортабельно

помещенных и хорошо питающихся. Нелегкое дело выпадет для тех, кому придется подавлять мятеж китайцев в Сан-Франциско. Сражаясь за свои жилища и за свою жизнь, они легко убьют троих белых в то время, как трое белых справятся с одним китайцем. То же самое приходится сказать и о других городах, как Портленд в Орегоне и многие иные в Южной Америке, где китайцы укоренились и заняли все позиции.

И легко ли будет североамериканцам защищать берега Тихого океана? Им довольно будет хлопот, чтобы отстоять Нью-Йорк, Филадельфию и Балтимору, не говоря уж о многочисленных портах с таким же легким доступом.

Вот вопрос, озабочивающий в настоящее время многие западные умы: сколько времени еще продлится настоящая европейская цивилизация?

"История повторяется", говорят они. Вовсе не невозможно для восточной орды поглотить американскую национальность до такой степени, что английский и другие европейские языки перестанут звучать в Новом Свете.

В настоящее время происходит движение с востока на запад не через Великобританию, но с востока из Ост-Индии и Китая через Тихий океан.

Можно себе представить, таким образом, то, что будет со временем: так как мы можем быть уверены в том, что никакое явление в порядке вещей не бывает одиночным и непредвиденным, но всегда сопровождается другими и другими до тех пор, пока длинный ряд следствий не истощится. И трудно будет уверить китайцев, что американский и австралийский континенты не принадлежат им так же, как и всем остальным.

№ 5, 1891 г.

Дуэль по доверенности и журналисты-бретеры во Франции

В Париже на днях произошла дуэль между главным редактором бульварной газеты "Gil Blas" Гереном и сотрудником другой бульварной газеты "Echo de Paris" Лепелтье. Дуэли между парижскими журналистами факт до такой степени обыденный, что о нем не стоило бы даже говорить, если бы поединок, о котором идет речь, не выдавался из ряда вон совершенно особенной обстановкой. Сотрудник "Gil Blas" некто Леон Блуа печатно "отделал" своего собрата Лепелтье. Последний поспешил послать Блуа секундантов, которым, однако же, не удалось добиться удовлетворения. Извиниться Блуа не пожелал, а драться тоже не согласился ввиду того, что "дуэль противна его принципам". Тогда Лепелтье послал секундантов редактору "Gil Blas" Герену, который принял вызов.

Поединок состоялся, и Герен получил рану в правую руку. После поединка и неизбежного печатания протоколов, где удостоверялся отказ от дуэли со стороны Блуа и принятие вызова Гереном, Лепелтье поместил в "Echo de Paris" статью, в которой изругал самыми площадными словами Леона Блуа и восхвалил мужество и честность Герена, дравшегося как бы по доверенности своего сотрудника. Из статьи этой, между прочим, оказалось, что Герен — личный друг Лепелтье и что он глубоко презирает своего сотрудника Блуа, из-за которого рисковал жизнью.

Для правильно устроенного мозгового аппарата ясно, что если кого-нибудь презирают, то не станут из-за него подвергать опас-

ности свою жизнь. При таких же правильных мыслительных способностях ясно также, что оскорбленный не может быть удовлетворенным, проколов шпагою руку ни в чем не повинному человеку, да еще своему личному другу. Спрашивается: из-за чего же эти люди дрались и почему и чем смыты отныне пятно с репутации одного и обида с души другого? На этот вопрос ни одна из парижских газет не ответила уже потому, что и вопрос такой никем не был поставлен. Газеты занесли только в отдел хроники эту дуэль как факт парижской общественной жизни. <...>

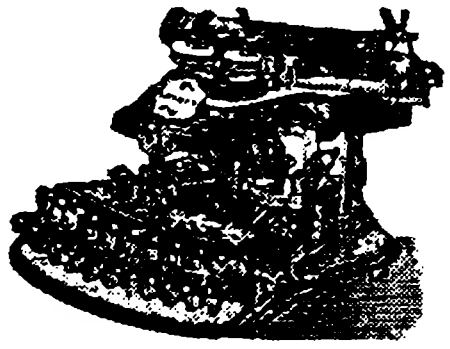
Дуэли между парижскими журналистами носят вполне "комедиантский" характер. Поединок происходит обыкновенно на шпагах и до первой крови. Это значит, что если противники ранят друг друга в палец, то дуэль кончается. Печальный исход может произойти только случайно. Обыкновенно дело кончается маленькой царапиной и огромной рекламой. Журналисты хвастают своими дуэлями гораздо больше, нежели своими произведениями, и этот же самый Лепелтье в статье, напечатанной уже после поединка, с развязной наглостью сообщает, что имел на своем веку 16 дуэлей. Замечательно еще и то, что эти газетные бретеры не отличаются даже той храбростью, которая присуща бретерам других национальностей и профессий. Подобно студентам-буршам немецких университетов, они дерутся только на шпагах до первой крови. Попробуйте на их вызов ответить условным согласием в том случае, если поединок будет происходить на пистолетах и с барьером шагов на десять, и они откажутся непременно, ссылаясь на то, что такие дуэли не в их нравах.

Ради сохранения человеческой жизни подобного рода отказы, конечно, можно еще оправдать, но с точки зрения нравственной они весьма вредны, ибо сохраняют в журнальных обычаях отвратительное "каботинство".

№ 5, 1894 г.

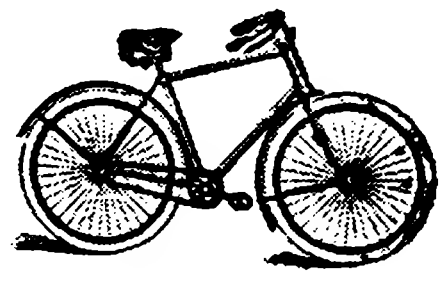
Восстановление олимпийских игр

Следствием современного "спортизма", современного "культа тела" и является, как мы сказали, международный съезд атлетов. На



Новѣйшій патентъ!
АМЕРИКАНСКІЯ ПИШУЩІЯ МАШИНЫ
„КРЭНДЕЛЬ",
ПИШУЩІЯ НА ВСѢХЪ ЕВРОПЕЙСКИХЪ ЯЗЫКАХЪ.

АНГЛІЙСКІЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
„НЬЮ-ГАУ"
ВНѢ КОНКУРЕНЦІИ ПО СВОИМЪ КАЧЕСТВАМЪ
п. у. Г. А. Девисъ.
ГЛАВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ЮЛІЙ ШТЕРНЪ и К°.
МОСКВА, Мясницкая, д. Обидиной.



нем присутствует около 80 делегатов, присланных из всех стран, где спорт пустил более или менее глубокие корни. Сам Бальфур не мог пренебречь интересами, дорогими для всякого порядочного англичанина, и, не имея возможности явиться лично, прислал подробное письменное мнение по поводу всех подлежащих обсуждению вопросов. В числе делегатов есть много титулованных особ. Ближайшими задачами съезда служат: установление постоянных сношений между всеми существующими обществами спорта, выработка общих правил для состязаний и... восстановление олимпийских игр.

Речь, конечно, идет не о полном восстановлении древних игр во всей их неприкосновенности. Не будет ни треножников, ни жертвоприношений; не будет ни греческих одежд, ни опасной борьбы и древних ристалищ. Предполагается только установить периодические международные состязания, приспособленные к духу и потребностям времени: пеший бег, ножной мяч, велосипедная езда, гребная гонка и т. п. Каждые четыре года все существующие на земле клубы (которые, по вычислениям знатоков, насчитывают более 2 миллионов членов) будут посылать своих представителей, своих лучших игроков и борцов в современную Олимпию для самой невинной и мирной из всех видов борьбы, для борьбы из-за символической оливковой ветви. Нет сомнения, что выработать условия и организацию этих игр, по крайней мере в общих чертах, не встретит для съезда непреодолимых препятствий. Даже вопрос о том, где же будет современная Олимпия, не поднимает особенно жарких дебатов: почти все согласны в том, что честь быть ареной для современных олимпийских игр должна доставаться по очереди метрополиям всех стран.

Но совершенно другой вопрос, совершенно другое затруднение, не знакомое древним эллинам, уже заранее волнует делегатов и всех спортсменов. Это щекотливый вопрос о любительстве и профессионализме. Уже целое море чернил и целый лес перьев потрачены на разрешение этой задачи. Дело в том, что спорт только до тех пор остается спортом, пока им занимается любитель, аматер. Как только он начинает служить источником пропитания или средством наживы, он перестает быть спортом и делается профессией. <...>

К древним играм не допускались "недостойные", "обесчещенные". В современных олимпийских играх, равно как и в существующих спортивных обществах, должны участвовать только любители; "профессионалисты" устраняются. Спорт, говорят, не только не может дать полезных моральных результатов, но и вообще не может существовать, если он не будет основываться на отсутствии всякого материального интереса, на законности и рыцарских чувствах. Но в определении того, что такое "любитель", и заключается все затруднение.

Понятию "любитель" часто дается такое определение, которое может устроить хороших любителей и в некоторых случаях открыть двери замаскированному профессионалисту. Английские общества спорта, например, не допускают в свою среду лиц, занимающихся физическим трудом, не признавая их любителями. Такое узкое, сословное определение не может, конечно, рассчитывать на всеобщее признание. Но и другие определения удовлетворяют также не всех. Они подчас исключают из разряда "аматеров" не толь-

ко тех, кто состязался из-за приза, но также и тех, кто состязался с профессионалистами или исключенными аматерами. Далее: как найти определение, которое было бы применимо ко всем видам спорта; можно ли назвать профессионалистами спортсмена-наездника или собственника яхты, потому что они получают призы, которые во всей своей совокупности не могут покрыть их издержек?

Громадная ценность произведений искусства, которые в качестве призов раздаются некоторыми американскими общинами, породила новый вопрос: как смотреть на человека, который продает полученный им приз?

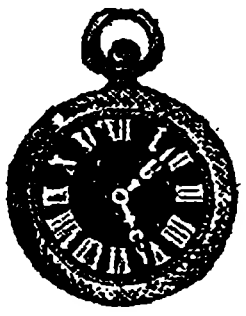
На этом щекотливом вопросе о "любительстве и профессионализме" съезд атлетов намерен испытать свои умственные силы, и по этому поводу иронизирующие над современным культом тела предсказывают, что в недалеком будущем все умственное образование французского юношества сведется к отчетливому усвоению признаков различия между "любителем" и "профессионалистом".

№ 7, 1894 г.

Курьезы

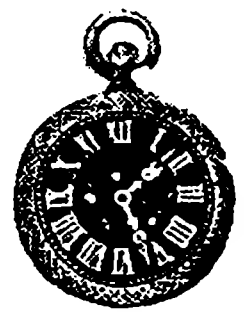
О *налоге на классиков*

Греция в прошлом году позаложила Европе все, что только можно было заложить: таможенные пошлины, косвенные налоги, сборы за монополии. И зоркий глаз Трикуписа в государственном хозяйстве уже не мог найти ни одного предмета, под который дали бы сколько-нибудь взаймы. А между тем необходимо было делать новые долги для уплаты процентов по старым. Не привели ни к чему и совещания с матадорами греческого финансового мира. У современной Греции не обреталось ни малейшего средства избежать банкротства. И вот г. Трикуписа осенила мысль: нельзя ли заставить древних эллинов платить долги их потомков? Сперва решено было заранее заложить кредиторам все, что было бы добыто при раскопках в Греции. Но Фидия и Праксителя оказалось невозможным привлечь к этому делу, так как не нашлось охотников принимать их в заложники. Но, очевидно, идея заставить древних эллинов платить долги новейших греков г. Трикупису представлялась необыкновенно блестящей, и он попробовал осуществить ее в иной форме. Он разослал всем дипломатическим представителям Греции конфиденциальный циркуляр, в котором разъяснялось, что духовные произведения древних эллинов несомненно, в силу наследственного права, составляют собственность новейших греков, и это относится прежде всего к литературным и научным сочинениям древних классиков. Поэтому дипломатическим представителям поручалось осведомиться у правительств, при которых они аккредитованы, не пожелают ли эти правительства платить Греции вознаграждение за перепечатку древних классиков. Однако не удался и этот план заставить предков платить долги потомков. Дипломатические представители Греции ответили г. Трикупису, что они не решаются даже поднимать вопрос о подобных претензиях, так как в



ГЛАВНОЕ ДЕПО ЧАСОВЪ

Б. АЛЬТШВАГЕРЪ



ПОСТАВЩИКЪ ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ОФИЦЕРОВЪ ГВАРДЕЙСКАГО КОРПУСА.

С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, № 12.

РЕКОМЕНДУЮ богатый выборъ часовъ всѣхъ сортовъ, какъ равно и цѣпочекъ золотыхъ, серебряныхъ не новаго золота, новѣйшихъ фасоновъ, по умѣреннымъ цѣнамъ.

ВЪ ОСОБЕННОСТИ РЕКОМЕНДУЮ часы прусской системы, собственнаго производства, для лицъ, которымъ точное указаніе времени составляетъ существенную необходимость, но которыя, почему-либо или не желаютъ, или не имѣютъ возможн. тратить большія деньги на пріобрѣтеніе дорогостоющихъ часовъ. Золотые 56 пробы глухіе анкерные, прямой лин. ходъ, уравнительн. маятн., брегет. волос., пылепредохранит. ободокъ, зав. безъ ключа, на 19 камн., велич. въ 21 лин., съ ручат. *на четыре года*. . . 135 р.
Такіе же открытые . . . . . 110 »
Такіе же сер. 84 пр. глухіе на 16 камнахъ . . 40 »
Такіе же открытые . . . . . 35 р.
Такіе же перуанск. серебра глух. . . . . 23 »
Такіе же открытые . . . . . 21 »

Съ ручательствомъ за вѣрность хода часовъ на четыре года.

Прейсъ-куранты и точное описаніе вышесказанныхъ часовъ высылаются безплатно.

Упак. и пересс. карманныхъ часовъ на счетъ депо, столовыхъ и стѣнныхъ на счетъ гг. покупателей.

большинстве государств срок авторским правам истекает через 30 лет после кончины автора. А писатели и ученые, которые так интересуют г. Трикуписа, умерли очень давно. Неизбежно пришлось бы получить отказ, и потому целесообразнее не подвергаться такой дипломатической неприятности.

№ 10, 1894 г.

Французский художник в России

Адольф Ивон, недавно умерший французский художник-баталист, оставил автобиографические воспоминания, из которых в "Artiste" приведены извлечения, небезинтересные и для русских читателей. Он начал свою художественную карьеру религиозной живописью. Настоящее призвание его определилось только после поездки в Россию. Он приезжал к нам для исполнения картины из русской истории и выбрал сюжетом Куликовскую битву. Император Николай I очень обласкал художника. В числе анекдотов, записанных в воспоминаниях Ивона, следующий был рассказан ему Лабюрдером, об одном из своих товарищей-художников – Таннере.

Это тот самый Таннер, который в бытность свою в нашей академии художеств, пользуясь благоволением к себе Николая Павловича, вздумал было вооружить государя против юного тогда академиста Айвазовского, обвинив его в упрямстве. <...> И вот как сам этот Таннер обратил на себя внимание государя. Прибыв в Петербург, Таннер поселился у Лабюрдера в надежде с его помощью пристроиться к искусству. Однажды Таннер заметил барабан, висевший в мастерской своего покровителя, снял его со стены и принялся отбивать торжественный марш. Вдруг перед зданием, где была мастерская, остановилась карета. "Это император!" – воскликнул Лабюрдер, и Таннер поспешил улизнуть.

– Кто здесь был? – спросил государь. – Ведь не вы же били в барабан с таким талантом.

– Это, государь, старый товарищ мой – художник, приехавший сюда из Франции искать счастья.

– Пусть он придет сюда, я желаю видеть его, – сказал государь.

Таннер явился сконфуженный, поклонился и рассыпался в извинениях.

– Это вы сейчас били в барабан? – спросил государь. – Начните-ка снова, при мне.

Таннер повиновался. В волнении он отбивал марш с удвоенной силой. Император пришел в восторг и тут же дал ему художествен-

ный заказ на тридцать тысяч франков...

№ 1, 1894

Разбойники – члены парламента

В то время как в разных европейских парламентах членами их делаются изрядные скандалисты, пасквилянты, фальсификаторы документов, греки избрали в депутаты двух настоящих бандитов, опытных разбойников и поджигателей. Два члена парламента — Хаджигакис и Гианнуссис — в течение продолжительного периода днем с достоинством и усердием несли депутатские свои обязанности в Афинах как народные представители, а по вечерам, когда солнце погружалось в голубые волны моря, удалялись в леса на заседание разбойничьего комитета, обсуждая там вместе со своими сообщниками предложения о нападениях, изменениях в законах об ограблении, о воровских правилах и тому подобных предметах, входящих в число их очередных дел. По окончании законодательной сессии парламента председатель со свойственной ему искренностью пожелал гг. депутатам "приятных праздников" во время каникул. Оба политика отправились в объезд избирательного своего округа с твердым намерением хорошенько пообчистить почтенных своих избирателей, причем не задумывались прямо влезать к ним через окна. К сожалению, не вполне выяснен вопрос, к какой партии принадлежат оба депутата: прогрессисты ли это или реакционеры, или же они сохранили за собой полную независимость? Грабят ли они справа, вламываются ли слева или же они орудуют в самом центре? Можно надеяться, что греческое правительство не замедлит разъяснить это недоразумение.

№ 6, 1894

Хирургия против косметики

Один американский хирург изобрел способ для устранения природных недостатков человеческого лица с помощью особенно приноровленных для того приемов.

Таким образом хирургия надеется вытеснить царившую до сих пор косметику, и более энергичный нож хирурга будет уничтожать печеночные пятна, веснушки и тому подобные нарушения красоты.

Американский хирург берется не только радикально изменить свойства кожи на лице, но исправляет также и чересчур торчащие уши, увеличивает или уменьшает — смотря по необходимости и желанию — рот и в таком же смысле обделывает нос, который переделывает при помощи электричества.

Из указанных операций, имеющих целью красоту человека, изменение формы носа, без сомнения, представляется наиболее замечательной, так как до сих пор нос не поддавался никаким изменениям и коснел, так сказать, в самом упорном консерватизме. Но, очевидно, час его пробил, ибо американский изобретатель решительно объявляет, что он может в течение часа выпрямить как самый скрюченный нос, так и самый вздернутый.

№ 6, 1894 г.

Антонио Мачадо
Хуан де Майрена

Изречения, шутки, замечания и воспоминания апокрифического профессора

"Нет лирики без диалога"

После середины 70-х годов Антонио Мачадо, самый, по-моему, крупный поэт и острый мыслитель в Испании минувшего века, кажется, прочно выпал из круга внимания российских читателей. Несколько новых, безнадежно запоздавших стихотворных переводов появились в 1990 году, когда уж если что и читали, то отечественную подзапретную прозу да разоблачительную публицистику, — и с тех пор вообще ничего. Сказать сейчас "жаль" — ничего не сказать. Дело не просто в том, что между 1989 (50 лет со дня смерти Мачадо) и 2000 годами (125 лет со дня рождения) на родине вышло несколько полновеснейших и многотомных собраний сочинений, представивших поэта широкой и ученой публике в новом, выверенном составе и непривычном, никак уж не классическом образе, а масса публикаций о нем, включая материалы специально посвященного ему журнала, сайты в Интернете и прочее, перехлестнула пределы обозримого даже для специалиста. Суть в том (и неравнодушные соотечественники-совопросники поэта последнюю четверть века все яснее в этом убеждались), что именно Антонио Мачадо — та смысловая точка, в которой сошлись, чтобы продолжиться дальше, поиски испанской лирики последнего столетия, пути самого испанского языка.

Книга прозы, избранные страницы которой ждут читателя ниже, имеет к этому лирическому сюжету самое прямое отношение. Парадокс? Еще бы. Больше того, парадокс — неназванный герой этой книги, движущая сила ее замысла. Книга "Хуан де Майрена..." вышла в судьбоносном для Испании 1936 году, но первые заметки этого воображаемого философа ex cathedra и стихи его наставника, поэта Абеля Мартина, появились в печати за десять лет до того, первые же упоминания о них в толстых рабочих тетрадях Мачадо — еще десятилетием раньше. Замысел у Мачадо был куда более широкий: в него входило ни больше ни меньше как создать несколько разных традиций испанской мысли и слова — возможных, но упущенных, не состоявшихся в XIX веке. Так, в архиве сохранились записи о четырнадцати придуманных Мачадо тогдашних поэтах (он мечтал написать не книгу поэзии, а книгу поэтов!), о пяти эссеистах, шести философах "с шестью различными метафизическими системами" и т. п. Позже к этому прибавился проект новой антологии — воображаемых молодых лириков примерно поколения Лорки; наиболее разработанным среди них остался ровесник XX века Педро Сунь-

© Б. Дубин. Вступление, 2002
© Наследники В. Столбова. Перевод, 2002

ига. Пересоздать литературу не просто в настоящем, но в прошлом... Замысел титанический и для человека неподъемный, но чего бы стоила та литература, которая не рисковала собой во имя невозможного и не сознавала при этом своей невозможности, — литература без готовности к жертве? (Замечу, что галереи похожих воображаемых двойников, напоминающих маски Кьеркегора, создали примерно в те же годы независимо друг от друга португалец Фернандо Пессоа и колумбиец Леон де Грейфф — и кто знает, появились бы в этих глухих краях потом нобелевские лауреаты без подобных безумных замыслов?)

Биография "поэта, философа, преподавателя риторики и изобретателя машины для сочинения стихов" Хуана де Майрены (он "родился" в 1865 году и "скончался" в 1909-м), как и его наставника, "поэта и философа" Абеля Мартина (1840—1888 или 1898), — понятно, вполне ироническая и демонстрирует условность авторского "я" в лирике. Но непременное соседство поэзии с философией — вещь не случайная (Октавио Пас, много у Мачадо почерпнувший, назовет потом такой союз "критической страстью"). Первое, что движет здесь Мачадо, — мысль о "другой" поэзии, которая шла бы от другого опыта переживания мира и порывала с эпигонской, истощившей себя романтической традицией поэтического ячества. "Прежде чем написать стихотворение, — говорил Майрена своим ученикам, — подобает вообразить поэта, способного его написать. Закончив свой труд, мы можем сохранить поэта вместе с его стихотворением или избавиться от него, как это обычно делается, и опубликовать стихотворение; или бросить стихотворение в корзину для бумаг и остаться с поэтом; или, наконец, остаться без обоих, сохранив воображаемого автора для новых поэтических экспериментов". Гетероним Мачадо ссылается при этом на Шекспира: "Предположим, — говорит Майрена, — что Шекспир... надумал бы поразвлечься сочинением стихов, которые мог бы написать каждый его герой на досуге или, так сказать, в антрактах своей трагедии. Совершенно очевидно, что стихотворение Гамлета не будет похоже на стихи Макбета, а Ромео напишет нечто прямо противоположное тому, что сочинит Меркуцио. Но Шекспир неизменно останется создателем и всех этих стихов, и их авторов. — И продолжает: — А кстати... неужели, по-вашему, человек не может заключать в себе более чем одного поэта? Как раз наоборот, в том и вся трудность, чтобы человек заключал в себе не более чем одного поэта".

Другой импульс Мачадо при изобретении им семейства своих гетеронимов — этот круг его мыслей как раз и получит потом развитие в философской эссеистике Октавио Паса — новое, более сложное понимание личности, не сводимой для него к индивидуальному. Об одной из разновидностей классического европейского индивидуалиста XIX века Майрена говорит так: это "точка зрения... человека, который принимает за очевидность собственное существование и возводит над ним, уже за пределами личности, царство небытия. Такой человек или не верит в Бога, или — что то же самое — ставит на место Бога себя самого. Не верит он и в своего ближнего, в абсолютную реальность человека с ним рядом. В обоих случаях ему недостает ви́дения или очевидности *иного,* властного предвосхищения его *инаковости,* а без этого от "я" к "ты" не перешагнуть". Мачадо часто повторял мысль своего любимого каталонского писателя Эухенио Д'Орса об "исторической" неспособности испанцев к диалогу (она, среди прочего, стала толчком для историософских размышлений Ортеги-и-Гассета).

Этот недостающий диалог Мачадо хотел внести в ткань самой поэзии; здесь он мог бы повторить, если бы знал их, слова Мандельштама из статьи 1913 года, вынесенные в заглавие нашей заметки (Мандельштам в ней

спорил с гипертрофированным и пустым "я" в поэзии символизма). На такой многофокусности, постоянной смене планов, разноголосице и полистилистике построены ключевые вещи в поздней лирике Мачадо, лучший их пример — поэма "Обрывки бреда, сна и забытья". Но этот углубляющий перспективу драматический диалог, точку зрения "другого" хотел Мачадо внести и в философию. Для чего изобрел открытую, полную юмора и сомнения форму своего рода "философии вопросов" (а не ответов!). Она приняла у него вид воображаемых уроков риторики, которые некий новый Сократ, немолодой, не слишком благонадежный и благонравный, слегка неряшливый, постоянно попивающий и очень одинокий поэт-профессор, Хуан де Майрена дает в провинциальной школе (не буду сейчас говорить, что́ для захолустной страны конца XIX — первой трети XX века, для "бесхребетной Испании", по выражению Ортеги, значила государственная общедоступная школа и фигура учителя). Чтобы закончить здесь с темой диалога, напомню, что Камю — именно Камю! — вынашивал мысль перенести "Хуана де Майрену" на театральные подмостки.

Работа над переводом этой книги Мачадо растянулась для Валерия Сергеевича Столбова больше чем на четверть века и стала в его жизни последней: марая в очередной раз перебеленную машинисткой рукопись, он опять пытался править то одно, то́ другое место уже не слушавшимися после инсульта пальцами. "Хуан де Майрена" подходил Столбову, переводчику и человеку, многими чертами: контрапунктом лирики и прозы — и в прямом, и в переносном значении этих слов, иронической интонацией — от улыбки до шпильки, — нисколько, кстати, не умалявшей трудности обсуждаемых вопросов, беспокойством духа при недоверии к пустому выкамариванию в мысли и слове, неустанной, и без малейшего притом умиления, заботой об Испании, ее настоящем и будущем... А последнее значило для Столбова много, если не всё: он участвовал в испанской войне. Он принадлежал к военному поколению — одногодок Эммануила Казакевича, чуть моложе Виктора Некрасова, чуть старше Маргариты Алигер. Ребенок лицом, мечтатель по внутренней склонности, в жизни Столбов был человеком долга и практического действия. Оставаясь переводчиком и литературоведом, он ни на день не переставал быть организатором. Слывший у кого-то неуживчивым, он испытывал истинную страсть открывать других и прикрывать их своим авторитетом: в гослитовской редакции литератур Латинской Америки, Испании и Португалии при нем находили работу опальные Иосиф Бродский и Геннадий Шмаков, Юлий Даниэль и Анатолий Якобсон, а начинавших здесь переводчиков не стану даже пытаться перечислить (отмечу только, что предметом его особой гордости и любви был Анатолий Гелескул)... Удивительная для следующих поколений неутомимость Столбова в масштабных начинаниях, всевозможных антологиях, библиотечках — и это до самых поздних лет! — равнялась, пожалуй, только его столь же невероятной в нашем отечестве способности доводить начатое до конца. Даже для завершения перевода "Хуана де Майрены" ему если и не хватило сил, то уж совсем чуть-чуть: считанные невольные пропуски здесь, незамеченные повторы там, несколько пассажей, особенно историко-философских, в которых он не был уверен и просил посмотреть (они подчеркнуты той же зыбкой рукой). Убежден, переведенная им книга во многом изменит наш взгляд на испанскую поэзию, на возможности поэтического слова, на сами отношения между поэзией и философией, лирикой и мыслью.

Борис Дубин

*

Слово "отражение", сбившее с толку всю теорию познания, говорил Майрена в классе риторики, окружено множеством двусмысленностей, которые могут иметь роковые последствия для поэтов. Вещи либо воспринимаются нашим сознанием, либо нет. Нелегко доказать и до сих пор никто еще не доказал, что они сознанием отражаются. Однако даже если мы допустим, что в сознании присутствует нечто вроде зеркала, в котором отражаются образы вещей, более или менее похожие на сами эти вещи, у нас тут же возникает вопрос: а как сознание воспринимает образы такого зеркала? Ибо восприятие зеркального отражения объекта ставит перед нами ту же проблему, что и восприятие самого объекта. Несомненно, что зеркалу сознания приписывают волшебную силу самого сознания и подменяют *отражение образа в сознании – осознанием образа.* Таким путем обходят проблему, которую ставит перед нами здравый смысл: проблему абсолютной разноприродности актов сознания и его объектов.

Вас, тех, кто собирается стать поэтом, человеком с фантазией, вас приглашаю я поразмыслить над этой темой. Ибо и вам так же придется иметь дело с вещами, присутствующими или отсутствующими в сознании, а не с их копиями, переложениями или отражениями.

(Практические занятия по ораторскому искусству)

– Сеньоры (сказал Родригес, один из лучших учеников Майрены), я меньше всех других достоин чести выступать перед вами; мой талант равен нулю, мое невежество почти энциклопедично. Посему я взываю к вашей снисходительности... Да что там!.. Какая уж тут снисходительность?.. К вашему милосердию!

Класс. Прекрасно сказано!

Майрена. Не унижайтесь, сеньор Родригес. Приятна скромность, но не самоунижение.

– Сеньоры (сызнова начинает Родригес), я буду краток, но каждое мое слово будет исполнено смысла. Навострите уши и слушайте меня со всем вниманием, на какое вы только способны.

Класс растерянно молчит.

Одинокий голос. Он назвал нас ослами.

Оратор (обернувшись к учителю). Продолжать?

Майрена. Будьте мужчиной, продолжайте.

*

От единого к иному – великая тема метафизики. Все усилия человеческого разума были направлены на устранение второго термина. *Иного не существует*: такова рациональная вера, неисправимое творение человеческого разума. Для него реальность тождественна самой себе, как если бы все сущее было, в конце концов, абсолютно и необходимо, *единым и неизменным.* Но *иное* не позволяет себя устранить: оно упорствует, не поддается; это твердая косточка, на которой разум может поломать себе зубы. Абель Мартин с его поэтической верой, не менее человечной, чем вера рациональная, верил *в иное*, "в подлинную Разнородность бытия" или, как сказали бы мы, в неисцелимое *влечение к иному*, которым томится *единое.*

Полностью книга готовится к выходу в санкт-петербургском издательстве Ивана Лимбаха.

(На уроке)

Майрена. Сеньор Мартинес, подойдите к доске и пишите: "Старые мечи славных времен..."

Мартинес повинуется.

Майрена. Как, по-вашему, какие времена имеет в виду поэт?

Мартинес. Те времена, когда эти мечи были молодыми.

*

Свобода, сеньоры (говорил Майрена своим ученикам), проблема метафизическая. Не путайте с ней "либерализм" — изобретение англичан, великого народа моряков, боксеров и ироников.

*

Только англичанин способен улыбнуться своему противнику и даже поздравить его с мастерским ударом, завершившим схватку. Даже если у него подбит глаз и сломаны два ребра, англичанин всегда выглядит победителем над другими боксерами, которые сильнее его, но хуже воспитаны для боя, а потому недостойны триумфа. И в самом деле, англичанин сумел облагородить драку, превратив ее в игру — более или менее жестокую, но всегда честную, — игру, в которой побеждают без бахвальства и проигрывают, не впадая в черную меланхолию. Даже в таком трагическом поединке, как схватка человека с морем, которую уж никак не превратить в игру, англичанин теряет изящную осанку последним. Все это правда. Но если речь идет не о борьбе, то какой пример могут нам преподать англичане? Ведь не вся же человеческая деятельность сводится к единоборству.

*

— Найдите мне глупых оптимистов, — сказал один политик Хуану де Майрене, — я сыт по горло пессимизмом наших ученых мужей. А без оптимизма мы не двинемся с места.

— А что бы вы сказали о здравомыслящем оптимисте?

— Ах, маслом каши не испортишь, но где вы такого найдете?

*

...Философия с точки зрения неискушенного разума, говорил Хуан де Майрена, выворачивает мир наизнанку, по выражению Гегеля. Напротив, поэзия, как добавлял мой учитель Абель Мартин, есть изнанка философии, мир, увиденный, в конечном счете, с лицевой стороны. В этом "конечном счете", поясняет Хуан де Майрена, проявляется несколько язвительный склад мышления моего учителя: "Чтобы видеть с лицевой стороны, сначала нужно увидеть с изнанки". И наоборот.

(О критике)

Если вам когда-нибудь придется заняться критикой, литературной или художественной, будьте благожелательны. Благожелательность — это не то же самое, что терпимость к подлости, не попустительство бездарности, а желание блага, страстное желание обнаружить чудо красоты. Без него критика не будет плодотворной. Злопыхательская критика, которой занимаются ворчуны и меланхолики, нередко встречается в Испании, но она не открыла ничего доброго. Дело в том, что критика этого рода не жаждет и не взыскует добра.

Я не хочу сказать, что злопыхательская критика порой не бывает вызвана несостоятельностью художественного замысла. Но сколько раз мы видели плохую комедию, яростно разгромленную критикой, по уровню во много раз худшей,

чем сама эта комедия!.. Вы меня поняли, сеньор Мартинес?

Мартинес. Думаю, да.

Майрена. Вы могли бы резюмировать в нескольких словах то, что я сказал?

Мартинес. Не подобает смешивать критику с кровожадностью.

Майрена. Совершенно верно.

*

— Как, по-вашему, Бальзак хороший романист? — спросил у Майрены молодой человек, член литературного общества в Чипионе[1].

— По-моему, хороший.

— А мне, представьте, он кажется настолько плохим писателем, что я его даже не читал.

(Хуан де Майрена. "Дон Никто в столице" – набросок комедии в трех актах)

Акт первый
Сцена единственная

Важный сеньор. Клаудио, его слуга.

В. С. Скажи мне, Клаудио, кто был здесь сегодня утром?

К. Один человек, он спрашивал вас.

В. С. Но кто он такой?

К. Человек.

В. С. Он не назвал своего имени?

К. Ах, проклятая память! Ведь он оставил визитную карточку.

В. С. (*читает*). "Хосе Мария Никто. Коммерсант". (*Обращается к Клаудио*). Если вернется, впусти его.

Занавес.

Акт второй
Сцена единственная

Важный сеньор. Клаудио.

В. С. Не приходил дон Хосе Мария Никто?

К. Нет, я его не видел.

В. С. Никто больше меня не спрашивал?

К. Никто.

В. С. Никто?

К. Никто.

Занавес.

Акт третий
Сцена единственная

Важный сеньор. Клаудио.
Туалетное зеркало, которое ведет себя так, как это описано в диалоге.

В. С. Объясни мне, Клаудио, что происходит с этим зеркалом?

К. А что с ним происходит?

В. С. Когда я хочу посмотреться в него, оно раскачивается, как колокол, видишь? И поворачивается ко мне своей деревянной обратной стороной.

К. И в самом деле! Как интересно!

В. С. А теперь заметь: к зеркалу никто не прикасается, а оно само возвращается в нормальное положение. Попробуй ты посмотреться в него.

К. Стоит спокойно. Со мной оно не вертится, сеньор. Теперь попробуйте вы.

В. С. Не смей вертеться! Опять? Черт!

К. Оно шутит.

В. С. Проклятье! (*Хриплым голосом.*) Клаудио, кто был здесь сегодня утром?

К. Нынче утром здесь был дон Хосе Мария Никто. Ему надоело вас ждать, и он ушел, сказав, что больше не вернется.

Занавес.

1. Чипиона — испанский городок в провинции Кадис.

(О Дон Жуане)

Дон Жуан — мужчина, созданный для женщин, тот мужчина, кого женщины любят и оспаривают друг у друга и на кого все прочие мужчины всегда будут взирать с завистливым презрением, если не с презрительной завистью. Вероятно, Дон Жуан наделен той физической красотой, которую женщины считают воплощением мужских достоинств. Этим я хочу сказать, что Дон Жуан в женском сознании — всегда идеальный мужчина. Дон Жуан может быть красивым или безобразным, сильным или слабым, стройным или согбенным, но он знает, что в глазах женщины он прекрасен. Без такого сознания донжуанство вообще невозможно.

Есть ли в Дон Жуане что-нибудь извращенное? В этом кумире женщин недоброжелатели хотели бы обнаружить женственное начало. Мужская зависть поутихла бы, если бы удалось доказать, и особенно женщинам, что Дон Жуан, этот баловень судьбы — попросту извращенец... Парадоксы всегда соблазнительны, но в данном случае парадокс неудачен. Наилегчайшее сексуальное отклонение разрушило бы самую сущность донжуанства: постоянное устремление к женщине. Среди женского пола есть и такие, кто обвиняет Дон Жуана в нарциссизме, ибо женщины, к которым Дон Жуан всегда относился пренебрежительно, думают, что он слишком поглощен собой и, подобно Нарциссу, влюбился в свой собственный образ. Но это самообман, порожденный женской ревностью, которая приписывает самому Дон Жуану свойственный женщинам культ его личности. Дон Жуан, которого торопливо одевает слуга, не смотрит в зеркало, у него просто нет для этого времени. Утонуть в зеркальных глубинах, как сын Лириопы[1] ... какая нелепость!

Дон Жуан возникает на заре Ренессанса, в обществе, все еще соблюдающем иерархию, установленную церковью. У него сатанический характер богохульника. В нем нет даже атома язычества или ветхозаветного духа Моисея. Дон Жуан — герой христианского мира. Его типичный подвиг — насильно овладеть монахиней, не имея желания оплодотворить ее. Свободный от библейского эроса, Дон Жуан отказывается не от плотских наслаждений, а, подобно монаху, от зачатия. Раскаявшийся Дон Жуан идет в монастырь — да в какой-то мере он и был монахом, — а отцом семейства становится совсем уж в редких случаях.

И до чего же бесполезен для человеческого рода, спрашивает себя мой учитель, Дон Жуан, этот отменный самец, который не заботится о приумножении адамова племени? Не относится ли он вместе с рукоблудами и мужеложцами к мальтузианцам? К этому мнению склоняются многие, в особенности отцы семейств, удрученные плодовитостью своего безгрешного ложа. А может быть, Дон Жуан — это эротический возбудитель, который воздействует на воображение женщин и побуждает их преодолевать часто встречающуюся природную холодность? Но кто это знает? Такие вопросы относятся не к сущности Дон Жуана, а к полезности его для общества. Они не должны нас интересовать.

*

Хуан де Майрена сетовал на отсутствие хорошего учебника испанской литературы. По его словам, такого учебника не было и в годы его молодости. Кто-то сказал: “И вы то-

1. Нарцисс был сыном нимфы Лириопы и речного бога Кефисса.

же нуждаетесь в какой-нибудь книжонке?" "Я, — ответил Майрена, — сожалею, что учебник по литературе не был написан, ибо никто не смог его написать. Говоря по правде, в области литературы у нас нет общих идей. Будь у нас такие идеи, мы имели бы добротные учебники по литературе, да к тому же могли бы обойтись и без них. Не знаю, поняли ли вы меня... Вероятно, нет".

(Стихи и проза)

XVIII век думал вместе с Д'Аламбером[1]: "В стихе хорошо лишь то, что прекрасно передается прозой". В соответствии с духом своего времени Д'Аламбер, как и Дидро, любил парадоксы. За столетие до него учитель философии месье Журдена изрек: "Tout ce qui n'est point vers est prose"[2], то есть высказал мысль, обратную парадоксу, истину Перо Грульо[3]. А столетие спустя Малларме, в полном согласии с учителем месье Журдена, но в абсолютном противоречии со взглядами Д'Аламбера, скажет: в поэзии хорошо только то, что никоим образом не может быть высказано прозой.

Примечание. Хуан де Майрена не дожил до недавних дебатов о "чистой поэзии", в ходе которых последнее слово сказал не Д'Аламбер, а месье де ла Палисс: "Чистая поэзия это то, что остается от поэзии после того, как из нее уберут все ее нечистоты".

*

Не будем вдаваться в рассуждения о смерти. Для этого вы, сеньоры, еще слишком молоды... Однако будет нелишним, если вы начнете размышлять о смерти, как о часто встречающемся и, по-видимому, естественном явлении и заучите на память бессмертный гекзаметр Гомера: "Oiper phyllon gene toide kai andron".

В переводе это будет: "Как поколения листьев, мы поколенья людские".

Здесь Гомер говорит о смерти как гениальный эпический поэт, который взирает на нее с опушки человеческой рощи. Подумайте о том, что каждый из вас однажды увидит смерть изнутри, и судьба его совпадет с судьбой одного из листьев. И на сегодня — ничего больше.

Одни ученики Майрены затвердили гомеровский стих наизусть, другие запомнили также и перевод, нашлись и такие, кто сделали грамматический анализ текста и предложили свой перевод, более точный или более красивый, чем вариант учителя; или, ухватив из перевода образ листьев, воспели дерево, сначала зеленое, затем нагое и наконец снова зазеленевшее. Однако ни один, по-видимому, не запомнил ни комментарий Майрены к гомеровскому стиху, ни заключительный совет учителя.

Майрена не стал настаивать. Смерть, думал он, не тема для юношей, устремленных в завтрашний день, они воображают, что будут жить, и знать не хотят бездонную пропасть, которая притягивает наши старческие мысли.

— А теперь, сеньоры, поговорим о бессмертии.

*

"Cogito, ergo sum" , — говорил Декарт. А вы говорите по-другому: "Существую, значит я есмь", какой бы язвительной ни казалась вам эта сентенция. Ну а если вы сомневаетесь в собственном существовании, умолкните и уходите.

1. Жан Лерон Д'Аламбер (1717–1783) — французский математик, механик и философ-просветитель.
2. Все, что не стихи, то проза (*франц.*).
3. Перо Грульо — фольклорный персонаж, мастер изрекать избитые истины.

*

Испанец обычно добрый и жалостливый человек. Насилие и жестокость в Испании — несмотря на наше пристрастие к бою быков — никогда не были в чести. Зато нам всегда недоставало уважения к чужому успеху, сочувствия и особенно снисходительности к нему. Вот перед нами тореро образцово отработал на арене, и весь амфитеатр взорвался аплодисментами, но давайте подождем. И когда восстановится тишина, мы, несомненно, увидим человека, который поднимется, засунет два пальца в рот и засвистит во всю мощь своих легких. Но не подумайте, что он освистывает тореро — вполне возможно, он тоже ему апло́дировал, — нет, он освистывает аплодисменты. <...>

*

Если вы когда-нибудь изберете своей профессией литературу или ударитесь в публицистику, остерегайтесь мании преследования, которая может стать вашим мучителем. Не думайте, что о Гомере или Сервантесе пишут только с целью заткнуть вам глотку, как говорят в простонародье, или для того, чтобы навалиться на вас, сбить с толку и выставить напоказ вашу бездарность. Пусть вас не пугают призрачные враги, которые могут принудить вас писать очевидные глупости.

(Против противоположностей)

Ничто, говорил мой учитель, не может быть противоположностью сущему. Ничто из существующего не может иметь свою противоположность ни в чем.

Есть сущность розы, которая присутствует во всех розах, и другая — огурца, и третья — куницы и т. д., у всех у них — одинаковые свойства. Скажем иначе: все розы суть роза, все огурцы суть огурец и т. д., и т. д. Однако где вы найдете сущностную или просто существующую противоположность розе, огурцу, кунице? Бытие лишено противоположности, хотя с этим и не все согласны. Ничто есть отрицание бытия. Для того чтобы стать противоположностью, ему бы пришлось для начала хоть чем-нибудь стать, и тогда оно стало бы розой, огурцом, куницей.

(Особая осторожность)

Я уже говорил вам, что скептицизм может выйти из моды. В этом случае, вполне возможном и даже вполне допустимом, я советую вам занять скептическую позицию. Против нас, скептиков или философов в собственном смысле этого слова, будут изобретены новые хитроумнейшие философские системы, и прежде всего они появятся в Германии. Ибо человек — странное животное, которое, как он сам утверждает, для того чтобы оправдать свое существование, нуждается в некоей абсолютной истине, какой бы скромной ни была ее абсолютность. Этого и особенно — скромных абсолютов вы должны особенно и остерегаться.

(Об относительной скромности)

По словам Майрены, однажды он прочитал на позолоченной дощечке, украшавшей двери клиники, следующую надпись: “Доктор Римбомбе от четырех до пяти консультирует за умеренную плату скромных служащих, страдающих хронической гонореей”. Обрати-

те внимание, заметил Майрена, что скромность здесь относится не к доктору, и уж тем более не к гонорее.

*

Не советую вам ни пренебрегать штампами, общими местами, расхожими фразами, которыми полон наш язык, ни намеренно уклоняться от них, — я хочу, чтобы вы подходили к ним осторожно и осмысленно. Например: "Ибо всегда почтенные седины..." Стоп! Разве седины всегда почтенны? Есть преждевременные седины, которые отнюдь не свидетельствуют о глубокой старости. Кроме того, разве могут быть "почтенными" седины старого ростовщика? По-видимому, нет. А вот седины человека, состарившегося в науках, трудах, подвигах, и впрямь почтенны. Но какие седины общество может считать почтенными, а какие — нет? И почему прилагательное "почтенные" так часто сопровождает существительное "седины"? Может быть, число старцев, почтенных в полном смысле этого слова, превышает число аморальных старцев, седины которых никак не заслуживают почтения? Проделав такой анализ, который я всего лишь начал, а вы можете продолжить, вы освободитесь от заклятия общих мест, от серьезной опасности утопить свою мысль в народном подсознательном, затолкнуть ее в огромный омнибус, набитый языковой пошлостью. Потому что теперь вы уже можете применять штампы в соответствии с новой логикой, которую ее изобретатели и знатоки называют логистикой и которая требует "исчисления предикатов", к чему мы не привыкли. Например: "Седины почти всегда почтенные; седины в некоторых случаях почтенные; седины, не всегда презренные; седины на тридцать пять процентов почтенные" и т. д., и т. д. <...>

*

Чтобы стать клоуном, говорил мой учитель, надо быть англичанином, принадлежать к великому народу юмористов, который глубоко постиг бессмертное изречение римского комедиографа: "Ничто человеческое мне не чуждо", — и которому прежде всего не чужда неисчерпаемая человеческая глупость. Клоун, цирковой дурачок, выставляет эту глупость напоказ, он исповедуется в ней спокойно и весело, как дети и святые. Когда мы видим и слушаем английского клоуна, нам становится понятно, откуда появился Шекспир, этот гений человечности и буффонады; читая же Корнеля, Расина, даже Мольера, мы не в силах понять, откуда взялся французский клоун. Ну а читая Кеведо?.. Пусть ответят кеведисты, если таковые найдутся. Со своей стороны, добавил Майрена, я только осмелюсь сказать, что читая... Сервантеса, можно постигнуть все.

*

Великий грех, говорил мой учитель Абель Мартин, грех, которого народы обычно не прощают, резонно или нерезонно приписывая Сократу, — внедрение новых богов. Ясно, что к новым богам следует относить и старых небожителей, которых так или иначе проводили в почетную отставку. Эту нелюбовь к новым богам, которые действительно новы или только выглядят таковыми, вполне можно понять: нет новшества, последствия которого были бы ужасней. Люди всегда понимали, что, сохраняя старые божества, мы остаемся примерно в том состоянии, в каком были, а всякая смена богов непременно повлечет за собой в той

или иной степени катастрофические изменения.

*

Но боги меняются, и с этим ничего не поделать, они сами возводят себя в небожители — вопреки тому, что думал мой наставник, который хвастался, будто возвел в небожители своего собственного бога. Нам же нужно постараться видеть богов по возможности нагими и без личин, такими, какие они есть на самом деле. Ибо о богах не скажешь того, что сказано о Господе: умрет всякий, кто узрит Его лик. Боги сопровождают нас всю жизнь, и надо знать их, чтобы ходить рядом. И они молчаливо покидают нас на пороге смерти, через который им, по всей видимости, не переступить. Так постараемся же заслужить эту тихую печаль богов, которую греки так хорошо умели выразить на погребальных стелах.

*

Для того чтобы навеки сохранить неизменной суть вещей, нет средства надежней, чем беспрестанное обновление их внешнего вида или перемещение их с места на место. Именно поэтому, говорил мой учитель, подлинные новаторы с удовольствием, если б могли, повесили бы новомодников, а новомодники при первой же возможности побивают камнями подлинных новаторов.

(Говорит Майрена, не всегда ex cathedra[1])

Под областью наших мыслей располагается область наших верований, мы могли бы сказать, что она занимает самый нижний этаж нашего интеллекта. Есть люди, столь глубоко разделенные с самими собой, что они думают обратное тому, во что верят. И такой случай, осмелюсь утверждать, чуть ли не самый распространенный. Это не должны упускать из виду политики. Ибо то, что они называют общественным мнением, есть нечто гораздо более сложное и менее определенное, чем кажется. В моменты великих потрясений, которые мощно перекраивают сознание народов, возникают необычные явления, с трудом поддающиеся правильному истолкованию: внезапные превращения, которые приписывают личным интересам; неожиданные изменения взглядов, слывущие за неискренность; необъяснимые точки зрения и т. д. А это значит, что на поверхность общественного мнения всплыли многие сокровища, хранившиеся на дне сундуков сознания.

Для легкомысленного политика характерно полнейшее пренебрежение этими вещами. Однако наибольшая польза, которую приносят великие исторические бури, состоит в том, что они заставляют нас увидеть эти явления яснее и отчетливее, чем в случаях, когда мы различаем лишь поверхностное волнение.

(Снова в кафе)

— Существует мнение, говорил мой учитель, что нет ничего более буржуазного, чем пролетарий, поскольку, в конечном счете, пролетариат создала буржуазия. Пролетарии всего мира, добавлял он, объединяйтесь, чтобы возможно скорее покончить с буржуазией, а следовательно, и с пролетариатом.

— Ваш учитель, дорогой Майрена, видно, совсем выжил из ума.

1. Непререкаемо (*лат.*).

— Возможно. Но послушайте, Тортолес, что он рассказывал об одном андалузском кондитере, яром атеисте, которого философ-прагматик пытался обратить в веру его предков.

— Чьих предков, друг Майрена? Ваше "его" звучит двусмысленно.

— Предков философа-прагматика, вероятно. Так послушайте, что сказал философ: "Если бы вы верили в Бога, в Высшего Судию, который спрашивал бы с вас за ваши проступки, вы делали бы конфеты гораздо вкуснее тех, что сейчас продаете, и брали бы за них дешевле и выручали бы много денег, ибо ваша клиентура значительно увеличилась бы. Вам выгодно веровать в Бога". "Но разве Бог существует, сеньор доктор?" — спросил кондитер. "Это нелепый вопрос, — возразил философ. — Важно, чтобы вы в Него верили". "Ну а если я не могу?" — снова спросил кондитер. "И это не важно. Достаточно того, чтобы вы хотели верить. Тут может быть одно из трех: или вы в конце концов уверуете, или поверите в то, что уверовали, а это примерно одно и то же, или, в крайнем случае, станете трудиться над своими конфетами так, как если бы верили в Бога. И в любом случае результат будет один: вы улучшите качество товара, которым торгуете, — на благо своим покупателям и к вашей собственной выгоде".

Кондитер, как рассказывал учитель, оказался не совсем глух к доводам философа. "Загляните ко мне, — сказал он ему, — через день-другой".

Когда философ вернулся, он увидел на лавочке кондитера новую вывеску: "Кондитерская Ангела Мартинеса, поставщика Господа Бога".

— Прекрасно. Но я хотел бы знать, друг Майрена, что произошло с качеством конфет...

— Качество конфет, конечно, не улучшилось. Но, как сказал кондитер своему другу философу: "Важно, чтобы вы уверовали в то, что оно улучшилось, захотели уверовать или, в крайнем случае, съели эти конфеты и заплатили мне, как если бы поверили в это".

*

— Некогда было сказано: "Головы плохи, так пусть правят сапоги". Очень испанский подход, друг Майрена.

— Подход общечеловеческий, дорогой дон Косме. Специфически испанского здесь только то, что сапоги у нас правят не всегда хуже, чем головы. <...>

*

— Стало быть, друг мой, бык сломал вам ключицу?

— Он мне весь летний сезон сломал.

Этот знаменитый ответ приписывают Бадиле, прославленному пикадору. Неизвестно, был ли Бадила глуховат, или до того невежествен, что не знал названия своих собственных костей, вещь, впрочем, невозможная для мастера гарроты. То, что значение слова "ключица" было ему знакомо, явствует из его ответа. Возможно, Бадила был предтечей новой логики, к которой мы хотели бы приобщиться, этого гераклитовского хода мысли, где выводы не имеют прямого соответствия со своими предпосылками, ибо они не дети их, а, так сказать, внуки. Иначе говоря: к моменту появления вывода предпосылка уже частично устарела, так как время протекло не напрасно. К тому же обратите внимание, что в естественном потоке мышления — мышления Бадилы и, некоторым образом, поэтического мышления — мыслит не чистый разум, а весь психологический комплекс, и логические формы никогда не могут быть понтонами, поставлен-

ными на якорь в реке Гераклита, они сами — волны этой реки.

Итак, Бадила, неизвестный предтеча, скромно, без капли тщеславия, свойственного некоторым гениям нашего времени, содействовал созданию новой, с виду волшебной, логики, и мы еще не знаем, что из нее выйдет со временем.

*

Одним из наиболее характерных признаков перемены духовного климата служит упадок комического и сопровождающее его опошление смеха. По правде сказать, никогда еще на земле не было столько людей, смех которых напоминает ослиное верещание, как в наше время.

Но все во благо, как говорят прогрессисты. Ослиный смех — явственный знак комизма абсурдного, комизма на грани исчезновения. Ибо если мы взглянем попристальнее или послушаем повнимательнее, то найдем, что нет ничего печальнее и даже, в определенном смысле, апокалиптичнее, чем ослиный крик.

*

По словам моего учителя Абеля Мартина, продолжал Майрена беседу со своими учениками, за чтением Ницше приходишь к выводу, что это Христос нас отравил. Но вполне возможно предположить и обратное, добавлял Абель Мартин, что это мы отравили Христа в наших душах.

*

Синематограф, говорил мой учитель в доказательство своих метафизических воззрений, — это изобретение сатаны, который задумал оглупить род человеческий. Синема открывает перед нами великую эстетическую пустоту этого безостановочного мира, где человек — вершина животного царства — как будто бы движется сам по себе, а на самом деле проявляет свойства простого снаряда. Ведь герой, который сломя голову несется по улице, лезет на телеграфный столб, балансирует на краю крыши, а потом сваливается в колодец, в конце концов надоедает нам, как бильярдный шарик, мечущийся между бортиками стола. Пока этот человек не остановится, думаем мы, нам не узнать о нем ничего интересного.

(О политике)

Вспомним еще раз макиавеллический совет, о котором забыл сам Макиавелли: “Постарайся лишить своего врага уверенности в своей правоте. Иначе он обратит эту правоту против тебя, ведь человек — это животное, которое использует правоту исключительно как повод к борьбе. Упаси бог столкнуться со скотиной, уверенной в собственной правоте”.

*

По правде говоря, объяснял Хуан де Майрена своим ученикам, ви́дение прошлого, которое мы называем воспоминанием, столь же необъяснимо, как и видение того, что должно произойти, которое мы называем пророчеством, прорицанием или предсказанием. Ибо ничем не доказано, что наш мозг сохраняет следы полученных прежде впечатлений и следы эти наделены чудесной способностью воспроизводить или возрождать образы прошлого. И даже если мы признаем существование таких следов вместе с вышеупомянутой способностью, все равно нам придется столкнуться с тем, что воспоминание поставит перед нами ту же самую проблему, что и непосредст-

венное восприятие: проблему, как мы уже объяснили, пока еще никем не решенную. Таким образом, если наша способность вспоминать прошлое нас не удивляет, то мы не должны удивляться и способности провидеть будущее, которой считают себя наделенными некоторые люди. В обоих случаях мы имеем дело с явлением необъясненным, а может быть, и необъяснимым. Разумеется, я советую вам в равной мере удивляться трем вещам: и воспоминанию, и восприятию, и предвидению, но ни одному из этих свойств не отдавать преимущества. Таким путем вы выиграете в ученом незнании, а лучше сказать в восхищенном незнании столько же, сколько потеряете в знании фиктивном или ненадежном.

*

Задумайтесь, приучитесь задумываться прежде всего над самыми обыденными фразами, которые обычно бывают и самыми богатыми по содержанию. Например, вот исполненное сердечности и доброжелательности выражение: "Рад видеть тебя в добром здравии". Или другое, не лишенное метафизического смысла: "До чего мы дойдем?" Или такая фраза, прелестная в своем наивном богохульстве: "На том свете нас заждались". Стоит для начала исследовать уже сложившиеся обороты речи и только потом пытаться сложить другие, лучшие.

"Скромность великого человека"

Окончательно стало известно, что монумент, который проектировали, дабы почтить память Хуана де Майрены, не будет воздвигнут. Деньги, собранные по подписке среди учеников, согласно настоятельной просьбе мудрого преподавателя, будут распределены между ночными сторожами.

(Из сатирического журнала "Зеленый посох", 1908 г.)

Перевод с испанского
Валерия Столбова

“Правда искусства – в страдании, которое таится в нем”

Беседа Фрица Раддаца* с Джоном Апдайком

Фриц Раддац. Я не ошибусь, если скажу, что вы убежденный христианин?

Джон Апдайк. Да, я бы назвал себя таковым.

Ф. Р. Но вы к тому же и христианский писатель?

Д. А. Как христианский писатель я был бы обязан отдавать дань христианскому лицемерию и притворству. Я хожу в церковь, вижу, однако, тот же мир, что и все другие люди, вижу то же противоречие между Богом и его созданием и посему должен быть внутренне свободен, когда описываю то, что вижу. В этой стране слишком много христианских писателей. Тот, кто украшает себя таким эпитетом, сужает свои творческие возможности.

Ф. Р. Разве в вашем творчестве вера не играет никакой роли?

Д. А. Людям, по-моему, очень трудно обходиться без Бога. В той или иной форме существует индивидуальная потребность в трансцендентном, человек черпает там силы. Взять хотя бы одного из самых известных моих героев – Гарри Ангстрома по прозвищу Кролик. Он вполне склонен веровать, полагая, что жизнь не сводится к тому, чтобы исполнять чужие указания или делать добро людям. Поэтому в известном смысле он стремится быть честным, благородным, иметь хорошую репутацию, но, поначалу сильное, это стремление постепенно ослабевает. Следовать ему с годами становится все труднее.

Ф. Р. Вы лично видитесь мне, однако, совсем иным, чем любой персонаж в соответствующем возрасте из тетралогии о Кролике[1].

Д. А. У нас с Кроликом в общем-то похожий жизненный путь. Например, мы оба не отказывали себе в мирских удовольствиях. Роднит нас также и некая неугомонность: сейчас мне шестьдесят девять, но в двадцать шесть и в сорок шесть еще я чувствовал себя стесненным и семьей, и моногамией...

Ф. Р. ...что можно подтвердить, процитировав Апдайка: “Поистине, таинство брака, каким его в неизменной невозможности установил наш Спаситель, существует лишь как условие таинства прелюбодеяния”.

Д. А. Таким его ощущает и Кролик. Можно, пожалуй, также сказать, что мы оба в какой-то мере консервативны и не разделяли в годы вьет-

© А. Егоршев. Перевод, 2002

* Фриц Йоахим Раддац (р. 1931 г.) – известный немецкий писатель, публицист, литературный критик.

1. “Кролик, беги” (1960), “Кролик исцелившийся” (1971), “Кролик разбогател” (1981) и “Кролик на отдыхе” (1990). (*Прим. перев.*)

намской войны всеобщего агрессивного антиамериканизма. Но между нами есть, разумеется, и большие различия. Я закончил колледж, у меня были хорошие перспективы стать писателем. Мне повезло.

Ф. Р. Кролик не кажется человеком, ведущим богоугодный образ жизни. Он спит даже с женой своего сына. В общем, грешник.

Д. А. Кому дано судить о том, что такое грех? Эпизод с женой сына — та, как говорят англичане, соломинка, которая перешибает хребет верблюду. Все в ужасе, но сама ситуация естественна и проникнута нежностью. Такой я и попытался ее изобразить. Два глубоко страдающих человека — он под грузом лет, она от капризов мужа — ненадолго сближаются, надеясь найти друг в друге утешение. Я старался быть снисходительным, хотел понять своих героев. Положение человека — не из завидных. У нас большой мозг — и тело животного. Мы знаем, что впереди у нас смерть, другим млекопитающим нет нужды заглядывать вперед.

Ф. Р. Имя Rabbit (Кролик) заставляет вспомнить героя романа Синклера Льюиса по имени Babbitt. Намеренное созвучие?

Д. А. В какой-то степени — да. Первоначально Rabbit должен был олицетворять лишь безрадостное отсутствие выбора, склонность к частым совокуплениям, якобы свойственную кроликам. И он должен был быть все-таки человечным — именно Кроликом.

Ф. Р. Как вы строите ваши книги? Делаете архитектурный набросок?

Д. А. Конечно, стараешься так спланировать роман, чтобы было примерно ясно, чем все закончится.

Ф. Р. Бальзак этого никогда не делал. Он плакал, когда кто-нибудь из его героев умирал.

Д. А. Кажется, и Диккенса развязка нередко заставала врасплох. Но я бы не дерзнул спланировать тетралогию. Когда я писал первый роман о Кролике, то не помышлял ни о каком продолжении. В конце Кролик должен был испытать облегчение, перейти с ходьбы на бег, ощутить себя на какое-то мгновение счастливым, свободным от всех пут. Раздумывая через десять лет, о чем писать новую книгу, я решил, что лучше всего вернуться к Кролику. За те десять лет Америка изменилась. В шестьдесят девятом году страна переживала крутую ломку.

Ф. Р. Под вашим пером Америка довольно неприглядна на вид. Хотя вы не прочь подчеркнуть, что очень рады быть американцем.

Д. А. Да.

Ф. Р. Вы также утверждаете, что придерживаетесь консервативных взглядов. Вас не беспокоит радикальный консерватизм в сегодняшней Америке?

Д. А. Эта тенденция мне не нравится. Я консервативен, но не республиканец. Нравоучения как в беллетристике, так и из уст политиков мне претят. Я встречался со многими убежденными христианами-консерваторами и должен сказать, что если бы они обладали всей полнотой власти, то могли бы произвести в общественном сознании определенный переворот...

Ф. Р. Однако властью обладает администрация.

Д. А. Но не в такой, по-моему, степени, чтобы наделать много вреда. Я бы предпочел видеть в Белом доме Альберта Гора. И было странно ощущать себя американцем, пока результат выборов неделями оставался неясным. Вдруг вновь возник такой интерес к политике, какого давно уже не было, а также интерес к тому, что́ значит быть американцем.

Ф. Р. Вы как-то написали, что Бог перестал улыбаться, глядя со своих высот на Америку. И в своих романах вы рисуете страну заблудшей, утратившей Божью милость.

Д. А. Верно. Из всех американских писателей я сильнее других, наверное, пока еще ощущаю себя счастливым оттого, что американец. Считаю себя также хорошим патриотом. С другой стороны, в моем творчестве складывается безотрадный образ некогда нормальной страны, испорченной огромным количеством автомобилей, повсеместной эксплуатацией и перенаселением. Я прямо чувствую, как сами американцы подавляют Америку, как они подавляют весь остальной мир. Но есть еще и такой момент. Если человек никогда не верил в Божественное, если deus никогда не был частью его духовного развития, то исчезновение улыбки с лика Господня не станет для него грозным предостережением, ибо этот человек никогда и не сознавал, что Бог улыбался.

Ф. Р. А вы хотели, чтобы он улыбался?

Д. А. Да. Америка — это страна, которая все еще надеется быть чем-то особенным. Эта страна низко пала, так как питала слишком большие надежды. С космологической и практической точки зрения.

Ф. Р. Вы рисуете ужасную картину...

Д. А. О да, мазок моей кисти ядовит. Мне кажется, опыт нашего обращения со свободой сомнителен. Получив свободу, люди считают себя вправе безобразно одеваться, слушать музыку, которую сами же находят скверной, поднимать шум и скандалить. Они полагают, что вольны иметь несколько автомобилей и уродовать ими ландшафт, разрушать окружающую среду. У свободы есть и темная сторона, и я рисую, описываю то, что вижу.

Ф. Р. Но слышен ли ваш голос? Порой такое впечатление, что вы все, будь то Норман Мейлер или Тони Моррисон, вопиете в пустыне. Я не говорю о том, узнает ли вас сразу привратник отеля...

Д. А. Гм, здесь, в Бостоне, швейцар меня все-таки впустил...

Ф. Р. ...я спрашиваю, играет ли современный американский писатель значительную роль в обществе. Вы, случалось, говорили: "Да, возможно, я знаменит, но в конечном счете исчез с горизонта. Даже моих книг нет больше за стеклами витрин..." Что, впрочем, не соответствует действительности. По крайней мере, в Германии их можно купить в любом книжном магазине.

Д. А. Здесь это, увы, не так. По сравнению с временами моего детства наши писатели гораздо менее знамениты. Такие прозаики, как Хемингуэй, Джон Стейнбек, Торнтон Уайлдер, были безоговорочно знамениты и играли определенную роль в просвещении среднего класса, общались с теми, кто к нему принадлежал. И все-таки воздействие на молодежь, как всегда, сохраняется, молодые люди читают то, что им дают. Тони Моррисон, скажем, наверняка положительно влияет на многих детей, особенно в среде национальных меньшинств. Поэтому я не думаю, что писатель в этой стране абсолютный нуль, но он необязательно и крупная величина. В глазах соотечественников он стоит ниже, чем того бы, пожалуй, желал. Хотя писатель, быть может, и не должен стремиться к ведущей роли в обществе.

Ф. Р. Вы это серьезно? Ведь писатель — это в некотором роде и священнослужитель. Он проповедует — нет, не религию, не теологию, не идеологию. Он хочет выразить то, что накоплено умом и сердцем, и —

быть понятым. Он говорит о жизненных ценностях, высказывает суждения о людях, об обществе — иначе бы и не брался за перо.

Д. А. Согласен.

[268] ИЛ 6/2002

Ф. Р. Один из ваших критиков давно потребовал присвоить вам почетное звание Poeta laureatus, писал, что если бы все шло чин чином, то вы должны были бы стать культовой фигурой такого ранга, как Том Круз.

Д. А. Знаете, это не "американский путь", здесь не принято, чтобы писатели становились выразителями чьих-либо взглядов или интересов. В Латинской Америке или в Европе дело, быть может, обстоит иначе.

Ф. Р. А вы сами не стремитесь к власти? В одном из эссе вы процитировали Горация: поэт на самом деле — "бард", своего рода учитель. И вторили ему тогда: мы, писатели, — неким образом священнослужители, мы хотим проповедовать, хотим учить людей. Конечно, мы хотим также развлекать их, и все-таки в любом случае — учить. Но как можно учить тех, кто не слушает?

Д. А. Число читателей у нас не особенно велико, однако суть не в количестве, а в качестве, и хорошие книги будут и впредь оказывать на этих людей скромное влияние. Ведь никого в библиотеку не загонишь. Читательское внимание надо заслужить, и, возможно, мы, писатели, просто недостаточно умело выполняем нашу работу...

Ф. Р. Ваше имя часто связывалось с Нобелевской премией, поэтому хочу спросить вас: если бы вы ее получили, ваше слово стало бы более весомым?

Д. А. Во-первых, на американцев, отмеченных Нобелевской премией, сразу же обрушивался вал неодобрительных отзывов и нелестных рецензий... Критики неустанно точат свои ножи, и как только приходит сообщение о присуждении этой международной премии сановными шведскими академиками, сразу же раздаются голоса протеста. Нет, не думаю, чтобы Нобелевская премия придала моему слову больший вес. Полагаю также, что мнить себя важной публичной персоной — никому впрок не идет. Куда как лучше оставаться скромным свидетелем мира, который ты знаешь. Чем скромнее, чем ближе к рядовым согражданам — тем лучше. Пытаешься писать о природе человека, а природа человека есть низость и — вы это знаете — медленно и незаметно подкрадывающееся унижение. Время нас унижает, возраст нас унижает, мало-помалу все наши мечты оказываются химерами.

Ф. Р. Выходит, что человек — даже если он истово верует — неизменно остается во власти греха?

Д. А. Он остается безнадежным грешником. Чтобы положение исправилось, на смену нашему должен прийти новый мир. Я не верю, что природу человека можно радикально изменить. Люди, несомненно, стали терпимее, поубавилось расистских настроений, хотя расизм продолжает существовать, в людях меньше мизантропии, даже меньше шовинизма...

Ф. Р. В эссе о Флобере вы горячо оспариваете его концепцию "башни из слоновой кости". Но разве все, что вы сейчас говорите, не звучит как монолог замкнувшегося в такой башне? Вы можете из нее выйти только тогда, когда пишете, когда глаза вам открывает фантазия.

Д. А. Флобер написал много замечательных вещей, которые показывают, что он не всегда жил в башне из слоновой кости. Он немало поез-

дил по белу свету, но потом затворился в ней. Знаете, человек творческий должен все-таки время от времени уединяться. Нельзя создать художественное произведение, стоя посреди улицы, но надо знать, что́ такое улица. В нашей стране поэты и писатели, в том числе романисты, все чаще находят прибежище в университетах и академиях, и поневоле задумываешься, что́ можно увидеть там из окон. Мир этот сродни болоту, и я стараюсь обходить его. При том что сам тоже спотыкался и попадал в ловушки, только иного рода.

Ф. Р. Нельзя не удивляться вашему обостренному интересу к живописи, вашей эрудиции в вопросах изобразительного искусства. Вы написали чудесные эссе о художниках, вспоминаю ваши глубокие размышления о Пиронези и Уильяме Блейке. Может быть, вы чувствуете себя при этом, если и не как в башне из слоновой кости, то почти как в родных стенах?

Д. А. Писательство представляется мне сплошным хаосом. Оно лишено стройности по самой своей сути. Пытаешься описать реальность, то, о чем мы только что говорили. Сколько в твоем описании увидено из пресловутой башни и сколько реального опыта? Ответы, которые находишь, большей частью пространны и сумбурны. Живопись и скульптура прошлого двадцатого века кажутся мне образцом того, каким должно быть искусство — гармоничным, просветленным, новаторским, бесстрашным, веселым, страстным. Оно должно быть непринужденным.

Ф. Р. Как сказывается это увлечение на вас как писателе?

Д. А. О, оно будит во мне желание быть живописцем и за письменным столом. Надеешься, что сможешь смотреть на вещи непредвзято, но участливым взглядом. Видеть их с самого начала такими, какие они есть, даже если американцы, как вы заметили, толсты и безобразны, плохо одеты и ординарны.

Ф. Р. Как ни странно, но вы очень много взяли из европейской культуры, будь то Кьеркегор или Джойс, Дюрер или Модильяни. Хотя вы почти не бываете в Европе...

Д. А. Да, это так.

Ф. Р. На вопрос, где бы вы хотели жить, вы отвечаете: в Новой Англии. Вы счастливы быть американцем. И все-таки пропитаны европейской культурой.

Д. А. Хотя, как вы правильно заметили, бывал там нечасто... Могу, пожалуй, утверждать, что американская литература — а в ней многое достойно восхищения — не стала мне серьезным подспорьем, когда я открывал для себя "большой мир". Я не мог использовать опыт Хемингуэя, зато немало почерпнул у Пруста, Сервантеса, Томаса Манна и многих других европейских писателей.

Ф. Р. Читая ваши произведения, я никогда не натыкался на имя Фолкнер.

Д. А. Да и не могли наткнуться. Я считал, что должен противостоять ему. По-моему, он чересчур американский, но...

Ф. Р. Чересчур американский?

Д. А. Я неоднократно принимался читать Фолкнера. Вспоминаю только молодого человека, которому попался "Реквием по монахине". Это кровопролитие, эта вечная тоска — все так вулканически бурно, неотфильтровано и как-то произвольно — я отчетливо ощущал силу, кото-

рая была заключена во всем этом и вызывала восхищение. Убедительность изображения граничила по своей мощи с безумием. Между тем некоторые новеллы Фолкнера просто чудесны. Ему достает мужества отвечать за свои одержимости, и тем не менее — нет, я не хотел бы писать так, как Фолкнер. Сильное впечатление на меня произвел Хемингуэй. Он пытался что-то изменить. Его можно даже сравнить с Сезанном: как и тот, он стремился идти новыми путями.

Ф. Р. Джон Апдайк часто выступает и как рецензент. Помню, как вы атаковали Тома Вулфа и его "Костры амбиций".

Д. А. Книга мне даже нравилась, замечательный роман...

Ф. Р. ...но под конец вы говорите, что это не литература.

Д. А. Да, к литературе эту книгу не отнесешь.

Ф. Р. Ну что ж, но знаете ли вы сами, что́ такое литература?

Д. А. Боже мой, кто же это знает? Я всего лишь хотел сказать, что та книга в основном — плод фантазии. Вулф всегда занимает позицию стороннего наблюдателя и никогда не достигает той страстности, которую неизменно ощущаешь у Беллоу. Беллоу как бы говорит читателям: "Я в гуще событий, я тоже страдаю, я вместе с этими людьми и люблю их, какими бы они ни были".

Ф. Р. Отвечая однажды на вопрос о ваших недостатках, вы сказали: жадность. Неужели это правда? Жадность — движущая сила вашей жизни? Я всегда думал, что вы человек сдержанный, скромный, может быть, даже робкий.

Д. А. Я выходец из малоимущей среды: обедневшая христианская семья, образно говоря, поблекшая позолота. Тем не менее родители проявили щедрость и отправили меня в Гарвард. Жадным вашего собеседника называет жена. Я бы назвал себя скупым или экономным, ибо ничего не выбрасываю.

Ф. Р. Я говорю о жадности не только в отношении денег. Можно быть жадным до счастья, наверное, до любви, до славы. Жадность, на мой взгляд, весьма емкое понятие.

Д. А. Моя неспособность перестать писать — тоже своего рода жадность. Разве не было бы актом милосердия с моей стороны раз и навсегда поставить точку? Последние лет двадцать пять я только и делаю, что пишу. Быть может, за это время я сказал все, что имел сказать по пустяковым поводам... Но покончить с писательством не получается, потому как всегда думаю: эх, вот сотворю еще одну книжку, она и будет бесподобной.

Ф. Р. Это не жадность. Это страсть.

Д. А. Пусть так.

Ф. Р. Что значит для вас поэзия? Я имею в виду стихи, которые вы пишете.

Д. А. Поэзия чиста. Сочиняя стихи, не разбогатеешь, но можно работать с языком, создавать кристально чистые вещи. Проза не может быть совершенной. Поэзия — искра зажигания, масло в механизме языка.

Ф. Р. У прозаика Апдайка и поэта Апдайка разный подход к языку, не так ли?

Д. А. Вы хотите сказать, что я становлюсь другим человеком, когда пишу стихи? Да, пожалуй. Моя проза — для широкого круга, лирический настрой — чтобы запечатлеть момент. Мысль, что мгновенные впечатле-

ния можно таким образом сохранить, помогает мне водить смерть за нос. Важно и ощущение истинного творчества.

Ф. Р. Наверно, поэтому писателя называют маленьким богом, который творит вещи и людей, а когда он меняет свои взгляды, меняется и персонаж.

Д. А. Такая власть может нагнать страху. Одним росчерком пера дать целой истории другой поворот — ощущение жутковатое, ибо за этим — безосновательность, своеволие. Вот еще один пример — Филип Рот. Я не читал всего, что он написал в последние годы. Но знаю, что он дает волю гневу в своих произведениях. Гнев, ярость, ненависть тоже могут заставить взяться за перо.

Ф. Р. Он, несомненно, испытывает еще и острую боль.

Д. А. Боль?

Ф. Р. По-моему, это достаточно очевидно. Рот все принимает очень близко к сердцу, отсюда — его гнев.

Д. А. Да, вы правы. Я не слышал, чтобы кто-нибудь так просто и так точно определил его душевное состояние.

Ф. Р. Говорят, только в моллюске, терпящем муки, зарождается жемчужина...

Д. А. Правда искусства — в страдании, которое таится в нем. Действительно, кто не страдал, тому нечего сказать.

* * *

Беседа опубликована в ноябре 2001 года в литературном приложении к еженедельнику "Цайт". Состоялась до 11 сентября 2001 года.

Перевод с немецкого А. Егоршева

Новая встреча с читателями

Обзор ответов на читательскую анкету

В третий раз за последние пять лет мы подводим итоги читательской анкеты (предыдущие обзоры см. в № 5, 1997 и № 5, 2000). Анкета позволяет увидеть свой журнал со стороны, глазами тех, ради кого он, собственно, и выпускается. Начало 2002 года для всех литературных ежемесячников выдалось непростым: в силу ряда обстоятельств тиражи упали почти до критической отметки. Мы очень рады, что нам практически удалось остаться на достигнутом уровне. А благодарить за это мы должны прежде всего наших подписчиков: тех, кто верен журналу в течение многих лет, и тех, кто обратил на "ИЛ" внимание не так давно.

Каждый раздел нынешнего обзора представляет собой отдельный (и не совсем обычный) выпуск одной из традиционных журнальных рубрик, подготовленный в соавторстве с вами.

Возвращаясь к напечатанному

Принимая решение о публикации того или иного текста, мы каждый раз пытаемся прогнозировать вашу реакцию. Порой это удается, но иногда результаты оказываются достаточно неожиданными. Вот как выглядит список лучших публикаций журнала за 2000—2001 годы.

Лучшие публикации

	Автор	Произведение	Когда опубликовано
1	Артуро Перес-Реверте	" Клуб Дюма, или Тень Ришелье"	2001, № 10, 11
2	Мишель Уэльбек	"Элементарные частицы"	2000, № 10
3	Дж. М. Кутзее	"Бесчестье"	2000, № 1
4	Майкл Каннингем	"Часы"	2000, № 9
5	Пол Остер	"Тимбукту"	2001, № 8
6—7	Ромен Гари	"Повинная голова"	2001, № 12
	Орхан Памук	"Меня зовут Красный"	2001, № 9
8—10	Эрих Мария Ремарк	"Земля обетованная"	2000, № 3
	Литературный гид	"Луи-Фердинанд Селин, или Путешествие на край отчаяния"	2001, № 9
	Ингрид Нолль	"Аптекарша"	2001, № 5
11	Гилберт Адэр	"Открытая книга"	2001, № 6
12—13	Дидье Ван Ковелер	"Запредельная жизнь"	2000, № 2
	Вирджиния Вулф	"Волны"	2001, № 10
14—15	Питер Акройд	"Повесть о Платоне"	2001, № 9
	Пол Теру	"Моя другая жизнь"	2000, № 3
16—19	Каванна	"Сердце не камень"	2000, № 6, 7
	Биргит Лаханн	"Существовать и мыслить сквозь эпохи!"	2001, № 11

	Пер Улов Энквист	"Пятая зима магнетизера"	2000, № 11
	Жан-Мари Леклезио	"Диего и Фрида"	2000, № 9
20—22	Михал Вивег	"Летописцы отцовской любви"	2000, № 6
	Норман Мейлер	"Крутые парни не танцуют"	2001, № 3, 4
	Литературный гид	"Хулио Кортасар, или Самый великий хроноп"	2001, № 6

Два первых места заняли безусловные фавориты. Романы Артуро Переса-Реверте и Мишеля Уэльбека заранее планировались как бестселлеры, и этот статус они вполне подтвердили. Даже полемика по поводу их литературных достоинств оказалась не столь активной, как давнее обсуждение романов Умберто Эко, читательского кумира прошлых лет (когда, например, "Маятник Фуко" был признан одновременно и самой лучшей, и самой худшей публикацией). Вслед за двумя фаворитами, завоевавшими признание сразу, идут несколько имен, обративших на себя особое внимание лишь после второй крупной публикации. Первые переведенные на русский романы Майкла Каннингема и Пола Остера, появившиеся в "ИЛ" в 1997-м, были оценены не столь высоко, как "Часы" и "Тимбукту". То же относится и к Дж. М. Кутзее, чей роман о Достоевском в 1999-м прошел почти незамеченным, а "Бесчестье" оказалось принято на ура (и наверное, не только по той причине, что роман был удостоен Букеровской премии). В этот же ряд попадает и Орхан Памук: его "Черная книга" по итогам прошлого опроса была лишь 13-й, а теперь имя этого турецкого автора стоит в списке значительно выше.

Иначе обстоит дело с Роменом Гари: любая публикация даже старых его текстов обеспечивает читательский интерес. А вот что касается Ремарка, то его успех стал для нас сюрпризом. Незавершенный роман писателя, пик популярности которого миновал несколько десятилетий назад... Оказалось, что наша аудитория не изменяет прежним кумирам.

Опубликовать роман Ингрид Нолль "Аптекарша" мы решили не сразу. Те, кто выступал за, рассматривали это как шаг навстречу читателю "массовому", находящему утешение в легкой, необременительной беллетристике. Те, кто был против, видели в этом риск понизить "планку качества". Читательские мнения разделились в точности так же, как мнения членов редколлегии. Благодаря тем, кто оценил "Аптекаршу" высоко, она попала в первую десятку лучших публикаций последних лет; благодаря другим — заняла не слишком почетное третье место в списке худших публикаций (см. ниже). Однако особо нас поразил тот факт, что Ингрид Нолль оказалась в первом списке практически рядом с Вирджинией Вулф. По поводу "Волн" наши мнения тоже разделились, но уже по другой причине: были сомнения, стоит ли "нагружать" журнал таким большим массивом непростой для восприятия модернистской прозы. И что же: читатели почти одинаково высоко оценили и Нолль, и Вулф, причем открытое неприятие "Волн" (чего мы больше всего опасались) встречалось скорее как исключение.

Новость этого списка: сразу два *Литературных гида*. Эта рубрика всегда пользовалась популярностью, но впервые ее выпуски были оценены выше, чем многие романы. Рост интереса к материалам из разряда non-fiction вообще заметно ощутим: биографические публикации о Фридрихе Ницше, Диего Ривере и Фриде Кало успешно конкурируют с художественной прозой. Пятерка лучших публикаций в категории "Документальная проза" оказалась такова:

Документальная проза

1–2	Биргит Лаханн	"Существовать и мыслить сквозь эпохи!"	2001, № 11
	Жан-Мари Леклезио	"Диего и Фрида"	2000, № 9
3	Бертран Рассел	"Автобиография"	2000, № 12
4–5	Лу Андреас-Саломе	"Прожитое и пережитое"	2001, № 2
	Вильгельм фон Штернбург	"Как будто все в последний раз"	2000, № 10

Как можно видеть, читательский интерес к фигуре Ремарка вовсе не случаен, о чем свидетельствует высокая оценка фрагментов из книги Вильгельма фон Штернбурга. А если учесть, что и книга Пола Теру "Моя другая жизнь" – это тоже отчасти non-fiction, то успех "невыдуманной" прозы становится более чем очевидным.

Малые формы в подобных опросах всегда проигрывают большим: среди лучших публикаций читатели не слишком часто упоминают рассказы, статьи и поэтические подборки. В сфере "премиальной" мы давно устранили подобную несправедливость (учредив известную премию "Инолиттл"); теперь исправляем ее и в сфере "анкетной". Вот как выглядят списки лучших публикаций в соответствующих категориях:

Рассказы

1–2	Вуди Аллен	*Рассказы*	2001, № 1
	Кэтрин Кресмен Тейлор	"Адресат выбыл"	2001, № 4
3–4	Фредерик Бегбедер	"Рассказики под экстази"	2001, № 11
	Киёко Мурата, Хироки Каваками	*Японские рассказы*	2001, № 2
5–6	А. С. Байетт	"Китайский омар"	2001, № 2
	Джордж Сондерс	Рассказы	2001, № 7

Стихи

1–2	Чарльз Буковски	*Стихи*	2000, № 5
	Роберт Льюис Стивенсон	*Стихи*	2001, № 1
3–5	Шарль Бодлер	"Падаль"	2000, № 9
	Испанская песенная поэзия	"Капли дождя"	2000, № 7
	Владимир Набоков	"Комната", "На перевод 'Евгения Онегина'"	2001, № 10

Статьи, эссе

1	Артур Кёстлер	"Анатомия снобизма"	2001, № 4
2	Ольга Вайнштейн	"Грамматика ароматов"	2001, № 8
3–5	Александра Борисенко	"О Сэлинджере, 'с любовью и всякой мерзостью'"	2001, № 10
	Алексей Зверев	*Статьи из рубрики "Комментарий"*	2001, № 3, 7, 8
	Эмиль Мишель Чоран	"Разлад"	2001, № 1

И наконец, самый неприятный, хотя, возможно, и самый полезный для оценки нашей деятельности список: худшие публикации. Их, как обычно, оказалось не слишком много (конечно, прежде всего благодаря читательской деликатности), но общее мнение здесь было выражено достаточно единодушно.

Худшие публикации

1	Кристоф Хайн	"Вилленброк"
2	Фредерик Бегбедер	"Рассказики под экстази"
3	Ингрид Нолль	"Аптекарша"
4–5	Юбер Монтеле	"Профессия – призрак"
	Альдо Нове	"13 рассказов из книги 'Супервубинда'"
6–8	Питер Акройд	"Повесть о Платоне"
	Каванна	"Сердце не камень"
	Пер Улов Энквист	"Низверженный ангел"
9–10	Мишель Уэльбек	"Элементарные частицы"
	Пер Улов Энквист	"Пятая зима магнетизера"

"Антифаворитом" № 1 стал роман о жизни постсоциалистической Восточной Германии. Вроде бы добротная проза, вроде бы близкая тематика, но – увы! – что-то не сработало. "*Зря занял место*".

На второй строчке уверенно расположились "Рассказики под экстази" Бегбедера. Тут ситуация иная: в своей "весовой категории" рассказы эти были оценены достаточно высоко, но вступил в дело другой фактор: эстетическое неприятие провокативного авторского стиля. Еще ярче проявилось это в оценке рассказов Альдо Нове. "*Нельзя ли обойтись без "крутого читалова", гипернатурализма и "юных людоедов"? Ваша планка всегда была очень высока, и, думается, без общества Альдо Нове и подобных ему можно обойтись*", – пишет филолог из Бийска Марина Шеланкова. (Напомним читателям, что профессиональные журналисты присудили переводчику этих рассказов Геннадию Киселеву почетный диплом критики "зоИЛ" за 2000 год.) А вот нелицеприятные мнения об Ингрид Нолль: "*Нужно открывать для нас новые имена, но не имена домохозяек*" – и об ее "Аптекарше": "*На удивление примитивный и глупый роман*".

Большинству не понравился и "Призрак" Юбера Монтеле, а что касается остальных имен в этом списке, то на их счет мнения (как и в случае с Ингрид Нолль) разделились: если кто-то счел Питера Акройда претенциозным, Каванну – легковесным, Пера Улова Энквиста – скучным, а Мишеля Уэльбека – непристойным, то большинство (судя по первому списку) все же оценили их тексты положительно.

И наконец, последний список – это авторы-фавориты, книги которых читатели хотели бы видеть в своей домашней библиотеке. Как обычно, мы помещаем для сравнения аналогичный список, полученный по итогам прошлого опроса.

	2002 год		**2000 год**
1.	Артуро Перес-Реверте	1.	Ромен Гари (Эмиль Ажар)
2.	Ромен Гари	2.	Джон Фаулз
3.	Пол Остер	3.	Милорад Павич
4–5.	Милан Кундера	4–5.	Алессандро Барикко

	Мишель Уэльбек		Милан Кундера
6.	Орхан Памук	6.	Умберто Эко
7.	Дж. М. Кутзее	7.	Джулиан Барнс
8–10.	Каванна	8.	Сол Беллоу
	Норман Мейлер	9–10.	Сальман Рушди
	Ингрид Нолль		Хорхе Луис Борхес
11–12.	Вуди Аллен	11.	Джон Барт
	Джон Фаулз	12.	Жозе Сарамаго
13–14.	Гилберт Адэр	13.	Питер Акройд
	Питер Акройд	14–17.	Борис Виан
15–18.	Лоренс Даррелл		Агота Кристоф
	Майкл Каннингем		Владимир Набоков
	Патрик Модиано		Том Стоппард
	Умберто Эко		

Бессменными и бесспорными читательскими кумирами продолжают оставаться Гари и Кундера. Фаулз и Эко пока еще среди фаворитов, но, похоже, теряют популярность. Почти никто уже не упоминает в своих письмах Павича. А все без исключения новые имена попали в список 2002 года прежде всего благодаря публикации в "ИЛ". Интерес к Пересу-Реверте, Уэльбеку, Каванне, Нолль, Адэру возник сразу после первого появления на страницах журнала; прочие же авторы (Остер, Памук, Кутзее, Мейлер, Аллен, Каннингем...) сумели "набрать вес" в результате знакомства читателей с очередными переводами их текстов.

Критика и публицистика

Общая оценка журнала несколько изменилась, впрочем, оставаясь для нас лестной. Если в 2000 году преобладающей была формулировка "*и лучше, и содержательнее*", то теперь чаще попадаются суждения "*содержательнее и при этом не хуже*". Впрочем, спектр мнений достаточно широк, и правильнее будет предоставить слово самим читателям.

Начнем с отзывов безусловно положительных.

"*Когда живешь в провинции, то ждешь этот журнал как праздник; он дает ощущение принадлежности к мировой литературе; ты чувствуешь и впитываешь аромат других стран, и это помогает тебе жить*" (Ольга Алексеевна Осечкина, 38 лет, психолог из Магнитогорска). "*Много хороших текстов, качественные обзоры, интересные критические статьи*" (Татьяна Тетеревлева, 30 лет, преподаватель истории из Архангельска). "*Вам удалось соблюсти равновесие между совершенно новыми и забытыми произведениями, между самими текстами и исследованиями, крупными и мелкими формами*" (Мария Геннадьевна Преслицкая, 22 года, студентка из Санкт-Петербурга). "*С каждым годом все больше влюбляюсь в Ваш журнал*" (31 год, библиограф из Нижнего Тагила). "*Именно в последние 2 года журнал стал совершенно иным: более ярким, современно-острым, привлекательным*" (Инна Юльевна Кононенко, 28 лет, студентка из г. Шахты). "*Журнал стал содержательнее и глубже, захватил те пласты иностранной литературы, которые широкому читателю были досель неизвестны*" (Сергей Александрович Лёвин, 24 года, обозреватель газеты "Анапские известия"). "*Он стал более разноплановым и тем более интересным*" (М. В. Рогова, 39 лет, Санкт-Петербург). "*Знаком-*

ство с авторами моего поколения происходит у вас, и это – славно!" (Нина Алексеевна Кармишина, 39 лет, инженер из Саратова). "*Много авторов, хороших и разных, быстрая подготовка к публикации совсем "свеженьких" произведений*" (Л. М. Белашова, 41 год, преподаватель из Киева). "*Журнал стал более рафинированным, ориентированным на подготовленную аудиторию*" (Мария Вартановна Машкина, 43 года, преподаватель английского языка из Курска). "*Мне кажется, что направление движения выбрано верно*" (В. В. Загурский, 32 года, оператор компьютерной верстки из Кемерова). "*Эталон интеллектуального журнала*" (Вера Семеновна Разгонова, 56 лет, библиотекарь из Санкт-Петербурга)..

В следующую группу мы собрали отклики нейтрального характера: доброжелательные, но без особых восторгов.

"*По сравнению с 90-ми годами, когда было много открытий шокирующих, запоминающихся, журнал стал "спокойнее". Но он не стал хуже*" (Наталья Александровна Белоштанова, 46 лет, инженер-строитель, ныне работник отдела кадров из г. Фролово Волгоградской обл.). "*Он не стал хуже, по-прежнему сохраняя заявленный интеллектуальный уровень*" (Андрей Александрович Парамошкин, 33 года, филолог из Сызрани). "*Не хуже – по-прежнему с нетерпением ждешь следующий номер, но и не лучше – с удовольствием перечитываю номера 1997–1999 годов*" (Т. Л. Пономарева, 30 лет, библиотекарь из Североморска). "*Постоянный интерес развитого читателя к Вам говорит о сохранившемся качестве Вашей работы и ее соответствии сегодняшнему дню. Во всяком случае "хуже и скучнее" журнал не становится*" (Константин Александрович Баранов, 31 год, историк из Москвы). "*За последние два года журнал остался таким же содержательным и увлекательным путеводителем по зарубежной литературе*" (Инесса Кузьмина, 29 лет, библиотекарь, ныне сотрудник Управления пенсионного фонда РФ из Самары). "*Есть публикации разного качества, а средний балл – положительный*" (Сергей Викторович Мощук, 38 лет, юрисконсульт из Бреста). "*Я думаю, самые подходящие слова – стабильнее и неожиданнее. Стабильнее – в плане непременного высокого художественного уровня публикуемых произведений и неожиданнее – в части спектра новых имен, многие из которых с полным правом можно отнести к категории "скандальных" авторов. Взять, к примеру, "Супервубинду" Альдо Нове. Я подозреваю, что многие читатели обвинят этого автора в пошлости и низкопробности, хотя лично меня просто покорили его отменное чувство юмора, глубокая самоирония и оригинальность стиля*" (Олег Альбертович Бекетов, 37 лет, ведущий инженер-конструктор из Северодвинска).

И, наконец, "на десерт" – серьезные критические замечания.

"*Журнал с каждым годом становится все скучнее. Создается впечатление, что читаешь бесконечное произведение одного автора*" (Валерий Александрович Энговатов, 57 лет, предприниматель из Самары). "*Журнал "теряет высоту". Мало Литературы, несмотря на сотрудничество с блестящими переводчиками*" (Тамара Анатольевна Гамхарашвили, 60 лет, кандидат технических наук из Москвы). "*Жаль, конечно, что по-настоящему хорошей прозы – маловато. По-моему, все лучшее было напечатано и издано в 80-90-е годы*" (Наталья Владимировна Кравченко, 29 лет, почтальон из Воронежа). "*Испытываю ностальгию по тому, каким был журнал в 90-е годы*" (Игорь Владимирович Петренко, 27 лет, психолог из Запорожья). "*Не все номера одинаково интересны; есть и откровенно скучные*" (Эдуард Жигалёв, 30 лет, менеджер по сбыту из Санкт-Петербурга). "*По-прежнему не хватает хорошей умной критики, чрезвычайно мало материалов о современных писателях, о собы-*

тиях, происходящих в литературном мире" (Лидия Юрьевна Мирошниченко, 54 года, преподаватель из Владикавказа). "*Рубрика "Литературный гид" заметно помельчала: теперь она почти целиком посвящена отдельным авторам, обычно со скандальной репутацией*" (Алексей Бешкарев, 25 лет, преподаватель из Сыктывкара). "*Журнал стал похабнее, как и телевидение*" (С. Е. Матысик, 65 лет, геофизик из Одинцова). "*С нетерпением жду каждый номер, но когда приходит журнал, первое, что я делаю, – это читаю анонс на следующий номер*" (Д. К. Хетагурова, 24 года, аспирант-филолог из Владикавказа).

Галерея "ИЛ"

Уже в прошлом опросе мы обратили внимание, что в нашей аудитории выделяются две группы. Первая – это давние подписчики (возраст около 50 лет, журнал читают более 20 лет, образование высшее, чаще техническое). Вторая – читатели более молодые (возраст около 30 лет, образование также высшее, но спектр профессий значительно шире), следящие за журналом с 90-х годов. Место жительства: либо один из двух российских мегаполисов, либо не самый крупный город (до 500 тыс. чел.). В сегодняшней "Галерее" мы представляем портреты двух читателей, наиболее типичных с точки зрения статистики.

Н. И. Молчанова, 46 лет, инженер-химик, г. Москва. "*Работаю по специальности. Люблю современную литературу, как иностранную, так и отечественную. Читаю "ИЛ" с 1980 года. За последние годы журнал стал лучше, содержательнее. Публикации более разнообразные (как современных авторов, так и ранее не печатавшихся у нас в силу политических причин). Лучше дизайн журнала. Наиболее удачные публикации: Вивег, Ремарк, Остер, Адэр, Каванна, Гари, Кутзее. Наименее удачные: Бегбедер, Вулф. Хотелось бы видеть книжные издания Остера, Кутзее, Мейлера, Каннингема, Акройда*".

О. С. Кравчук, 31 год, преподаватель, г. Владикавказ. "*Читаю "ИЛ" с начала 90-х. В 2000 году журнал стал и хуже, и скучнее. В 2001-м – содержательнее, но: предсказуемо и традиционно. В 90-е годы журнал был ярче и интереснее. Хотелось бы побольше произведений с молодой, свежей кровью. Наиболее удачные публикации: Уэльбек, Памук, японские рассказы, Лу Андреас-Саломе, Вулф, "Литературные гиды" о Конраде, Кортасаре, Селине, эссе О. Вайнштейн. О наименее удачных: есть неприятные вещи (А. Нове), но это тоже хорошо для журнала. А вот "серых" вещей много, их начинаешь читать, откладываешь и уже не вспоминаешь о так и не потрепавшемся журнале... О книжной серии "Иллюминатор": эта серия не доходит (почти) в провинцию. Вероятно, кто-то из желаемых авторов уже в ней вышел. Хотелось бы видеть Уэльбека, Хласко, Модиано, японцев (например, сборник рассказов), серию книг документальной и мемуарной прозы (Лу Андреас-Саломе и т п.)*".

Наша почта

А в этой рубрике – два письма, которые задают два полярных типа отношения к журналу. Первое послание – сухое и безжалостное, содер-

жащее ряд порой несправедливых и резких упреков. Зато второе — живое, трогательное и наполненное любовью — представляет собой нечто вроде ответа, позволяющего нам воздержаться от комментариев и оправданий.

1

"Уважаемая редакция!
Регулярно беру Ваш журнал в нашей городской библиотеке. К сожалению, за последние 2–3 года журнал стал ощутимо слабее, и причиной тому – засилье на его страницах откровенно развлекательной литературы. Серьезная литература с широкой панорамой общественной жизни той или иной страны, с анализом социальных и этических конфликтов последовательно вытесняется из вашего журнала. В предыдущее десятилетие пусть не все публиковавшиеся у вас произведения были шедеврами, но все же до предоставления своих страниц таким авторам, как Ю. Монтеле или И. Нолль (помесь детектива и дамского романа), журнал раньше не опускался. Наряду с подобными книгами страницы журнала заполонило так называемое "чтиво для интеллектуалов" – те же самые детективы, только в претенциозной упаковке. Причем все эти постмодернистские "тексты" до невозможности одинаковы, склепаны по одному шаблону. К примеру, если бы над романом А. Переса-Реверте не стояло имя автора, я был бы уверен, что автор – Умберто Эко. Отличий – никаких, о проблемах испанской действительности (у Эко – итальянской) читатель не узнает ничего, да автор к этому и не стремится. Его единственная цель – развлекать.

Вызывает сожаление и другая ваша тенденция – зацикленность на трех-четырех литературах (США, Англия, Франция и отчасти Германия). Почему-то вы сочли, что лучшие современные книги пишутся именно там. Романы лучших писателей этих стран вы уже опубликовали ранее (Том Вулф, Тони Моррисон, Сальман Рушди, Грэм Свифт), за что спасибо. Их запас иссяк, и вы принялись печатать уже второстепенных авторов из этих стран. Сейчас и их запас у вас подходит к концу. На очереди, видимо, третьесортные?

Между тем литература многих стран и целых континентов проходит почему-то мимо вашего внимания. Так, за 10 лет вами опубликовано 2 (два – прописью) произведения писателей всей Африки (а именно 2 романа Кутзее). А ведь африканская литература котируется нынче весьма высоко. Прозведения современной китайской литературы в последний раз появились в журнале аж в 1993 году. Чем-то не угодили вам и латиноамериканцы. Если в годы 1992-98 вы печатали хотя бы по одному их роману за 2 года, то теперь совсем перекрыли кислород. Да и со многими европейскими литературами ситуация не лучше. К примеру, писатели Испании и Португалии – очень редкие гости на ваших страницах. В Греции или Финляндии литературы сегодня, по вашему мнению, не существует вовсе: во всяком случае, ни в одном из номеров журнала за последние 10 лет ее следов мне обнаружить не удалось. Я понимаю, что у сотрудников журнала есть свои пристрастия, но вы все-таки издаете журнал не для себя (как паровоз для машиниста у Жванецкого), а для читателей. Поэтому надо стараться удовлетворять потребности как можно более широкой и разнообразной читательской аудитории и давать панораму всей мировой литературы (а не только англоязычной и французской).

О поэзии два слова. Публикации поэтов прошлых лет в основном удачные (Бодлер, Стивенсон, Набоков, Прешерн). А вот из современной поэзии могу выделить за 2 года лишь подборки покойных уже Збигнева Херберта и Теда Хьюза, а также Мишеля Уэльбека и Оливера Фриджиери. Остальные, что называется, –

ни уму ни сердцу. Да и число поэтических подборок сократилось (по сравнению с 1991-93 годами) примерно вдвое, что и не удивительно: все журнальное пространство отдано Ромену Гари, Милану Кундере, Милораду Павичу и другим "постоянным" авторам.

С драматургией вы решили еще проще: не печатать ее вовсе. И то верно: очередные опусы Тома Стоппарда и Славомира Мрожека (а других драматургов вы не знаете) выдержать уже невозможно. Поэтому в 2001 году вами не опубликовано вообще не одной пьесы. Между прочим, за последние годы сразу 2 драматурга удостоены Нобелевской премии, но один из них (Гао Синцзянь) имеет несчастье писать о Китае и по-китайски, а другой (Дарио Фо) придерживается левых взглядов и даже, страшно сказать, состоял в компартии. Видимо, эти их грехи мешают вам познакомить нас с их творчеством. На этом фоне в положительном контексте следует отметить отдел критики и публицистики. Может, он и не напечатал ничего особо выдающегося (хотя главы из книги Оливера Сакса все же стоит выделить), но он, по крайней мере, не опускал свою планку ниже ватерлинии.

Репутация журнала тает буквально на глазах. Появившаяся недавно постыдная серия "Лекарство от скуки" – яркое тому подтверждение. Да и план журнальных публикаций на 2002 год поводов для оптимизма не дает. Снова обещаны набившие оскомину Эко и Акройд, снова "детективная интрига" и "остроумная пародия", снова три четверти всех анонсированных авторов представляют США, Англию и Францию. Так что нам, читателям, выросшим на глубокой, человечной литературе, снова придется среди гор безвкусицы выискивать две-три достойные вещи за год. Спасибо и на том.

С уважением,

Андрей Иванов, г. Сосновый Бор Ленинградской области, 25 лет, образование высшее (математика), сейчас работаю инженером".

2

"Здравствуйте, глубокоуважаемая и горячо любимая редакция "Иностранки"! Я рядовой читатель, вернее читательница журнала, не имею образования, достаточного для смелой оценки литературных произведений, но анкета показалась мне тесной. В той жизни, до 90-х годов, в моем окружении много читали. Мы в Саранске стояли в очереди за подпиской. Подписывались отделом по интересам, потом рассказывали друг другу о самом интересном и обменивались журналами. Сейчас самой стойкой оказалась я. Как-то В. Ерофеев на "Культуре" затронул тему о чтении и читателях, не учитывая две главные, на мой взгляд, причины охлаждения к хорошему чтению: отсутствие средств на приобретение и времени для чтения. Все мои друзья и я сама барахтались в этом жизненном пространстве, пытаясь приспособиться. Почти все пострадали, кто вообще выжил. Мне пришлось сменить работу научного сотрудника в НИИ на должность главного бухгалтера в разных сферах, а быть главным бухгалтером и жить по совести почти невозможно. Эта работа не отпускает мозг ни днем, ни ночью. Выше пояса я компьютер, ниже – стул. Среди ночи просыпаешься от мыслей с решением какой-нибудь заморочки. Чтобы выжить, пришлось работать на двух-трех работах, но "Иностранку" так и держала "в зубах". А как читать, когда смотришь в книгу, а видишь НДС? Принесу, полистаю и положу. И все-таки в голове откладывалось, что не надо упустить. В анкете не перечислишь все открытия, которые сделала для меня "Иностранка". Кундера, Элиаде, Майринк и много-много других имен. Всё этих авторов, что попадалось мне в книжных, я не пропускала. В конце 90-х стало поспокойней с налоговыми дела-

ми, меньше пошло изменений, как-то появился просвет для чтения. Мне очень радостно, что "Иностранная литература" выстояла. Для меня это отдушина – вместе с музыкой, кошкой и конфетами. Приношу номер с почты и мурлычу, и перелистываю, устраиваю себе кофеек, подушку под спину и – нет меня. Очень мне нравятся большие интервью. Никак не ожидала таких ответов от Миттерана. Помню, как наш Горбачев на вопрос американского журналиста сказал, что любит американскую литературу, и не смог назвать ни одного автора. Даже Марка Твена с Хемингуэем. Можно было просто по слуху их запомнить. В этой довольно дурацкой жизни без книги вообще существовать скучно. Но это не все. Мне хочется испытать ее магию, ее очарование, когда бежишь домой к ней, она ждет тебя. Вот так случилось в последние годы с Мирчей Элиаде. Четвертый номер за 1999 год увлек до забвения текущих дел. До этого я у Вас читала "Цыганок" и "Девицу Кристину", но его жизнь, воспоминания были открытием. Почему его прятали от нас? Так вот и умрешь в неведении, какие были прожиты жизни. Потом я купила "Майтрейи" и сборник повестей. Но воспоминаний в полном объеме, наверное, никто не издавал. А в этом году просто погрузилась в "Клуб Дюма". Такого я не помню с юности. Купила Казота в "Готическом романе", перечитала "Библиомана" Нодье, перелистала "Трех мушкетеров". Почему глава "Анжуйское вино" – 42-я? Она – 12-я. И по тексту дальше ясно, что речь идет о 12-й главе. Оказывается, военный журналист может писать почеловечески, не боясь показаться старомодным. Как ни выворачивай предложения и структуру всего романа, не добьешься очарования произведения искусства. А литература это оно, а не протоколы описания преступлений и главы из учебника анатомии. Как ни описывай части тела, любви не получится. Но я не против "Экстази". Нет. Раз так пишут, я посмотрю. Но читать подробно ни сейчас, ни раньше не стала бы. Зачем? Мы, помню, рыскали по всем сусекам за де Садом. И что же? Когда я его увидела напечатанным и попробовала почитать, интерес пропал. Вернусь к Пересу-Реверте. Хочу еще! И вообще испанцев. Судя по всему, они живут. Переводите, печатайте. А еще "погрел" меня, заворожил что ли, Юбер Монтеле со своим "Призраком". Литературная аптека для замученной души. Всем своим друзьям дала почитать, и все "проглотили" с удовольствием, несмотря на замороченность. Вообще 2-й номер за 2001 год прочитала "от корки до корки", и мои "сочитатели" тоже. Все в нем интересно. Так редко бывает. Обычно я роюсь по выходным в журналах, дочитываю, обнаруживаю, перечитываю. А этот – до дыр. И № 4 за 1999 год. Оформление журнала стало достойней. И по цвету обложки легче искать год выхода, хоть они у меня стоят в порядке по годам с 80-го года. Бывает, подберешь тему или автора, а потом заложишь и пугаешься: не потерялся ли. Теперь виднее. Толку вам от моего письма мало: мне все нравится, а вам нужны идеи. Вот была "Антирубрика", ее жаль, но ведь появились "Вглубь стихотворения", "Литгид", "Жизнь как роман". Как же жалеть? Я бы сказала, что журнал становится все интересней. Все публикации, если не прочитываю, то запоминаю на будущее. Книге – время. Что мне очень нравится – все современные публикации. Не 30-40-летней давности, а уже 90-х, конца 90-х. Здорово. Вот поэтому, несмотря на дороговизну, 62-20 номер с доставкой, выписываю. Теперь уже не на год, а на 1–2 месяца. Бюджет не позволяет. Зато есть время, с конца года не работаю. Все знакомые главбухи с инсультами-инфарктами, церебролизинами и пр. А я лечусь книгами и музыкой, лыжами и плаваньем. Жду новых "Иностраночек". А народ вокруг на работе – увы! Мозг завода, конструкторы, читают газеты, "СПИД-Инфо" и усё! Какая там "Иностранка"! В заводской библиотеке забыли, когда выписывали. Дорого. "Новый мир" до 1999 года. Так что я для своих друзей и детей – единственный источник. У Вас я была не раз. Чудный домик, московский запах

кофе и чего-то вкусненького, любезная женщина-секретарь. Теперь не езжу. Кончились командировки, родственники умерли. Прощай, Москва! Живи, "Иностранка", мы тебя еще читаем. Для меня это свет в окошке, последнее, от чего откажусь вслед за туризмом и горными лыжами. Живите долго и счастливо!

Наталья Владимировна Митрофанова, г. Саранск, 58 лет, образование высшее экономическое, до октября 2001 года – главный бухгалтер. Временно отдыхаю, ищу работу, на которой можно читать и зарплаты хватало бы на подписку".

Авторы номера

В этой рубрике мы раскрываем имена "соавторов" того литературного коллажа, который был предложен вашему вниманию вместе с вопросами анкеты в № 12 за прошлый год. Абсолютному большинству читателей удалось правильно определить, что текст под названием "Начнем" составлен из начальных фраз восемнадцати журнальных публикаций последних лет. И почти в половине писем точно указаны все без исключения авторы этих фраз (то есть невольные "соавторы" текста). Это Мишель Уэльбек, Норман Мейлер, Пер Улов Энквист, Эрих Мария Ремарк, Каванна, Гонсало Торренте Бальестер, Гилберт Адэр, Маргерит Дюрас, Джордж Сондерс, Гюнтер Грасс, Пол Остер, Дидье Ван Ковелер, Артуро Перес-Реверте, Орхан Памук, Анджей Стасюк, Ален Роб-Грийе, О. Генри и Майкл Каннингем. Труднее всего оказалось определить начальную фразу романа Г. Торренте Бальестера "Дон Хуан" – видимо, потому, что опубликован он был не в 2000-м или 2001 году, а в начале 1999-го.

Счастливыми обладателями пяти подписок на 2003 год стали по результатам проведенного в редакции розыгрыша:

1. Д. А. Игохин, 16 лет, школьник, г. Калуга.
2. И. Ю. Кононенко, 28 лет, студентка, г. Шахты.
3. В. В. Стаселько, 32 года, инженер-радиоконструктор, г. Витебск (Белоруссия).
4. Н. И. Сумина, 51 год, пенсионерка, г. Нижний Тагил.
5. Т. П. Тетеревлева, 30 лет, преподаватель истории, г. Архангельск.

Курьер "ИЛ"

А следующим двадцати адресатам почтовый курьер должен доставить утешительный приз. Книгу из серии "Иллюминатор" получат:

1. Л. Абдуллаева, 50 лет, филолог, г. Самарканд (Узбекистан).
2. О. Н. Артамонов, 29 лет, математик, г. Санкт-Петербург.
3. Н. А. Белоштанова, 46 лет, инженер-строитель, г. Фролово.
4. А. и Н. Бешкаревы, 25 лет, журналист и преподаватель, г. Сыктывкар.
5. С. И. Бочка, 33 года, ст. Кущевская Краснодарского края.
6. Е. и О. Гуринович, художницы, г. Зеленоград.
7. В. В. Загурский, 32 года, оператор компьютерной верстки, г. Кемерово.
8. В. В. Заединов, 38 лет, пос. Озерный Тверской обл.

9. А. В. Зайцева, 71 год, пенсионерка, г. Воронеж.
10. Е. Ю. Иванова, 47 лет, психолог, г. Одесса (Украина).
11. Л. Я. Метелькова, 48 лет, кинолог, г. Минск (Белоруссия).
12. Н. И. Молчанова, 46 лет, инженер-химик, г. Москва.
13. А. А. Парамошкин, 33 года, филолог, г. Сызрань.
14. Е. Ю. Пермякова, 40 лет, г. Владивосток.
15. Е. В. Петренко, 20 лет, студентка, г. Канев (Украина).
16. А. И. Поздеева, 33 года, с. Плоское Курганской обл.
17. Т. Л. Пономарева, 30 лет, библиотекарь, г. Североморск.
18. Г. К. Пяткина, врач, г. Симферополь (Украина).
19. М. В. Рогова, 39 лет, г. Санкт-Петербург.
20. Н. Харламова, 50 лет, инженер, г. Озерск.

Пишите нам чаще. Рубрика "Наша почта" открыта для читателей постоянно.

Жан-Филипп Арру-Виньо
Jean-Philippe Arrou-Vignod
[р. 1958]. Французский писатель.

Автор романов *Не впустить ночь* [*Le rideau sur la nuit*, 1984, премия Первого романа], *Человек пятого дня* [*L'homme du cinquième jour*, 1997], *История человека, которого бросила жена* [*Histoire de l'homme que sa femme vient de quitter*, 1999] и др.
Роман *Урок непослушания* публикуется по изданию *Le conseil d'indiscipline* [Paris, Gallimard, 1995].

Висенте Сото
Vicente Soto
[р. 1919]. Испанский писатель, лауреат нескольких литературных премий.

Автор сборников рассказов *Скромная жизнь – скромные истории* [*Vidas humildes, cuentos humildes*, 1948], *Почти лондонские рассказы* [*Casicuentos de Londres*, 1973] и др., нескольких романов, в т. ч. *Большой шаг* [*La zancada*, 1966]. На русском языке рассказы В. Сото были опубликованы в сборнике *Испанская новелла: 70-е годы* [1982].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Cuentos de Aquí y de Allá* [Ajuntament de Valencia, 2000].

Сергей Николаевич Зенкин
[р. 1954]. Литературовед, критик, переводчик. Лауреат премии им. А. Леруа-Больё [1996].

Автор книги *Работы по французской литературе* [1999]. В его переводах издавались книги Р. Барта, Ж. Бодрийара, Ф. Глотери и др. Его статьи и переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Мишель Лейрис
Michel Leiris
[1901–1990]. Французский поэт, эссеист, этнограф.

Автор поэтических книг *Подобие* [*Simulacre*, 1925], *Поворотный момент* [*Le point cardinal*, 1927], автобиографической прозы *Возмужание* [*L'âge d'homme*, 1939; рус. перев. 2002], тетралогии *Правила игры* [*La règle du jeu*], включающей книги *Развилки* [*Biffures*, 1948], *Нагромождения* [*Fourbis*, 1955], *Волоконца* [*Fibrilles*, 1966], *Легкий шум* [*Frêle bruit*, 1976], путевых записок *Аффрика-фантом* [*L'Afrique fantôme*, 1934] и др.
Публикуемые стихотворения входят в цикл *Сдвиги* [*Failles*, 1924–1934]; перевод выполнен по изданию *Haut mal* [Paris, Gallimard, 1943]. Эссе 1929–1930 гг. взяты из сборника *Brisûes* [Paris, Mercure de France, 1966].

Дино Буццати
Dino Buzzati
[1906–1972]. Итальянский писатель, журналист.

Автор романов *Барнабо с гор* [*Barbabo delle montagne*, 1933], *Татарская пустыня* [*Il deserto dei tartari*, 1940], *Клинический случай* [*Un caso clinico*, 1953] и др., сборников рассказов *Семь гонцов* [*I sette messaggeri*, 1942, рус. перев. в *Библиотеке ИЛ*, 1985], *Шестьдесят рассказов* [*Sessanta racconti*, 1961] и др. В *ИЛ* были напечатаны рассказы из сборника *Шестьдесят рассказов* и серии *Классики искусства* [1994, № 12].
Публикуемый рассказ *Семь этажей* взят из сборника *Sessanta racconti*. [Milano, Mondadori, 1958].

Йозеф Рот
Joseph Roth
[1894—1939]. Австрийский писатель.

Автор романов *Отель Савой* [*Hotel Savoy*, 1924; рус. перев. 1925], *Бунт* [*Die Rebellion*, 1924; в рус. перев. *Мятеж*, 1925], *Циппер и его отец* [*Zipper und sein Vater*, 1927; в рус. перев. *Циппер и сын*, 1929), *Марш Радецкого* [*Radetzkymarsch*, 1932; рус. перев. 1939], *Склеп капуцинов* [*Kapuzinergruft*, 1938] и др. В *ИЛ* были опубликованы его роман *Иов* [1995, № 8], повесть *Легенда о святом пропойце* [1996, № 1], рассказ *Бюст императора* [1998, № 3].
Публикуемый роман *Склеп капуцинов* взят из книги *Joseph Roth. Die Kapuzinergruft* [Roman, Kiepenheuer und Witsch, 1972].

Анатолий Михайлович Гелескул
[р. 1934].
Переводчик, лауреат премий *ИЛ* [1993] и *Иностранной литературы* [1995].

В его переводе публиковались стихи испанских поэтов Х. Р. Хименеса, А. Мачадо и др.; польских — А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского; французских — П. Верлена, Г. Аполлинера. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Циприан Норвид
Cyprian Norwid
[1821—1883]. Польский поэт, драматург, прозаик.

Автор поэтического цикла *Vade mecum* [1865—1866], поэм *Ассунта* [*Assunta*, 1870], *Dorio ad Phrygium* [1871], драматических произведений *За кулисами* [*Za kulisami*, 1865—1866], *Актер* [*Aktor*, 1870], *Перстень великосветской дамы* [*Pierścień Wielkiej Damy*, 1872] и др., новелл *Тайна лорда Сингельуорта* [*Tajemnica lorda Singleworth*, 1863], *Печать* [*Stygmat*, 1883], эссе, философских трактатов. На русском языке опубликован сборник *Стихотворения* [1972].
Публикуемые стихотворения взяты из сборника *Поэтические и прозаические произведения* [*Pisma wierszem i prozą* Warszawa, PIW, 1973]; они войдут в сборник стихотворений Ц. Норвида, готовящийся к печати в издательстве Вахазар.

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик, автор статей по социологии культуры. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], премии им. Анатоля Леруа-Больё [1996], им. Мориса Вакс-махера [1998].

Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [*ИЛ*, 1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 9, 12; 2000, № 1]. В его переводе публиковались произведения А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Г. Аполлинера, Х. Л. Борхеса [*ИЛ*, 1984, № 3; 1990, № 12] и др.

Антонио-и-Мачадо Руис
Antonio Y Machado Ruiz
[1875—1939]. Испанский поэт, драматург, эссеист.

Автор книг лирики *Одиночества* [*Soledades*, 1903], *Поля Кастилии* [*Campos de Castilla*, 1912], *Новые песни* [*Nuevas canciones*, 1924], сборника философских заметок *Хуан де Майрена. Изречения, шутки, замечания и воспоминания апокрифического профессора* [*Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo*, 1936] и др. На русском языке его стихи печатались в книгах *Испанские поэты XX века* [М., 1977], *Жемчужины испанской лирики* [М., 1984], в *ИЛ* [1990, № 3]. Вышла книга его стихов и прозы *Избранное* [М., 1975].
Настоящий перевод выполнен по изданию: *Antonio Machado. Prosas.* [La Habana, 1965].

Переводчики

Нина Федоровна Кулиш

Переводчица с французского и итальянского языков.

В ее переводе публиковались романы *Изнанка мюзик-холла* и *Дуэт* Г. С. Колетт, *Из волшебного леса* Дж. Бонавири, повести *Антимоний* Л. Шаши, *Осеннее равноденствие* Дж. Конте, сборник эссе П. Клоделя *Глаз слушает* и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы фрагментов книги Ц. Тодорова *Человек, потерявший родину* [1998, № 6], эссе Д. Буццати *Осколки невозможного* [1999, № 6], книги Ж.-М. Леклезио *Диего и Фрида* [2000, № 9], фрагментов книги Ф. Мюрэ *После Истории* [2001, № 4], эссе М. Уэльбека *На пороге растерянности* [2002, № 3].

Наталия Алексеевна Матяш

Литературовед и переводчик с испанского, каталанского и французского языков, кандидат филологических наук, член Международной ассоциации испанистов.

Автор многих публикаций в научной и периодической печати, составитель антологий Хосе Ортеги-и-Гассета, Салвадора Эсприу, Хуана Гойтисоло, Антонио Галы, а также сборников *Современная испанская повесть*, *Испанская новелла: 70-е годы* и др. В ее переводах издавались произведения Ф. Аялы, М. Васкеса Монтальбана, Ф. Эрланже, П. Морана, М. Родореды, Ж. Фустера, П. Калдерса и др. В *ИЛ* напечатан ее перевод эссе Х. Гойтисоло *Выстоять* [1996, № 12].

Геннадий Петрович Киселев

[р. 1955].
Переводчик с итальянского, лауреат премии им. Цецилии Кин [1997], почетного диплома независимых критиков *зоИЛ* [2001].

Переводчик произведений Т. Ландольфи, А. Савинио, М. Бонтемпелли, И. Кальвино, А. Барикко, Д. Буццати, Дж. Томази ди Лампедузы, А. Нове и др. Составитель антологий итальянской прозы XX века. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Серафима Евгеньевна Шлапоберская

Переводчик с немецкого и французского языков.

В ее переводе изданы романы Х. фон Додерера, Б. Фришмут, Г. Гессе, Ф. Мориака, рассказы и повести Ф. Кафки, Р. Вальзера, Ф. Фюмана, И. Бахман, Э. Кестнера, сказки В. Гауфа, письма Г. Флобера и др.
В *ИЛ* были опубликованы ее переводы повести *Легенда о святом пропойце* Й. Рота [1996, № 1], рассказов И. Бахман [1996, № 9].

Валерий Сергеевич Столбов

[1913—1991]. Переводчик и литературовед-испанист.

Переводил стихи А. Мачадо, Х. Марти, Л. Сернуды, П. Неруды, А. Гонсалеса и др. Составитель книг избранного Р. Дарио, Х. Марти, С. Вальехо, двухтомника избранных произведений Т. Готье, ряда антологий и др. Автор сборника статей о писателях Латинской Америки *Пути и жизни* [М., 1985]. В *ИЛ* в его переводах публиковался роман Г. Гарсиа Маркеса *Сто лет одиночества* [в соавторстве с Н. Бутыриной, № 6—8, 1970], стихи испанских поэтов XX века.

Анатолий Сергеевич Егоршев

[р. 1935]. Журналист, германист, переводчик с немецкого.

В его переводах публиковались произведения Р. Леттау, П. Хэртлинга, К. Хайна, Г. Руге и др. Его переводы неоднократно печатались в *ИЛ*. В Германии в его переводе на немецкий опубликована повесть русского писателя В. Панова *Филипп фон Цезен*.

живопись скульптура графика

ЛИНИЯ-АРТ

галерея современного искусства, москва, пятницкая, 41

Некоммерческая организация культуры Галерея "Линия-Арт"
существует с 1997 года

В художественной программе Галереи различные направления выставочной деятельности:

наследие ряда московских художников,
искусство династий,
современная живопись, скульптура, графика, эмали.

Галерея экспонирует работы известных московских художников поколений 60-х, 70-х и 80-х годов.

Михаил Рудаков, Ольга Рудакова,
Валерий и Александр Волковы,
Анатолий Зверев, Игорь Кислицын,
Сергей Алферов, Александр Бабин,
Ирина Русакова, Игорь Ермолаев,
Гиви Ананьев, Олег Слепов,
Евгений Верешагин –

далеко не полный перечень ведущих авторов Галереи

С октября 2002 г. в Галерее читается курс лекций по истории мирового искусства

Наш телефон/факс: (095) 953 36 24
E mail: liniya-art@yandex.ru
Адрес: Пятницкая ул., 41, стр. 1

Посетить Галерею можно с 14 до 19 часов по предварительной договоренности с Администрацией Галереи

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки использован фрагмент картины австрийского художника Густава Климта [1862—1918] *Юдифь II* [1909].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко. Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Расимя Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7;
"Б.С.Г.-Пресс" —
ул. Гиляровского, д. 1.
В Санкт-Петербурге —
в магазине издательства "Азбука" —
ул. Решетникова, д. 15.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
№ 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

Подписано в печать 21.05.2002
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 4114.
Тираж 10100 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

ANGLIA
British Bookshop

Лучший выбор книг из Британии в России

www.anglophile.ru

Москва:

Хлебный пер., 2/3
Тел: (095) 203 5802,
202 4066

Санкт-Петербург:

наб. Фонтанки, 40
Тел: (812) 279 8284,
279 8007

Самара:

ул. Куйбышева, 131
Тел: (8462) 78 4223

Высылаем книги по почте
*
Информация по
размещению заказов

Тел: (095) 202 4066,
Факс: (095) 203 0673
www.anglophile.ru

Многокомпонентные и
многоуровневые учебники
английского для школ, вузов и
самостоятельного изучения

Словари, энциклопедии,
история, лингвистика

Искусство, дизайн, архитектура

Художественная литература
– от классики до новейших бестселлеров

Бизнес и экономика
Менеджмент и маркетинг

Путеводители, атласы

[6] 2002

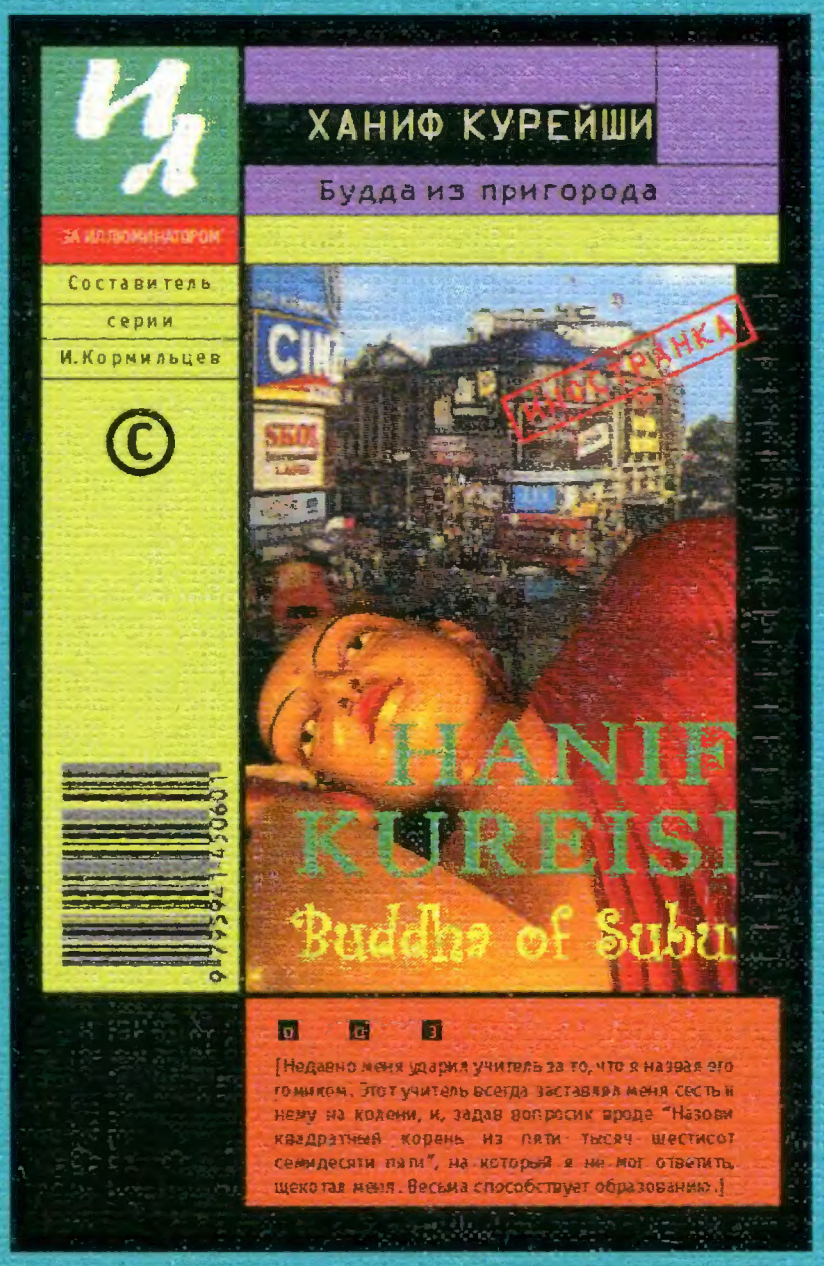
РОМАН ДЖУЛИАНА БАРНСА “КАК ВСЕ БЫЛО” / “АВТОБИОГРАФИЯ” АРТУРА КЁСТЛЕРА / СТИХИ ЕВЫ ЛИПСКОЙ, КРИСТИНЫ ЛАРС, УРШУЛИ МАЛГОЖАТЫ БЕНКИ И ДЖОАНН ЛИМБЕРГ / РАССКАЗЫ ФИЛИППА ДЕЛЕРМА И ГЮНТЕРА ФРАЙТАГА / БОРИС ДУБИН О ВАДИМЕ КОЗОВОМ / АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ О ПЕРЕВОДАХ ПРУСТА

Новая серия издательства "Иностранка"

"За иллюминатором"

составитель Илья Кормильцев

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века



По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"

тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru

или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2002, №6, 1-288